ЧИНГИЗ
АЙТМАТОВ

И дольше века длится день...

И дольше века длится день...

Чингиз Айтматов

Аннотация
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ. И дольше века длится день.... роман, повесть
И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ.... РОМАН
ОТ АВТОРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПОСЛЕ СКАЗКИ (БЕЛЫЙ ПАРОХОД). ПОВЕСТЬ
1
2
3
4

5
6
7
ПОДВИГ МИРОПОНИМАНИЯ
INFO

Аннотация

Сборник включает в себя роман «И дольше века длится день...» и повесть «После сказки (Белый пароход)». В основе этих произведений, как и всего творчества Чингиза Айтматова, человек труда, проблемы мира на земле, истоки высокой нравственной красоты и совести.



БИБЛИОТЕКА
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

И дольше века длится день...
роман, повесть

МОСКВА
«Известия»

1986

*

Художник И. УРМАНЧЕ

© Оформление и послесловие.
Издательство «Известия», 1986.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:
Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Юрий Ефремов,
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,
Мирза Ибрагимов, Наталья Игрунова,
Юрий Калещук, Николай Карцов,
Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Вадим Ковский, Григорий Корабельников,
Георгий Ломидзе, Рафаэль Мустафин,
Леонид Новиченко, Александр Овчаренко,
Борис Панкин, Вардгес Петросян,

Юрий Суровцев, Бронислав Холопов, Иван Шамякин, Константин Щербаков, Камиль Яшен

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ... РОМАН

И книга эта — вместо моего тела,
И слово это — вместо души моей.

Григор Нарекаци, «Книга скорби», X век.



ОТ АВТОРА

Общеизвестно: трудолюбие — одно из непременных мерил достоинства человека.

В этом смысле Едигей Жангельдин, Буранный Едигей, так еще называют его знающие люди, поистине настоящий труженик. Он один из тех, на которых, как говорится, земля держится. Он связан со своей эпохой, насколько я могу полагать, наикрепчайшим образом и в том его сущность — он сын своего времени.

Именно поэтому для меня было важно, обращаясь к проблемам, затронутым в романе, увидеть мир через его судьбу — фронтовика, железнодорожного рабочего. И я попытался это сделать в доступной мне мере. Образ Буранного Едигея — это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого был и остается человек труда.

Однако я далек от абсолютизации самого понятия «труженик» лишь потому, что он «простой натуральный человек», усердно пашет землю или пасет скот. В столкновении вечного и текущего в жизни человек-труженик интересен и важен

настолько, насколько он личность, насколько велика его духовная нагрузка, насколько сконцентрировано в нем его время. Вот я и пытался поставить Буранного Едигея в центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем.

Буранный Едигей не только труженик от природы и по роду занятий. Он человек трудолюбивой души. Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, на которые у других всегда есть готовый ответ, поэтому они лениво делают какое-то дело, даже когда делают его хорошо, и живут, только потребляя.

Людей же трудолюбивой души будто соединяет некое братство — они всегда способны отличить один другого и понять, а если не понять, то задуматься. Наше время дает им столько пищи для размышлений, как никакое не давало никогда. Цепочка человеческой памяти уже тянется с Земли в космос.

Должно быть, самое трагическое противоречие конца XX века заключается в беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его из-за политических, идеологических, расовых барьеров, порожденных империализмом.

В условиях сегодняшнего дня, когда не просто

появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этой возможности, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступлений против человека.

Только разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет.

Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмосфера взаимного недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества.

Люди могут быть терпимы друг к другу, но они не могут мыслить одинаково, оставаясь при этом людьми, сохраняя свои человеческие качества. Желание лишить человека его индивидуальности издревле и до наших дней сопровождало цели имперских, империалистических, гегемонистских притязаний.

Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое

место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем.

Достаточно припомнить «культурную революцию» в Китае, манипуляцию сознанием народа, низведшую диалектику многосложности жизни до уровня нескольких цитат из так называемых красных книжечек Мао, судьбу народа, обладающего древнейшей традицией, на фоне сегодняшней гегемонистской политики китайского руководства, чтобы убедиться в сопряженности этих явлений. Как ни парадоксально это может показаться, но сопрягаются и другие вещи: отрицание — или фальсификация — прошлого и самодовольный, чванный шовинизм, которому необходимо возводить вокруг себя китайскую стену, ибо только за ней может поддерживаться миф о превосходстве одного народа над всеми другими.

Как и в прежних своих произведениях, и в этот раз я опираюсь на легенды и мифы, на предания как на опыт, предназначенный нам в наследство предыдущими поколениями. И вместе с тем впервые в своей писательской практике прибегаю к использованию фантастического сюжета. И то и другое для меня не самоцель, а лишь метод

мышления, один из способов познания и интерпретации действительности.

Разумеется, события, связанные с описаниями контактов с внеземной цивилизацией, и все то, что происходит по этой причине, не имеют под собой решительно никакой реальной почвы. Нигде на свете не существуют в действительности сарозекские и невадские космодромы. Вся «космологическая» история вымышлена мной с одной лишь целью — заострить в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на земле.

Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский писал: «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему». Достоевский точно сформулировал закон фантастического. Действительно, мифология ли древних, фантастический реализм Гоголя, Булгакова или Маркеса, научная ли фантастика — при всей их разности все убедительны именно в силу своего соприкосновения с реальным. Фантастическое укрупняет какие-то из сторон реального и, задав «правила игры», показывает их философски обобщенно, до предела стараясь раскрыть потен-

циал развития выбранных его черт.

Фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями — экономическими, политическими, идеологическими, расовыми.

Вот я и хочу, чтобы сарозекские метафоры моего романа напомнили еще раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей земли...

1

Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим логам. Выслеживая запутанные до головокружения, суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старой промоины крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два счета, мышкующая голодная лисица медленно и неуклонно приближалась издали к железной дороге, к той темнеющей ровнопротяженной насыпной гряде в степи, которая ее и манила и отпугивала одновременно, по которой то в одну, то в другую сторону, тяжко содрогая землю окрест, проносились громыхающие поезда, оставляя по себе с дымом и гарью сильные раздражающие запахи, гонимые по земле ветром.

К вечеру лисица залегла пообочь телеграфной линии на дне овражка, в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля и, свернувшись рыжепалевым комком подле темно-красных, густо обсеменившихся стеблей, терпеливо дожи-

далась ночи, нервно прядая ушами, постоянно прислушиваясь к тонкому посвисту понизового ветра в жестко шелестящих мертвых травах. Телеграфные столбы тоже нудно гудели. Лиса, однако, их не боялась. Столбы всегда остаются на месте, они не могут преследовать.

Но оглушительные шумы периодически пробегающих поездов всякий раз заставляли ее напряженно вздрагивать и еще крепче вжиматься в себя. От гудящего пода всем своим хрупким тельцем, ребрами она ощущала эту чудовищную силу землепроминающей тяжеловесности и яростности движения составов и все-таки, превозмогая страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из овражка, ждала своего часа, когда с наступлением ночи на путях станет относительно спокойнее.

Она прибегала сюда крайне редко, только в исключительно голодных случаях…

В перерывах между поездами в степи наступала внезапная тишина, как после обвала, и в той абсолютной тишине лисица улавливала в воздухе настораживающий ее какой-то невнятный высотный звук, витавший над сумеречной степью, едва слышный, никому не принадлежащий. То была игра воздушных течений, то было

к скорой перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал это и горько замирал, застывал в неподвижности, ему хотелось взвыть в голос, затявкать от смутного предощущения некой общей беды. Но голод заглушал даже этот предупреждающий сигнал природы.

Зализывая намаянные в беготне подушечки лап, лиса лишь тихонько поскуливала.

В те дни вечерами уже холодало, дело шло к осени, по ночам же почва быстро выхолаживалась, и к рассвету степь покрывалась белесым, как солончак, налетом недолговечного инея. Скудная, безотрадная пора приближалась для степного зверя. Та редкая дичь, что держалась в этих краях летом, исчезла — кто куда, кто в теплые края, кто в норы, кто подался на зиму в пески. Теперь каждая лисица промышляла себе пропитание, рыская в степи в полном одиночестве, точно бы начисто перевелось на свете лисье отродье. Молодняк того года уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зимой отовсюду для новых встреч, когда самцы будут сшибаться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от сотворения мира…

С наступлением ночи лисица вышла из овраж-

ка. Выждала, вслушиваясь, и потрусила к железнодорожной насыпи, бесшумно перебегая то на одну, то на другую сторону путей. Здесь она выискивала объедки, выброшенные пассажирами из окон вагонов. Долго ей пришлось бежать вдоль откосов, обнюхивая всяческие предметы, дразнящие и отвратительно пахнущие, пока не наткнулась на что-то мало-мальски пригодное. Весь путь следования поездов был засорен обрывками бумаги и скомканных газет, битыми бутылками, окурками, искореженными консервными банками и прочим бесполезным мусором. Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок — разило дурманом. После того как раза два закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух. Фыркала, отскакивала сразу в сторону.

А того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как назло, не встречалось. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, лиса неутомимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую.

Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутая чем-то врасплох. Растворяясь в чалом свете высокой мглистой

луны, она стояла между рельсами как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез. Пока он был слишком далек. Все так же держа хвост на отлете, лиса нерешительно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с пути. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чуяла — вот-вот налетит на находку, хотя неотвратимо надвигались издали всевозрастающим грозным приступом железный лязг и перестук сотен колес. Лиса замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелили степь, безжалостно обнажая ее мертвенную сушь. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью, ударил ветер.

Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело оглядываясь, припадая в страхе к земле. А чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и неслось, долго еще стучало колесами. Лисица

вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног…

Потом она отдышалась, и ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было бы утолить голод. Но впереди на линии снова завиднелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженый состав.

Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят поезда…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом, с появлением поезда навстречу, скатившись вниз с откоса, пробивался, как в пургу, заслоняясь руками от ветра и пыли, выно-

симых шквалом из-под скоростного товарняка (то следовал зеленой улицей литерный состав — поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку в закрытую зону Сары-Озек-1, там у них своя, отдельная путевая служба, уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах). Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему, что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина. Так оно потом и оказалось. Но по долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда полуоглохший от сплошного шума Едигей обернулся к подоспевшей жене:

— Ты чего?

Она тревожно глянула на него и шевельнула губами. Едигей не расслышал, но понял — он этого ждал.

— Пошли сюда от ветра. — Он повел ее в будку.

Но прежде чем услышать из ее уст то, что он уже сам предполагал, почему-то поразило его совсем другое. Хотя и раньше он примечал, что дело шло

к старости, но в этот раз оттого, как задыхалась она после быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее груди и как при этом неестественно высоко вздымались обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный электрический свет в маленькой, начисто выбеленной железнодорожной будке вдруг резко обнаружил никогда уже не обратимые морщины на синюшно потемневших щеках Укубалы (а была ведь литой смуглянкой ровного пшеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском), и еще эта щербатость рта, лишний раз убеждающая, что даже отжившей свой бабий век женщине никак не следует быть беззубой (давно надо было свозить ее на станцию вставить эти самые металлические зубы, теперь все, и стар и млад, ходят с такими), и ко всему тому седые, уже белым-белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резанули сердце. «Эх, как постарела ты у меня», — пожалел он ее в душе с щемящим чувством некой собственной вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за многие годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую дальнюю оконечность разъезда из уважения и

из долга, потому что знала, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала — только Едигей один на свете близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни братом, ни сватом.

— Садись, отдышись, — сказал Едигей, когда они вошли в будку.

— И ты садись, — сказала она мужу.

Они сели.

— Что случилось?

— Казангап умер.

— Когда?

— Да вот только что заглянула — как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком както, задралась кверху. Подхожу. Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горячего, а он уже… Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневших и истончившихся веках, и, всхлипнув, Укубала тихо заплакала. — Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер — некому, оказалось, глаза закрыть, — сокрушалась она, плача. — Кто бы мог подумать! Так и помер чело-

век... — Она собиралась сказать — как собака на дороге, но замолчала, не стоило уточнять, и без того было ясно.

Слушая жену, Буранный Едигей, так звали его в округе оттого, что служил он на разъезде Боранлы-Буранный от тех дней еще, как вернулся с войны, сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он думал?

— Что будем делать теперь? — промолвила жена.

Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой.

— Что будем делать? А что делают в таких случаях. Хоронить будем. — Он привстал с места, как человек, уже принявший решение. — Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей. А сейчас слушай меня.

— Слушаю.

— Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъезда, не важно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. Сорок четыре года проработал человек на одном месте. Оспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап

начинал здесь и никакую собаку ни за какие деньги не затянуть было тогда сюда, на сарозеки. Сколько поездов прошло тут на веку его — волос не хватит на голове… Пусть он подумает. Так и скажи. И еще слушай…

— Слушаю.

— Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу — восемь домов, по пальцам перечесть… Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги.

— А если ругаться начнут?

— Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Постой!

— Что еще?

— Забеги вначале к дежурному, сегодня Шаймер-ден сидит диспетчером, передай ему что и как и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так и скажи!

— Скажу, скажу, — отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею. — А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым долгом весть послать, а то как же? Отец умер…

Едигей нахмурился при этих словах, еще больше посуровел. Не отозвался.

— Какие ни есть, но дети есть дети, — продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.

— Да знаю, — махнул он рукой. — Что ж я, совсем не соображаю? Вот то-то и оно, как можно без них, хотя будь моя воля, я бы их близко не допустил!

— Едигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься…

— А я что, мешаю? Пусть едут.

— А как сын не поспеет из города?

— Поспеет, если захочет. Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Чего еще больше! Он себя умным считает, должен понять что к чему…

— Ну, если так, то еще ладно, — неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила: — Хорошо бы с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь…

— Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать, не малые же дети.

— Да, так-то оно, конечно, — все еще сомневаясь, соглашалась Укубала.

И они замолчали.

— Ну, ты не задерживайся, иди, — сказал было Едигей.

Жена, однако, продолжала:

— А дочь-то его — Айзада горемычная — на станции с мужем своим, забулдыгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны.

Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу.

— Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого… До Айзады тут рукой подать, с утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет. Прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно — и от Айзады и от Сабитжана тем более, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять как гости сторонние, а хоронить будем мы, так уж получается… Иди и делай, как я сказал.

Жена пошла было, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей:

— Не забудь перво-наперво к дежурному, к Шаймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня,

я потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме и рядом никого, как можно… Так и скажи…

И она пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, замигал красным светом сигнализатор — к разъезду Боранлы-Буранный приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую краем линии Укубалу, точно он забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что, мало ли дел перед похоронами, всего сразу не упомнишь, но оглядывался он не поэтому, просто именно сейчас он с огорчением увидел, как состарилась, ссутулилась жена в последнее время, и это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения.

«Стало быть, старость-уже на плечах сидит, — подумалось ему. — Вот и дожили — старик и старуха!» И хотя здоровьем бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый — шестьдесят, да еще с годком, шестьдесят один было уже. «Глядишь, года через два и на пенсию

могут попросить», — сказал Едигей себе не без насмешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на пенсию и не так просто найти человека в этих краях на его место — обходчика путей и ремонтного рабочего, стрелочником он бывал от случая к случаю, когда кто-то заболевал или уходил в отпуск. Разве что кто позарится на дополнительную оплату за отдаленность и безводность? Но вряд ли. Поди таких сыщи среди нынешней молодежи.

Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку не все равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы… И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается его дух, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шаймердена, тот все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо — не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется — трудно

устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются — господи, как тут люди могут жить? Кругом только степь да верблюды! А вот так и живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от силы четыре продержится — и делу тамам[1]: рассчитывается и уезжает куда подальше…

На Боранлы-Буранном только двое укоренились на всю жизнь — Казангап и он, Буранный Едигей. А сколько перебывало других между тем! О себе трудно судить, жил не сдавался, а Казангап отработал здесь сорок четыре года не потому, что дурнее других был. На десяток иных не променял бы Едигей одного Казангапа… Нет теперь его, нет Казангапа…

Поезда разминулись, один ушел на восток, другой на запад. Опустели на какое-то время разъездные пути Боранлы-Буранного. И сразу все обнажилось вокруг — звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее, и ветер резвее загулял по откосам, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами.

Едигей не уходил в будку. Задумался, присло-

---

[1] Примечания: 1
Тамам — конец.

нился к столбу. Далеко впереди, за железной дорогой, различил смутные силуэты пасущихся в поле верблюдов. Они стояли под луной, застыв в неподвижности, пережидали ночь. И среди них различил Едигей своего двугорбого, крупноголового нара — самого сильного, пожалуй, в сарозеках и быстроходного, прозывающегося, как и хозяин, Буранным.

Едигей гордился им, редкой силы животное, хотя и нелегко управляться с ним, потому как Каранар оставался атаном — в молодости Едигей его не кастрировал, а потом не стал трогать.

Среди прочих дел на завтра припомнил для себя Едигей, что надо с утра пораньше пригнать Каранара домой, поставить под седловище. Пригодится для поездок на похоронах. И еще приходили в голову разные заботы…

А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С примостившимися с одного края путей небольшими станционными службами, с домами под одинаковыми двускатными шиферными крышами, их было шесть сборно-щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством, да еще дом Едигея, построенный им самим, и мазанка покойного Казангапа, да разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди

для скота и прочей надобности, в центре ветровая и она же универсальная электронасосная и при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы, — вот и весь поселочек Боранлы-Буранный.

Весь как есть при великой железной дороге, при великой Сары-Озекской степи, маленькое связующее звено в разветвленной, как кровеносные сосуды, системе других разъездов, станций, узлов, городов… Весь как есть, как на духу, открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метут сарозекские вьюги, заваливая дома по окна сугробами, а железную дорогу холмами плотного мерзлого свея… Потому и назывался этот степной разъезд Боранлы-Буранный, и надпись висит двойная: Боранлы — по-казахски, Буранный — по-русски…

Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители — и пуляющие снег струями, и сдвигающие его по сторонам килевыми ножами, и прочие, — пришлось им с Казангапом побороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было. В пятьдесят первом, пятьдесят втором годах — какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходи-

лось так, когда жизни хватало на одну атаку, на один бросок гранаты под танк… Так и здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал. Но зато сам себя не жалел. Сколько заносов перекидали вручную, выволокли волокушами и даже мешками выносили снег наверх, это на седьмом километре, там дорога проходит низом сквозь прорезанный бугор, и каждый раз казалось, что это прследняя схватка с метельной круговертью и что ради этого можно не задумываясь отдать к чертям жизнь, только бы не слышать, как ревут в степи паровозы — им дорогу давай!

Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли… Никому и дела нет теперь до того. Было — не было. Теперешние путейцы прибывают сюда наездами, шумливые типы — контрольно-ремонтные бригады, так они не то что не верят, не понимают, в голову не могут себе взять, как это могло быть: сарозекские заносы — и на перегоне несколько человек с лопатами! Чудеса! А среди них иные в открытую смеются: а зачем это надо было — такие муки брать на себя, зачем было гробить себя, с какой стати! Нам бы такое — ни за что! Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы — и на другое место, на худой конец, на стройку-матку двинулись бы или еще куда, где все как

положено. Столько-то отработали — столько-то плати. А если аврал — собирай народ, гони сверхурочные… «На дурняка выезжали на вас, старики, дураками и помрете!..»

Когда встречались такие «переоценщики», Казангап не обращал на них внимания, точно бы это его не касалось, усмехался только, будто бы он знал про себя нечто большее, им недоступное, а Едигей — тот не выдерживал, взрывался, бывало, спорил, только кровь себе портил.

А ведь между собой у них с Казангапом случались разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о многом другом еще и в прежние годы, когда эти умники наверняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмозговывали житье-бытье насколько хватало разумения и потом постоянно, срок-то был великий от тех дней — с сорок пятого года, и особенно после того, как вышел Казангап на пенсию, да как-то неудачно получилось: уехал в город к сыну на житье и вернулся месяца через три. О многом тогда потолковали, как и что оно на свете. Мудрый был мужик Казангап. Есть о чем вспомнить… И вдруг понял Едигей, с совершенной ясностью и острым ощущением нахлынувшей горечи, что отныне

остается только вспоминать…

Едигей поспешил в будку, услышав, как щелкнул, включился микрофон переговорника. Зашуршало, зашипело, как в пургу, в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался.

— Едике, алло, Едике, — просипел Шаймерден, дежурный по разъезду, — ты слышишь меня? Отзовись!

— Я слушаю! Слышу!

— Ты слышишь?

— Слышу, слышу!

— Как слышишь?

— Как с того света!

— Почему как с того света?

— Да так!

— А-а… Стало быть, старик Казангап того самого!

— Чего того самого?

— Ну, умер, значит. — Шаймерден тщился найти подходящие к случаю слова. — Ну как сказать? Стало быть, завершил, того самого, ну, это самое, свой славный путь.

— Да, — коротко ответил Едигей.

«Вот хайван[2] безмозглый, — подумал он, — о

---

[2] Примечания: 2
Хайван — скотина.

смерти даже не может сказать по-людски».

Шаймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шаймерден прохрипел:

— Едике, дорогой, только ты, того самого, голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь… У меня людей нет. Чего тебе понадобилось сидеть рядом? Покойник, того самого, от этого не подымется, как я думаю…

— А я думаю, понятия у тебя никакого нет! — возмутился Едигей. — Что значит голову не морочь! Ты здесь второй год, а мы с ним тридцать лет проработали вместе. Ты подумай. Среди нас человек умер, нельзя, не положено оставлять покойника одного в пустом доме.

— А откуда ему знать, того самого, один он или не один?

— Зато мы знаем!

— Ну ладно, не шуми, того самого, не шуми, старик!

— Я тебе объясняю.

— Ну что ты хочешь? У меня людей нет. Что там будешь делать, все равно ночь кругом.

— Буду молиться. Покойника буду обряжать. Молитвы буду приносить.

— Молиться? Ты, Буранный Едигей?

— Да, я. Я знаю молитвы.

— Вот те раз — шестьдесят лет, того самого, советской власти.

— Да ты оставь, при чем тут советская власть! По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина!

— Ну ладно, молись, того самого, только не шуми. Пошлю за Длинным Эдильбаем, если согласится, то придет, того самого, заступит вместо тебя… А сейчас давай, сто семнадцатый подходит, готовь на вторую запасную…

И на том Шаймерден отключился, щелкнул выключатель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдильбай. И обнадежился, совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах. Собаки залаяли. Значит, жена тревожит, поднимает боранлинцев на ноги.

Тем временем сто семнадцатый встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав одни цистерны. Они разминулись, один — на восток, другой — на запад…

Был уже второй час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засветила над сарозеками чуть яр-

че, наполняясь некой добавочной постепенно приливающей силой. А под звездным небом далеко, беспредельно простерлись сарозеки, только контуры верблюдов — и среди них двугорбый великан Буранный Каранар — да смутные очертания ближайших привалков были различимы, а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность. Да ветер не спал, все посвистывал, шуршал вокруг сором.

Едигей то входил, то выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях Эдильбай. И тут он увидел в стороне зверька какого-то. То оказалась лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом. Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убегать.

— Ты чего тут! — пробормотал Едигей, шутливо пригрозив пальцем. Лиса не испугалась. — Ты смотри! Я тебя! — И притопнул ногой.

Лисица отскочила подальше и села, оборотившись к нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое возле него. Что ее могло привлекать, почему она появилась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли с голоду пришла? Странным показалось Едигею ее пове-

дение. А почему не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки просится. Едигей нашарил на земле камень покрупней. Примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги. Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит человеку в голову! Чушь какая-то? Собираясь прибить лису, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, то ли кто из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о боге беседовал, то ли еще кто-то, да нет же, Саоитжан рассказывал, будь он неладен, вечно у него разные чудеса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других. Сабитжан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном переселении душ.

Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. Поглядеть с первого раза — вроде ничего малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человечек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты говорить мастак, а дела нет. Пустышка, одним словом, оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын. Но бог с ним, что ж делать, какой есть.

Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии

верят в учение, по которому считается, что если человек умирает, то душа его переселяется в какую-нибудь живую тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что каждый человек когда-то, еще до своего рождения побывал до этого птицей, или зверем каким-нибудь, или насекомым. Поэтому у них грех убить любую животину, пусть даже змея, кобра, встретится на пути, не тронет, а лишь поклонится и уступит дорогу.

Каких только чудес нет на свете. Насколько все это верно, кто его знает. Мир велик, а человеку не все дано знать. Вот и подумалось, когда хотел пристукнуть камнем лису: а что, если в ней отныне душа Казангапа? Что, если, переселившись в лису, пришел Казангап к своему лучшему другу, потому что в мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо?.. «Из ума выживаю никак! — укорял он себя. — И как может такое придуматься? Тьфу ты? Оглупел вконец!»

И все-таки, подступая осторожно к лисице, он говорил ей, точно она могла понимать его речь:

— Ты иди, не место тебе здесь, иди к себе в степь. Слышишь? Иди, иди. Только не туда — там собаки. Ступай с богом, иди себе в степь.

Лисица повернулась и потрусила прочь. Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме.

Между тем на разъезд снова входил очередной железнодорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения — летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист:

— Эй, Едике, Буранный, ассалам-алейкум!

— Алеким-ассалам!

Едигей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга. Свой оказался парень. С ним и передал Едигей, чтобы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада, сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казан-гапа, тем более, на Кумбеле пересмена поездных бригад, и обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей, если она к тому времени поспеет.

Человек был надежный. Едигей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано.

Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна, вдоль набирающего ход состава. Едигей вгляделся, то был Эдильбай.

Пока Едигей сдал смену, пока они с Длинным Эдильбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на Боранлы-Буранный вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее посоветоваться, как же быть, дочерям-то своим да зятьям как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стороне — под Кызыл-Ордой. Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре, в тот же совхоз, муж ее работал шофером. И хотя Казангап не приходился им родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангап был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем на Боранлы-Буранном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил девчушек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул возили их верхом на верблюде. Младшая впереди, отец посередине,

старшая сзади — и поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистой бежал Каранар от Боранлы-Буранного до Кумбеля. А когда Едигею некогда было, отвозил их Казангап. Он был им как отец. Едигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют… Но пусть знают, что нет больше старика Казангапа…

Потом он шел и думал о том, что утром первонаперво надо пригнать с выпаса своего Каранара, очень он нужен будет. Умереть не просто, а похоронить человека честь по чести в этом мире тоже нелегко… Обнаруживается всегда, что того нет, этого нет, что все нужно добывать в спешном порядке, начиная от савана и кончая дровами для поминок.

Именно в тот момент в воздухе что-то колыхнулось, напомнило, как бывало на фронте, отдаленный удар мощной взрывной волны, и земля содрогнулась под ногами. И он увидел прямо перед собой, как далеко в степи, в той стороне, где располагался, насколько ему было известно, Сарозекский космодром, что-то взлетело в небо сплошь пламенеющим, вырастающим ввысь огненным смерчем. И оторопел — в космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видывал. Он знал, как все сарозек-

цы, о существовании космодрома Сары-Озек-1, то было отсюда километрах в сорока или чуть поменьше, знал, что туда проброшена отдельная железнодорожная ветка от станции Тогрек-Там, и рассказывали даже, что в той стороне в степи возник большой город с большими магазинами, слышал бесконечно по радио, в разговорах, читал в газетах о космонавтах, о космических полетах. Все это происходило где-то поблизости, во всяком случае на концерте самодеятельности в областном городе, где жил Сабитжан, а город этот находился куда дальше — около полутора суток езды поездом, — детишки хором пели песенку о том, что они самые счастливые дети на свете, потому что дяди космонавты уходят в космос с их земли; но поскольку все, что окружало космодром, считалось закрытой зоной, то Едигей, живя не так далеко от этих мест, довольствовался тем, что слышал и узнавал стороной. И вот впервые наблюдал воочию, как стремительно вздымалась в бушующем напряженном пламени, озаряя округу трепещущими сполохами света, космическая ракета в темную, звездную высь. Едигею стало не по себе — неужто в том огнище сидит человек? Один или двое? И почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше не видел момента

взлета, ведь сколько раз уже летели в космос, со счета собьешься. Может быть, в те разы корабли улетали днем. При солнечном свете с такого расстояния вряд ли что различишь. А этот-то почему рванулся ночью? Значит, к спеху или так положено? А возможно, он поднимается от земли ночью, а там сразу попадает в день? Сабитжан как-то рассказывал, словно бы сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Сабитжана. Сабитжан все знает. Очень уж хочется ему быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в областном городе работает. Ну не прикидывался бы. К чему? Кто ты есть, тем и будь. «Я с тем-то был, с большим человеком, я тому-то то-то сказал». А Длинный Эдильбай рассказывал — попал он к нему как-то раз на службу. Только и бегает, говорит, наш Сабитжан от телефонов к дверям кабинета в приемной, только успевает: «Слушаюсь, Альжапар Кахарманович! Есть, Альжапар Кахарманович! Сию минуту, Альжапар Кахарманович!» А тот, говорит, сидит там в кабинете и все кнопками погоняет. Так и не поговорили между собой толком… Вот такой он, говорит, оказался, наш землячок боранлин-ский. Да бог с ним, какой уж есть… Жаль только Ка-зангапа. Он ведь очень

переживал за сына. До самых последних дней не говорил о нем ничего худого. Переехал даже было в город к сыну да снохе на житье, сами же его упросили, сами же увозили, а что получилось… Ну, это отдельный разговор…

С такими мыслями уходил Едигей той глубокой ночью, проводив космическую ракету до самого полного ее исчезновения. Долго следил он за этим чудом. И когда огненный корабль, все сжимаясь и уменьшаясь, канул в черную бездну, превратившись в белую туманную точечку, он покрутил головой и пошел, испытывая странные, противоречивые чувства. Восхищаясь увиденным, он в то же время понимал, что для него это постороннее дело, вызывающее и удивление и страх. Вспомнилась при этом вдруг та лисица, которая прибегала к железной дороге. Каково-то ей стало, когда застиг ее в пустой степи этот смерч в небе. Не знала, наверно, куда себя девать…

Но сам-то он, Буранный Едигей, свидетель ночного взлета ракеты в космос, не подозревал, да и не полагалось ему знать, что то был экстренный, аварийный вылет космического корабля с космонавтом — без всяких торжеств, журналистов и рапортов, в связи с чрезвычайным происшествием на космической станции «Пари-

тет», находившейся уже более полутора лет по совместной американо-советской программе на орбите, условно называемой «Трамплин». Откуда Едигею было знать обо всем этом. Не подозревал он и о том, что это событие коснется и его, его жизни, и не просто по причине нерасторжимой связи человека и человечества в их всеобщем значении, а самым конкретным и прямым образом. Тем более не знал он и не мог предполагать, что некоторое время спустя вслед за кораблем, стартовавшим с Сары-Озека, на другом конце планеты, в Неваде, поднялся с космодрома американский корабль с той же задачей, на ту же станцию «Паритет», на ту же орбиту «Трамплин», только с обратным ходом обращения.

Корабли были срочно посланы в космос по команде, поступившей с научно-исследовательского авианосца «Конвенция», являвшегося плавучей базой Объединенного советско-американского центра управления программы «Демиург».

Авианосец «Конвенция» находился в районе своего постоянного местопребывания — в Тихом океане, южнее Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Объединенный центр

управления — Общенупр — в это время напряженно следил за выходом обоих кораблей на орбиту «Трамплин». Пока все шло успешно. Предстояли маневры по стыковке с комплексом «Паритет». Задача была наисложнейшая, стыковка должна была происходить не последовательно, одна вслед за другой с необходимым интервалом очередности, а одновременно, совершенно синхронно с двух разных подходов к станции.

«Паритет» не реагировал на сигналы Общенупра с «Конвенции» уже свыше двенадцати часов, не реагировал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на стыковку… Предстояло выяснить, что произошло с экипажем «Паритета».

2

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

По сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

От разъезда Боранлы-Буранный до родового найманского кладбища Ана-Бейит было по меньшей мере километров тридцать в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, наугад по сарозекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться, случаем, в степи, то лучше ехать обычной колеей, что все время сопутствует железной дороге, но тогда расстояние до кладбища еще больше увеличится. Придется делать добрый крюк до поворота от Кыйсыксайской пади на Ана-Бейит. Иного выхода нет. Вот и получается в лучшем

случае тридцать верст в один конец да столько же в другой. Но кроме самого Едигея, никто из нынешних боранлинцев толком и не знал, как туда добираться, хотя слышать слышали о том старинном Бейите, о котором рассказывали всякие истории, то ли были, то ли небылицы, но самим пока не доводилось туда наезжать. Нужды такой не возникало. За многие годы это был первый случай в Бо-ранлы-Буранном, придорожном поселочке из восьми домов, когда умер человек и предстояли похороны. До этого несколько лет назад, когда в одночасье скончалась девочка от грудного удушья, родители увезли ее хоронить к себе на родину, в Уральскую область. А жена Казангапа старушка Букей покоилась на станционном погосте в Кумбеле — умерла в тамошней больнице несколько лет назад, ну и решили тогда на станции и схоронить. Везти покойницу в Боранлы-Буранный не было смысла. А Кумбель — самая большая станция в Сары-Озеках, к тому же дочь Айзада проживает там да зять, пусть и непутевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут. Но тогда жив был Казангап, он сам решал, как ему поступить.

А теперь думали-гадали, как быть.

Едигей, однако, настоял на своем.

— Да бросьте вы неджигитские речи, — урезонил он молодых. — Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите, где предки лежат. Там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем. Путь предстоит не близкий. Завтра с утра пораньше двинемся…

Все понимали — Едигей имел право принять решение. На том и согласились. Правда, Сабитжан пробовал было возразить. Подоспел он в тот день попутным товарняком, пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще тот или нет, уже одно это растрогало и даже обрадовало Едигея. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединенные общим горем и печалью. Едигей потом удивлялся себе. Прижимая Сабитжана к груди и плача, он не мог совладать с собой, все говорил, всхлипывая: «Хорошо, что ты приехал, родимый, хорошо, что ты приехал!» — точно бы его приезд мог воскресить Казангапа. И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять, никогда с ним такого не случалось. Что-то подействовало на него. Вспомнилось, что Сабитжан вырос у него на глазах, мальчонкой был, любимцем отца был, возили его учиться в кум-бельскую

школу-интернат для детей железнодорожников, как выпадало свободное время, наезжали проведать — то попутным составом, то верхами на верблюдах. Как он там в общежитии, не обидел ли кто, не натворил ли дел каких недозволенных, да как учится, да что говорят о нем учителя… А на каникулах сколько раз, укутав в шубу, везли верхами по снежным сарозекам, в мороз да вьюгу, чтобы только не опоздал на занятия.

Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло, как сон. И вот теперь стоит взрослый человек, лишь отдаленно напоминающий того, каким он был в детстве — пучеглазый и улыбчивый, а теперь, в очках, в расплющенной шляпе, при затрепанном галстуке. Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным, большим работником, а жизнь штука коварная, не так-то просто выйти в начальники, как сам он не раз жаловался, если нет поддержки хорошей да знакомства или родства, а кто он — сын какого-то Казангапа с какого-то разъезда Боранлы-Буранного. Вот несчастный-то! Но теперь и такого отца нет, самый никудышный отец, да живой, в тысячу раз лучше прославленного мертвого, но теперь и такого нет…

А потом слезы унялись. Перешли к разгово-

рам, к делу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий не хоронить приехал отца, а только бы отделаться, прикопать как-нибудь и побыстрей обратно. Стал он мысли такие высказывать — к чему, мол, тащиться в эдакую даль на Ана-Бейит, вокруг вон сколько простора — безлюдная степь Сары-Озек от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, у железнодорожной линии, пусть лежит себе старый обходчик да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю: избавление от мертвого в закопании скором. К чему тянуть, зачем мудрить, не все ли равно, где быть зарытым, в деле таком чем быстрей, тем лучше.

Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе и времени в обрез, известное дело, начальству какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство и город есть город…

Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно стало, что плакал навзрыд, растроганный

появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места, сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у стены, и ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой день чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только:

— Места-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких где попало. Неспроста, должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому? — И замолчал, и его молча слушали боранлинцы. — Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела.

И пошел, потемнев лицом, подальше от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был, горяч, — Буранным прозвали еще и потому, что характером был под стать тому. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабит — жаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслужил. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь! Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушукаются, возмущаются — приехал, мол сынок хоронить отца как в гости. С пустыми руками в карманах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, сноха-то городская, могла бы уважить,

приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда, ни совести. Когда старик был жив да при достатке — пара дойных верблюдиц, овец с ягнятами полтора десятка — тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели да машину заодно, а потом старик оказался ненужным. Теперь и носа не кажет. Хотели было женщины шум поднять, да Едигей не позволил. Не смейте, говорит, и рта раскрывать в такой день, и не наше это дело, пусть сами разбираются…

Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи, изредка, но сердито покрикивая, пригнанный им с выпаса Буранный Каранар. Если не считать того, что раза два приходил Каранар с гуртом воды напиться из колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился, злодей, и вот теперь выражал свое недовольство — свирепо разевая зубатую пасть, вопил время от времени: старая история — снова неволя, а к ней надо привыкать.

Едигей был раздосадован после разговора с Сабитжаном, хотя заранее знал, что так оно и будет. Получалось — Сабитжан делал им одолжение,

присутствуя на похоронах собственного отца. Для него это обуза, от которой надо суметь побыстрей отвязаться. Не стал Едигей тратить лишних слов, не стоило того, поскольку так и так приходилось делать все самому, да вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был занят на линии, помогали в приготовлении к завтрашним похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тесто готовили и уже начали хлебы печь, мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой срок старые шпалы — топливо в голой степи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Сабитжан мешался тут, отвлекая от дел, разглагольствовал о том о сем, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что жена его не приехала хоронить свекра, это его нисколько не смущало. Чудной, ей-богу! У нее, видите ли, какая-то конференция, а на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там борются за успеваемость и посещаемость, чтобы аттестат получить в лучшем виде для поступления в институт. «Что за люди пошли, что за народ! — негодовал в душе Едигей. — Для них все важно на свете, кроме смерти!» И это не давало ему покоя:

«Если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл, для чего и как они живут там?»

Едигей в сердцах накричал на Каранара:

— Ты чего орешь, крокодил? Ты чего орешь в небо, как будто там тебя сам бог слышит? — Крокодилом обзывал Едигей своего верблюда в самых крайних случаях, когда уж совсем выходил из себя. Это приезжие путейцы придумали Буранному Каранару такую кличку за зубатую пасть его и злой норов. — Ты у меня докричишься, крокодил, я тебе все зубы пообломаю!

Надо было соорудить седло на верблюде, и, приступая к делу, Едигей понемногу отошел, смягчился.

Залюбовался. Красив и могуч был Буранный Каранар. До головы рукой не дотянешься, хотя Едигей был росту достаточного. Едигей изловчился, пригнул верблюду шею и, постукивая кнутовищем по мозолистым коленям, внушая строгим голосом, осадил его. Громко протестуя, верблюд все же подчинился воле хозяина, и когда наконец, сложив под себя ноги, он прилег грудью на землю и успокоился, Едигей начал работу.

Оседлать верблюда по-настоящему — это большая работа, все равно что дом построить.

Седло сооружается каждый раз заново, сноровка должна быть, да и силы немалые, тем более если седлаешь такого громадного верблюда, как Каранар.

Каранаром, то есть Черным наром, он прозывался неспроста. Черная патлатая голова с черной, росшей до загривка мощной бородой, шея понизу вся в черных космах, свисающих до колен густой дикой гривой — главное украшение самца, — пара упругих горбов, возвышающихся, как черные башни, на спине. И в довершение всего, черный кончик куцего хвоста. А все остальное — верх шеи, грудь, бока, ноги, живот, — наоборот, было светлое, светло-каштановой масти. Тем и пригож был Буранный Каранар, тем и славен — и статью и мастью. И находился он в ту пору в самой атановской зрелости — третий десяток шел Каранару от роду.

Верблюды долго живут. Оттого, наверно, детенышей рожают на пятом году и затем не каждый год, а лишь в два года раз, и плод вынашивают в утробе дольше всех среди животных — двенадцать месяцев. Верблюжонка, самое главное, выходить в первые год-полтора, уберечь от простуды, от сквозняка степного, а потом он растет день ото дня, и тогда ничто ему не страшно — ни

холод, ни жара, ни безводье…

Едигей знал толк в этом деле — содержал Буранного Каранара всегда в справности. Первый признак здоровья и силы — черные горбы на нем торчали как чугунные. Когда-то Казангап подарил ему верблюжонка еще молочным, махоньким, пушистым, как утенок, в те годы первоначальные, когда вернулся Едигей с войны да обосновался на разъезде Боранлы-Буранном. А сам Едигей молодой был еще — куда там! Знать не знал, что пробудет здесь до стариковских седин. Иной раз глянет на те фотографии и сам не верит себе. Здорово изменился — сивым стал. Даже брови и те побелели. В лице, конечно, изменился. А телом не потяжелел, как бывает в таком возрасте. Как-то само по себе получилось — вначале усы отрастил, потом бороду. А теперь вроде никак без бороды, все равно, что голым ходить. Целая эпоха минула, можно сказать, с тех пор.

Вот и сейчас, оседлывая Каранара, лежащего на земле, приструнивая его то голосом, то намахом руки, когда тот нет-нет да огрызался, рявкая, как лев, поворачивая черную патлатую голову на длиннющей шее, Едигей между делом припоминал, что было да как было в те годы. И отходил душой…

Долго он возился, все укладывал, улаживал сбрую. В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл Каранара лучшей выездной попоной, вещью старинной работы, с разноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами. Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он Каранара этой редкой сбруей, ревниво сберегаемой Укубалой. Выпал теперь такой случай…

Когда Буранный Каранар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен. И даже возгордился своей работой. Каранар выглядел внушительно и величественно, украшенный попоной с кистями и мастерски сооруженным седлом между горбами. Нет, пусть полюбуются молодые, особенно Сабитжан, пусть поймут: похороны достойно прожившего человека не обуза, не помеха, а великое, пусть и горестное событие и тому должны быть свои подобающие почести. У одних играют музыку, выносят знамена, у других палят в воздух, у третьих цветы раскидывают и венки несут…

А он, Буранный Едигей, завтра с утра возглавит верхом на Каранаре, убранном попоной с кистями, путь на Ана-Бейит, провожая Казангапа к его последнему и вечному местопребыванию… И всю дорогу Едигей будет думать о нем, пересекая

великие и пустынные сарозеки. И с мыслями о нем предаст его земле на родовом кладбище, как и был у них о том уговор. Да, был такой уговор. Далеко ли, близко ли путь держать, но никто не разубедит его в том, что нужно выполнить волю Казангапа, даже родной сын покойного…

Пусть все знают, что быть посему, и для этой цели его Каранар готов — оседлан и обряжен сбруей.

Пусть все видят. Едигей повел Каранара на поводу от загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле казангаповской мазанки. Пусть все видят. Не может он, Буранный Едигей, не сдержать своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбруей, Длинный Эдильбай, улучив момент, отозвал Сабитжана в сторону:

— Пошли-ка в тенек потолкуем.

Там у них разговор состоялся недолгий. Эдильбай не стал уговаривать, высказался напрямик:

— Ты вот что, Сабитжан, возблагодари бога, что есть такой Буранный Едигей на свете, друг твоего отца. И не мешай нам похоронить человека как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли!

— Это мой отец, и я сам знаю… — начал было Са-

битжан, но Эдильбай перебил его на полуслове:

— Отец-то твой, да только вот ты сам не свой.

— Ну ты скажешь, — сбавил тон Сабитжан. — Ладно, давай не будем в такой день. Пусть будет Ана-Бейит, какая разница, просто я думал — далековато…

На том разговор их закончился. И когда Едигей, поставив Каранара всем напоказ, вернулся и сказал боранлинцам: «Да бросьте вы неджигитские речи. Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите…» — то никто не возразил, все молча согласились…

Вечер и день того дня коротали все сообща, по-соседски, во дворе перед домом умершего, благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступила резкая предосенняя прохлада сарозеков. Великая, сумеречная, безветренная тишина объяла мир. И уже в сумерках закончили свежевать тушу заколотого к завтрашним поминкам барана. А пока чаи пили у дымящих самоваров да разговоры всякие вели о том о сем… Почти все приготовления к похоронам были сделаны, и теперь оставалось лишь ждать утра, чтобы двинуться на Ана-Бейит. Тихо и умиротворенно протекали те вечерние часы, как и полагается при кончине престарелого человека, что уж боль-

но тужить…

А на разъезде Боранлы-Буранном, как всегда, приходили и уходили поезда — сходились с востока и запада и расходились на восток и запад…

Так обстояли дела в тот вечер накануне выезда на Ана-Бейит, и все бы ничего, если бы не один неприятный случай. К тому времени попутным товарняком прибыла на похороны отца и Айзада со своим мужем. И как только она огласила свое появление громким рыданием, женщины окружили ее и тоже подняли плач. Особенно Укубала переживала, убивалась вместе с Айзадой. Жалела она ее. Крепко они плакали и причитали. Едигей пытался было успокоить Айзаду: что ж, мол, теперь делать, за умершим вслед не умрешь, надо примириться с судьбой. Но Айзада не унималась.

Так оно бывает зачастую — смерть отца явилась для нее поводом выплакаться, излить принародно душу, все то, что давно не находило открытого выхода в слове. Плача в голос, обращаясь к умершему отцу, растрепанная и опухшая, горько сетовала она по-бабьи на свою нескладную судьбину, что некому ее ни понять, ни приветить, что не удалась ее жизнь с молодых лет, муж — пропойца, дети с утра до вечера околачиваются на станции без призора и строгости и потому

превратились в хулиганов, а завтра, может, и бандитами станут, поезда начнут грабить, старший вон выпивать уже начал и милиция уже приходила, предупредили ее — скоро дело дойдет до прокуратуры. Что она может поделать одна, ведь их шестеро! А отцу хоть бы что…

Тому и действительно было хоть бы что, сидел с грустным, отрешенным видом, все же на похороны тестя приехал, и молча курил вонючие, просовые сигареты. Для него это было не впервой. Он знал: покричит-покричит баба и устанет… Но тут некстати вмешался брат — Сабитжан. С того и началось. Сабитжан стал совестить сестру: где это видано, что это за манера, зачем она приехала — отца хоронить или себя срамить? Разве так пристало оплакивать казахской дочери своего почтенного отца? Разве великие плачи казахских женщин не становились легендами и песнями для потомков на сотни лет? От тех плачей лишь мертвые не оживали, а все живые вокруг исходили слезами. А умершему воздавалась хвала и все его достоинства возносились до небес, — вот как плакали прежние женщины. А она? Развела тут сиротскую жалобу, как ей плохо и худо на свете!

Айзада только этого вроде и ждала. И вскричала она с новой силой и яростью. Ах ты какой

умный и ученый выискался! Ты, мол, вначале свою жену научи. Ты эти красивые слова вначале ей втолкуй! Почему-то она не приехала и не показала нам плач величальный. А уж ей-то не грех было бы и воздать должное отцу нашему, потому как она, бестия, и ты, подкаблучник подлый, обобрали, ограбили старика до ниточки. Мой муж, какой он ни алкоголик, но он здесь, а где твоя умная-разумная?

Сабитжан тогда стал орать на ее мужа, чтобы он заставил замолчать Айзаду, а тот вдруг взбеленился и кинулся душить Сабитжана…

С трудом удалось боранлинцам утихомирить разошедшихся родственников. Неприятно и стыдно было всем. Едигей очень расстроился. Знал он им цену, но такого оборота не ожидал. И в сердцах предупредил их строго-настрого: если вы не уважаете друг друга, то не позорьте хотя бы память отца, а иначе не позволю вам здесь никому оставаться, не посмотрю ни на что, пеняйте на себя…

Да, вот такая нехорошая история вышла накануне похорон. Сильно был мрачен Едигей. И опять напряженно сошлись брови на хмуром челе, и опять терзали его вопросы — неужели это они, дети их, и почему они стали такими? Разве

об этом мечтали они с Казангапом, когда в жару и стужу возили их в кумбельский интернат, чтобы только выучились, вышли в люди, чтобы не остались прозябать на каком-нибудь разъезде в сарозеках, чтобы не кляли потом судьбу; вот, мол, родители не позаботились. А получилось-то все наоборот… Почему, что помешало им состояться людьми, от которых не отвращалась бы душа?..

И опять Длинный Эдильбай выручил, чуткость житейскую проявил, чем очень облегчил положение Едигея в тот вечер. Он-то понимал, каково было Едигею. Дети умершего родителя всегда главные лица на похоронах, так уж оно устроено на свете. И никуда их не денешь, никуда не удалишь, какими бы бесстыжими и никчемными они ни оказались. Чтобы как-то сгладить омрачивший всех скандал между братом и сестрой, Эдильбай пригласил всех мужчин к себе в дом. Что, мол, мы будем во дворе звезды на небе считать, пойдемте почаюем, посидим у нас…

В доме у Длинного Эдильбая Едигей попал будто в иной мир. Он и прежде захаживал сюда по-соседски и каждый раз оставался доволен, душа его наполнялась радостью за эдильбаевскую семью. Сегодня же ему хотелось подольше побыть здесь, потребность была такая — точно бы он должен

был восстановить в этом доме некие утраченные силы.

Длинный Эдильбай был таким же путевым рабочим, как и другие, получал не больше других, жил, как и все, в половине сборно-щитового домика из двух комнат да кухни, но совсем иная жизнь царила здесь — чисто, уютно, светло. Тот же самый чай, что и у других, в эдильбаевских пиалах Едигею показался прозрачным сотовым медом. Жена Эдильбая и собой ладная и дому хозяйка, и дети как дети… Поживут в сарозеках сколько смогут, полагал Едигей про себя, а там переберутся куда получше. Жаль очень будет, когда уедут они отсюда…

Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Едигей во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках, и первый раз за день почувствовал, что и устал и проголодался. Прислонился спиной к дощатой стене, примолк. А вокруг расположились по краям круглого столика остальные гости, негромко переговариваясь о том о сем…

Настоящий разговор возник потом, странный разговор завязался. Едигей уже и забыл о космическом корабле, стартовавшем прошлой ночью. А вот знающие люди кое-что сказали такое, что и он призадумался. Не то чтобы он сделал откры-

тие для себя, просто подивился их суждениям и своему неведению на этот счет. Но он при том не испытывал внутреннего укора — для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были чем-то очень далеким, почти мистическим. Потому и отношение ко всему этому было настороженно-почтительное, как к появлению некой могучей безликой воли, которую в лучшем случае он вправе лишь принять к сведению. И, однако, зрелище уходящего в космос корабля потрясло и захватило его. Об этом и зашла речь в доме Длинного Эдильбая.

Сидели они вначале, пили шубат — кумыс из верблюжьего молока. Отличный был шубат, прохладный, пенистый, слегка хмельной. Приезжие контрольно-ремонтные путейцы, бывало, здорово пили его, называли сарозекским пивом. А к горячей закуске в этом доме оказалась и водка. Когда случалось такое дело, Буранный Едигей вообще-то не отказывался, выпивал за компанию, но в этот раз не стал и тем самым, как полагал он, и другим дал понять, что не советует увлекаться — завтра предстоял тяжелый день, далекий путь. Беспокоило его то, что другие, особенно Сабитжан, налегали, запивали водку шубатом. Шубат и водка хорошо совмещаются, как пара добрых

коней, хорошо идут в одной упряжке — поднимают настроение человека. Сегодня же это было ни к чему. Но как прикажешь взрослым людям не пить? Сами должны знать меру. Успокаивало по крайней мере то, что муж Айзады пока воздерживался от водки, алкоголику сколько надо-то, окосел бы враз, но он пил только шубат, видимо, понимал все-таки, что это уж слишком — валяться в дым пьяным на похоронах тестя. Однако насколько хватит его выдержки, одному богу было ведомо.

Так сидели они в разговорах о разностях, когда Эдильбай, потчуя гостей шубатом — руки у него длиннющие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша экскаватора, — вспомнил вдруг, протягивая очередную чашку Едигею с другого края стола:

— Едике, вчера ночью, когда я сменил вас на дежурстве, только вы удалились, как что-то стряслось в воздухе, я аж закачался. Глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо! Огромная! Как дышло! Вы видели?

— Ну еще бы! Рот разинул! Вот это сила! Вся в огне полыхает и все вверх, вверх, ни конца ей, ни края! Жутко стало. Сколько живу здесь, никогда такого не видел.

— Да и я впервые своими глазами увидел, — признался Эдильбай.

— Ну, если ты впервые, то такие, как мы, и подавно не могли увидеть, — намекнул Сабитжан на его рост.

Длинный Эдильбай на это лишь усмехнулся.

— Да уж, — отмахнулся он. — Смотрю и сам себе не верю — сплошь огонь гудит в вышине! Ну, думаю, еще кто-то двинулся в космос. Счастливого пути! И давай быстрей крутить транзистор, я его всегда с собой беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка. Обычно сразу же передача с космодрома. И диктор на радостях как на митинге вроде выступает. Аж мурашки по коже! Очень хотелось мне, Едике, узнать, кто это, кого лично видел я в полете. Но так и не узнал.

— А почему? — опережая всех, подивился Сабитжан, многозначительно и важно приподнимая брови. Он уже начал пьянеть. Распарился, раскраснелся.

— Не знаю. Ничего не сообщили. Я «Маяк» все время на волне держал, ни слова не сказали даже…

— Не может быть! Тут что-то не так! — заявил Сабитжан, быстро запивая еще глоток водки шубатом. — Каждый полет в космос — это мировое

событие… Понимаешь? Это наш престиж в науке и политике!

— Не знаю почему. И в последних известиях специально слушал, и обзор газет слушал тоже…

— Хм! — покрутил головой Сабитжан. — Будь я на месте, на службе своей, я бы конечно знал! Обидно, черт возьми. А, возможно, тут что-то не то.

— Кто его знает, что тут то, что не то, а только мне лично обидно, ей-богу, — чистосердечно выкладывал Длинный Эдильбай. — Для меня он вроде свой космонавт. При мне полетел. А может, думаю, кто из наших парней отправился. То-то будет радости. Вдруг где и встретимся, приятно ведь было бы…

Сабитжан торопливо перебил его, взволнованный какой-то догадкой:

— А-а, я понимаю! Это запустили беспилотный корабль. Выходит, для эксперимента.

— Как это? — покосился Эдильбай.

— Ну, экспериментальный вариант. Понимаешь, это проба. Беспилотный транспорт пошел на стыковку или на выход на орбиту, и пока неизвестно, как и что получится. Если все удачно произойдет, то будет сообщение и по радио и в газетах. А если нет, то могут и не информировать.

Просто научный эксперимент.

— А я-то думал, — Эдильбай огорченно поскреб лоб, — что живой человек полетел.

Все примолкли, несколько разочарованные сабитжановским объяснением, и, возможно, разговор на том и заглох бы, да только сам Едигей нечаянно сдвинул его на новый круг:

— Стало быть, как я понял, джигиты, в космос ушла ракета без человека? А кто ею управляет?

— Как кто? — изумленно всплеснул руками Сабитжан и торжествующе глянул на невежественного Едигея. — Там, Едике, все по радио делается. По команде Земли, из Центра управления. Всеми делами по радио управляют. Понимаешь? И если даже космонавт на борту, все равно по радио направляют полет ракеты. А космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринимать... Это, кокетай[3] дорогой, не на Каранаре ехать по сарозекам, очень там все сложно...

— Вот оно что, скажите, — невнятно проронил Едигей.

Буранному Едигею непонятен был сам принцип управления по радио. В его представлении

---

[3] Примечания: 3

Кокетай — ласкательно-уменьшительное и в то же время снисходительное обращение.

радио — это слова, звуки, доносимые по эфиру с далеких расстояний. Но как можно управлять таким способом неодушевленным предметом? Если внутри предмета человек находится, тогда другое дело: он исполняет указания — делай так, делай эдак. Хотел Едигей все это порасспросить, да решил, что не стоит. Душа почему-то противилась. Промолчал. Очень уж снисходительным тоном преподносил Сабитжан свои познания. Вот, мол, вы ничего не знаете, да еще считаете меня никчемным, а зять, алкоголик последний, душить меня даже кинулся, а я больше всех вас понимаю в таких делах. «Ну и бог с тобой, — подумал Едигей. — На то мы тебя учили всю жизнь. Должен же хоть что-то знать больше нас, неучей». И еще подумалось Буранному Едигею: «А что, если такой человек у власти окажется — заест ведь всех, заставит подчиненных прикидываться всезнайками, иных нипочем не потерпит. Он пока на побегушках состоит, и то как хочется ему, чтобы все в рот ему глядели, хотя бы здесь в сарозеках...»

А Сабитжан и впрямь, должно быть, задался целью окончательно поразить, подавить боранлинцев, возможно, с тем чтобы таким образом поднять себе цену в их глазах после позорно-

го скандала с сестрой и свояком. Заговорить, отвлечь решил. И стал он рассказывать им о невероятных чудесах, о научных достижениях, а сам при этом то и дело пригубливал водку, полглотка да еще полглотка, и запивал шубатом. От этого он все больше возгорался и стал рассказывать такие невероятные вещи, что бедные боранлинцы не знали уже, чему верить, а чему нет.

Вот посудите сами, — говорил он, поблескивая очками и обводя всех распаленным завораживающим взглядом, мы, если иметь понимание, самые счастливые люди в истории человечества. Вот ты, Едике, самый старший теперь среди нас. Ты знаешь, Едике, как было прежде и как теперь. К чему я говорю. Прежде люди верили в богов. В древней Греции жили они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги?! Придурки. Что они могли? Между собой не ладили, тем и прославились, а изменить образ жизни людской они не могли, да и не думали об этом. Их и не было, этих богов. Это все мифы. Сказки. А наши боги — они живут рядом с нами, вот здесь, на космодроме, на нашей сарозекской земле, чем мы и гордимся перед лицом всего мира. Их никто из нас не видит, никто не знает, и не положено, не полагается каждому встречному Мыркынбаю-Шыйкымбаю

руку совать: здорово, мол, как живешь? Но они настоящие боги! Вот ты, Едике, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха, пройденный этап! То аппаратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете — людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Есть уже научные данные. Наука и этого добилась, исходя из высших интересов.

— Постой, постой, как чуть — сразу высшие интересы! — перебил его Длинный Эдильбай. — Ты вот что скажи, что-то я не очень в толк возьму. Выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе небольшой радиоприемник наподобие транзистора, чтобы слышать команду? Так это уже повсюду есть!

— Ишь ты какой! Да разве об этом речь? То ерунда, то детские штучки! Никому не надо при себе ничего иметь. Ходи хоть голый. А только незримые радиоволны — так называемые биотоки — будут постоянно воздействовать на тебя, на твое сознание. И куда ты. тогда денешься?

— Вон как?

— А ты думал! Человек будет все делать по программе из центра. Ему кажется, что он живет

и действует сам по себе, по своей вольной воле, а на самом деле по указанию свыше. И все по строгому распорядку. Надо*, чтобы ты пел, — сигнал — будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал, сигнал — будешь танцевать. Надо, чтобы ты работал, — будешь работать, да еще как! Воровство, хулиганство, преступность — все забудется, только в старых книгах читать об этом придется. Потому что все будет предусмотрено в поведении человека — все поступки, все мысли, все желания. Вот, скажем, в мире сейчас демографический взрыв, то есть людей очень много расплодилось, кормить нечем. Что надо делать? Сокращать рождаемость. С женой будешь иметь дело только тогда, когда сигнал на то дадут, исходя из интересов общества.

— Высших интересов? — не без ехидства уточнил Длинный Эдильбай.

— Вот именно, государственные интересы превыше всего.

— А если я без этих интересов захочу это самое с женой или еще как?

— Эдильбай, дорогой, ничего не получится. Тебе такая мысль в голову не придет. Покажи тебе самую что ни на есть раскрасавицу — ты даже глазом не поведешь. Потому, что биотоки отри-

цательные подключат. Так что и с этим делом наведут полный порядок. Будь уверен. Или взять военное дело. Все по сигналу будет. Надо в огонь — в огонь прыгнет, надо с парашютом — глазом не мигнет, надо взорваться с атомной миной под танком — пожалуйста, одним моментом. Почему, спросите вы меня? Дан биоток бесстрашия — и все, никаких страхов у человека… Вот как!..

— Ох и врать же горазд! Ну несешь! Чему тебя столько лет учили? — искренне удивлялся Эдильбай.

Сидящие откровенно посмеивались, ерзали, качали головами, вот, мол, заливает парень, но, однако же, продолжали слушать — чертовщину несет, но занимательно, хотя все понимали, что он уже изрядно опьянел, запивая понемногу водку шубатом, какой с него спрос, пусть болтает. Где-то что-то слышал человек, а что тут правда, что ложь, стоит ли голову ломать. Да, но Едигею вдруг стало по-настоящему страшно — неспроста каркает наш болтун, ведь он это где-то вычитал или слыхал краем уха, ведь он все узнает с лета, где что неладно. А что, если и в самом деле существуют такие люди, к тому же большие ученые, которые и вправду жаждут править нами, как боги?..

Сабитжан же выдавал без удержу, благо его еще слушали. Зрачки под вспотевшими очками расширились, как кошачьи глаза в темноте, а он все пригубливал то водку, то шубат. Теперь он, размахивая руками, рассказывал байку о каком-то Бермудском треугольнике в океане, где таинственно исчезают корабли и неизвестно куда пропадают пролетающие над этим местом самолеты.

— Вот у нас один в области все добивался за границу съездить. И чего уж там такого, подумаешь! Ну и съездил на свою голову. Других оттер, полетел куда-то через океан, то ли в Уругвай, то ли в Парагвай, — и с концом. Прямо над Бермудским треугольником самолета как не было, исчез. Не стало его, и все! А потому, друзья, к чему кого-то просить, добиваться разрешения, кого-то оттирать в сторону, обойдемся и без бермудских треугольников, живи на собственной земле, при собственном здоровье. Давайте выпьем за наше здоровье!

«Ну пошло! — ругнулся про себя Едигей. — Сейчас он свою любимую присказку вспомнит. Эх, наказание! Как только выпьет, нет ему тормозов!» Так оно и вышло.

— Выпьем за наше здоровье! — повторил Сабит-

жан, оглядывая сидящих мутным, неустойчивым взглядом, но все еще силясь придать выражению своего лица некую многозначительную важность. — А наше здоровье — это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье — государственная ценность. Вот оно как! Не такие уж мы простые, мы государственные люди! И еще я хочу сказать…

Буранный Едигей резко встал с места, не дожидаясь, пока тот закончит произносить свой тост, и вышел из дома. Громыхая в темноте на крыльце — то ли порожнее ведро, то ли еще что-то путалось под ногами, — он с ходу надел свои кирзачи, похолодевшие к тому времени на открытом воздухе, и пошел домой огорченный и обозленный. «Эх, бедный Казангап! — неслышно застонал он, прикусывая ус от обиды. — Что же это — и смерть не смерть и горе не горе! Сидит, выпивает себе, как на вечеринке, и хоть бы что! Придумал себе эту чертову присказку — государственное здоровье, и вот так каждый раз. Ну, дай-то бог завтра все честь по чести соблюсти, а как схороним да первые поминки справим, ноги его больше не будет, избавимся, кому он здесь нужен и кто ему нужен?!»

А все-таки порядочно, оказывается, засиделись

в доме Длинного Эдильбая. Время к полуночи подошло. Едигей вдыхал полной грудью остудившийся воздух ночных сарозеков. Погода обещала быть назавтра, как обычно, ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жарко, а ночью холодина, озноб прошибает. Оттого и засушливые степи кругом — трудно растениям приспособиться. Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги жаждут, а ночью их холод бьет. Вот и остаются только те, что выживут. Колючки разные, полынь большей частью да на выносах из оврагов разнотравье клоками держится, его можно накосить на сено. Геолог Елизаров, давнишний друг Буранного Едигея, рассказывал, бывало, прямо-таки картину такую расписывал, что когда-то здесь были богатые травянистые места, климат был иной, дождей выпадало в три раза больше. Ну, ясное дело, и жизнь оттого была иная. Стада, табуны, отары бродили по сарозекам. Давно, наверно, это было, возможно, до того еще, как объявились здесь те самые свирепые пришельцы — жуаньжуаны, от которых и след простыл в веках, один слух остался. А иначе как могло разместиться в сарозеках столько люду. Недаром же Елизаров говорил: сарозеки — позабытая книга степной истории… Он считал, что история Ана-

Бейитского кладбища тоже не случайное дело. Иные есть грамотеи, историей признают только то, что написано на бумаге. А если в те времена книги еще не писались, тогда как быть?..

Прислушиваясь к проходящим через разъезд поездам, Едигей по какой-то странной аналогии вспомнил штормы Аральского моря, на берегу которого родился, вырос и жил до войны. Казангап ведь тоже был аральский казах. Оттого и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в сарозеках о своем море, а незадолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Арал, оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но лучше бы не ездили. Расстройство одно. Море-то ушло, оказывается. Исчезает, высыхает Арал. Километров десять ехали по прежнему дну, по голому суглинку, пока добрались до края воды. И тут Казангап сказал: «Сколько стоит земля — стояло Аральское море. Теперь и оно усыхает, что уж тут говорить о человеческой жизни». И еще он сказал тогда: «Ты меня схорони на Ана-Бейите, Едигей. А с морем я вижусь последний раз!»...

Буранный Едигей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не оставалось жалобной хрипоты, и пошел в казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур, Айзада, Уку-

балаи с ними другие женщины. Боранлинские женщины приходили сюда то одна, то другая между делом, чтобы побыть вместе да подсобить в чем, если потребуется.

Проходя мимо загона, Едигей приостановился на минуту возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял наготове оседланный и обряженный в попону с кистями Буранный Каранар. При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не удержался, похлопал его по боку.

— Ну и здоров же ты!

Уже с самого порога вспомнил Едигей почему-то, даже сам не понимая отчего, вчерашнюю ночь. Как прибегала к железной дороге степная лисица, как он не посмел, передумал кинуть в нее камнем и как потом, когда пошел домой, стартовал с космодрома вдали огненный корабль в черную бездну…

3

В этот час на Тихом океане, в северных его широтах, было уже утро, восьмой час утра. Ослепительная солнечная погода разлилась нескончаемым светом над необозримо мерцающим великим затишьем. И, кроме воды и неба, в этих пределах не существовало ничего иного. Однако же именно здесь на борту авианосца «Конвенция» разыгрывалась пока никому за пределами корабля не известная мировая драма в связи с неслыханным случаем в истории освоения космоса, имевшим место на американо-советской орбитальной станции «Паритет».

Авианосец «Конвенция» — научно-стратегический штаб Общенупра по совместной планетологической программе «Демиург», — немедленно прервавший по той причине всякие сношения с окружающим миром, не изменил своего постоянного местопребывания южнее Алеутских островов в Тихом океане, а, наоборот, еще точнее скоординировался в этом районе на строго одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско.

На самом научном судне тоже произошли неко-

торые изменения. По указанию Генеральных соруководителей программы, американского и советского, оба дежурных оператора блока космической связи — один советский, другой американский, — принявших информацию о чрезвычайном происшествии на «Паритете», были временно, но строго изолированы во избежание утечки сведений о случившемся… Среди персонала «Конвенции» было введено положение повышенной готовности, хотя судно не имело ни военного предназначения, ни тем более никакого вооружения и пользовалось статусом международной неприкосновенности по специальному решению ООН. То был единственный в мире невоенный авианосец.

К одиннадцати часам дня с интервалом в пять минут ожидалось прибытие на «Конвенцию» ответственных комиссий обеих сторон, облеченных безусловным правом принимать экстренные решения и практические меры, которые они сочтут необходимыми в интересах безопасности своих стран и мира.

Итак, авианосец «Конвенция» находился в тот час в открытом океане южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. Такой выбор места

был не случаен. Как никогда прежде на этот раз со всей очевидностью проявились изначальная прозорливость и предусмотрительность творцов программы «Демиург», ибо даже местонахождение судна, на котором претворялся в жизнь сообща разработанный план планетологических изысканий, отражало принципы полного равноправия, абсолютного признания паритетных начал этого уникального научно-технического международного сотрудничества.

Авианосец «Конвенция» со всем оборудованием, оснащением, энергетическими запасами принадлежал на равных долях обеим сторонам и являлся, таким образом, кооперативным судном государств-пайщиков. Он имел прямую и одновременно действующую радио-телефоно-телевизионную связь с Невадским и Сарозекским космодромами. На авианосце базировались восемь, по четыре от каждой стороны, реактивных самолетов, осуществляющих постоянно все транспортные перевозки и передвижения, необходимые Общенупру в его повседневных связях с материками. На «Конвенции» были два паритет-капитана — советский и американский: паритет-капитан 1–2 и паритет-капитан 2–1; каждый из них был главным в момент несения

вахты. Весь корабельный экипаж соответственно дублировался — помощники паритет-капитанов, штурманы, механики, электрики, матросы, стюарды…

По той же системе была построена структура научно-технического персонала Общенупра на «Конвенции». Начиная от Генеральных соруководителей программы от каждой стороны — Главных паритет-планетологов 1–2 и 2–1, все последующие научные работники всех специальностей также соответственно дублировались, представляя в равной степени обе стороны. Потому-то и космическая станция, находящаяся на самой отдаленной когда-либо от земного шара орбите «Трамплин», называлась «Паритет», отражая суть земных взаимоотношений.

Всему этому, разумеется, предшествовала большая, разнообразная подготовительная работа научных, дипломатических, административных учреждений в обеих странах. Потребовалось немало лет, пока обе стороны на бесчисленных встречах и совещаниях пришли к согласованию всех общих и частных вопросов программы «Демиург».

Программа «Демиург» ставила колоссальнейшую задачу космологических проблем века

— изучение планеты Икс с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе немыслимые по земным представлениям запасы внутренней энергии. Сотня тонн иксианской породы, почти свободно лежащей на поверхности звездного тела, при соответствующей обработке могла высвободить столько внутренней энергии, сколько потребовалось бы в преобразованном виде в качестве электричества и тепла всей Европе на целый год. Такова оказалась энергетическая природа материи на Иксе, возникшая в особых условиях Галактики под воздействием длительной планетарной эволюции, на протяжении многих миллиардов лет. Об этом свидетельствовали пробы грунта, неоднократно доставлявшиеся космическими аппаратами с поверхности Икса, об этом же говорили результаты экспедиций, совершивших несколько раз кратковременные высадки на эту красную планету нашей Солнечной системы.

Решающим же фактором в пользу проекта освоения Икса оказалось то, чего не было ни на одной другой известной науке планете, включая Луну и Венеру, — наличие свободной воды в недрах столь пустынной с виду Иксианской звезды. Бесспорное наличие воды на Иксе подтвердилось

буровыми пробами. По расчетам ученых, под поверхностью Икса мог залегать слой воды толщиной в несколько километров, удерживаемый в неизменном состоянии ниже расположенными пластами холодных каменистых пород.

Именно наличие такого огромного количества воды на Иксианской звезде обеспечивало реальность программы «Демиург». Вода в данном случае являлась не только источником влаги, но и исходным материалом синтезирования других элементов, необходимых для поддержания жизни и нормального функционирования человеческого организма в инопланетных условиях, прежде всего воздуха для дыхания. Кроме того, с производственной точки зрения вода играла основную роль в технологии первичной флотации иксианской породы перед загружением ее в транскосмические контейнеры.

Обсуждался вопрос, где следует извлекать иксиан-скую энергию: на орбитальных станциях в космосе, чтобы затем передавать ее на Землю по геосинхронным орбитам, или же непосредственно на самой Земле. Время еще терпело.

Уже готовилась большая экспедиция по долговременной высадке группы буровиков и гидрологов, которыми предстояло оборудовать

постоянный и автоматически управляемый приток воды из недр Икса в систему водопроводов. Орбитальная станция «Паритет» являлась, применяя терминологию альпинистов, главным базовым лагерем на пути к Иксу. На «Паритете» уже были сооружены необходимые конструкции для причаливания, разгрузки и погрузки транспортных «челноков», которые будут курсировать между Иксом и «Паритетом». Со временем, с достройкой блоков, на «Паритете» могли бы разместиться более ста человек в весьма комфортабельных условиях, включая постоянный прием телевизионных передач с Земли.

В этом большом космическом предприятии добыча и анализ иксианской воды были бы первым актом производственной деятельности, когда-либо осуществляемой человеком вне пределов своей планеты…

И этот день близился. И все шло к тому…

На Сарозекском и Невадском космодромах завершались последние приготовления к гидротехнической операции на Иксе. «Паритет», находясь на орбите «Трамплин», был готов к принятию и переброске на Икс первой рабочей группы космических целинников.

По сути дела, современное человечество стояло

у истоков начала своей внеземной цивилизации…

И именно в этот момент, накануне осуществления засылки первой группы гидрологов на Икс, два паритет-космонавта, находившихся на орбите «Трамплин» с долгосрочной космической вахтой на «Паритете», бесследно исчезли…

Они вдруг перестали отвечать на какие бы то ни было сигналы — ни в установленное время сеансов связи, ни в прочее время. Впечатление было угнетающее — кроме датчиков, постоянно обозначающих местонахождение станции, и канала коррекции ее движения, все остальные системы радио-телевизионной связи бездействовали.

Время шло. «Паритет» не отзывался ни на какие обращения к нему. Тревога на «Конвенции» возрастала. Строились всякие догадки и предположения. Что с ними, с паритет-космонавтами? В чем причина их молчания? Не заболели ли, не отравились ли какой-нибудь непригодной пищей? И вообще живы ли они?

Наконец было использовано последнее средство — был послан сигнал на включение системы общей пожарной тревоги на станции. Никакой реакции и на это устрашающее действие.

Над программой «Демиург» нависала серьезная опасность. И тогда Обценупр на «Конвенции» прибег к последней своей возможности для выяснения обстоятельств. К «Паритету» были экстренно запущены на стыковку со станцией два космических корабля с двумя космонавтами — с Невадского и Сарозекского космодромов.

Когда синхронная стыковка осуществилась, что само по себе было делом в высшей степени трудным, первое известие, полученное от проникших на «Паритет» космонавтов-контролеров, было ошеломляющим: обойдя все отсеки, все лаборатории, все этажи, все до последнего закоулка, они заявили, что не обнаружили на борту станции паритет-космонавтов. Их здесь не было — ни живых, ни мертвых…

Такое не могло прийти никому в голову. Никакое воображение не в силах было представить, что произошло, куда вдруг подевались два человека, находившихся свыше трех месяцев на орбитальной станции, до сих пор четко выполняя все возложенные на них функции. Не испарились же они! Не выбрались же в открытый космос!

Сеанс обследования «Паритета» проходил при прямой радио-телевизионной связи с «Конвенцией», при непосредственном участии обоих

Генеральных соруководителей — Главных паритет-планетологов. Было хорошо видно на множестве экранов Общенупра, как космонавты-контролеры, переговариваясь, обходили, проплывая в Невесомости, все блоки и помещения орбитальной станции. Они обследовали станцию шаг за шагом, при этом все время докладывая о своих наблюдениях. Этот разговор был зафиксирован в магнитофонной записи:

«Паритет». Вы наблюдаете? На станции никого нет. Мы никого не обнаруживаем.

«Конвенция». Есть ли следы каких-нибудь разбитых предметов, нарушений, поломок на станции?

«Паритет». Нет. Все выглядит, как и положено, все в порядке. Все на своем месте.

«Конвенция». Не попадались ли вам на глаза следы крови?

«Паритет» Абсолютно нет.

«Конвенция». Где находятся и в каком состоянии личные вещи паритет-космонавтов?

«Паритет». Да, кажется, все на своем месте.

«Конвенция». А все-таки?

«Паритет». Впечатление такое, что они были здесь совсем недавно. Книги, часы, проигрыватель и всякие другие вещи — все на месте.

«Конвенция». Хорошо. Нет ли каких записей где-нибудь на стене или на бумаге?..

«Паритет». Ничего такого на глаза не попадалось. Хотя постойте! Вахтенный журнал раскрыт на какой-то большой записи. Чтобы он не плавал в невесомости, журнал закреплен зажимами и обращен раскрытыми страницами к входящему…

«Конвенция». Читайте, что там написано!

«Паритет». Сейчас попытаемся. Это два текста, расположенных рядом столбцами на английском и русском языках…

«Конвенция». Читайте, что вы медлите!

«Паритет». Заголовок — «Послание землянам». А в скобках — объяснительная записка.

«Конвенция». Стоп. Не читайте Сеанс связи прерывается. Ждите. Через некоторое время мы снова вызовем вас. Будьте готовы.

«Паритет». О'кей!

В этом месте диалог между орбитальной станцией и Общенупром был приостановлен. Посовещавшись между собой, Генеральные соруководители программы «Демиург» попросили всех, кроме двух дежурных паритет-операторов, покинуть блок космической связи. Только после этого снова был возобновлен сеанс двусторонней связи. Вот текст, оставленный паритет-космонав-

тами на орбите «Трамплин»:

«Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию «Паритет» при весьма необычных обстоятельствах, на неопределенное время, возможно на бесконечно долгое, все будет зависеть от целого ряда факторов, связанных с нашим беспрецедентным предприятием, мы считаем своим непременным долгом объяснить мотивы нашего поступка.

Мы прекрасно сознаем, что наш поступок покажется, несомненно, не только неожиданным, но, разумеется, и недопустимым с точки зрения элементарной дисциплины. Однако исключительный факт, с которым мы столкнулись, находясь на орбитальной станции в космосе, факт, равного которому трудно что-либо представить во всей истории человеческой культуры, позволяет нам рассчитывать по крайней мере на понимание…

Некоторое время тому назад мы стали улавливать среди бесчисленного множества радиоимпульсов, исходящих из космического окружения и в значительной степени от самой земной ионосферы, насыщенной нескончаемыми шумами и помехами, один направленный радиосигнал в узкочастотной полосе, который, будучи самым

узким и потому легко выделяемым, заявлял о себе регулярно, всегда в одно и то же время и всегда с одинаковыми интервалами. Поначалу мы не обращали на него особого внимания. Но он продолжал настойчиво напоминать о себе, систематически исходя из строго определенной точки Вселенной, строго ориентируясь, судя по всему, на нашу орбитальную станцию. Теперь мы определенно знаем: эти искусственно направленные радиоволны поступали в эфир и прежде, задолго до нашей вахты, третьей по счету, ведь «Паритет» находился на орбите «Трамплин» в дальнем космосе вот уже более полутора лет. Трудно объяснить, почему, должно быть по чистой случайности, мы первыми заинтересовались подачей этого сигнала из Вселенной. Как бы то ни было, мы стали наблюдать, фиксировать, изучать природу этого явления и постепенно, все больше убеждаясь, пришли к выводу об искусственном его происхождении.

Но не так скоро свыклись мы с этой мыслью. Сомнения не покидали нас все это время. Как могли мы утверждать существование внеземной цивилизации, опираясь лишь на один факт искусственного, как мы полагали, радиосигнала, исходящего из неведомых глубин вселенского

мира? Нас удерживало то обстоятельство, что все предыдущие попытки науки, неоднократно предпринимавшиеся с самой минимальной задачей — обнаружения хоть каких-либо признаков жизни, в самой простейшей форме, хотя бы на сопредельных планетах, — как известно, оказались удручающе бесплодными. Поиски внеземного разума считались маловероятным, а позднее попросту нереальным, утопическим занятием, поскольку с каждым новым шагом в исследовании космических пространств этих шансов даже в теоретическом плане становилось все меньше, если не сказать, что они свелись практически к нулю. Мы не отваживались заявлять о своих догадках. Мы не собирались оспаривать повсеместно утвердившуюся идею уникальности, беспрецедентности, единственности как биологического феномена живой жизни лишь на планете Земля. Делиться своими сомнениями на этот счет мы не считали себя обязанными, поскольку в программу наших рабочих обязанностей по орбитальной станции такого рода наблюдения не входили. Честно говоря, не хотелось, кроме всего прочего, оказаться в положении того космонавта, которому однажды примерещился коровий мык в полете, луг у реки

и пасущееся стадо на нем, и с тех пор он стал прозываться «коровьим космонавтом».

А когда еще один случай явился последним доказательством существования во Вселенной разумной жизни помимо земной, для нас все было решено. Мы пережили скачок сознания, переворот, преобразование в своих представлениях о мироустройстве и обнаружили вдруг, что стали мыслить совсем иными категориями, чем до этого. Качественно новое осмысление структуры мироздания, открытие нового обитаемого пространства, существование еще одного мощного очага умственной энергии подвели нас к выводу, что до поры до времени нам необходимо воздержаться оповещать землян о нашем открытии, исходя из новых понятий заботы о Земле. Мы пришли к этому решению в интересах самого современного общества.

Теперь о существе дела. Как это произошло.

Любопытства ради мы решили однажды послать ответный целевой радиосигнал примерно в том же спектре частоты, направив его в ту точку Вселенной, откуда постоянно проистекали загадочные регулярные радиоимпульсы. ***Произошло чудо! Наш сигнал был немедленно принят!***

Он был уловлен и понят![4] В ответ на нашей принимающей полосе заработал еще один дубль рядом с прежним, а затем еще один — то было приветственное трио, три синхронных радиосигнала из Вселенной несколько часов кряду, как торжествующий марш, несли с собою ликующую весть о разумных существах вне нашей Галактики, обладающих высочайшей способностью контакта с себе подобными существами на сверхдальних расстояниях. То была революция в наших представлениях о космической биологии, в наших познаниях строения времени, пространства, расстояний… Неужели мы уже не одни на свете, не единственные в своем роде в невообразимо пустынной бесконечности мира, неужели опыт человека на Земле не единственное обретение духа во Вселенной?

Чтобы проверить реальность обнаружения внеземной цивилизации, мы послали направленный радиосигнал формулой массы земного шара, того, на чем изначально возникла и покоится ныне наша жизнь. В ответ мы получили расшифровку — в свою очередь примерно такую

---

[4] Примечания: 4

Выделение р а з р я д к о й, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами здесь и далее заменено ***жирным курсивом***. — *Примечание оцифровщика.*

же формулу массы их планеты. Из этого мы сделали вывод, что та обитаемая планета достаточно больших размеров и с вполне приемлемой силой притяжения.

Так мы обменялись первыми знаниями физических законов, так мы впервые вступили в контакт с внеземными носителями разума.

Инопланетяне оказались активными партнерами в смысле углубления и сближения наших связей. Их стараниями наши контакты быстро насыщались все новым содержанием. Вскоре нам стало известно, что они обладают летательными аппаратами, скорость движения которых равна скорости света. Все это и другие вещи мы узнавали благодаря тому, что оказались в состоянии обмениваться мыслями поначалу путем математических и химических формул, а затем они дали нам понять, что умеют и разговаривать. Выяснилось, что многие годы, с тех пор как земляне, преодолев земное тяготение, вышли в космос и стали в нем стабильно обитать, они изучают наши языки с помощью мощной аудоастрономической аппаратуры, глубоко прослушивающей Галактику. Улавливая систематическую радиосвязь между космосом и Землей, они умудрились путем сопоставлений и анализа расшифровать

для себя значение наших слов и фраз. В этом мы убедились сами, когда они попытались объясниться с нами на английском и русском языках. Для нас это было еще одним невероятным, ошеломляющим открытием…

А теперь о самом главном. Мы решились посетить эту планету внеземной цивилизации. Лесная Грудь — так примерно расшифровали мы для себя название их планеты. Лесногрудцы сами пригласили нас, это их идея. И мы по зрелом размышлении решились. Они объяснили нам, что их летательный аппарат, имеющий скорость света, достигнет нашей орбитальной станции за двадцать шесть — двадцать семь часов. За такое же время лесногрудцы обязуются доставить нас назад, как только мы того пожелаем. На наш запрос по поводу стыковки они объяснили нам, что это не проблема, ибо лесногрудский летательный аппарат обладает способностью герметического примыкания к любому предмету любой конфигурации и конструкции. Это, должно быть, какое-то свойство электромагнитного примыкания. Мы решили, что самое лучшее будет для нас, если их летательный аппарат примкнет к нашему люку выхода в открытый космос, через который мы могли бы переместиться к ним из орбиталь-

ной станции. Таким же способом мы намерены вернуться назад, разумеется если путешествие в Лесногрудию благополучно завершится…

Итак, мы оставляем на борту «Паритета» свое послание, если угодно, объяснительную записку, открытое письмо, обращение… Не в том суть… Мы достаточно трезво понимаем, на что идем и каково бремя ответственности, которую мы возложили на себя. Мы осознаем, что судьбе оказалось угодно предоставить именно нам наиуникальнейшую возможность сослужить такую службу человечеству, выше которой мы не представляем себе ничего…

И, однако, самым мучительным было для нас преодоление чувства долга, обязанности, дисциплины, наконец… Того, что воспитано в каждом из нас давними традициями, законами, общественными нормами морали. Мы покидаем «Паритет», не ставя в известность вас, руководителей Обценупра, и вообще никого из землян, не согласовывая свои цели и задачи ни с кем и ни в какой форме не потому, что пренебрегаем правилами общественной жизни на Земле. Для нас это было темой самых тяжких размышлений. Мы вынуждены поступить таким образом, ибо нетрудно представить себе, какие противоречия,

страсти разгорятся, как только придут в движение силы, которые даже в каждом лишнем хоккейном голе видят политическую победу и преимущество своей государственной системы. Увы, мы слишком хорошо знаем нашу земную действительность! Кто может поручиться, что возможность контактов с внеземной цивилизацией не станет еще одним поводом для мировой междоусобицы землян?

На Земле трудно или почти невозможно отстраниться от политической борьбы. Но находясь продолжительное время — многие дни и недели — в дальнем космосе, откуда земной шар кажется не больше автомобильного колеса, с болью и бессильной досадой мы думаем, что нынешний энергетический кризис, доводящий общество до неистовства, до отчаяния, приближающего иные страны к желанию схватиться за атомную бомбу, — это всего лишь крупная техническая проблема, если бы эти страны в состоянии были договориться, что важнее…

Из опасения растревожить, осложнить и без того чреватое опасностями положение землян мы осмелились взять на себя небывалую ответственность — выступить перед лицом носителей внеземного разума от имени всего человеческого

рода, в соответствии со своими убеждениями и совестью. Мы надеемся и чувствуем внутреннюю уверенность, что выполним свою добровольную миссию достойным образом.

Наконец, последнее. В своих раздумьях, сомнениях и колебаниях мы в немалой степени были озабочены тем, чтобы не нанести ущерба программе «Демиург» — этому величайшему начинанию в геокосмической истории человечества, выстраданному нашими странами в результате долгих лет взаимного недоверия, приливов и отливов сотрудничества. И все-таки разум восторжествовал — и мы добросовестно служили нашему общему делу в меру своих сил и способностей. Но соизмерив одно с другим и не желая подвергать программу «Демиург» испытаниям ввиду вышеизложенных опасений, мы покидаем временно «Паритет», с тем чтобы по возвращении доложить человечеству о результатах посещения планеты Лесная Грудь. Если же мы исчезнем навсегда или же если руководство сочтет нас недостойными продолжать нашу вахту на «Паритете», то заменить нас будет не так сложно. Всегда найдутся нужные парни, которые будут работать не хуже нас.

Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда

жажда знаний и вековечная мечта человека открыть себе подобные разумные существа в иных мирах, с тем чтобы разум объединился с разумом. Однако никому не известно, что таит в себе опыт внеземной цивилизации — благо или зло для человечества? Мы постараемся быть объективными в своих оценках. Если же мы почувствуем, что наше открытие несет в себе нечто угрожающее, нечто разрушительное для нашей Земли, мы клянемся распорядиться собой таким образом, чтобы не навлечь на Землю никакой беды.

И еще раз последнее. Мы прощаемся. Мы видим через наши иллюминаторы Землю со стороны. Она сияет как лучезарный бриллиант в черном море пространства. Земля прекрасна невероятной, невиданной голубизной и отсюда хрупка, как голова младенца. Нам кажется отсюда, что все люди, которые живут на свете, все они наши сестры и братья, и без них мы не смеем и мыслить себя, хотя, мы знаем, на самой Земле это далеко не так…

Мы прощаемся с земным шаром. Через несколько часов нам предстоит покинуть орбиту «Трамплин», и тогда Земля скроется из виду и ее уже не будет видно. Инопланетяне-лесногрудцы уже в пути. Вблизи нашей орбиты. Скоро они прибудут.

Осталось совсем мало. Ждем.

И еще. Мы оставим письма своим семьям. Очень просим вас всех, кто будет иметь отношение к этому делу, передать наши письма по назначению…

P. S. Справка для тех, кто прибудет на «Паритет» на наше место. В вахтенном журнале мы указали приемо-передаточный канал и частоту радиоволн, с помощью которых мы вступали в контакт с инопланетянами. При необходимости мы будем связываться с вами по этому каналу и передавать свои сообщения. Насколько мы могли уяснить из имевших место радиообщений с лесногрудцами, самый удобный и единственный способ связи — это бортовые системы орбитальной станции, так как радиосигналы, обращенные из Вселенной непосредственно к Земле, не достигают ее поверхности ввиду непреодолимой преграды — мощной ионизированной сферы в атмосферном окружении Земли.

Вот и все. Прощайте. Нам пора.

Идентичный текст послания составлен на двух языках — на английском и русском.

Паритет-космонавт 1–2.

Паритет-космонавт 2–1.

Борт орбитальной станции «Паритет».

Третья вахта. 94 сутки».

Ровно в назначенный срок, в одиннадцать часов по дальневосточному времени, на палубу авианосца «Конвенция» один за другим приземлились два реактивных самолета с особоуполномоченными комиссиями на борту — от американской и советской сторон.

Члены комиссий были встречены строго по протоколу. Им сразу объявили, что на обед дается полчаса. Сразу после обеда членам комиссий предстояло собраться в кают-компании на закрытое совещание в связи с чрезвычайным положением на орбитальной станции «Паритет».

Но совещание, едва начавшись, было внезапно прервано. Космонавты-контролеры, находившиеся на «Паритете», передали Обценупру на «Конвенцию» первое сообщение, полученное ими от паритет-космонавтов 1–2 и 2–1 из соседней Галактики, с планеты Лесная Грудь.

4

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам железной дороги в этих краях лежат великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измеряются применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Что ни говори, а до родового найманского кладбища Ана-Бейит все же не рукой подать — тридцать верст, и то если ехать все время на глазок, спрямляя путь по сарозекам.

Буранный Едигей поднялся в тот день рано. Да он и не спал толком. На рассвете только подремал малость. А до этого был занят — готовил покойного Казангапа. Обычно это делают в день захоронения, незадолго до выноса, перед общей молитвой в доме умершего — перед джаназой. А тут пришлось все это совершать ночью накануне погребения, чтобы с утра сразу, не задерживаясь,

двинуться в путь. Сам все сделал, что полагалось, если не считать того, что Длинный Эдильбай воду подтепленную подносил для омовения. Эдильбай немного робел, сторонился покойника. Жутковато, конечно, ему было. Едигей сказал ему на это как бы ненароком:

— Ты, это самое, присматривайся, Эдильбай. Пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится.

— Да я-то понимаю, — неуверенно отозвался Эдильбай.

— Вот и я об этом же. Скажем, к слову, завтра я помру. Так что, и обряжать никого не найдется? Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму?

— Ну почему же! — смутился Эдильбай, присвечивая лампой и пытаясь освоиться возле покойника. — Без вас здесь неинтересно будет. Лучше уж живите. А яма подождет.

Часа полтора ушло на обряжание. Но зато Едигей остался доволен. Омыл покойника, руки-ноги выправил и уложил как полагается, белый саван скроил и обрядил в него Казангапа как полагается, не жалея на то полотна. А между делом показал Эдильбаю, как саван надо кроить. А потом и себя привел в порядок. Выбрился начисто, усы подправил. Они у него были, как и брови,

густые, сильные усы. Только вот седина пошла вперемежку. Посивел. Не забыл Едигей медали свои солдатские, ордена да значки ударнические надраил, нацепил на пиджак, приготовил к завтрашнему дню.

Так и ночь проходила. И все дивился Буранный Едигей самому себе — тому, как запросто и спокойно все это проделывал. А скажи ему кто прежде, не поверил бы, что с руки будет и такое прискорбное занятие. Стало быть, на роду предписано так — хоронить Казангапа суждено ему. Судьба.

Вот то-то. Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель. Демобилизовали Едигея после контузии, в конце сорок четвертого. Снаружи вроде бы все в порядке — руки-ноги на месте, голова на плечах, да только голова-то была точно не своя. Шум стоял в ушах, как ветер несмолкающий. Пройдет несколько шагов — зашатается, голова кругом, тошнит. А сам весь в поту, то холодным, то горячим потом обливается. И язык временами не подчиняется — слово выговорить тоже большая работа. Крепко тряхнуло его взрывной волной от немецкого снаряда. Убить не убило, но и жить так никакого резона. Совсем приуныл тогда Едигей. Молодой,

здоровый с виду, а вернется домой на Аральское море — что будет делать, на что годится? На счастье, врач попался хороший. Он даже не лечил его, а только осмотрел, прослушал, проверил, как сейчас помнится — здоровенный рыжий мужик в белом халате и колпаке, ясноглазый, носатый, весело похлопал его по плечу, посмеялся.

— Видишь ли, — говорит, — браток, война скоро кончится, а не то бы вернул я тебя в строй немного погодя, повоевал бы ты еще. Да ладно уж. Как-нибудь без тебя дожмем до победы. Только ты не сомневайся — через годик, а то и меньше все будет в порядке, здоров будешь, как бугай. Это я тебе говорю, вспомнишь потом. А пока собирайся, езжай в свои края. И не тужи. Такие, как ты, сто лет проживут…

Дело, оказывается, говорил тот рыжий врач. Так оно и получилось. Правда, это сказать просто — годик. А как вышел из госпиталя — в мятой шинельке, с котомкой за спиной, с костылем на всякий случай — да двинулся по городу, точно в лес дремучий попал. В голове шум, в ногах дрожь, в глазах темно. И кому какое дело на вокзалах, в поездах — народу тьма, кто силен, тот и лезет, а тебя в сторону. И все-таки добрался, дотащился. Почитай через месяц скитаний ночью остановил-

ся поезд на станции Аральск. «Пятьсот веселый» прозывался тот «славный» поезд, никогда и никому не доведется, дай бог, ездить на таких поездах…

А тогда и тому был рад. Слез впотьмах с вагона как с горы, остановился растерянно, а вокруг ни зги, лишь кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено было. И вот этот ветер-то его и встретил. Свой, родной, аральский ветер! Морем ударило в лицо. В те дни оно было рядом, плескалось под самой железной дорогой. А теперь и в бинокль не разглядишь…

Дыхание перехватило — со степи тянуло едва уловимой полынной прелью, духом вновь пробуждающейся весны на зааральских просторах. Вот и снова родные края!

Едигей хорошо знал станцию, пристанционный поселок на берегу моря с его кривыми улочками. Грязь налипала на сапоги. Он шел к знакомым, чтобы переночевать там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Жангельди, расстояние до которого было изрядное. И сам не заметил, как улочка вывела его на окраину, к самому берегу. И тут Едигей не утерпел, подошел к морю. Остановился у хлюпающей полосы на песке. Скрытое тьмой, море угадывалось по неясным бликам, по

гребням волн, возникающим шумным росчерком и тут же исчезающим. Луна была уже предрассветная — белела одиноким пятном за облаком в вышине.

Вот и свиделись, выходит.

— Здравствуй, Арал, — прошептал Едигей.

А потом присел на камень, закурил, хотя доктора очень не советовали ему курение при его контузии. Позже он бросил это дурное дело. А тогда разволновался — что там дым табачный, тут неясно, как жить дальше. В море выходить — надо крепкие руки иметь, крепкую поясницу и, самое главное, крепкую голову, чтобы не закачало в шаланде. Был промысловым рыбаком до фронта, а теперь кто он? Инвалид не инвалид, а вообще-то никуда не годится. И прежде всего голова для рыбацкого дела не годна, это было ясно.

Едигей собирался уже было встать с места, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трусцой по краю воды. Иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Едигей приманил ее. Собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Едигей потрепал ее по лохматой шее.

— Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать

тебя? Аретан? Жолбарс? Борибасар?[5] А-а, я понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну молодец, молодец! Только не всегда море выбрасывает к ногам снулую рыбку. Ну что ж делать! Приходится бегать. Потому и тощий такой. А я, дружок, домой возвращаюсь. Из-под Кенигсберга. Не дошел немного до этого города, так шарахнуло напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю-гадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня нет для тебя. Ордена да медали… Война, друг, голодуха кругом. А то бы жалко, что ли… Постой, тут вот леденцы есть, для сынишки везу, он у меня бегает уже, должно быть…

Едигей не поленился, развязал полупустой вещмешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в вещмешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки — вот и весь багаж.

Пес слизнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом и внимательно, преданно глядя

---

[5] Примечания: 5

Арстан, жолбарс, борибасар — лев, тигр, волкодав.

засветившимися надеждой глазами.

— Ну а теперь прощай.

Едигей встал и пошел вдоль берега. Решил уж не беспокоить людей на станции, близился рассвет, надо было не задерживаясь пробираться в свой аул Жангельди.

Только к полудню того дня добрался в Жангельди, все время идя берегом моря. А прежде часа за два пробегал это расстояние. И тут его сразила страшная весть — сыночка-то, оказывается, давно уже нет в живых. Когда Едигея мобилизовали, малышу было полгода. И вот не судьба — умерло дитя одиннадцати месяцев от роду. Заболел краснухой-корью и не вынес жара внутреннего, сгорел. Писать отцу на фронт об этом не стали. Куда писать и зачем писать? На войне и без того хватает горького хлебова. Вернется живой — узнает по приезде, погорюет, переживет, рассудили по-своему родственники и Укубале рассоветовали сообщать об этом. Молодые, мол, вот война кончится, народите еще детей, бог даст. «Ветка обломалась — не беда, главное, чтобы ствол чинары остался цел». И еще соображения были, вслух не высказанные, но всеми понимаемые: если что, война есть война, если пуля сразит, то пусть хоть с надеждой простится в последнее

мгновение с белым светом — мол, остался дома отпрыск, род на том не пресекся…

А Укубала за все казнила только себя. Плачем исходила, обнимая вернувшегося, мужа. Ведь она ждала этого дня с надеждой и с болью неиссякшей, изводясь в мучительном повинном ожидании. Рассказывала она вся в слезах, что старухи ее сразу предупредили: мол, у ребенка краснуха, штука эта коварная, надо дите потеплее завернуть в одеяла стеганые из верблюжьей шерсти, да держать в полной темноте, да поить все время водицей остуженной, а там, как бог даст, если выдержит жар, то выживет. А она, невезучая бейбак[6], не послушалась аульных старушек. Попросила у соседей телегу да повезла больного ребенка на станцию к докторше. А когда добралась до Аральска на телеге той трясучей, то было уже поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала ее на чем свет стоит. Надо, говорит, тебе было послушать старушек…

Вот такие известия ожидали Едигея дома, как только он переступил порог. Закаменел, почернел от горя с того часа. Не предполагал он прежде никогда, что затоскует с такой силой по малому

---

[6] Примечания: 6
Бейбак — несчастливица.

дитю, по первенцу своему, которого толком и не понянчил. И от этого еще больнее было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыбки дитячьей, беззубой, доверчивой, светлой, при воспоминании о которой сердце долго ныло.

С того и началось. Опостылел Едигею аул. Некогда здесь, на суглинистом взгорье прибрежном, было с полсотни дворов. Рыбой аральской промышляли. Артель стояла. Тем и жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом. Мужчин никого — всех подчистую война замела. Старые да малые и те наперечет. Многие из них поразъехались по аулам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель. Некому стало выходить в море.

Укубала тоже могла уехать к своим, родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетье, а вернется Едигей с фронта — никто тебя задерживать не станет, возвратишься сразу на свое рыбацкое поселение Жангельди. Но Укубала наотрез отказалась: «Буду ждать мужа. Сыночка потеряла. Если вернется сам живой, то пусть хотя бы жену застанет на месте. Я не одна тут, старые да малые есть, помогать им буду, продержимся сообща».

Правильно она поступила. Да только Едигей с первых дней стал говорить, что невмоготу ему теперь без дела оставаться здесь, у моря. В этом и он был прав. Родственники Укубалы, прибывшие повидаться с Едигеем, предлагали перебраться к ним. Поживешь, мол, у нас при отарах в степи. А там, здоровье пойдет на поправку, займешься делом каким-нибудь, скот пасти сумеешь… Едигей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что в тягость будет. День-два погостить у близких жениных родственников куда ни шло. А потом, если ты не работяга, кому ты нужен станешь.

И тогда решили они с Укубалой рискнуть. Решили на железную дорогу податься. Думали, подыщется какая подходящая работа для Едигея — охранником, сторожем или где на переезде шлагбаум открывать да закрывать. Должны же пойти навстречу инвалиду-фронтовику.

С тем и ушли весной. Молодые были, пока ничем не связанные. На первых порах на станциях разных ночевали. Но работы подходящей так и не удавалось подыскать. А с жильем обстояло и того хуже. Жили где придется, перебивались разной случайной работой на железной дороге. Укубала тогда выручала — здоровая и молодая, она и работала большей частью. Едигей как мужчина с

виду вроде здоровый подряжался на разгрузку и погрузку разную, а работала Укубала.

Таким образом очутились они однажды, уже в середине весны, на большой узловой станции Кумбель. Уголь разгружали. Вагоны с углем подавались по запасным путям прямо на задние дворы деповского хозяйства. Здесь уголь скидывали вначале на землю, чтобы побыстрей освободить платформы, а потом на тачках перевозили на-гора, ссыпали в бурты, огромные, как дома. Запас на целый год. Непомерно тяжелая, пыльная, грязная была работа. Но и жить надо. Едигей накидывал грабаркой тот уголь на тачку, а Укубала отвозила тачку вверх по настилу, там опрокидывала ее и снова возвращалась вниз. Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова Укубала, как ломовая лошадь, катила на-гора из последней мочи тяжелый, не по бабьим силам груз. К тому же день пригревал все больше, жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутило, подташнивало Едигея. Сам чувствовал, как убывали в нем силы. Так и хотелось повалиться на землю прямо в кучу угля и уж никогда не вставать. Но больше всего убивало его то, что жене приходилось, задыхаясь в черной пылище, делать вместо него то, что полагалось делать ему. Тяжко было

ему смотреть на нее. С головы до пят вся в черном налете угля, только белки глаз да зубы светятся. А сама вся мокрая от пота. Грязными потеками струился угольно-черный пот на шею, на грудь, на спину. Будь он в силе прежней, разве допустил бы он такое! Сам один перекидал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть мучений жены.

Когда они покидали свой опустевший рыбацкий аул Жангельди, надеясь, что Едигею как раненому фронтовику подыщется какая-нибудь работа подходящая, одного не учли они: что таких фронтовиков везде и всюду было полным-полно. И всем им предстояло приспосабливаться заново к жизни. Хорошо еще Едигей пребывал при своих руках и ногах. А сколько увечных — безногих, безруких, на костылях и протезах — слонялось тогда по железным дорогам. Долгими ночами, когда, устроившись где-нибудь в углу в переполненном, смрадном станционном помещении, они пережидали ночь, Укубала, заранее испросив прощение, обращала свои безмолвные благодарности богу за то, что муж находится рядом не покалеченный войной настолько, чтобы это было страшно и безысходно. Ибо то, что она видела на станциях, повергало ее в ужас и страдания. Безногие, без-

рукие, битые-перебитые люди в донашиваемых шинелях и разной рвани, на колясках под задницей, на костылях, при поводырях, бездомные и неприкаянные кочевали по поездам и станциям, ломясь в столовые и буфеты, содрогая душу пьяными криками и плачем… Что ждало впереди каждого из них, чем было возместить не возмещаемое ничем? И лишь за одно то, что такая беда обошла ее стороной, а ведь могла и не обойти, за то, что муж вернулся пусть и контуженный, но не изувеченный, Укубала готова была отработать всему свету самым тяжким трудом. И потому она не роптала, не сдавалась, не подавала виду, даже когда становилось не под силу тянуть ноги, когда, казалось, всякому терпению приходил конец.

Но Едигею от этого было не легче. Следовало что-то предпринимать, как-то тверже определиться в жизни. Не век же скитаться. И все чаще приходили в голову мысли: а что, если сказать себе «таубакель»[7] и податься куда в город, а там как повезет? Только бы здоровье вернулось, только бы оклематься от этой проклятой контузии. Тогда еще можно было бы и побороться, постоять за себя… По-всякому могло, конечно, обернуться

---

[7] Примечания: 7
Таубакель — была не была.

и в городе, возможно и приспособились бы со временем и стали бы они горожанами, как многие другие, но судьбе угодно было решиться иначе. Да, то пришла судьба, а как по-другому назовешь тот случай…

В те дни, когда они мыкались на станции Кумбель, подрядившись на буртовку вагона угля, на деповском угольном задворье появился однажды какой-то казах на верблюде, прибывший, должно быть, из степи по своим делам. Так по крайней мере казалось с виду. Прибывший стреножил верблюда попастись на пустыре поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с порожним мешком под мышкой.

— Эй, браток, — обратился он к Едигею, проходя мимо, — будь добр, присмотри, чтобы детвора не озоровала. Привычка у них дурная — дразнят, бьют скотину. А то и распутать могут для потехи. А я сейчас, ненадолго отлучусь.

— Иди, иди, присмотрю, — пообещал Едигей, орудуя грабаркой и обтираясь черной, потяжелевшей от пота тряпкой.

Пот лил с лица беспрерывно. Едигей так и так топтался возле угольной кучи, нагружая тачку, что стоило приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не докучали верблюду.

Как-то он уже видел их проделки — до того довели животное, что оно тоже стало злобно орать в ответ, плеваться да гоняться за ними. А им удовольствие только от этого, и, как первобытные охотники, с диким криком окружившие зверя, они били его камнями и палками. Досталось бедному верблюду, пока не появился хозяин…

И в этот раз как назло, откуда ни возьмись шумная ватага оборванцев примчалась гонять в футбол. И стали они этот футбол пинать со всей силой по верблюду стреноженному. Верблюд от них, а они мячом по бокам бухают кто сильней да кто ловчей. Кто попадет — ликует, точно гол забил…

— Эй, вы, а ну прочь отсюда, не приставайте! — помахал им грабаркой Едигей. — А то я вам сейчас!

Ребята отхлынули, посчитали, что хозяин, наверно, или слишком устрашающим был вид угольного грузчика, а вдруг он к тому же пьяный, тогда несдобровать, и побежали дальше, пиная мяч. Невдомек им было, что они могли безнаказанно изводить верблюда сколько душе угодно, Едигей только для виду пригрозил грабаркой, на самом деле в том состоянии, в котором он тогда находился, ему никогда бы за ними не угнаться.

Каждая лопата угля, брошенная в тачку, стоила ему больших усилий. Никогда не думал, что так скверно, так унизительно быть маломощным, больным, никудышным. Голова все время кружилась. И пот замучил. Истекал, изнемогал Едигей, и от пыли угольной тяжело дышалось, и грудь давила черная жесткая мокрота. Укубала то и дело старалась принять на себя большую часть работы, чтобы он отдохнул немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружала тачку и катила ее на верх бурта. Не мог, однако, Едигей спокойно видеть, как она изводилась, снова вставал, пошатываясь, брался за дело…

Тот человек, который попросил присмотреть за верблюдом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив поклажу и уже собираясь отправляться в путь, он подошел к Едигею перекинуться словцом. Как-то сразу разговорились. Это и был Казангап с разъезда Боранлы-Буранный…

Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже происходил родом из прибрежных аральских аулов. Это быстро сблизило их.

Тогда еще ни у кого не возникло и мысли, что эта встреча предопределит всю последующую жизнь Едигея и Укубалы. Просто Казангап убедил их отправиться вместе с ним на разъезд Боран-

лы-Буранный, жить и работать там.

Встречается такой тип людей, который располагает к себе с первого же знакомства. Ничего особенного в Казангапе не было, напротив, сама простота обозначала в нем человека, умудренность которого добыта тяжким опытом. С виду он был самый обычный казах в повыгоревшей, долго ношенной одежде, принявшей формы его тела. Штаны из дубленой козьей шкуры тоже были на нем неспроста — удобные для верховой езды на верблюде. Но он знал и цену вещам — относительно новая, береженная для выездов форменная железнодорожная фуражка украшала его большую голову, и сапоги хромовые, ношенные много лет, были тщательно подлатаны и прошиты дратвой во многих местах. Что он коренной степняк, работяга, можно было заметить по его задубелому от жгучего солнца и постоянного ветра коричневому лицу и жестким, жилистым рукам. Ссутулившиеся преждевременно от трудов, плечи его могуче обвисли, и оттого шея казалась длинной, вытянувшейся, как у гусака, хотя роста он был среднего. Удивительные у него были глаза — карие, всепонимающие, внимательные, улыбчивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура.

Казангапу тогда уже было лет под сорок. А вполне возможно, так казалось оттого, что и усы, коротко подстриженные щеточкой, и небольшая бурая бородка придавали ему черты жизненной зрелости. Но больше всего доверия он внушал рассудительностью речи. Укубала сразу прониклась уважением к этому человеку. И все, что он говорил, было к месту. А говорил он разумные вещи. Раз, говорит, такая беда, контузия еще в теле сидит, то к чему здоровью вредить. Я, говорит, сразу приметил, Едигей, через силу дается тебе эта работа. Не окреп ты еще для таких дел. Ноги едва таскаешь. Сейчас бы тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока цельного попить вволю. Вот, скажем, у нас на разъезде люди позарез нужны на путевых работах. Новый начальник разъезда всякий раз речь заводит: ты, мол, старожил здешний, зазови к нам подходящих людей. А где они, такие люди? Все на войне. А кто отвоевал, так тем и в других местах работы хватает. Конечно, и у нас житье не рай. В тяжком месте пребываем — кругом сарозеки, безлюдье да безводье. Воду привозят в цистерне на неделю. И тоже перебои в привозе воды случаются. Бывает и такое. Тогда приходится ездить к дальним колодцам в степь, в бурдюках ее привозить, утром

уедешь, к вечеру только вернешься. А все равно, говорил Казангап, лучше в сарозеках быть на своем отшибе, чем так мытариться по чужим местам. Крыша над головой будет, постоянная работа будет, покажем, научим, что надо делать, да свое хозяйство можно завести. Это как руки приложишь. Вдвоем-то, говорит, вы вполне заработаете на жизнь. А там здоровье вернется, время покажет, заскучаете — подадитесь куда получше…

Вот такие речи он вел. Едигей подумал-подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, благо сборы у Едигея и Укубалы даже по тем временам были недолги. Собрали вещички — и в путь-дорогу. Что им стоило тогда — решили попытать и там счастье. А как потом оказалось, это была их судьба.

На всю жизнь запомнился Едигею тот путь по сарозекам от Кумбеля до Боранлы-Буранного. Сперва они двигались вдоль железной дороги, но постепенно отклонились и ушли по увалам в сторону. Как объяснил Казангап, они срезали наискосок километров десять, так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого такыра — иссохшего, существовавшего

некогда соленого озера. Соль да мокрота болотистая выступают из недр такыра и по сей день. Каждую весну соленая равнина эта просыпалась — заболачивалась, размякала, становясь труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень, до следующей весны. О том, что некогда существовало здесь обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со слов геолога Елизарова, с которым впоследствии Буранный Едигей крепко сдружился. Умный был человек.

А Едигей, тогда еще не Буранный Едигей, а просто случайно встретившийся местному путейцу аральский казах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направился с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд Боранлы-Буранный, не предполагая, что останется там на всю жизнь.

Великие, безбрежные пространства недолго зеленеющих по весне сарозеков оглушили Едигея. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит одно Устюртское плато, но такое пустынное раздолье видеть доводилось впервые. И как потом понял Едигей, только тот мог остаться один на один с безмолвием сарозеков, кто способен был соразмерить величие пустыни

с собственным духом. Да, сарозеки велики, но живая мысль человека объемлет и это. Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно вызревало в смутных догадках.

Кто знает, как почувствовали бы себя Едигей и Укубала по мере углубления в сарозеки, если бы не Казангап, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казангап и особенно сама Укубала упросили, почти заставили Едигея взгромоздиться на верблюда: «Мы здоровые люди, а тебе надо пока силы поберечь, не спорь, не задерживай, путь далек впереди...» Верблюд был молодой, еще слабоватый для больших нагрузок, поэтому двое шагали рядом, а третий ехал верхом. Это на нынешнем едигеевском Каранаре спокойно устроились бы все трое и гораздо быстрее, за три с половиной — четыре часа резвого трота, прибыли бы на место. А они добрались тогда до Боранлы-Буранного лишь поздно ночью.

Но путь в разговорах да в разглядывании незнакомых мест прошел незаметно. Казангап рассказывал по дороге о здешнем житье-бытье — рассказывал о том, как попал сюда, в сарозекские края, на железную дорогу. Лет-то ему было не так

много, оказывается, тридцать шестой пошел в том году, перед окончанием войны. Родом он был из приаральских казахов. Его аул Бешагач отстоял от Жангельди в тридцати километрах по побережью. И хотя давно уже Казангап уехал оттуда, с тех пор прошло много лет, он ни разу не наведался в свой Бешагач. Были на то причины. Отца его, оказывается, выслали по ликвидации кулачества как класса, и тот умер в пути, возвращаясь вскоре из ссылки, когда выяснилось, что никакой он не кулак, что попал он под перегиб и что напрасно, а точнее говоря, ошибочно обошлись столь круто с такими середняками-хозяевами, как он. Дали отбой, но было уже поздно. Семья — братья, сестры — разбрелась тем временем кто куда, лишь бы с глаз подальше. И с тех пор как в воду канули. Казангапа, тогда молодого парня, некоторые особо ретивые активисты все принуждали выступать на собрании с осуждением отца, чтобы он сказал принародно, что горячо поддерживает линию, что отец его был правильно осужден как чуждый элемент, что он отрекается от такого отца и что таким, как его отец, классовым врагам нет места на земле и повсюду им должна быть непременная погибель.

Пришлось Казангапу податься в очень дальние

края. Целых шесть лет проработал он в Бетпак-Дале — в Голодной степи под Самаркандом. Землю ту, веками нетронутую, начинали тогда осваивать под хлопковые плантации. Люди нужны были позарез. Жили в бараках, рыли канавы. Землекопом был, трактористом был, бригадиром был, грамоту почетную получил Казангап за ударный труд. Там и женился. В Голодную степь тянулись тогда на заработки люди со всех сторон. Из-под Хивы прибыла каракалпачка Букей вместе с семьей брата на бетпак-далинские работы. А получилось, что суждено им было встретиться. Поженились в Бетпак-Дале и решили вернуться на родину Казангапа, на Аральское море, к своим людям, на свою землю. Но только не продумали все до конца. Ехали долго, с пересадками, на «максимах»[8], а когда еще одну пересадку стали делать, на Кумбеле, встретил Казангап случайно своих аральских земляков и понял из разговоров, что не следует ему возвращаться в Бешагач. Оказывается, делами там заправляли все те же перегибщики. А раз так, раздумал Казангап возвращаться в свой аул. Не потому, что чего-то опасался, теперь у него была грамота из

[8] Примечания: 8

«Максимы» — так назывались эшелоны, предназначенные для перевозки людей.

самого Узбекистана. Не хотелось видеть людей, торжествовавших в злоглумлении над ним. Им пока все сошло с рук, и как было после всего этого спокойно здороваться, делать вид, что ничего не произошло!

Казангап не любил об этом вспоминать и не понимал, что, кроме него, об этом все уже давно думать забыли. За долгие-долгие годы, последовавшие после приезда в сарозеки, лишь дважды дал он понять, что для него нет забытого. Однажды сын крепко раздосадовал его, в другой раз Едигей неловко пошутил.

В один из приездов Сабитжана сидели они все за чаем, беседы вели, новости городские слушали. Рассказал среди прочего Сабитжан, посмеиваясь, что те казахи да киргизы, которые в годы коллективизации ушли в Синьцзян, теперь снова возвращаются. Там их Китай так прижал в коммунах — есть запретили людям дома, только из общего бака три раза в день, и большим и малым в очереди с мисками. Вот и бегут они оттуда как ошпаренные, побросав все имущество. В ноги кланяются, только пустите назад.

— Что тут хорошего? — помрачнел Казангап, и губы его задрожали от гнева. С ним такое случалось крайне редко, и так же редко, если не

сказать — почти никогда не говорил он таким тоном с сыном, которого обожал, учил, ни в чем не отказывал, веря, что тот выйдет в большие люди. — Зачем ты смеешься над этим? — добавил он глухо, все больше напрягаясь от прилившей к голове крови. — Это же беда людская.

— А как же мне говорить? Вот странно! — возразил Сабитжан. — Как есть, так и говорю.

Отец ничего не ответил, отстранив от себя пиалу с чаем. Его молчание становилось невыносимым.

— И вообще, на кого обижаться? — удивленно пожимая плечами, заговорил Сабитжан. — Не понимаю. Еще раз повторяю — на кого обижаться? На время — оно неуловимо. На власть — не имеешь права.

— Знаешь, Сабитжан, мое дело — по мне, то, что мне по плечу. В другие дела я не вмешиваюсь. Но запомни, сын, я думал, ты своим умом уже дошел, так вот запомни. Только на бога не может быть обиды — если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался, — а за все остальное на земле есть и должен быть спрос! — Казангап встал с места и, не глядя ни на кого, молча вышел из дома, ушел куда-то…

А в другой раз, уже много лет спустя, — когда

обосновались, обжились в Боранлы-Буранном, когда народились и выросли дети, — загоняя под вечер скотину в загон, дело было весной, Едигей пошутил, глядя на умножившихся с ягнятами овец:

— Разбогатели мы с тобой, Казаке, впору хоть раскулачивать нас заново!

Казангап метнул на него резкий взгляд, его усы точно ощетинились.

— Ты говори, да не заговаривайся!

— Да ты что, шуток не понимаешь, что ли?

— Этим не шутят.

— Да брось ты, Казаке. Сто лет прошло…

— В том-то и дело. Добро отберут у тебя — не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь…

Но в тот день, когда они держали путь по сарозекам из Кумбеля в Боранлы-Буранный, до этих разговоров было еще очень далеко. И еще никто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Боранлы-Буранный, много ли, мало ли там сумеют они продержаться, приживутся ли или пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о житье-бытье, и в разговоре Едигей поинтересовался, как получилось, что Казангап на фронт не попал, или болезнь какая нашлась?

— Нет, слава богу, здоровый я, — отвечал Казангап, — никаких болезней у меня не было, и воевал бы я, думаю, не хуже других. Так вышло все по-другому…

После того как не решился Казангап возвращаться в Бешагач, застряли они на станции Кумбель, деваться было некуда. Снова в Голодную степь — далеко слишком, да и с какой стати, не стоило тогда уезжать оттуда. На Арал опять же раздумали. А начальник станции, добрая душа, приметил их, сердечных, и, расспросив, откуда они и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей на проходящий товарняк до разъезда Боранлы-Буранный. Там, сказал он, нужны люди, вот вы как раз подходящая пара. Записку написал начальнику разъезда. И не ошибся. Как ни тягостно оказалось даже по сравнению с Голодной степью — там народу было полно, работа кипела, — как ни страшно было в безводных сарозеках, но понемногу свыклись, приспособились и зажили. Худо-бедно, но сами по себе. Оба числились путевыми рабочими на перегонах, хотя делать приходилось все, что требовалось по разъезду. Вот так, собственно, и началась их совместная жизнь, Казангапа и его молодой жены Букей, на безлюдном сарозекском

разъезде Боранлы-Буранный. Правда, раза два в те годы хотели было они, поднакопив денег, перебраться куда-нибудь в другое место, поближе к станции или к городу, но пока они собирались, тут и война началась.

И пошли эшелоны через Боранлы-Буранный на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными. Даже на таком глухом полустанке, как Боранлы-Буранный, сразу стало ощутимо, как резко переиначилась жизнь на кругах своих…

Один вслед за другим ревели паровозы, требуя открытия семафоров, а навстречу столько же гудков… Шпалы не выдерживали нагрузки, корежились, преждевременно изнашивались рельсы, деформируясь от тяжести переполненных вагонов. Едва успевали заменить полотно в одном месте, как срочно требовался ремонт дороги в другом…

И ни конца, ни края — откуда только черпали эту неисчислимую людскую рать, эшелон за эшелоном проносился на фронт днем и ночью, неделями, месяцами, а потом годами и годами. И все на запад — туда, где схватились миры не на жизнь, а на смерть…

Спустя немного сроку пришел черед и Казан-

гапа. Потребовали на войну. С Кумбеля передали повестку — явиться на сборный пункт. Начальник разъезда схватился за голову, застонал — забирали лучшего путейщика, их и так-то было на Боранлы-Буранном полтора человека. Но что он мог, кто бы его слушать стал, что пропускная способность разъезда не резина… Паровозы ревут у семафоров… Засмеют, если сказать, что срочно нужна еще одна запасная линия. Кому сейчас до этого — враг под Москвой…

И уже вступала на порог первая военная зима, ранняя, поспешающая сумерками, мглистая, пробирающая холодом. А накануне того утра выпал снег. Ночью пошел. Сперва редкой порошей, а потом повалил густо и усердно. И среди великого безмолвия сарозеков, бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по логам, упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу зашевелились, легко играючи еще не слежавшимся настом, сарозекские ветры. То были пока начальные, пробные ветры, потом завихрятся, завьюжат, поднимут большие метели. И что тогда будет с тоненькой ниточкой железной дороги, перерезавшей из края в край Серединные земли великих желтых степей, как жилка на виске? Билась жилка — двигались, двигались поезда в

ту и другую сторону…

Тем утром уезжал Казангап на фронт. Уезжал один, без всяких проводов. Когда они вышли из дому, Букей остановилась, сказала, что у нее от снега закружилась голова. Казангап подхватил укутанного ребенка из ее рук. К тому времени Айзада уже народилась. И они пошли, возможно последний раз оставляя рядом следы на снегу. Но не жена провожала Казангапа, а он напоследок довел ее до стрелочной будки, перед тем как сесть на попутный товарняк до Кумбеля. Теперь Букей оставалась стрелочницей вместо мужа. Здесь они попрощались. Все, что надо было сказать, было сказано и выплакано еще ночью. Паровоз стоял уже под парами. Машинист торопил, звал Казангапа к себе. И как только Казангап взобрался к нему, паровоз дал длинный гудок и, набирая скорость, проследовал, перепадая колесами на стыке, через стрелку, где, открыв им путь, стояла Букей, туго повязанная платком, перепоясанная, в мужниных сапогах, с флажком в одной руке, с ребенком в другой. Последний раз помахали друг другу… Промелькнули — лицо, взгляд, рука, семафор…

А поезд тем временем уже мчался, оглашая громыханием молочное заснежье сарозеков,

молча наплывающих и молча проносящихся по сторонам как белый сон. Ветер задувал в паровоз, привнося к неистребимому запаху выгоревшего шлака в топке запах свежего, первозданного степного снега… Казангап старался подольше задержать в легких этот зимний дух сарозекских просторов и понял, что ему отныне эта земля не безразлична…

На Кумбеле шла отправка мобилизованных. Строили всех в ряды, делали перекличку и распределяли по вагонам. И вот тут-то случилась странная история. Когда Казангап пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу.

— Асанбаев Казангап! Кто тут Асанбаев? Выйти из строя! Иди за мной!

Как сказано, так и поступил Казангап.

— Я Асанбаев!

— Документы!.. Правильно. Он самый. А теперь за мной.

И они пошли назад на станцию, где размещался пункт сбора, тот человек сказал ему:

— Вот что, Асанбаев, ты давай возвращайся домой. Езжай к себе. Понял?

— Понял, — ответил Казангап, хотя ничего не понял.

— В таком разе топай, не толкайся тут. Ты свободен.

Казангап остался в гудящей толпе провожающих и отъезжающих в полной растерянности. Поначалу он даже обрадовался такому повороту дела, а потом вдруг нестерпимо жарко стало ему от догадки, мелькнувшей в глубине сознания. Ах вот оно что! И он стал пробиваться через пробку людей к дверям начальника сбора.

— Куда ты, куда лезешь? — закричали те, что тоже хотели попасть к начальнику.

— У меня срочное дело! Эшелон уходит, срочное дело! — И пробился.

В накуренной до сизой мглы комнате, среди телефонов, бумаг и обступивших людей полуседой, охрипший человек поднял перекошенное лицо от стола, когда Казангап сунулся к нему.

— Ты чего, по какому вопросу?

— Я не согласен.

— С чем не согласен?

— Отец мой был оправдан как попавший под перегиб. Он не кулак! Проверьте у себя все бумаги! Он оправдан как середняк.

— Постой-постой! Чего тебе надо-то?

— Если меня не берете по этой причине, то это неправильно.

— Слушай, не пори хреновину. Кулак, середняк — кому теперь дело до этого! Ты откуда свалился? Ты кто такой?

— Асанбаев с разъезда Боранлы-Буранный.

Начальник стал заглядывать в списки.

— Так бы и сказал. Морочишь тут голову. Середняк, бедняк, кулак! На тебя бронь! По ошибке вызвали. Есть приказ самого товарища Сталина — железнодорожников не трогать, все остаются на местах. Давай не мешай тут, гони на свой разъезд и дело давай…

Закат застал их где-то в пути, неподалеку от Боранлы-Буранного. Теперь они снова приближались к железнодорожной линии, и уже слышны были гудки пробегающих в ту и другую сторону поездов и можно было различить составы вагонов. Издали среди сарозеков они выглядели игрушечными. Солнце медленно угасало позади, высвечивая и одновременно затеняя чистые лога и холмы вокруг, и вместе с тем незримо зарождались над землей сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух синевой и остывающим духом весенней земли, еще сохранявшей остатки зимней влаги.

— Вон наш Боранлы! — указал рукой Казангап, оборачиваясь к Едигею на верблюде и к

поспешавшей рядом Укубале. — Теперь немного осталось, скоро доберемся, бог даст. Отдохнете.

Впереди, там, где железная дорога делала чуть заметный изгиб, на пустынной плоскости стояло несколько домиков, а на запасном пути дожидался открытия семафора проходящий состав. И дальше и по сторонам чистое поле, пологие увалы — немое, немереное пространство, степь да степь…

Сердце Едигея упало — сам приморский степняк, привыкший к аральским пустыням, он не ожидал такого. От синего, вечно меняющегося моря, на берегу которого вырос, к мертвенному безморью! Как тут жить-то?!

Укубала, идя рядом, дотянулась рукой до ноги Едигея и прошла несколько шагов, не убирая руки. Он понял. «Ничего, — говорила она тем самым, — главное, чтобы здоровье твое вернулось. А там поживем — увидим…»

Так приближались они к месту, где предстояло им* как оказалось потом, провести долгие годы — всю остальную жизнь.

Вскоре солнце угасло, и уже в темноте, когда ясно и четко обозначилось в сарозекском небе множество звезд, они добрались до Боранлы-Буранного.

Несколько дней жили у Казангапа. А потом отделились. Дали им комнату в тогдашнем бараке для путевых рабочих, и с того началась их жизнь на новом месте.

При всех невзгодах и тягостном, особенно на первых порах, безлюдье сарозеков пользительными для Едигея оказались две вещи — воздух и верблюжье молоко. Воздух был первозданной чистоты, другой такой девственный мир найти было бы трудно, а молоко Казангап устроил, дал им на подой одну из двух верблюдиц.

— Мы тут с женой посоветовались что к чему, — сказал он, — нам своего молока хватает, а вы берите себе на подой нашу Белоголовую. Она верблюдица молодая, удойная, вторым окотом идет. Сами ухаживайте и сами пользуйтесь. Только глядите, чтобы сосунка не заморить. Он ваш, мы с женой так порешили — это тебе, Едигей, от меня на развод, для начала. Сбережешь — стадо вокруг него завяжется. Надумаете вдруг уезжать — продашь, деньги будут.

Детеныш у Белоголовой — черноголовый, крошечный, с малюсенькими темными горбиками — народился всего полторы недели назад. И такой трогательно глазастый — огромные, выпуклые, влажные глаза его светились детской лаской

и любопытством. Иногда он начинал забавно бегать, подпрыгивать, резвиться возле матери и звать ее, когда оставался в загончике, почти человеческим, жалобным голоском. Кто мог бы подумать — это и был будущий Буранный Каранар. Тот самый неутомимый и могучий, который станет со временем знаменитостью округи. С ним окажутся связанными многие события в жизни Буранного Едигея. А тогда сосунок нуждался в постоянном присмотре. Крепко привязался к нему Едигей. Возился с ним всякое свободное время. Он и прежде, еще на Арале, имел навыки в этом деле, и теперь они очень пригодились. К зиме маленький Каранар заметно подрос, и тогда с наступлением холодов сшили ему теплую попонку, застегивающуюся на подбрюшье. В этой попонке он был совсем смешной — только голова, шея, ноги да два горбика были снаружи. В таком одеянии он ходил всю зиму и начало весны — круглые сутки в степи под открытым небом.

К зиме того года Едигей почувствовал, как постепенно возвращались к нему силы. Даже не заметил, когда перестала голова кружиться. Мало-помалу исчез постоянный гул в ушах, перестал обливаться потом при работе. В середине зимы при больших заносах на дороге он уже мог

наравне со всеми выходить на аврал. А потом настолько окреп, молодой ведь был, да и сам от природы напористый, забыл даже, как худо да туго было совсем недавно, как едва ноги таскал. Сбылись слова рыжебородого доктора.

В минуты благодушия Едигей, бывало, шутил, обращаясь к верблюжонку, лаская его, обнимая за шею:

— Мы с тобой вроде как молочные братья. Ты вон как подрос на молоке Белоголовой, а я от контузийной немощи избавился, кажется. Дай бог, чтоб навсегда. Разница лишь в том, что ты сосал вымя, а я выдаивал да шубат делал…

Много лет спустя, когда Буранный Каранар достиг такой славы в сарозеках, что приехали какие-то люди специально фотографировать его, а это было, уже когда война забылась, дети учились, когда на разъезде появилась собственная водокачка и проблема воды, таким образом, была окончательно решена, а Едигей уже дом поставил под железной крышей, — словом, когда жизнь после стольких лишений и мытарств вошла наконец в свое достойное, нормальное для человеческой жизни русло, тогда и вышел один разговор, который Едигей долго помнил потом.

Приезд фотокорреспондентов, так они сами от-

рекомендовались, конечно же, был редким, если не единственным случаем в истории Боранлы-Буранного. Шустрые, словоохотливые фотокоры, их было трое, не поскупились на посулы — с тем, мол, мы и прибыли, чтобы пропечатать во всех газетах и журналах Буранного Каранара и его хозяев. Шум и суета вокруг Каранару не очень нравились — он раздраженно покрикивал, скрипел зубатой пастью и недоступно задирал голову, чтобы его оставили в покое. Приезжим приходилось все время просить Едигея, чтобы он усмирял верблюда, поворачивал его то так, то эдак. А Едигей, в свою очередь, всякий раз звал детей, женщин и самого Казангапа, чтобы, стало быть, не один он, а все вместе были засняты, полагал, что так будет лучше. Фотокоры охотно мирились с этим, щелкали разными аппаратами. Самый коронный номер был, когда на Буранного Каранара насели все ребята, двое на шею, а еще человек пять на спину, а посередине сам Едигей, — вот, мол, какой силы верблюдище! То-то было шуму и веселья! Но потом фотокорреспонденты признались, что для них важно заснять атана самого по себе, без людей. Пожалуйста, какой разговор!

И тогда фотографы стали снимать Буранного Каранара, прицеливаясь сбоку, спереди, вблизи,

издали, как могли и умели, а потом с помощью Едигея и Казангапа стали делать обмеры — замерили высоту в холке, обхват в груди, обхват запястья, длину корпуса и все записывали, восхищаясь:

— Великолепный бактриан! Вот где гены отлично сработали! Классический тип бактриана! Какая мощная грудь, отличный экстерьер!

Лестно было, конечно, Едигею слышать такие отзывы, но пришлось спросить, что означали эти непонятные для него слова, «бактриан» например. Оказалось, так называется в науке древняя порода двугорбых верблюдов.

— Значит, он бактриан?

— Редкой чистоты. Алмаз.

— А зачем вам все эти обмеры?

— Для научных данных.

Насчет газет и журналов приезжие, конечно, пыль пустили в глаза боранлинцам для пущей важности, но через полгода прислали бандеролью учебник, предназначенный для зоотехнических факультетов по верблюдоводству, на обложке которого красовался классический бактриан — Буранный Каранар. И фотоснимков прислали целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографиям можно судить — счастливое,

отрадное было время. Невзгоды послевоенных лет оставались позади, дети еще не вышли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость еще крылась за горами.

В тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и устроил славное пиршество для всех боранлинцев. Шубата, водки и всякой снеди было полно. Тогда заезжал на разъезд передвижной вагон-магазин орса, в котором привозили все что душе угодно. Лишь бы деньги были. Всякие там крабы, черная и красная икра, рыбы разных сортов, коньяки, колбасы, конфеты и прочее и прочее. И надо же, когда все есть, то не очень-то покупали. Зачем лишнее? Теперь магазин этот передвижной давно уже исчез с путей…

А тогда славно посидели, пили даже за Буранного Каранара. И в разговоре выяснилось, что гости прослышали о Каранаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал им, что в сарозеках живет его друг Буранный Едигей и что он хозяин самого красивого верблюда на свете — Буранного Каранара! Елизаров, Елизаров! Отличный человек, знаток сарозеков, ученый… Когда Елизаров приезжал в Боранлы-Буранный, собирались они втроем с Казангапом, сколько разговоров бывало ночами напролет…

За тем сидением поведали они гостям, то Казангап, то Едигей продолжая и дополняя друг друга, сарозекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой белоголовой верблюдице Акмае и ее не менее знаменитой хозяйке Найман-Ане, покоящейся на кладбище Ана-Бейит. Вот ведь откуда вел свой род Буранный Каранар! Боранлинцы надеялись, что, может быть, в газете какой напечатают об этой старинной истории. Гости с интересом выслушали, но посчитали, должно быть, что это какая-то местная легенда, бытующая из поколения в поколение. А вот Елизаров был другого мнения. Он считал, что легенда об Акмае вполне может отражать то, что было, как он говорил, в ту историческую действительность. Он любил слушать такие вещи, он и сам знал немало степных преданий из прошлого…

Выпроводили гостей уже к вечеру. Довольный, гордый был Едигей. Оттого и сказал не подумав. Выпил ведь все-таки с гостями. Но что сказано, то сказано.

— А что, Казаке, признайся, — сказал он Казанга-пу, — не жалеешь ли грешным делом, что подарил мне сосунком Каранара?

Казангап глянул на него с усмешкой. Видимо,

не ожидал такого. И, помолчав, ответил:

— Все мы люди, конечно. Но знаешь, есть такой закон, дедами еще сказанный: мал иеси кудайдан[9]. Это дело от бога. Так суждено. Именно твоим должен быть Каранар и именно ты его хозяин. А попади он, скажем, в другие руки, неизвестно, каким бы он был, а может, и не выжил бы, околел, и мало ли что еще могло приключиться. Свалился бы с обрыва. Тебе он должен был принадлежать. У меня ведь и прежде бывали верблюды, и неплохие. И от этой же матки, от Белоголовой, от которой Каранар. А у тебя он был один-единственный, дареный… Дай бог, чтоб сто лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь…

— Ну извини, извини, Казаке, — застыдился Едигей, сожалея, что ляпнул такое.

И в продолжение их разговора поделился Казангап своим наблюдением. По преданию, золотая матка Акмая принесла семерых детенышей — четырех маток, трех самцов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, белоголовые, все самцы, наоборот, черноголовые, а сами каштановой масти. Оттого Каранар и уродился таким. От

---

[9] Примечания: 9
Хозяин скотины от бога.

белоголовой матки черный верблюд. Это первый признак его происхождения от Акмаи, и с тех пор, кто его знает, сколько лет прошло, двести, триста, пятьсот или больше, но в сарозеках род Акмаи не переводится. И нет-нет да появится такой верблюд-сырттан[10], как Буранный Каранар. А Едигею просто-напросто повезло. На его мужицкое счастье, народился Каранар и попал в его руки…

А когда пришло время что-то делать с Каранаром — или кастрировать, или держать его в оковах, потому что стал он буянить страшно, не допуская к себе людей, убегал, пропадал где-то по нескольку суток, — Казангап прямо сказал Едигею, когда тот стал советоваться с ним:

— Это дело твое. Хочешь спокойной жизни — оскопи. Хочешь славы — не тронь. Но тогда бери на себя весь ответ, если что. Хватит сил и терпения — подожди, перебунтует года три и будет потом за тобой ходить.

Не тронул Едигей Буранного Каранара. Нет, не посмел, рука не поднялась. Оставил его атаном. Но были моменты — умывался кровавыми слезами…

---

[10] Примечания: 10

Сырттан — сверхсущество, например сверхсобака, сверх волк

5

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Рано утром все было готово. Наглухо запеленатое в плотную кошму и перевязанное снаружи шерстяной тесьмой тело Казангапа с закутанной головой уложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подостлав на дно опилок, стружек и слои чистого сена. Надо было не очень-то задерживаться с выездом, чтобы к вечеру, не позднее пяти-шести часов, успеть вернуться с кладбища. Тридцать километров в один конец да столько же в другой, да там само захоронение — вот и получается, что поминки справлять придется где-то только около шести вечера. С тем и

отправлялись в путь, чтобы поспеть к поминкам. И все было уже готово. Держа на поводу оседланного и обряженного еще со вчерашнего вечера Каранара, Буранный Едигей поторапливал людей. И вечно они возятся. Сам он, хотя и не спал всю ночь, выглядел подтянутым, сосредоточенным, хотя и осунулся. Чисто выбритый, сивоусый и сивобровый Едигей был в лучшем наряде — хромовых сапогах, в вельветовых мешковатых галифе, в черном пиджаке поверх белой рубашки и на голове выходная железнодорожная фуражка. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это ему шло и придавало внушительность. Таким, пожалуй, и должен был бы быть Буранный Едигей на похоронах Казангапа.

На проводы собрались все боранлинцы от мала до велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщины не переставая плакали. Как-то само собой вышло, Буранный Едигей сказал собравшимся:

— Мы сейчас отправляемся на Ана-Бейит, на самое почитаемое старинное кладбище в сарозеках. Покойный Казангап-ата заслужил этого. Он сам завещал похоронить его там. — Едигей задумался, что сказать еще, и продолжил: — Стало

быть, кончились вода и соль, предназначенные ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде ровно сорок четыре года. Можно сказать — всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Воду привозили в цистерне на целую неделю. Тогда не было снегоочистителей и других машин, которые теперь есть. Не было даже такого трактора, на котором теперь мы везем его хоронить. Но все равно поезда шли и путь им был всегда готов. Он честно отслужил свой век на Боранлы-Буранном. Он был хорошим человеком. Вы все знаете. А теперь мы двинемся. Всем туда не на чем и незачем ехать. Да и линию не имеем права оставлять. Мы поедем туда вшестером. И мы все сделаем как подобает. А вы ждите нас и готовьтесь, по возвращении все собирайтесь на поминки, зову от имени его детей, вот они — сын и дочь его…



Хотя Едигей и не думал, получился вроде как бы маленький траурный митинг. С тем они тронулись. Боранлинцы пошли немного за прицепом

и остались кучкой за домами. Некоторое время слышался еще громкий плач — то голосили вслед Айзада и Укубала…

И когда смолкли позади выкрики и они вшестером, все дальше уходя от железной дороги, углубились в сарозеки, Буранный Едигей облегченно вздохнул. Теперь они были сами по себе и он знал, что надо делать.

Солнце уже поднималось над землей, щедро и отрадно заливая светом сарозекские просторы. Пока еще было прохладно в степи и ничто внешне не отягощало их движения. Во всем мироздании привычно и недоступно парили в выси только два коршуна да иногда выпархивали из-под ног жаворонки, смущенно щебеча и трепыхая крылышками. «Скоро и они улетят. С первым снегом соберутся в стаи и улетят», — отметил про себя Едигей, представив на мгновение падающий снег и улетающих в той снежной пелене пташек. И опять вспомнилась ему почему-то лисица в ночи, прибегавшая к железной дороге. Он даже огляделся украдкой по сторонам — не идет ли где следом. И опять подумалось об огненной ракете, поднимавшейся той ночью над сарозеками в космос. Удивляясь странным мыслям своим, он все же заставил себя забыть об этом. Не о том при-

стало думать в такой час, хоть путь был далек…

Восседая на своем Каранаре, Буранный Едигей ехал впереди, указывая направление на Ана-Бейит. Широким, размашистым тротом шел под ним Каранар, все больше втягиваясь в дорожный ритм движения. Для понимающего человека Каранар был особенно красив на ходу. Голова верблюда на гордо изогнутой шее как бы плыла над волнами, оставаясь почти в неподвижности, а ноги, длиннющие и сухожильные, стригли воздух, неутомимо отмеряя шаги по земле. Едигей сидел между горбами прочно, удобно, уверенно. Он был доволен, что Каранар не требовал понуканий, шел, легко и чутко улавливая указания хозяина. Ордена и медали на груди Едигея слегка позванивали на ходу и отсвечивали в лучах солнца.

Следом за ним катился трактор «Беларусь» с прицепом. В кабине возле молодого тракториста Калибека сидел Сабитжан. Вчера он все же порядочно выпил, занимая боранлинцев всякими байками о радиоуправляемых людях и всякой другой болтовней, а теперь был подавлен и молчалив. Голова Сабитжана болталась из стороны в сторону. Едигей опасался, как бы не разбились его очки. В прицепной тележке рядом с телом Казангапа сидел, пригорюнившись, муж Айзады.

Он щурился на солнце и изредка оглядывался по сторонам. Этот никчемный алкоголик на сей раз проявил себя с лучшей стороны. Ни капли не взял в рот. Старался во всем помогать, во всех делах и при выносе покойника особенно усердствовал, подставлял плечо. Когда Едигей предложил ему примоститься с ним сзади на верблюде, тот отказался. «Нет, — сказал он, — я буду сидеть рядом с тестем, сопровождать его буду от начала до конца». Это и Едигей одобрил и все боранлинцы. И когда выезжали они с места, то больше всех и громче всех плакал именно он, сидя в прицепной тележке, придерживая войлочный сверток с телом умершего. «А что, вдруг человек возьмется за ум да бросит пить! Какое счастье было бы для Айзады и детей», — обнадежился даже Едигей.

Эту маленькую и странную процессию в безлюдной степи, возглавляемую верховым на верблюде в попоне с кистями, замыкал колесный экскаватор «Беларусь». В его кабине ехали Эдильбай и Жумагали. Черный, как негр, приземистый Жумагали сидел за рулем. Обычно он управлял этой машиной на разных путевых работах. На Боранлы-Буранном он появился сравнительно недавно, и еще трудно было сказать, надолго ли задержится здесь. Рядом с ним, возвышаясь

на целую голову, ехал Длинный Эдильбай. Всю дорогу они о чем-то оживленно разговаривали.

Надо отдать должное начальнику разъезда Оспану. Это он выделил на похороны всю наличную технику, которой располагал разъезд. Правильно рассудил молодой начальник разъезда — если ехать в такую даль да еще вручную копать могилу, вряд ли они успеют обернуться к вечеру, ведь яму нужно вырыть очень глубокую и с подкопом — с боковой нишей по мусульманскому обычаю.

Поначалу Буранного Едигея это предложение несколько озадачило. Ему и в голову не приходило, чтобы вздумалось кому могилу копать не собственными руками, а с помощью экскаватора. Сидел он перед Оспаном, хмуря лоб в раздумье, полный сомнений. Но Оспан нашел выход, убедил старика:

— Едике, я вам дело говорю. Чтобы вас ничего не смущало, начните вначале копать вручную. Ну, скажем, первые лопаты. А потом экскаватором в два счета. Грунт в сарозеках ссохшийся, как камень, сами знаете. Экскаватором углубитесь сколько надо, а под конец опять вручную возьметесь, отделку, так сказать, завершите. И время сэкономите и соблюдете все правила…

И вот теперь по мере удаления в сарозеки Еди-

гей находил совет Оспана вполне разумным и приемлемым. И даже удивлялся, как это он сам не додумался. Да, так они и поступят, бог даст, достигнув Ана-Бейита> Так и следует — выберут на кладбище удобное место, чтобы устроить покойника головой в сторону вечной Каабы, начнут для затравки заступом да лопатами, которые они везут с собой в прицепе, а когда чуть углубятся, пустят экскаватор выбрать яму до дна, а нишу сбоку — казанак — и ложе завершат вручную. Так оно будет и быстрей и верней.

С этой целью они следовали в тот час по сарозекам, то появляясь цепочкой на гребне всхолмлений, то скрываясь в широких логах, то снова отчетливо вырисовываясь на удалении равнин, — впереди Буранный Едигей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прицепом, как некий жук, угластый и рукастый экскаватор «Беларусь» со скрепом бульдозерным впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади.

Оглядываясь последний раз на скрывшийся позади разъезд, Едигей, к своему великому изумлению, только сейчас заметил рыжего пса Жолбарса, деловито трусившего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот те на! При выезде из Боранлы-Буранного его вроде бы не было. Знал

бы, что он выкинет такую штуку, посадил бы на привязь. Экий хитрец! Как приметит, что Едигей на Каранаре отправляется куда-то, уж он выберет момент, примкнет в попутчики. Вот и в этот раз возник как из-под земли. Бог с ним, решил Едигей. Гнать его назад было уже поздно, да и не стоило терять время из-за собаки. Пусть себе бежит. И словно бы отгадав мысли хозяина, Жолбарс обогнал трактор и пристроился чуть спереди и сбоку Каранара. Едигей пригрозил ему кнутовищем. Но тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозиться. Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу. Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрубленными ушами и умным, спокойным взором, рыжий пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен.

Между тем разные мысли навещали Едигея по пути на Ана-Бейит. Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все о том же, о житье-бытье былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе и являлись, если на то пошло, главными постоянными рабочими на разъезде, другие-то не очень задерживались на Боранлы-Буранном, как приходили, так и уходили. Им с Казангапом времени не хва-

тало передохнуть, потому что, хочешь не хочешь, приходилось, ни с чем не считаясь, делать по разъезду всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспоминать об этом неловко — молодые смеются: старые дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего.



Однажды на заносах двое суток не покладая рук бились, расчищая пути от снега. На ночь паровоз подвели с фарами, чтобы освещать местность.

А снег все идет, и ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже сугроб намело. И холодно — не то слово: лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на пять минут погреться — и опять за это гиблое сарозекское дело. И самый паровоз-то уже замело по колеса с верхом. Трое из новоприбывших рабочих к ночи в тот день ушли. Обматерили сарозекскую жизнь на чем свет стоит. Мы, говорят, не арестанты, в тюрьмах и то дают время выспаться. И с тем подались, а наутро, когда пошли поезда, свистнули на прощание:

— Эй, дуроломы, хрен вам в зубы!

Но не потому, что эти заезжие молодцы облаяли их, а так случилось, подрались они на том заносе с Казангапом. Да, было такое. Ночью стало невмоготу работать. Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака, цепляется. Деться некуда от ветра. Паровоз пары пускает, а от этого только туман. И фары едва-едва тьму просвечивали. Когде те трое ушли, они с Казангапом оставались вывозить снег верблюжьей волокушей. Пара верблюдов была запряжена. Не идут, твари, им тоже холодно и тошно в этой круговерти. Снег на обочинах по грудь. Казангап тягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а Едигей на волокуше погонял сзади бичом. Так бились они

до полуночи. А верблюды потом упали в снег, хоть убей, вконец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза, заслоняясь от ветра.

— Хватит, Казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода, — проговорил Едигей, хлопая одна *о* другую смерзшимися рукавицами.

— Погода какая была, такой и будет. Все равно наша работа — расчищать путь. Давай лопатами, не имеем права стоять.

— Да что мы, не люди?

— Не люди — волки да разное зверье — по норам сейчас попрятались.

— Ах ты гад! — взъярился Едигей. — Да тебе хоть подохни, и ты сам здесь подохнешь! — И двинул его по скуле.

Ну и схватились, поразбивали губы друг другу. Хорошо еще, кочегар выпрыгнул из паровоза, разнял вовремя.

Вот такой он был, Казангап. Теперь таких не сыщешь. Нет теперь Казангапов. Последнего везут хоронить. Осталось упрятать покойника под землю с прощальными словами над ним — и на том аминь!

Думая об этом, Буранный Едигей повторял про себя полузабытые молитвы, чтобы выверить

заведенный порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращенных к богу, ибо только он один, неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческом непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверно, и сочинялись молитвы. Ведь до бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, ты так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живет человек с тех пор, как мир стоит, — не соглашаясь, примиряется. И молитвы эти неизменны от тех дней, и говорится в них все то же — чтобы не роптал понапрасну, чтобы утешился человек. Но слова эти, отшлифованные тысячелетиями, как слитки золота, — последние из последних слов, которые обязан произнести живой над мертвым. Таков обряд.

И думалось ему еще о том, что независимо от того, есть ли бог на свете или его вовсе нет, однако вспоминает человек о нем большей частью, когда приспичит, хотя и негоже так поступать. Оттого, наверное, и сказано — неверующий не вспомнит о боге, пока голова не заболит. Так оно или не так, но молитвы все-таки знать надо.

Глядя на своих молодых попутчиков на тракторах, Буранный Едигей искренне сокрушался и сожалел — никто из них не знал никаких мо-

литв. Как же они будут хоронить друг друга? Какими словами, объемлющими начало и конец бытия, заключат они уход человека в небытие? «Прощай, товарищ, будем помнить»? Или еще какую-нибудь ерунду?

Как-то раз довелось ему присутствовать на похоронах в областном городе. Диву дался Буранный Едигей — на кладбище все равно что на собрании каком: перед покойником в гробу выступали по бумагам ораторы и говорили все об одном и том же — кем он работал, на каких должностях и как работал, кому служил и как служил, а потом сыграли музыку и могилу завалили цветами. И ни один из них не удосужился сказать о смерти, как говорилось в молитвах, венчающих познания людей от века в той череде бытия и небытия, как будто бы до этого никто не умирал на свете и после того как будто никто не должен был умереть. Несчастные, они были бессмертны! Так и заявляли вопреки очевидному: «Он ушел в бессмертие!»…

Едигей хорошо знал местность. К тому же с высоты Буранного Каранара ему, седоку, все было видно впереди на далекое расстояние. Он старался держать путь по сарозекам на Ана-Бейит как можно прямее, допуская отклонения лишь

с тем, чтобы тракторам удобнее было миновать рытвины.

И все шло, как было задумано. Ни скоро, ни тихо, но они преодолели уже треть пути… Буранный Каранар рысил неутомимым тротом, чутко улавливая повеления хозяина. За ним следовал, тарахтя, трактор с прицепом, и за прицепом шел колесный экскаватор «Беларусь».

И, однако же, впереди их ждали непредвиденные обстоятельства, которые, как бы невероятно это ни звучало, имели некую внутреннюю связь с делами, происходящими на космодроме Сары-Озек…

Авианосец «Конвенция» находился в тот час на своем месте, в том же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско.

Погода на океане не изменилась. В течение первой половины дня все так же ослепительно сияло солнце над бесконечно мерцающим простором воды. Ничто на горизонте не предвещало каких-либо атмосферных изменений.

На самом же авианосце все службы находились в напряжении — в полной рабочей готовности, включая авиакрыло и группу внутренней безопасности, хотя никаких конкретных причин для

этого в реальном окружении не было. Причины были за пределами космоса.

Поступившие на борт «Конвенции» через орбиту «Трамплин» сообщения от паритет-космонавтов с планеты Лесная Грудь привели руководителей Общенупра и членов особоуполномоченных комиссий в полное смятение. Замешательство было настолько сильным, что обе стороны решили вначале провести раздельные совещания, чтобы обсудить создавшееся положение, прежде всего исходя из собственных интересов и позиций, и лишь затем только собраться для общих выводов.

Мир еще не знал о беспрецедентном в истории человечества открытии — о существовании внеземной цивилизации на планете Лесная Грудь. Даже правительства сторон, поставленные в известность в строго секретном порядке о самом происшествии, не имели пока сведений о дальнейшем развитии событий. Ждали согласованную точку зрения компетентных комиссий. На всей территории авианосца был установлен строгий режим — никто не имел права покидать свое место. Никто ни под каким предлогом не имел права покидать судно, и ни одно другое судно не могло приблизиться к «Конвенции» в

радиусе пятидесяти километров. Самолеты, пролетавшие в этом районе, изменяли курс, чтобы не подойти ближе чем на триста километров к месту нахождения авианосца.

Итак, общее заседание сторон было прервано и каждая комиссия совместно со своими соруководителями программы «Демиург» обсуждала донесения па-ритет-космонавтов 1–2 и 2–1, переданные ими с неизвестной науке планеты Лесная Грудь.

Слова их прибыли из немыслимой астрономической дали:

«Слушайте, слушайте!

Мы ведем трансгалактическую передачу для Земли!

Невозможно объяснить все то, что не имеет земного названия. Однако много общего.

Они человекоподобные существа, такие же люди, как мы! Ура мировой эволюции! И здесь эволюция отработала модель гоминида по универсальному принципу! Это прекрасные типы гоминидов-инопланетян! Смуглая кожа, голубоволосые, сиренево- и зеленоглазые, с белыми пушистыми ресницами.

Мы увидели их в абсолютно прозрачных скафандрах, когда они примкнули к нашей ор-

битальной станции. Они улыбались с кормы корабля, приглашая нас к себе.

И мы перешагнули из одной цивилизации в другую.

Винтовой летательный аппарат отчалил, и со скоростью света, которая фактически никак не ощущалась внутри корабля, мы двинулись, преодолевая поток времени, во Вселенную. Первое, на что мы обратили внимание и что принесло нам неожиданное облегчение, это отсутствие состояния невесомости. Каким образом это достигнуто, мы пока не можем объяснить. Мешая русские и английские слова, они произнесли первую фразу: «Вел ком наш Звезда!» И тогда мы поняли, что сможем обмениваться мыслями. Это голубоволосые существа высокого роста, около двух метров, — их было пятеро: четверо мужчин и женщина. Женщина отличалась не ростом, а чисто женскими формами и более светлой кожей. Все голубоволосые лесногрудцы достаточно смуглы, наподобие наших северных арабов. С первых минут мы почувствовали к ним доверие.

Трое из них — пилоты летательного аппарата, а один мужчина и женщина — знатоки земных языков. Это они впервые изучили и систематизировали путем радиоперехвата в космосе

английские и русские слова и составили земной словник. К моменту нашей встречи они освоили значение свыше двух с половиной тысяч слов и терминов. С помощью этого лингвистического запаса и началось наше общение. Сами они говорят на языке, разумеется, для нас совершенно непонятном, но по звучанию напоминающем испанский.

Через одиннадцать часов после отлета от «Паритета» мы вышли за пределы Солнечной системы.

Этот переход из нашей звездной системы в другую совершился неприметно, ничем особенным не отличаясь. Материя Вселенной всюду одинакова. Но впереди по курсу (видимо, таково было в тот момент расположение и состояние иносистемных тел) постепенно высветлялось алеющее зарево. Это зарево разрасталось, раздвигалось вдали в безграничное световое пространство. Тем временем мы миновали по пути несколько планет, затемненных в тот час с одной стороны и освещенных с другой. Множество солнц и лун проносились в обозримых пространствах.

Мы как бы выносились из ночи в день. И вдруг — влетели в ослепительно чистый и безбрежный свет, исходящий от великого и могучего Солнца в

неведомом доселе небе.

— Мы в нашей Галактике! Вот светит наш Держатель! Скоро покажется наша Лесная Грудь! — объявила женщина-лингвист.

И действительно, в неизмеримой высоте нового космического пространства мы увидели новое для нас Солнце, светило, именуемое Держателем. По интенсивности излучения и величине своей Держатель превосходил наше Солнце. Кстати, именно этим свойством здешнего светила и тем, что сутки на планете Лесная Грудь составляют двадцать восемь часов, мы склонны объяснить целый ряд геобиологических отличий здешнего мира от нашего.

Но обо всем этом мы попытаемся сообщить в следующий раз или по возвращении на «Паритет», а сейчас лишь мимоходом несколько важных сведений. Планета Лесная Грудь с высоты напоминает нашу Землю, окружена такими же атмосферными облаками. Но вблизи, на расстоянии пяти-шести тысяч метров от поверхности, — лесногрудцы совершили для нас специальный обзорный полет — это зрелище невиданной красоты: горы, хребты, холмы сплошь в ярко-зеленом покрове, между ними реки, моря и озера, а в некоторых частях планеты, больше в окраинных,

полосных, — огромные пятна безжизненных пустынь, там бушуют пыльные бури. Но самое большое впечатление произвели на нас города и поселения. Эти острова конструкторских сооружений среди лесногрудского ландшафта свидетельствуют об исключительно высоком уровне урбанизации. Даже Манхэттен не может идти ни в какое сравнение с тем, что являет собой градостроительство голубоволосых обитателей этой планеты.

Сами лесногрудцы, на наш взгляд, представляют собой особый феномен разумных существ во Вселенной. Период беременности — одиннадцать лесногрудских месяцев. Продолжительность жизни велика, хотя сами они считают главнейшей проблемой общества и смыслом существования удлинение жизни. Они живут в среднем сто тридцать — сто пятьдесят лет, а кое-кто доживает и до двухсот лет. Население планеты — свыше десяти миллиардов жителей.

Мы сейчас не в состоянии сколько-нибудь систематизировано изложить все, что касается образа жизни голубоволосых и достижений данной цивилизации. Поэтому фрагментарно сообщаем о том, что больше всего поразило нас в этом мире.

Они умеют добывать энергию — солнечную, или, вернее, держательную, — преобразуя ее в тепловую и электрическую с высоким коэффициентом полезного действия, превышающим наши гидротехнические способы, а также, что исключительно важно, они синтезируют энергию из разности дневных и ночных температур воздуха.

Они научились управлять климатом. Когда мы совершали обзорный полет над планетой, летательный аппарат путем излучений рассеивал мгновенно облака и туман в местах их скопления. Нам стало известно, что они способны влиять на движение воздушных масс и водных течений в морях и океанах. Тем самым они регулируют процесс увлажнения и температурный режим на поверхности планеты, более того — они научились управлять гравитацией, и это помогает им в межзвездных полетах.

Однако перед ними стоит колоссальная проблема, с которой, насколько нам известно, мы еще не сталкивались на Земле. Они не страдают от засухи, ибо способны управлять климатом. Они пока не знают дефицита в производстве продуктов питания. Это при таком-то огромном количестве населения, в два с лишним раза превышающем людской род на Земле. Но значительная часть

планеты постепенно становится непригодной для жизни. В таких местах вымирает все живое. Это явление так называемого внутреннего иссыхания. При нашем обзорном полете мы видели пыльные бури в юго-восточной части Лесногрудии. В результате каких-то грозных реакций в недрах планеты — возможно, это сродни нашим вулканическим процессам, но только это, пожалуй, какая-то форма медленного рассеянного лучевого извержения, — поверхностный грунт разрушается, теряет свою структуру, в нем выгорают все почвообразующие вещества. В этой части Лесногрудии пустыня величиной с Сахару с каждым годом шаг за шагом наступает на жизненное пространство голубоволосых инопланетян. Для них это самое большое бедствие. Они еще не научились управлять процессами, происходящими в глубинах планеты. На борьбу с этим грозным явлением внутреннего иссыхания брошены лучшие силы, огромные научные и материальные средства. У них нет Луны в их звездной системе, но они знают о нашей Луне и уже посещали ее. Они предполагают, что наша Луна претерпела, возможно, нечто подобное. Узнав о том, мы несколько призадумались — от Луны ведь не так далеко до Земли. Готовы

ли мы к встрече с ними? И каковы могут быть последствия как внешнего, так и внутреннего характера? Не подумают ли люди, что они многое потеряли в своем интеллектуальном развитии из-за вечных неувязок на Земле?

В настоящее время в научных кругах Лесногрудии ведется общепланетная дискуссия — следует ли наращивать усилия в попытках разгадать тайну внутреннего иссыхания и искать способы приостановки этой потенциальной катастрофы или же следует заблаговременно найти во Вселенной новую планету, отвечающую их жизненным потребностям, и начать со временем массовое переселение на новое местообитание с целью перенесения и возрождения лесногрудской цивилизации. Пока еще не ясно, куда, к какой новой планете устремлены их взоры. Во всяком случае, на нынешней планете им еще жить да жить миллионы и миллионы лет, однако поразительно, что они уже теперь думают о столь далеко отстоящем будущем и охвачены таким даром деятельности, точно эта проблема непосредственно касается ныне живущего народонаселения. Неужто ни в одной голове не мелькнула подленькая мысль: «А после нас хоть трава не расти»?! Нам стало стыдно, что мы сами

подумали об этом нечто подобное, когда узнали, что значительная часть общепланетного валового продукта идет на программу предотвращения внутреннего иссыхания недр. Они пытаются установить барьер на протяжении многих тысяч километров — по всей границе тихо наползающей пустыни — путем бурения сверхглубинных скважин, вгоняют в недра такие нейтрализующие долговременные вещества, которые, как полагают они, будут иметь нужное влияние на внутриядерные реакции планеты.

Разумеется, у них есть и должны быть проблемы общественного бытия, то, чем извечно мучается разум, неся свой тяжкий крест, — проблемы нравственного, морального, интеллектуального порядка. Вполне очевидно, не так просто протекает общежитие десяти с лишним миллиардов жителей, какого бы благоденствия они ни достигли. Но что самое удивительное при этом — они не знают государства как такового, не знают оружия, не знают, что такое война. Мы затрудняемся сказать — возможно, в историческом прошлом были у них и войны, и государства, и деньги, и все сопутствующие тому категории общественных отношений, однако на данном этапе они не имеют представления о таких институтах на-

силия, как государство, и таких формах борьбы, как война. Если придется объяснять суть наших бесконечных на Земле войн, не покажется ли им это бессмысленным или, более того, варварским способом решения вопросов?

Вся их жизнь организована на совершенно иных началах, не совсем понятных и не совсем доступных нам в силу нашего земного стереотипа мышления.

Они достигли такого уровня коллективного планетарного сознания, категорически исключающего войну в качестве способа борьбы, что остается только предполагать, что, по всей вероятности, эта форма цивилизации есть наиболее передовая в пределах всего мыслимого пространства во вселенской среде. Возможно, они достигли той степени научного развития, когда гуманизация времени и пространства становится главным смыслом жизнедеятельности разумных существ и тем самым продолжением эволюции мира в ее новой, высшей, бесконечной фазе.

Мы не собираемся сопоставлять несопоставимые вещи. Со временем и на нашей Земле люди придут к столь великому прогрессу, и нам есть чем гордиться уже и сейчас, и все-таки нас не покидает угнетающая мысль: а что, если че-

ловечество на Земле пребывает в трагическом заблуждении, уверяя себя, что якобы история — это есть история войн? А что, если этот путь развития был изначально ошибочным, тупиковым? В таком случае, куда мы идем и к чему это приведет нас? И если это так, то успеет ли человечество найти в себе мужество признаться в этом и избежать тотального катаклизма? Оказавшись волею судеб первыми свидетелями внеземной общественной жизни, мы испытываем сложные чувства — страх за будущность землян и надежду, поскольку есть в мире пример великого общежития, поступательное движение которого лежит вне тех форм противоречий, которые разрешаются войнами…

Лесногрудцы знают о существовании Земли в сверхдалеких для них пределах мироздания. Они полны желания вступить в контакт с землянами не только из естественной любознательности, но, как полагают они, прежде всего ради торжества самого феномена разума, ради обмена опытом цивилизаций, ради новой эры в развитии мысли и духа вселенских носителей интеллекта.

Во всем этом они предвидят гораздо большее, чем можно бы подумать. Их интерес к землянам продиктован еще и тем, что в объединении об-

щих усилий этих двух ветвей мирового разума они видят основной путь обеспечения беспредельной продолжительности жизни в природе, имея в виду то, что всякая энергия неминуемо деградирует и любая планета со временем обречена на гибель… Они озабочены проблемой «конца света» на миллиарды лет вперед и уже сейчас разрабатывают космологические проекты организации новой базы обитания для всего живого во Вселенной…

Располагая летательными аппаратами со световой скоростью, они могли бы уже сейчас посетить нашу Землю. Но они не желают делать этого без согласия и приглашения самих землян. Они не желают вторгаться на Землю незваными гостями. При этом они дали понять, что давно искали повод для знакомства. С тех пор как наши космические станции превратились в долговременно пребывающие объекты на орбитах, им стало ясно, что приближается пора встречи и что им следует проявить инициативу. Они тщательно готовились, ждали удобного случая. Этот случай выпал на нашу долю, поскольку мы оказались в промежуточной среде — на орбитальной станции…

Наше пребывание на их планете произвело,

вполне понятно, невероятную сенсацию. В связи с этим была включена в эфир система глобального телеконтактирования, применяемая лишь по великим праздникам. В светящемся вокруг нас воздухе мы как наяву видели рядом с собой лица и предметы, находящиеся на расстоянии тысяч и тысяч километров, и одновременно мы могли взаимообщаться — смотреть друг другу в лицо, улыбаться, пожимать руки, разговаривать, радостно, бурно восклицая и смеясь, точно бы это происходило в непосредственном контакте. Какие они красивые, лесногрудцы, и какие все разные, даже цвет голубых волос варьируется от темно-синего до ультрамаринового, а старики седеют, оказывается, так же, как и наши. И типы антропологические тоже разные, ибо они представляют разные этнические группы.

Обо всем этом и о многом другом не менее поразительном мы расскажем по возвращении на «Паритет» или на Землю. А сейчас о самом главном. Лесногрудцы просят нас передать через систему связи «Паритета» их желание посетить нашу планету тогда, когда это будет удобно землянам. А до этого они предлагают согласовать программу устройства промежуточной межзвездной станции, которая вначале послужила

бы местом первых предварительных встреч, а в дальнейшем стала бы постоянной базой на пути взаимных следований. Мы обещали довести до сведения своих сопланетян эти предложения. Однако нас больше волнует в этой связи другое.

Готовы ли мы, земляне, к подобного рода межпланетным встречам, достаточно ли мы зрелы для этого как мыслящие существа? Сможем ли мы при нашей разобщенности и существующих противоречиях выступить в единстве нашем, как бы уполномочивая самих себя от имени всего человеческого рода, от имени всей Земли? Мы умоляем вас во избежание новой вспышки соперничества, борьбы за ложный приоритет передать решение этого вопроса только в ООН. Мы просим при этом не злоупотреблять правом вето, а возможно, на сей раз, как исключение, аннулировать такое право. Нам горько и тяжело думать о таких вещах, находясь в запредельной космической дали, но мы земляне и мы достаточно хорошо знаем нравы обитателей нашей планеты Земля.

Наконец, о себе, еще раз о нашем поступке. Мы сознаем, какое недоумение и какие вслед за этим экстренные меры породило наше исчезновение с орбитальной станции. Мы глубоко сожалеем,

что причинили столько тревог. Однако это был тот уникальный случай в мировой практике, когда мы не могли, не имели права отказаться от самого великого дела своей жизни. Будучи людьми строгого регламента, мы обязаны были ради такой цели поступить вопреки регламенту.

Пусть это будет на нашей совести и пусть мы понесем должное наказание. Но забудьте пока об этом. Внемлите! Мы передали сигнал из Вселенной. Мы подаем вам знак из неизвестной доселе звездной системы — светила Держатель. Голубоволосые лесногрудцы — творцы высочайшей современной цивилизации. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни, в судьбах всего человеческого рода. Отважимся ли мы на это, соблюдая прежде всего, естественно, интересы Земли?..

Инопланетяне нам ничем не угрожают. По крайней мере так нам кажется. Но, переняв их опыт, мы могли бы произвести переворот в нашем бытие, начиная со способа добычи энергии из материального окружения мира и до умения жить без оружия, без насилия, без войн. Последнее покажется вам дикостью даже на слух, но мы торжественно удостоверяем, что именно так устроена жизнь разумных существ на Лесногруд-

ской планете, что именно такого совершенства достигли они, населяя такую же по массе геобиологическую обитель, как и Земля. Будучи носителями вселенского, высокоцивилизованного образа мышления, они готовы на открытые контакты со своими собратьями по разуму, с землянами, в таких формах, как это будет отвечать потребностям и достоинству обеих сторон.

Увлеченные, потрясенные открытием внеземной цивилизации, мы, однако, жаждем поскорее вернуться, чтобы поведать людям обо всем том, чему мы явились свидетелями, оказавшись в запредельной Галактике, на одной из планет системы светила Держатель.

Мы намерены через двадцать восемь часов, то есть ровно через сутки после данного сеанса радиосвязи, вылететь в обратный путь на наш «Паритет». Прибыв на «Паритет», мы предоставим себя в полное распоряжение Общенупра.

А пока до свидания. Перед вылетом к Солнечной системе мы известим о времени нашего прибытия на «Паритет».

На этом заканчиваем свое первое сообщение с планеты Лесная Грудь. До скорой встречи. Очень просим передать нашим семьям, чтобы они не волновались…

Паритет-космонавт 1–2.

Паритет-космонавт 2–1».

Раздельное заседание особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по расследованию чрезвычайного происшествия на орбитальной станции «Паритет» закончилось тем, что обе комиссии в полных составах вылетели на консультации с вышестоящими инстанциями. Один самолет, взлетев с палубы авианосца, взял курс на Сан-Франциско, другой через несколько минут в противоположную сторону — на Владивосток.

Авианосец «Конвенция» находился все там же, в районе своего постоянного местопребывания, — в Тихом океане, южнее Алеутов… На авианосце царил строгий порядок. Каждый был при своем деле, каждый начеку… И все хранили молчание…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озекщ Серединные земли желтых степей…

Уже пройдена треть пути на Ана-Бейит. Солнце, быстро поднявшись вначале над землей, теперь

вроде застыло на одной точке над сарозеками. Значит, день стал днем. Стало по-дневному припекать.

Поглядывая то на часы, то на солнце, то на лежащие впереди открытые степные долы, Буранный Едигей полагал, что пока все идет как надо. Он все так же трусил впереди на верблюде, за ним шел трактор с прицепом и за прицепом колесный экскаватор «Беларусь», а рыжий пес Жолбарс бежал чуть сбоку.

«Оказывается, голова человека ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука — хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется из мысли, и так без конца, наверное, пока не помрешь!» Это насмешливое открытие Едигей сделал, поймав себя на том, что все время беспрестанно о чем-то думает в пути. Думы следовали за думами, как волна за волной в море. В детстве он часами наблюдал, как на Аральском море в ветреную погоду возникали вдали белые бегущие буруны и как они приближались вскипающими гривами, рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря. И тогда хотелось ему, мальчишке, превратиться в чайку и летать

над волнами, над сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет великая вода.

Предосенние сарозеки с их пронзительной, грустной открытостью, мерный топот рысящего верблюда настраивали Буранного Едигея на дорожные раздумья, и он предавался им не противясь, благо впереди путь был длинный и ничто не нарушало их продвижения. Каранар, как всегда на больших расстояниях, разо^-грелся при ходьбе, и от него начал исходить крепкий мускусный дух. Дух этот шибал в нос от верблюжьего загривка и шеи. «Ну-ну, — удовлетворенно усмехался про себя Едигей, — значит, ты уже весь в мыле! И промеж ног в мыле! Ух ты зверюга, жеребчина эдакий! Дурной ты, дурной!»

Думалось Едигею о прошлых днях, когда Казангап был еще в силе и здравии, и в той цепи воспоминаний нагрянула на него некстати давнишняя горькая тоска. И молитвы не помогли. Он нашептывал их вслух снова и снова, повторяя, чтобы отогнать, отвлечь, упрятать вернувшуюся боль. Но душа не унималась. Помрачнел Буранный Едигей, без надобности приударяя то и дело по- бокам усердно трусившего верблюда, козырек надвинул на глаза и уже не оборачивался к следующим за ним тракторам. Пусть едут следом,

не отстают, какое дело им, молодым, зеленым, до той давней истории, о которой даже с женой они не обмолвились ни словом, но которую рассудил Казангап, как всегда, мудро и честно. Только он и мог рассудить, а не то бы давно уже Едигей бросил этот разъезд Бъранлы-Буранный.

В году том, пятьдесят первом, уже в самом конце, зимой, прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое детей — мальчуганы. Старшему, Даулу, лет пять, а младшему три года. Младшего звали Эрмек. А сам Абуталип Куттыбаев был ровесник Едигею. Он еще до войны, молодым парнем, год учительствовал в аульной школе, а летом в сорок первом в первые же дни его мобилизовали на фронт. С Зарипой они поженились, выходит, уже в конце войны или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. А вот судьба принудила, притолкала их в сарозеки, на Боранлы-Буранный.

То, что они не от хорошей жизни очутились в сарозекской глухомани, стало ясно сразу. Абуталип и Зарина могли бы вполне устроиться на работу и в других местах. Но, как видно, обстоятельства сложились так, что другого выхода у них не было. Поначалу боранлинцы думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат,

сбегут куда глаза глядят. Не такие прибывали и убывали из Боранлы-Буранного. Этого мнения придерживались и он, Едигей, и Казангап. Однако отношение к семье Абуталипа установилось тем не менее сразу уважительное. Порядочные, культурные люди. Бедствующие. Работали как и все — и муж и жена. И шпалы таскали на горбу, и на заносах стыли. В общем, что положено путевым рабочим, то и делали. И надо сказать, хорошая, ладная, дружная семья была, хотя и несчастная по причине того, что Абуталип, оказывается, был в плену у немцев. К тому времени схлынули вроде уже страсти военных лет. К бывшим военнопленным уже не относились как к предателям и врагам. Что до боранлинцев, то они не стали себе голову ломать. Ну был человек в плену так был, война закончилась победой, и чего только людям не приходилось хлебнуть в этой страшной мировой переделке. Иные вон по сей день мыкаются по свету как неприкаянные. Призрак войны все еще шастает по пятам… И потому боранлинцы расспросами по такому поводу особенно не донимали приезжих, зачем душу людям травить, и без того хлебнули, должно быть, горя через край.

А со временем получилось так, что как-то незаметно сдружились они с Абуталипом. Умный он

был человек. Едигея привлекало в нем то, что Абуталип в своем плачевном положении не был жалок. Держался достойно и понапрасну не сетовал на свою участь. Понял, очевидно, человек, что такова его судьба. Жена его Зарипа, должно быть, тоже прониклась этим сознанием. Примирившись внутренне, они находили смысл жизни в какой-то необычайной чуткости, близости друг другу. Как понял потом Едигей, этим они жили, этим они защищались, взаимно заслоняя друг друга и детей от свирепых ветров времени. Особенно Абуталип. Он и дня не мог прожить вне своей семьи. Дети, сыновья, — для него это было все. Каждую свободную минуту Абуталип занимался с ними. Он учил их грамоте, сочинял разные сказки, загадки, устраивал какие-то придуманные им самим игры. Когда они с женой уходили на работу, детишек поначалу оставляли одних в бараке. Но Укубала не смогла на это спокойно смотреть, стала уводить мальчиков к себе. В доме у них было теплее, и быт у них к тому времени сложился гораздо лучше, чем у новоприезжих. Это-то и сблизило их семьи. Ведь у Едигея в те годы тоже подрастали дети, две девчушки, как раз одногодки с абуталиповскими ребятами.

Зайдя как-то за своими малышами после рабо-

ты на перегоне, Абуталип предложил:

— Вот что, Едигей, давай я заодно и твоих девочек буду учить. Я ведь не от нечего делать вожусь с ребятами. Они сдружились, вместе играют. Днем у вас, а по вечерам пусть у нас. А почему я говорю так? Жизнь здесь, на отшибе, конечно, скудная, так тем более надо заниматься с ними. Времена наступают такие, что знания потребуются сызмальства. Теперешний вот такой человечек с ноготок должен знать столько, сколько прежде здоровенный парень. А иначе к образованию и не пробьешься.

И опять же смысл тех стараний Абуталипа Буранный Едигей постиг позднее, когда случилась беда. Тогда он понял, что в положении Абуталипа это было единственное, что он мог предпринять собственными усилиями для своих детей в боранлинских условиях. Он как знал, он спешил дать им от себя как можно больше, он как бы хотел таким образом запечатлеться в их памяти, жить заново в своих детях. Вечерами, когда Абуталип приходил с работы, он и Зарипа устраивали нечто вроде школы-детсада для своих и Едигеевых детей. Дети учились буквам, слогам, играли, рисовали, соревнуясь, у кого лучше получится, слушали книги, которые читали им родители, и

даже все вместе разучивали разные песенки. Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам Едигей стал захаживать и наблюдать, как все это у них здорово выходило. И Укубала забегала частенько вроде как по делу, а в действительности чтобы взглянуть на своих девочек. Умилялся Буранный Едигей. Душа его умилялась, рот что значит образованные люди, учителя! Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. В такие вечера Едигей старался не мешать, тихо сидел в сторонке. А когда приходил, то с порога снимал шапку:

— Добрый вечер! Вот и пятый ученик заявился в детсад.

И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были счастливы. При отце они очень старались. Едигей с Укубалой поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплей и уютней для детворы.

Вот такая семья приютилась в том году на Боранлы-Буранном. Но что странно — таким людям обычно не везет.

Беда Абуталипа Куттыбаева заключалась в том, что он побывал не только в немецком плену, но, на счастье или несчастье свое, совершив побег

вместе с группой военнопленных из концлагеря в Южной Баварии, оказался в сорок третьем году в рядах югославских партизан. В югославской освободительной армии Абуталип провоевал до конца войны. Там его ранило, там вылечили. Был награжден югославскими боевыми орденами. Писали о нем в партизанских газетах, помещали фотографии. Это очень помогло, когда стали разбираться с его делом в контрольно-фильтрационной комиссии по возвращении на родину в сорок пятом году. В живых их осталось из тех, что бежали из концлагеря, четверо, а всего было двенадцать. Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская контрольная комиссия прибыла непосредственно в расположение подразделений освободительной армии Югославии и югославские командиры дали письменные отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных, об участии их в партизанской борьбе с фашистами.

В общем, месяца через два после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и отчаяния Абуталип Куттыбаев вернулся в свой Казахстан без поражения прав, но и без тех привилегий, какие полагались нормальным демобилизованным. Абуталип Куттыбаев не был

в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе. И здесь в одной райцентровской школе встретил молодую учительницу начальных классов Зарипу. Бывают такие случаи обоюдного счастья, редко, но бывают. Не без этого в жизни.

А тем временем отшумели в мире первые победные годы. Вслед за триумфом и ликованиями в воздухе замелькали первые снежинки «холодной войны». А потом покрепчало. И сжались пружины послевоенного сознания в разных частях света, в разных болевых точках…

На одном из уроков географии эта пружина сработала. Рано или поздно, так или иначе, здесь или в другом месте, но это должно было случиться. Не с ним, так с кем-то другим, ему подобным.

Рассказывая ученикам восьмого класса о европейской части света, Абуталип Куттыбаев упомянул о том, как однажды вывезли их из концлагеря в Южно-Баварские Альпы на каменоломни и как оттуда им удалось, разоружив охрану, бежать к югославским партизанам, рассказал, что он прошел пол-Европы во время войны, бывал на берегах Адриатического и Средиземного морей, хорошо знаком с той природой, с жизнью местного населения и что все это в

учебнике невозможно описать. Учитель считал, что тем самым обогащает предмет живыми наблюдениями очевидца.

Его указка ходила по сине-зелено-коричневой географической карте Европы, вывешенной на школьной доске, его указка прослеживала возвышенности, равнины, реки, касаясь то и дело тех мест, которые снились ему и поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лета и зимы, и, возможно, указка коснулась той неразличимой точки, где пролилась его кровь, когда сбоку полоснула неожиданно очередь вражеского автомата, и он медленно покатился по склону, обагряя кровью траву и камни, эта кровь могла бы залить всю учебную карту, и ему даже примерещилось на мгновение, как растекается по карте та алая кровь, как закружилась тогда голова и потемнело, поплыло в глазах, как, опрокидываясь, падали горы и он закричал, призывая на помощь друга-поляка, вместе бежавшего прошлым летом из баварских каменоломен: «Казимир! Казимир!» Но тот его не слышал, потому что ему только казалось, что он кричит изо всех сил, а на самом деле он не проронил ни звука и пришел в себя лишь в партизанском госпитале после переливания крови.

Рассказывая ученикам о европейской части света, Абуталип Куттыбаев удивлялся себе, тому, что может после всего пережитого так деловито, так отстраненно говорить лишь о том, что имеет отношение к элементарной школьной географии.

И тут резко поднятая рука на передней парте прервала его речь:

— Агай[11], значит, вы были в плену?

На него смотрели с холодной ясностью жесткие глаза. Лицо подростка было слегка запрокинуто, он стоял по стойке «смирно», и на всю жизнь запомнились почему-то его зубы, у него был обратный прикус — нижний ряд зубов перекрывал, выступая, верхний ряд.

— Да, а что?

— А почему вы не застрелились?

— А почему нужно было убить себя? Я и так был ранен.

— А потому что недопустимо сдаваться во вражеский плен, есть такой приказ!

— Чей приказ?

— Приказ свыше.

— Откуда это тебе известно?

---

[11] Примечания: 11
Агай — учитель.

— Я все знаю. У нас бывают люди из Алма-Аты, из Москвы даже приезжали. Значит, вы не выполнили приказ свыше?

— А твой отец был на войне?

— Нет, он занимался мобилизацией.

— Тогда нам с тобой трудно объясниться. Могу лишь сказать, что другого выхода у меня не было.

— Все равно вы должны были выполнить приказ.

— А ты чего придираешься? — С места поднялся другой ученик. — Наш учитель сражался вместе с югославскими партизанами. Чего тебе надо?

— Все равно он должен был выполнить приказ! — категорически утверждал тот.

И тут класс загудел, лопнула гробовая тишина: «Должен был!», «Не должен!», «Мог!», «Не мог!», «Правильно!», «Неправильно!». Учитель грохнул кулаком о стол:

— Прекратите разговоры! Идет урок географии! Как я воевал и что со мной было, это знают кому положено и где нужно. А сейчас вернемся к нашей карте!

И опять никто из класса не увидел ту трудноразличимую точку на карте, откуда снова полоснула сбоку автоматная очередь, и стоящий с указкой

у доски учитель медленно покатился по склону, заливая своей кровью сине-зелено-коричневую карту Европы…

Через несколько дней его вызвали в районо. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию: бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с Зарипой и с первенцем Даулом перебираться в другой район, подальше от областного центра. Устроились в аульной школе. Вроде прижились, с жильем уладилось, Зарипа, молодая способная учительница, стала завучем. Но тут разразились события сорок восьмого года, связанные с Югославией. Теперь на Абуталипа Куттыбаева смотрели не только как на бывшего военнопленного, но и как на сомнительную личность, долгое время пребывавшую в Югославии. И хотя он доказывал, что только партизанил с югославскими товарищами, это не принималось во внимание. Все понимали и даже сочувствовали, но никто не смел брать на себя какую-либо в этом смысле ответственность. Снова вызвали в районо, и опять повторилась история с заявлением об увольнении по собственному

желанию…

Переезжая еще много раз с места на место, семья Абуталипа Куттыбаева в конце пятьдесят первого года, среди зимы, очутилась в сарозеках, на разъезде Боранлы-Буранный…

В пятьдесят втором году лето выдалось знойное сверх обычного. Земля иссохла, прокалилась до такой степени, что сарозекские ящерицы и те не знали, куда себя деть, прибегали, не боясь людей, на порог с отчаянно колотящимися глотками и с широко раскрытыми ртами — лишь бы куда-нибудь скрыться от солнца. А коршуны в поисках прохлады забирались невесть в какую высь — их невозможно было разглядеть простым глазом. Лишь время от времени они давали знать о себе резкими одинокими выкликами и надолго умолкали затем в горячем, зыбящемся мареве.

Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Сколько поездов разминулось на Боранлы-Буранном. Никакая жара не могла повлиять на движение транспорта по великой государственной магистрали.

И все шло своим чередом. Работать на путях приходилось в рукавицах, голыми руками не притронуться было ни к камню, ни тем паче к

железу. Солнце стояло над головой жаровней. Воду, как всегда, доставляли в цистерне, и пока она прибывала на разъезд, становилась почти кипятком. Одежда сгорала на плечах за пару дней. Зимой в самые лютые морозы человеку в сарозеках было, пожалуй, легче, чем в такую жару. Буранный Едигей старался в те дни приободрить Абуталипа.

— Не всегда у нас такое лето. Просто год такой нынешний, — оправдывался он, точно бы сам был в том повинен. — Еще дней пятнадцать, двадцать от силы, — и полегчает, спадет жара. Будь она проклята, замучила всех. А бывает у нас тут, в сарозеках, к концу лета перелом, враз меняется погода. И тогда всю осень вплоть до самой зимы благодать — прохлада стоит, скот тело набирает. Сдается мне — на то приметы есть, — в этом году будет такой оборот. Так что потерпите, осень будет хорошая.

— Значит, гарантируешь? — понимающе улыбался Абуталип.

— Можно сказать, почти.

— И на том спасибо. Вот я сижу сейчас как в бане. Но душа у меня не по себе болит. Мы с Зарипой выдержим. Не такое приходилось терпеть. Детей жалко… Смотреть не могу…

Дети боранлинцев изнывали, томились, с лица спали, и некуда их было упрятать от духоты и изнуряющего зноя. И ни единого деревца вокруг, ни ручейка, так потребных миру детей. Весной, когда сарозеки ожили и ненадолго зазеленели окрест лога и привалки, то-то было раздолье детворе. Играли в мяч, в прятки, убегали в степь, гонялись за сусликами. Любо было слышать их далеко разносящиеся голоса.

Лето сокрушило все. И ребят непоседливых сморила непомерная жара. От нее они прятались в тени под стенами домов, выглядывая оттуда, только когда проходили поезда. Это было их развлечением — подсчитывали, сколько поездов прошло в одну сторону и сколько в другую, сколько из них пассажирских вагонов и сколько товарных. А когда пассажирские составы, проходя через разъезд, сбавляли ход, детям казалось, что уж этот-то поезд остановится, и они бежали вдогонку, запыхавшись, заслоняясь ручонками от солнца, возможно, в наивной надежде укатить из этого пекла, и тяжко было смотреть, с какой завистью и недетской печалью малыши-боранлинцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в тех настежь распахнутых вагонах с открытыми до отказа окнами и дверями тоже маялись от

духоты, смрада и мух, но у них была хотя бы уверенность, что через пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зеленые леса.

За детей они все переживали тем летом, все взрослые, отцы и матери, но то, чего это стоило Абуталипу, понимал, кроме Зарипы, пожалуй, один он, Едигей. С Зарипой как раз случился у них первый разговор об этом. Тогда в разговоре приоткрылось еще кое-что в судьбах этих двоих.

Работали они в тот день на линии, гравий подновляли на полотне. Разбрасывали щебень, подсовывали его в люфты под шпалы и рельсы и тем самым укрепляли оползающую от вибрации насыпь. Делать это надо было урывками, в промежутках между проходящими поездами. Долгая, изматывающая в такую жару работа. Ближе к полудню Абуталип взял опустевший бидон и пошел, как он сказал, за горячей водой к цистерне в тупике и заодно глянуть, как там ребята.

Он пошел по шпалам быстро, несмотря на то, что палило. Спешил побыстрей к детишкам, ему было не до себя. Вылинявшая майка неопределенно грязного цвета висела, обтянув костлявые плечи, на голове пожухлая соломенная шляпа, штаны болтались на исхудавшем теле, на ногах разбитые рабочие ботинки без шнурков. Он шел,

шлепая подошвами по шпалам, ни на что не обращая внимания. Когда сзади появился поезд, даже не оглянулся.

— Эй, Абуталип, сойди с линии! Ты что, оглох?! — крикнул Едигей.

Но тот не расслышал. И только когда паровоз дал гудок, спустился по откосу вниз, но и тогда не взглянул на проносящийся мимо состав. И не видел, как грозил ему кулаком машинист.

На войне, в плену человек не поседел, помоложе, конечно, был, на фронт уходил девятнадцати лет, младшим лейтенантом. А тем летом седина пошла. Сарозекская. Причем быстро замелькала непрошеной белизной то там, то тут в плотной, густой гривастой шевелюре и на висках стала преобладать, поседели виски. В добрые времена быть бы ему красивым, представительным мужчиной. Широколобый, с орлиным носом, кадыкастый, с крепким ртом, и продолговатыми, удлиненными глазами, был он ладный, хорошего роста. Зарипа горько подшучивала: «Не повезло тебе, Абу, ты должен был Оттело играть на сцене». Абуталип усмехался: «Тогда бы я тебя придушил как последний идиот, зачем это тебе надо!»

Замедленная реакция Абуталипа на догонявший сзади поезд встревожила Едигея не на

шутку.

— Ты бы сказала ему, что ж он так, — полуупрекая, сказал он Зарипе. — Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. Да дело не в этом. К чему так рисковать?

Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгоряченного почерневшего лица.

— Боюсь я за него.

— А что?

— Боюсь, Едике. Что нам скрывать от тебя. Казнится он и за детей и за меня. Ведь когда я выходила замуж, не послушалась родных. Старший брат мой, тот из себя выходил, кричал: «Век будешь каяться, дура! Ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь, и дети твои и дети детей, еще не родившись, уже обречены быть несчастными. А твой возлюбленный, если у него есть голова на плечах, не семью должен заводить, а повеситься. Это самый лучший выход для него!» А мы поступили по-своему. Надеялись: раз кончилась война, какие счеты у живых и мертвых? Мы от всех держались подальше, и от его и от моих родственников. А в последний раз, ты представляешь, брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака. И что он ничего общего не имеет со мной и

тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время в Югославии, как Абуталип Куттыбаев. Ну, после этого опять началось. Куда ни ткнемся, всюду нам от ворот поворот, а вот теперь мы здесь, дальше некуда.

Она замолчала, ожесточенно подгребая битый гравий под шпалы. Впереди снова показался идущий состав. Они сошли с линии, унося с собой лопаты и носилки.

Едигей чувствовал, что должен чем-то помочь, когда люди в таком положении. Но он не мог ничего изменить, беда была далеко за пределами его сарозеков.

— Мы тут живем уже много лет. И вы привыкнете, приспособитесь. А жить надо, — подчеркнул он, глядя ей в лицо, и подумал: «Да-а, горек сарозекский хлеб. Когда приехали зимой, белолицая была еще, а теперь лицо как земля, — отмечал он, сожалея о ее меркнущей на глазах красоте. — Волосы какие были — повыгорели, ресницы и те опалило солнцем. Губы полопались до крови. Совсем худо ей. Непривычная к такой жизни. Однако держится, не отступается. А куда теперь отступать — двое детей. Все равно молодец…»

Тем временем, взвихривая жгучее стояние воздуха, протарахтел по пути, как жаркая авто-

матная очередь, очередной состав. Они снова поднялись с инструментом на полотно — продолжить работу.

— Слушай, Зарипа, — сказал Едигей, пытаясь как-то укрепить ее дух, примирить с реальностью. — Для детей тут, конечно, тяжко, не спорю. У самого, как посмотрю на ребятишек наших, сердце болит. Но ведь не век жара будет колом стоять. Схлынет. А потом, если подумать, вы здесь не одни, в сарозеках, люди есть вокруг, мы есть на худой конец. Что ж теперь убиваться, раз так случилось в жизни.

— Вот и я об этом говорю ему, Едике. Я ведь стараюсь всячески не проронить ни слова ненужного. Я же понимаю, каково ему.

— И правильно делаешь. Я об этом и хотел сказать тебе, Зарипа. Случая ждал. Да ты сама все знаешь. Просто к слову пришлось. Извини.

— Бывает, конечно, невмоготу. И себя жалко, и его жалко, а детей еще больше. Хотя он ни в чем не виноват, а чувствует себя повинным, что завез нас сюда. И изменить ничего не может. Что и говорить, в наших краях, среди алатауских гор и рек, совсем другая жизнь и климат совсем другой. Детей хотя бы на лето могли бы отправить туда. Но к кому? Стариков у нас нет, рано поумирали.

Братья, сестры, родственники… Их тоже трудно судить, им это совсем ни к чему. И прежде избегали нас, а теперь и вовсе. Зачем им наши дети? Вот и мучаемся, боимся, что на всю жизнь застрянем здесь, хотя вслух об этом не говорим. Но я вижу, каково ему… Что нас ждет впереди, одному богу известно…

Они тяжело замолчали. И потом уже не возвращались к этому разговору. Работали, пропускали поезда по линии и снова брались за дело. А что оставалось? Как еще было утешить, как помочь им в их беде? «Конечно, по миру не пойдешь, — думал Едигей, — жить им будет на что, вдвоем работают. Насильно их вроде никто не заточал, а выхода им отсюда нет никакого. Ни завтра, ни послезавтра».

И еще удивлялся Едигей самому себе, своей обиде и горечи за эту семью, будто бы их история касалась лично его. Кто они ему? Мог же он сказать себе — дело это не его ума, ему-то, собственно, что? Да и кто он есть такой, чтобы судить да рядить о неположенных ему вещах? Работяга, степняк, каким несть числа на свете, ему ли негодовать, ему ли возмущаться, тревожить свою совесть вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни. Ведь наверняка там,

откуда все это происходит, знают в тысячу раз больше, чем он, Буранный Едигей. Там виднее, чем ему здесь, в сарозеках. Его ли то заботы? И все равно не мог успокоиться. И почему-то больше болел он душой за нее, Зарипу. Удивляла и покоряла его ее преданность, выдержка, ее отчаянная схватка с невзгодами. Она походила на птицу, которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури. Ведь другая поплакала бы, поплакала да покорилась бы, поклонилась родне. А она расплачивалась на равных с мужем за прошлое войны. И именно это обстоятельство больше всего и вопреки всему причиняло беспокойство Едигею, ведь сам он ничем не мог защитить ни ее детей, ни ее мужа… Бывали потом минуты, когда он горько сожалел, что судьбе угодно было поселить эту семью на Боранлы-Буранном. Зачем ему эти переживания? Не знал бы, не ведал ничего такого и жил спокойно, как прежде…

6

Ко второй половине дня на Тихом океане южнее Алеутов зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший с низовий американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескиваясь и все чаще укладывая волны рядами, грядами одну к другой. Это предвещало если не шторм, то долговременное волнение.

Для авианосца «Конвенция» такие волны в открытом океане не представляли опасности. В другой раз он и не подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с минуты на минуту ожидалась посадка на палубу спешно возвращавшихся самолетов особоуполномоченных комиссий после консультаций с вышестоящими инстанциями, авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы уменьшить боковую качку. Все сошло нормально. Вначале сел сан-францисский, а затем владивостокский лайнер.

Комиссии вернулись в полном составе, одинаково молчаливые и озабоченные. Через

пятнадцать минут они уже сидели за столом закрытого совещания. Через пять минут после начала работы комиссий в космос, на борт орбитальной станции «Паритет» была отправлена для передачи паритет-космонавтам 1–2 и 2–1 в Галактику Держателя срочная шифрованная радиограмма: «Космонавтам-контролерам 1–2 и 2–1 орбитальной станции «Паритет». Предупредить паритет-космонавтов 1–2 и 2–1, находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий. Оставаться на месте до особого указания Общенупра».

После этого, не теряя ни минуты, особоуполномоченные комиссии приступили к изложению своих позиций и предложений сторон по разрешению космического кризиса…

Авианосец «Конвенция» стоял против ветра среди бесконечно набегающих тихоокеанских волн. Никто в мире не знал, что на его борту в это время решалась глобальная судьба планеты…

«Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись

применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Оставалось еще часа два пути до кладбища Ана-Бейит. Похоронная процессия двигалась по сарозекам тем же манером. Указуя направление, впереди восседал на верблюде Буранный Едигей. Его Каранар все так же шел в голове размашистым неутомимым ходом, следом поспевали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с покойным Казангапом одиноко и терпеливо сидел его зять, муж Айзады, и за ними — экскаватор «Беларусь». А сбоку, то забегая вперед, то отставая, то приостанавливаясь по какой-то важной причине, бежал все так же деловито и уверенно рыжий грудастый пес Жолбарс.

Солнце припекало, поднимаясь к зениту. Позади оставалась большая часть расстояния, а великие сарозеки являли взору за каждой грядой все новые и новые пустынные земли, простирающиеся всякий раз до самой черты горизонта. Велико было степное раздолье. Когда-то в этих местах обитали недоброй памяти жуаньжуаны, пришельцы, захватившие на долгое время почти всю сарозекскую округу. Жили в этих местах и

другие кочевые народы, и между ними происходили постоянные войны за выпасы и колодцы. То одни брали верх, то другие. Но и победители и побежденные все равно оставались в этих же пределах, одни стеснившись, другие расширив свои территории. Елизаров говорил, что сарозеки как жизненные пространства стоили этой борьбы. Тогда здесь выпадало гораздо больше дождей и весной и осенью. Трав хватало на многие стада крупного и мелкого скота. Тогда здесь проходили купцы и шли торги. Но потом климат якобы резко изменился — перестали выпадать дожди, пересохли колодцы, иссяк подножный корм. И разошлись пришлые на сарозеки народы и племена кто куда, а жуаньжуаны вовсе исчезли. Двинулись к Эдилю, так называлась тогда Волга, и канули в приэдильской стороне в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и никто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что настигло их проклятье — когда переходили они скопом Эдиль зимой, лед на реке вдруг раздвинулся и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед…

Коренные сарозекцы — казахские номады и в те времена не покинули свой край, держались в тех местах, где удавалось добыть воду в заново

прорытых колодцах. Но самое оживленное для сарозеков время совпало с послевоенными годами. Появились автомашины — водовозы. Один водовоз, если водитель хорошо знал местность, мог обслужить три-четыре отгонных стойбища. Арендаторы пастбищ в сарозеках — колхозы и совхозы прилегающих областей — подумывали уже об устройстве постоянных сарозекских баз для отгонного животноводства. Прикидывали, примерялись, как и во что обойдутся хозяйствам такие строения. И хорошо, что не поторопились. Незаметно да неприметно возник в окрестностях Ана-Бейита город без названия — Почтовый ящик. Так и говорили поехал в Почтовый ящик, был в Почтовом ящике, купили в Почтовом ящике, видел в Почтовом ящике… Почтовый ящик разрастался, отстраивался, закрывался для посторонних. Асфальтированная дорога связывала его с одной стороны с космодромом, с другой — с железнодорожной станцией. С того и началось новое, индустриальное заселение сарозеков. От всего прошлого в той стороне только и осталось кладбище Ана-Бейит на двух соприкасающихся, как верблюжьи горбы, пригорках-близнецах — Эгиз-Тюбе, самое почитаемое место захоронения во всей сарозекской округе. В старые времена

хоронить сюда привозили порой из таких дальних уголков, что приходилось людям ночевать в степи. Но зато потомки погребенных на Ана-Бейите законно гордились тем, что оказали памяти стариков особую почесть. Здесь хоронили самых уважаемых и известных в народе людей, долго живших, много знавших, заслуживших добрую славу словом и делом. Елизаров, тот все знал, он называл это место сарозекским пантеоном.

Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой верблюдо-тракторная похоронная процессия с железнодорожного разъезда Боранлы-Буранный…

У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны, захватившие сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начи-

сто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики-жуаньжуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым делом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на бритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями — наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять-шесть шири. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле, со связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные дозоры стерегли в определенных местах подходы на тот

случай, если соплеменники плененных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуаньжуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит — Материнский упокой.

Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые ази-

атские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Последние испытания сопровождались полным помутнением рассудка. Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставали в живых хотя бы одного из замученных, то считалось, Что цель достигнута. Такого поили водой, освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников. Существовало даже правило — в случае убийства раба-манкурта в междоусобных столкновениях выкуп за такой ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь свободного соплеменника.

Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери — одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен.

Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное — восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением — ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей — и тогда он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не

замерзнуть в степи, он ничего не требовал…

Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с человеком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и недоступным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых здодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в манкурта, Найман-Ана сказала в исступленном горе и отчаянии:

«Когда память твою отторгали, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на бездымном костре сарозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с неба на губы упала, — стало ли солнце, всем дарующее

жизнь, для тебя ненавистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире?

Когда, раздираемый болью, твой вопль истошно стоял средь пустыни, когда ты орал и метался, взывая к богу днями, ночами, когда ты помощи ждал от напрасного неба, когда, задыхаясь в блевотине, исторгаемой муками плоти, и корчась в мерзком дерьме, истекавшем из тела, перекрученного в судорогах, когда угасал ты в зловонии том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушиной, — проклял ли ты из последних сил бога, что сотворил всех нас в покинутом им самим мире?

Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо теряла сцепления прошлого, когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум речки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли и имя девицы померкло, что тебе улыбалась стыдливо, — разве не проклял ты, падая в бездну беспамятства, мать свою страшным проклятьем за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет божий для этого дня?..»

История эта относилась к тем временам, ко-

гда, вытесненные из южных пределов кочевой Азии, жуаньжуаны хлынули на север и, надолго завладев сарозеками, вели непрерывные войны с целью расширения владений и захвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью нашествия, в прилегающих к сарозекам землях они взяли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному нашествию возросло. Начались ожесточенные столкновения. Жуаньжуаны не собирались уходить из сарозеков, а, напротив, стремились прочно утвердиться в этих обширных для степного скотоводства краях. Местные же племена не примирялись с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Как бы то ни было, большие и малые сражения шли с переменным успехом. Но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья.

В одно из таких затиший купцы, пришедшие с караваном товаров в найманские земли, рассказывали, сидя за чаем, как минули они сарозекские степи без особых помех, у колодцев не встретив жуаньжуанов, и упомянули о том, что встретили в сарозеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с

ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Наверно, не хуже других был когда-то и речист и понятлив, и сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются, и обличьем недурен, а обмолвишься словом — вроде как вчера народился на свет, не помнит, бедняга, не знает имени своего, ни отца, ни матери, ни того, что с ним сделали жуаньжуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О чем ни спросишь, молчит, ответит только «да», «нет», и все время за шапку держится, плотно надетую на голову. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. И тут посмеялись над тем, что, оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для манкурта хуже любой казни, если припугнуть: давай, мол, отпарим твою голову. Будет биться, как дикая лошадь, но к голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем, ни ночью, в шапке спят… И, однако, продолжали гости, дурак дураком, но дело свое манкурт соблюдал — зорко следил, пока караванщики не удалились достаточно от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один погонщик решил разыграть на прощанье того манкурта:

— Путь далекий у нас впереди. Кому привет передать, какой красавице, в какой стороне? Говори, не скрывай. Слышишь? Может, платок передать от тебя?

Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом проронил:

— Я каждый день смотрю на луну, а она на меня. Но мы не слышим друг друга… Там кто-то сидит…

При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найман-Ана. Под этим именем осталась она в сарозекской легенде.

Найман-Ана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть, как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробней порасспросить купцов о том молодом манкурте, но именно этого она испугалась — узнать больше, чем было сказано. И сумела промолчать, задавила в себе возникшую тревогу, как вскрикнувшую раненую птицу… Тем временем разговор зашел о чем-то другом, никому уже дела не было до несчастного манкурта, мало ли какие случаи бывают в жизни, а Найман-Ана все пыталась сладить со страхом, охватившим ее, унять дрожь в руках и все ниже опускала на лицо

черный траурный платок, давно уже ставший привычным на ее поседевшей голове.

Караван торговцев вскоре ушел своей дорогой. И в ту бессонную ночь Найман-Ана поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в сарозеках того пастуха-манкурта и не убедится, что это не ее сын. Тягостная, страшная мысль эта вновь оживила в материнском сердце давно уже затаившееся в смутном предчувствии сомнение, что сын лег на поле брани… И лучше, конечно, было дважды похоронить его, чем так терзаться, испытывая неотступный страх, неотступную боль, неотступное сомнение.

Ее сын был убит в одном из сражений с жаунь-жуанами в сарозекской стороне. Муж погиб годом раньше. Известный, прославленный был человек среди найманов. Потом сын отправился с первым походом, чтобы отомстить за отца. Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Сородичи обязаны были привезти его тело. Но сделать это оказалось невозможно. Многие в той большой схватке видели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее, на гриву коня и конь, горячий и напуганный шумом битвы, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремени и он повис замертво сбоку

коня, а конь, обезумевший от этого еще больше, поволок на всем скаку его бездыханное тело в степь. Как назло, лошадь пустилась бежать во вражескую сторону. Несмотря на жаркий кровопролитный бой, где каждый должен был быть в сражении, двое соплеменников кинулись вдогонку, чтобы вовремя перехватить понесшего коня и подобрать тело погибшего. Однако из отряда жуаньжуанов, находившегося в засаде в овраге, несколько верховых косоплетов с криками кинулись наперерез. Один из найманов был убит с ходу стрелой, а другой, тяжело раненный, повернул назад и едва успел прискакать в свои ряды, как рухнул наземь. Случай этот помог найманам вовремя обнаружить в засаде отряд жуаньжуанов, который готовился нанести удар с фланга в самый решающий момент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппироваться и снова ринуться в бой. И конечно, никому уже не было дела до того, что сталось с их молодым ратником, с сыном Найман-Аны… Раненый найман, тот, что успел прискакать к своим, рассказывал потом, что, когда они ринулись за ним вослед, конь, поволочивший ее сына, быстро скрылся из виду в неизвестном направлении…

Несколько дней подряд выезжали найманы

на поиски тела. Но ни самого погибшего, ни его лошади, ни его оружия, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том, что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. Даже будучи только раненным, за эти дни он умер бы в степи от жажды или истек бы кровью. Погоревали, попричитали, что их молодой сородич остался непогребенным в безлюдных сарозеках. То был позор для всех. Женщины, голосившие в юрте Найман-Аны, упрекали своих мужей и братьев, причитая:

— Расклевали его стервятники, растащили его шакалы. Как же смеете вы после этого ходить в мужских шапках на головах!..

И потянулись для Найман-Аны пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но мысли о том, что сын остался брошенный на поле брани, что тело его не предано земле, не давала ей мира и покоя. Терзалась мать горькими, неиссякающими думами. И некому было их высказать, чтобы облегчить горе, и не к кому было обратиться, кроме как к самому богу…

Чтобы запретить себе думать об этом, она должна была убедиться собственными глазами в том, что сын был мертв. Кто тогда стал бы оспаривать волю судьбы? Больше всего смущало ее, что про-

пал бесследно конь сына. Конь не был сражен, конь в испуге бежал. Как всякая табунная лошадь, рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремени. И тогда, как ни страшно то было бы, искричалась, исплакалась, навылась бы она над останками и, раздирая лицо ногтями, все сказала бы о себе, горемычной и распроклятой, так, чтобы тошно стало богу на небе, если только понятлив он к иносказаниям. Но зато никаких сомнений не держала бы в душе и к смерти готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в любой час, не цепляясь, не задерживаясь даже мысленно, чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не нашли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо все утраты со временем притупляются и подлежат забвению… И только она, мать, не могла успокоиться и забыть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадью, где остались сбруя, оружие — по ним хотя бы косвенно можно было бы установить, что сталось с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня перехватили жуаньжуаны где-нибудь в сарозеках, когда он уже выбился из сил и дал себя поймать. Лишняя

лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремени, — зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его и тем оборвали его муки, или бросили издыхать в чистом поле, или же?.. А вдруг?..

Конца не было сомнениям. И когда заезжие купцы обмолвились за чаепитием о молодом манкурте, повстречавшемся им в сарозеках, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшуюся душу Найман-Аны. Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии. И мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все больше, все настойчивей, все сильней завладевала ее умом и сердцем. Мать поняла, что не успокоится, пока, разыскав и увидев того манкурта, не убедится, что это не сын ее.

В полустепных предгорьях на летних стоянках кайманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Найман-Ана к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее смятенному духу? Успокоения хотелось. Наслушаться, насытиться звуками бегущей влаги, перед тем как двинуться в глухое безмолвие сарозеков. Мать знала, как

опасно и рискованно отправляться в сарозеки в одиночку, но не желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело. Никто бы этого не понял. Даже самые близкие не одобрили бы ее намерений. Как можно пуститься на поиски давно убитого сына? И если по какой-то случайности он остался жив и обращен в манкурта, то тем более бессмысленно разыскивать его, понапрасну надрывать сердце, ибо манкурт всего лишь внешняя оболочка, чучело прежнего человека…

Той ночью накануне выезда несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, старалась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полуночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным молочно-бледным светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах по подножьям увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевавших здесь, у берегов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались овечьи загоны, и дальше, в логах, где паслись табуны лошадей, слышался собачий лай и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман-Ану переклички поющих девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни… В этих

местах стояли они каждое лето, сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекла в этих местах: и когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты — одну кухонную, одну гостиную и две жилых, — и потом, после нашествия жуаньжуанов, когда осталась одна…

Теперь и она покидала свою одинокую юрту… Еще с вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой. Воды брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в сарозекских местах… Еще с вечера стояла на приколе поблизости от юрт верблюдица Акмая. Надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в сарозекскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмаи! В том году Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с крепкими длинными ногами, с упругими подошвами, еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и старости, с прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой, ладной головой, с подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями, ухватисто забирающими воздух на ходу, белая верблюдица Акмая стоила большой цены,

целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище, золотая матка в руках Найман-Аны, последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая с рук. Долги, сорокадневные и годовые аши — поминки по погибшим… По сыну, на поиски которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа, всех найманов ближайшей округи.

На рассвете Найман-Ана вышла из юрты, уже готовая в путь. Выйдя, остановилась, перешагнув порог, прислонилась к двери, задумалась, окидывая взглядом спящий аул, перед тем как покинуть его. Еще стройная, еще сохранившая былую красоту Найман-Ана была подпоясана, как и полагалось в дальнюю дорогу. На ней были сапоги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув концы на затылке. Так решила в своих ночных раздумьях — уж коли надеется увидеть сына в живых, то к чему траур. А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком.

Сумеречное утро скрадывало в тот час поседевшие волосы и печать глубоких горестей на лице матери — морщины, глубоко избороздившие печальное чело. Ее глаза повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Думала ли, гадала ли, что и такое придется пережить. Но затем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хиль алла», — прошептала она первую строку молитвы (нет бога кроме бога) и с тем решительно направилась к верблюдице, осадила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для острастки, негромко покрикивая, Акмая неторопливо опустилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, Найман-Ана взобралась верхом на верблюдицу, понукнула ее, и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла — ей предстоит дорога…

Никто в ауле не знал о выезде Найман-Аны и, кроме заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевавшей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вечера сказала, что поедет к своим торкунам — родственникам по девичеству — погостить и что оттуда если будут паломники, отправится вместе с ними в кипчакские земли, поклониться храму святого Яссави…

Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал расспросами. Удалившись от аула, Найман-Ана повернула в сторону сарозеков, смутная даль которых едва угадывалась в неподвижной пустоте впереди…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

С борта авианосца «Конвенция» пошла еще одна шифрованная радиограмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиограмме в том же категорически-предупредительном тоне предлагалось не вступать с паритет-космонавтами 1–2 и 2–1, пребывающими вне Солнечной Галактики, в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвращения на орбитальную станцию, впредь ждать указания Обценупра.

На океане штормило вполсилы. Авианосец заметно покачивало на волнах. Бурунила, играла тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим белопенистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием.

Все службы на авианосце «Конвенция», включая авиакрыло и группы безопасности государственных интересов, были начеку — в полной готовности…

Уже не первый день, монотонно подвывая на ходу и едва слышно пришаркивая, трусила рысцой белая верблюдица Акмая по логам и равнинам великой сарозекской степи, а хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца. А с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных складках сарозеков. Здесь, именно в этой части серединных земель, неподалеку от протянувшегося на многие километры краснопесчаного обрыва Малакумдычап, повстречали недавно проезжие купцы того пастуха-манкурта, которого теперь разыскивала Найман-Ана. Вот уже второй день кружила

она вокруг да около Малакумдычапа, боясь наткнуться на жуаньжуанов, но сколько она ни вглядывалась, сколько ни рыскала, всюду была степь, степь, обманчивые миражи. Однажды уже поддавшись такому видению, проделала она большой извилистый путь к воздушному городу с мечетями и крепостными стенами. Может быть, там ее сын, на невольничьем рынке? И тогда она могла бы усадить его на Акмаю позади себя, и пусть попробовали бы их догнать… Тягостно было в пустыне, оттого и примерещилось такое.

Конечно, найти человека в сарозеках дело трудное, человек здесь песчинка, но если при нем большое стадо, занимающее на выпасе обширное пространство, то рано или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь других, а при стаде пастуха. На то и рассчитывала Найман-Ана.

Однако пока нигде ничего не обнаружила. И уже начала опасаться, а не перегнали ли то стадо в другое место или более того — не отправили ли жуаньжуаны этих верблюдов всем гуртом на продажу в Хиву или Бухару. Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев?.. Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только и мечтала — лишь бы увидеть в

живых сына, пусть будет он манкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой… Разве этого мало! Но углубляясь в сарозеки, приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, которого встретили недавно проходившие здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо, страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный, и готова была беспрекословно примириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взглянуть на манкурта и убедиться, что сомнения ее напрасны, и, убедившись, вернется, и перестанет терзаться, и будет доживать свой век, как угодно будет судьбе… Но потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в сарозеках именно своего сына, что бы то ни значило…

В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов, сотни голов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям колючек, обгрызая их верхушки. Найман-Ана приударила свою Акмаю, пустилась

со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо, потом испугалась, озноб прошиб, до того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит.

Вот оно пасется, стадо, но где же пастух? Должен быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на ее приближение.

И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман-Ана, как скатилась со спины верблюдицы. Показалось ей, что она упала, но до того ли было!

— Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! — Она бросилась к нему как через чащобу, разделявшую их. — Я твоя мать!

И сразу все поняла и зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой. Чтобы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучастного сына и все плакала и плакала, оглушенная горем, которое

давно нависло и теперь обрушилось, подминая и погребая ее. И, плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу, в знакомые черты сына и все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее, ведь это же так просто — узнать собственную мать!

Но ее появление не произвело на него никакого воздействия, точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему она плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей, на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру молодые животные.

Найман-Ана осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась с силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын-манкурт как ни в чем не бывало бессмысленно и равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно обветренному, огрубевшему

лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешенными.

— Садись, поговорим, — с тяжелым вздохом сказала Найма-Ана.

И они сели на землю.

— Ты узнаешь меня? — спросила мать.

Манкурт отрицательно покачал головой.

— А как тебя звать?

— Манкурт, — ответил он.

— Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя.

Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить, на переносице от напряжения выступили крупные капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно быть, глухая непроницаемая стена и он не мог ее преодолеть.

— А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?

Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.

— Что они сделали с тобой! — прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали манкурта.

— Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, — проговорила она вслух, — но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?! О господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

И тогда сказала она, глядя на сына-манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о солнце, о боге, о себе, которое пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о сарозекской истории…

И тогда она начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди:

— Мен ботасы олген боз мая,
Тулыбын келип искеген…[12]

И тогда вырвались из души ее причитания, долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних сарозеков…

Но ничто не трогало сына ее, манкурта.

И тогда решила Найман-Ана не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть.

— Твое имя Жоламан. Ты слышишь. Ты — Жо-

---

[12] Примечания: 12

Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого соломой.

ламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать. А ты мой сын. Ты из племени найманов, понял? Ты найман…

Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот кузнечика в траве.

И тогда Найман-Ана спросила сына-манкурта: А что было до того, как ты пришел сюда?

— Ничего не было, — сказал он.

— Ночь была или день?

— Ничего не было, — сказал он.

— С кем ты хотел бы разговаривать?

— С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит.

— А что ты еще хотел бы?

— Косу на голове, как у хозяина.

— Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой, — потянулась Найман-Ана.

Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что упоминать о его голове никогда не следует.



В это время вдали завиднелся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним.

— Кто это? — спросила Найман-Ана.

— Он везет мне еду, — ответил сын.

Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся некстати жуаньжуан не увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и взобралась в седло.

— Ты ничего не говори. Я скоро приеду, — сказала Найман-Ана.

Сын не ответил. Ему было все равно.

Найман-Ана поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуаньжуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседавшую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между пасущимися животными.

Удалившись изрядно от выпаса, Найман-Ана заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью. Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно оврага. *И* отсюда стала наблюдать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Через некоторое время, погоняя верблюда рысью, показался тот жуаньжуан. Он был вооружен пикой и стрелами. Жуаньжуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам, — куда же девался верховой на белом верблюде, замеченный им издали? Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую. И в

последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что Найман-Ана догадалась затянуть платком пасть Акмаи. Неровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Найман-Ана разглядела жуаньжуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам, лицо было одутловатое, напряженное, на голове черная шляпа, как лодка, с концами, загнутыми вверх, а сзади болталась, поблескивая, черная сухая коса, плетенная в два зуба. Жуаньжуан привстал на стременах, держа наготове пику, оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших сарозеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастий ее семье. Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина-жуаньжуана? И думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости — вытравить память раба…

Порыскав взад-вперед, жуаньжуан вскоре удалился назад к стаду.

Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево еще долго держалось над степью. Потом разом смерклось. И наступила глухая ночь.

В полном одиночестве Найман-Ана провела

ту ночь в степи где-то недалеко от своего горемычного, сына-манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний жуаньжуан мог остаться на ночь при стаде.

И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увезти его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуа-ней в безлюдных сарозеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство…

Наутро Найман-Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними, кружными путями долго подбиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из жуаньжуаней. И лишь убедившись, что никого нет, она окликнула сына по имени:

— Жоламан! Жоламан! Здравствуй!

Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос.

Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отнятую память.

— Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! — умоляла и убеждала она. — Твой отец Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан[13]. Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир.

И хотя все это на сына-манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь — вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь. И все-таки продолжала твердить свое:

— Вспомни, как твое имя? Твой отец Доненбай!

Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни.

Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появилось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тогда мать стала убеждать его покинуть это место, покинуть жуаньжуаней и уехать с ней к своим родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать

---

[13] Примечания: 13

Жоламан — имя, образованное от двух слов: «жол» — путь, «аман» — здоровье; по смыслу — будь здоров в пути.

куда-то, — а как же стадо? Нет, хозяин велел все время быть при стаде. Так сказал хозяин... И он никуда не отлучится от стада...

И снова в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила:

— Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец До-иенбай!

Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился жуаньжуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана не мешкая села на Акмаю. И пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один жуаньжуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а жуаньжуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмаи. Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, неслась по сарозекам с недосягаемой быстротой, унося Найман-Ану от смертельной погони.

Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуаньжуаны стали избивать манкурта.

Но какой с него спрос. Только и отвечал:

— Она говорила, что она моя мать.

— Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! — запугивали они несчастного манкурта.

При этих словах манкурт побледнел, серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь.

— Да ты не бойся! На-ка, держи! — старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами.

— А ну цельсь! — Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу.

— Смотри! — удивился владелец шляпы. — В руке память осталась!



Как птица, вспугнутая с гнезда, кружила Найман-Ана, по сарозекским окрестностям. И не знала, как же быть, чего ожидать. Угонят ли

теперь жуаньжуаны весь гурт и с ним ее сына-манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы изловить? Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по скрытым местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуаньжуаней покинули стадо. Поехали прочь рядком, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и, когда они скрылись вдали, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увезти его с собой. Какой он ни есть — не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашественники пленных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватило бы. Однако жуаньжуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства…

С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью.

Уже смеркалось. Над великими сарозеками опускалась, незримо вкрадываясь по логам и долам красноватыми сумерками, еще одна ночь из

бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорбье. Настороженная и озабоченная Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, тоска в глазах, как те сумерки сарозекские, неизбывная боль… Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына невидно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле… Но самого его не было. Что с ним?

— Жоламан! Сын мой Жоламан, где ты? — стала звать Найман-Ана.

Никто не появился и не откликнулся.

— Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?

И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.

— Жоламан! Сын мой! — звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. — Не стреляй! — успела вскрикнуть она и только было понукнула белую верблюдицу

Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.

То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!»

С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай!..»

То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в сарозеках кладбищем Ана-Бейит — материнским упокоем…

От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний Буранный Каранар.

Покойный Казангап, которого теперь везли хоронить на Ана-Бейит, всегда доказывал, что Буранный Каранар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы,

оставшейся в сарозеках после гибели Найман-Аны.

Едигей охотно верил Казангапу. Почему бы и нет… Буранный Каранар стоил того… Сколько уже было испытаний и в добрые и в худые дни — и всегда Каранар вызволял из трудностей… Вот только дурной уж очень становится, когда в гон идет, в самые холода всегда это с ним случается, и тогда он лютует, страшно лютует, и зима лютует и он. Две зимы сразу. Сладу нет никакого в такие дни… Однажды он подвел Едигея, крепко подвел, и был бы он, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда не простил бы Буранный Едигей тот случай Буранному Каранару… Но что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон… Да дело-то и не в нем. Разве можно обижаться на животное, это ведь к слову сказано, просто уж судьба обернулась таким образом. При чем тут Буранный Каранар? Вот ведь Казангап хорошо знал эту историю, он ее и рассудил, а не то кто знает, как бы все вышло.

7

Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Буранный Едигей с особым чувством былого счастья. Как по волшебству сбылось предсказание Едигея. После той страшной жары, от которой даже сарозекские ящерицы прибегали на порог жилья, спасаясь от солнца, погода внезапно изменилась уже в середине августа. Схлынула вдруг нестерпимая жара, и постепенно стала прибывать прохлада, по крайней мере по ночам можно было уже спокойно спать. Бывает такая благодать в сарозеках, год на год не приходится, но бывает. Зимы всегда неизменны. Всегда суровы, а лето иной раз и поблажку дает. Такое случается, когда в высших слоях воздушных течений, как рассказывал однажды Елизаров, происходят крупные сдвиги, меняются направления небесных рек. Елизаров любил рассказывать о таких вещах. Он говорил, что наверху протекают огромные незримые реки с берегами своими и разливами. Эти реки, находясь в беспрерывном обороте, якобы омывают земной шар. И, вся окутанная ветрами, Земля плывет по кругам своим, и вот то и есть течение времени. Любопытно было

послушать Елизарова. Таких людей не сыскать, редкой души человек. Уважал его, Елизарова, Буранный Едигей, и тот отвечал ему тем же. Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит подчас в сарозеки облегчительную прохладу в самый зной, она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь, наталкивается на Гималаи. А Гималаи-то где, бог знает как далеко, но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Гималаи и дает обратный ход; в Индию, в Пакистан она не попадает, там жара так и остается жарой, а над сарозеками растекается обратным ходом, потому что сарозеки, подобно морю, открытое беспрепятственное пространство… И приносит та река прохладу с Гималаев…

Но как бы то ни было, поистине отрадная пора стояла в том году в конце лета и начале осени. Дожди в сарозеках — редкое явление. Каждый дождь можно запомнить надолго. Но тот дождь запомнил Буранный Едигей на всю жизнь. Сначала заволокло тучами, даже непривычно было, когда скрылась вечно пустынная глубина горячего, исстоявшегося сарозекского неба. И стало парить, духота напряглась невозможная. Едигей в тот день был сцепщиком. На тупиковой линии

разъезда оставались после разгрузки от гравия и новой партии сосновых шпал три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда, делать требуют в срочном порядке, а потом оказывается, что не так уж и срочно надобно. Полсуток после разгрузки платформы стояли в тупике. А на разгрузку все налегли — Казангап, Абуталип, Зарипа, Укубала, Букей, все, кто не на линии, брошены были на это срочное дело. Ведь тогда все вручную приходилось делать. Ох и жара стояла! Надо же, угораздило прибыть этим платформам в такую жару. Но раз надо, то надо. Работали. Укубалу замутило, стало рвать. Не выносила она духа горячих просмоленных шпал. Пришлось отправить ее домой. А потом женщин всех отпустили — дома детишки от жары доходили. Остались мужики, в жилу вытянулись, но доделали дело.

А на другой день, как раз как быть дождю, порожняк с попутным товарняком на Кумбель возвращался. Пока маневрировали да сцепляли вагоны, задыхался Едигей от духоты, как в бане солдатской. Лучше уж солнце жарило бы. А машинист какой-то попался — все тянет да тянет, в час по чайной ложке. А тут ходи в три погибели под вагонами. И обложил Едигей того машиниста матом как следует. А тот тем же ответил. Ему тоже

несладко у топки паровозной. От жары одурели. Ушел, слава богу, товарняк. Утащил порожние платформы.

И тут ливень хлынул разом. Прорвало. За все бездождье один дождь ударил. Земля вздрогнула, поднялась мигом в пузырях и лужах. И пошел, и пошел дождь, яростный, бешеный, накопивший запасы прохлады и влаги, если то верно, на снежных хребтах самих Гималаев… Ух какие Гималаи! Какая мощь! Едигей побежал домой. Зачем, сам не знает. Просто так. Ведь человек, когда попадает под дождь, всегда бежит домой или еще под какую крышу. Привычка. А не то зачем было скрываться от такого дождя? Он понял это и остановился, когда увидел, как вся семья Куттыбаевых — Абуталип, Зарипа и двое сынишек, Даул и Эрмек, — схватившись за руки, плясала и прыгала под дождем возле своего барака. И это потрясло Едигея. Не оттого, что они резвились и радовались дождю. А оттого, что еще перед началом дождя Абуталип и Зарипа поспешили, широко перешагивая через пути, с работы. Теперь он понял. Они хотели быть все вместе под дождем, с детьми, всей семьей. Едигею такое не пришло бы в голову. А они, купаясь в потоках ливня, плясали, шумели, как гуси залетные на

Аральском море! То был праздник для них, отдушина с неба. Так истосковались, истомились в сарозеках по дождю. И отрадно стало Едигею, и грустно, и смешно, и жалко было изгоев, цепляющихся за какую-то светлую минуту на разъезде Боранлы-Буранный.

— Едигей! Давай с нами! — закричал сквозь потоки дождя Абуталип и замахал руками, как пловец.

— Дядя Едигей! — в свою очередь обрадованно кинулись к нему мальчики.

Младшенький, ему всего-то шел третий год, Эрмек, любимец Едигея, бежал к нему, раскинув объятия, с широко открытым ртом, захлебываясь в дожде. Его глаза были полны неописуемой радости, геройства и озорства. Едигей подхватил его, закружил на руках. И не знал, как поступить дальше. Он вовсе не собирался включаться в эту семейную игру. Но тут из-за угла выбежали с громким визгом дочери Едигея — Сауле и Шарапат. Они прибежали на шум Куттыбаевых. Они тоже были счастливы. «Папа, давай бегать!» — потребовали они. И это решило колебания Едигея. Теперь они все вместе, объединившись, буйствовали под нестихающим ливнем.

Едигей не спускал с рук маленького Эрмека,

опасаясь, что тот в суматохе упадет в лужу и захлебнется. Абуталип посадил к себе на спину его младшенькую — Шарапат. И так они бегали, устраивая для детей потеху. Эрмек подпрыгивал на руках Едигея, кричал вовсю и, когда захлебывался, быстро и крепко прижимался мокрой мордашкой к шее Едигея. Это было так трогательно, Едигей несколько раз ловил на себе благодарные, сияющие взгляды Абуталипа и Зарипы, довольных тем, что их мальчику так славно с дядей Едигеем. Но Едигею и его девчушкам тоже было очень весело в этой дождевой кутерьме, затеянной семьей Куттыбаевых. И невольно обратил внимание Едигей, какой красивой была Зарипа. Дождь разметал ее черные волосы по лицу, шее, плечам, и, обтекая ее от макушки до пят, ниспадающая вода щедро струилась по упругому, молодому телу женщины, выделяя ее шею, руки, бедра, икры босых ног. А глаза сияли радостью, задором. И белые зубы счастливо сверкали.

Для сарозеков дождь — не в коня корм. Снега постепенно впитываются в почву. А дождь, какой бы он ни был, как ртуть на ладони, сбегает с поверхности в овраги да в балки. Взбурлит, прошумит — и нет его.

Уже через несколько минут при том большом

ливне взыграли ручьи и потоки, сильные, быстрые, вспененные. И тогда боранлинцы стали бегать и прыгать по ручьям, пускать тазы и корыта по воде. Старшие ребятишки, Даул и Сауле, даже катались по ручьям в тазах. Пришлось и младших тоже усаживать в корыта, и они тоже поплыли…

А дождь все шел. Увлеченные плаванием в тазах, они оказались у самых путей, под насыпью, в начале разъезда. В это время проходил через Боранлы-Буранный пассажирский состав. Люди, высунувшись чуть ли не по пояс в настежь открытые окна и двери поезда, глазели на них, на несчастных чудаков пустыни. Они что-то кричали им вроде: «Эй, не утоните!» — хохотали до упаду, свистели, смеялись. Уж очень странный, наверно, был вид у них. И поезд проследовал, омываемый ливнем, унося тех, кто через день или два, может, станет рассказывать об увиденном, чтобы потешить людей.

Едигей ничего этого не подумал бы, если бы ему не показалось, что Зарипа плачет. Когда по лицу стекают струи воды как из ведра, трудно сказать, плачет человек или нет. И все-таки Зарипа плакала. Она притворялась, что смеется, что ей безумно весело, а сама плакала, сдерживая

всхлипы, перебивая плач смехом и возгласами. Абуталип беспокойно схватил ее за руку:

— Что с тобой? Тебе плохо? Пошли домой.

— Да нет, я просто икаю, — ответила Зарипа.

И они снова начали забавлять детей, торопясь насытиться дарами случайного дождя. Едигею стало не по себе. Представил, как тяжко, должно быть, сознавать им, что есть другая, отторгнутая от них жизнь, где дождь не событие, где люди купаются и плавают в чистой, прозрачной воде, где другие условия, другие развлечения, другие заботы… И чтобы не смутить Абуталипа и Зарипу, которые, конечно, только ради детей изображали это веселье, Едигей продолжал поддерживать их забавы…

Навозились, наигрались вдосталь и дети и взрослые, а дождь еще лил. И тогда они побежали по домам. И, глядя сочувственно им вслед, любовался Едигей, как бежали Куттыбаевы рядышком, отец, мать, дети. Все мокрые. Хоть один день счастья в сарозеках.

Держа младшую на руках, старшую дочь за руку, Едигей появился на пороге. Укубала испуганно всплеснула при виде их руками:

— Ой, да что с вами? На кого же вы похожи?

— Не пугайся, мать, — успокоил жену Едигей и

рассмеялся. — Когда атан пьянеет, он играет со своими тайлаками[14].

— То-то, я гляжу, уподобился, — усмехнулась укоризненно Укубала. — Ну раздевайтесь, не стойте, как мокрые курицы.

Дождь перестал, но он еще проливался где-то по сарозекским окраинам до самого рассвета, судя по тому, что доносились средь ночи глухие перекаты отдаленного грома. Едигей несколько раз просыпался от этого. И удивлялся. На Аральском море, бывало, гроза над головой грохочет — и то спалось. Ну, там другое дело — грозы там частые. Просыпаясь, угадывал Едигей сквозь смеженные веки, как отражались в окнах мигающим сполохом далекие, размытые зарницы, вспыхивавшие в степи в разных местах.

Снилось той ночью Буранному Едигею, что опять он на фронте под обстрелом лежит. Но снаряды падали бесшумно. Взрывы беззвучно взмывали вверх и застывали черными выплесками, медленно и тягостно опадая. Один из таких взрывов подбросил его вверх, и он падал очень долго, падал с замирающим сердцем в жуткую пустоту. Потом он бежал в атаку, очень много их

---

[14] Примечания: 14
Тайлак — детеныш верблюда.

было, солдат в серых шинелях, поднявшихся в атаку, но лиц не различить было, казалось, просто шинели бежали сами по себе с автоматами в руках. И когда шинели закричали «ура», на пути перед Едигеем возникла мокрая от дождя, смеющаяся Зарипа. Это было удивительно. В ситцевом платьице, с разметанными волосами, в потоках воды, стекающих по лицу, она смеялась безостановочно. Едигею некогда было задерживаться, он помнил, что шел в атаку. «Почему ты так смеешься, Зарипа? Это не к добру», — сказал Едигей. «А я не смеюсь, я плачу», — отвечала она и продолжала смеяться под струями дождя…

На другой день он хотел рассказать об этом сне Абуталипу и ей. Но раздумал, нехорошим показался сон. Зачем лишний раз расстраивать людей…

После этого великого дождя опрокинулась жара в сарозеках, или, как говорил Казангап, кончились взятки лета. Были еще знойные дни, но уже терпимее. И отсюда постепенно началась предосенняя благодать сарозекская. Избавилась от изнуряющей жары и боранлинская детвора. Ожили, опять зазвенели их голоса. А тут передали на разъезд с Кумбеля, что прибыли на станцию кызыл-ординские арбузы и дыни. И что, мол, как

желают боранлинцы — им могут прислать их долю или пусть сами приедут заберут. Этим и воспользовался Едигей. Убедил начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь пришлют — на тебе, боже, что нам негоже. Тот согласился. Хорошо, говорит, поезжайте с Куттыбаевыми и выберите что получше. Этого и надо было Едигею. Хотелось вывезти Абуталипа и Зарипу с детьми хоть на один день из Боранлы-Буранного. Да и самим не мешало проветриться. И отправились они, две семьи со всей детворой, рано утром на попутном составе в Кумбель. Приоделись. То-то было славно. Детям казалось, что они едут в сказочную страну. Всю дорогу ликовали, расспрашивали: а деревья там растут? Растут. А трава там есть зеленая? Есть — и зеленая. И цветы даже есть. А дома большие и машины бегают по улицам? А арбузов и дынь там сколько хочешь? А мороженое там есть? А там есть море?

Ветер проникал в товарный вагон, струился ровным приятным потоком в приоткрытые двери, загороженные деревянным щитом на всякий случай, чтобы ребята не вывалились, хотя на самом проходе у края сидели на порожних ящиках Едигей с Абуталипом. Разговоры вели разные да отвечали на детские вопросы. Доволен был

Буранный Едигей, что ехали они вместе, что погода хорошая, что дети веселые, но больше всего рад был Едигей не за малышей, а за Абуталипа и Зарипу. Просветлели их лица. Освободились, расковались люди на какое-то время хотя бы от постоянной озабоченности, внутренней подавленности. И подумалось под настроение Едигею: может быть, Абуталипу будет позволено жить в сарозеках как сумеет и сколько сумеет. Дай-то бог!

Приятно было видеть — Зарипа и Укубала задушевно беседовали между собой о разных делах житейских. И были счастливы. Ведь так и должно быть, много ли надо людям... Очень хотелось Едигею, чтобы позабылись все невзгоды Куттыбаевым, чтобы сумели они укрепиться, приспособиться к их боранлинской жизни, коли другого выбора не предстояло. Лестно было также Едигею, что Абуталип сидел рядом, касаясь плечом его плеча, зная, что на Едигея можно положиться и что они хорошо понимают друг друга без лишних слов, не затрагивая болезненные темы, о которых не стоило походя говорить. Ценил Едигей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего привязанность к семье, ради которой жил Абуталип, не сдавался, черпая в том силу. При-

слушиваясь к высказываниям Абуталипа, Едигей приходил к выводу, что самое лучшее, что может человек сделать для других, так это воспитать в своей семье достойных детей. И не с чьей-то помощью, а самому изо дня в день, шаг за шагом вкладывать в это дело всего себя, быть всегда вместе с детьми.

Вот уж, казалось бы, где только не учили Сабитжана, с самых малых лет по интернатам, по институтам и по разным курсам повышений. Бедный Казангап все, что добывал-зарабатывал, отдавал на пребывание сына в городах, чтобы не хуже других жилось-былось его Сабитжану, — а что толку? Знать-то все знает, а никчемный и есть никчемный.

Вот и думалось тогда по пути Едигею, когда они вместе ехали за арбузами да дынями на Кумбель, что ежели нет лучшего выхода, то стоит Абуталипу Куттыбаеву обосноваться как следует в Боранлы-Буранном. Хозяйство налаживать свое, скотом обзавестись и поднимать сыновей среди сарозеков как сможет и и сколько сможет. Правда, учить уму-разуму он его не стал, но понял из разговора, что и Абуталип к тому склонен, что есть такое намерение. Интересовался он, как картошкой запастись, где валенки купить на зиму

жене да детям, сам, мол, в сапогах похожу. Да еще расспрашивал, есть ли библиотека в Кумбеле и дают ли книги на разъезды.

К вечеру того дня опять же на попутном товарняке вернулись домой с дынями и арбузами, выделенными орсом для боранлинцев. Дети, конечно, притомились к вечеру, но были довольны очень. Повидали мир на Кумбеле, игрушек накупили, мороженое ели и всякое прочее. Да, случилось одно небольшое происшествие в станционной парикмахерской. Решили подстричь ребят. А когда очередь дошла до Эрмека, тут поднялся такой крик и плач, что сладу не было никакого с мальчишкой. Умаялись все, а он боится, вырывается, кричит, отца зовет. Абуталип отошел было в тот момент в магазин рядом. Зарипа не знала, что делать, и краснела и бледнела от стыда. И все оправдывалась, что от рождения еще ни разу не стригли ребенка, жалели — уж очень красивые, кудрявые волосы были у малыша. Айв самом деле, волос рос у Эрмека отменный, густой и вьющийся, в мать пошел, и вообще он был похож на Зарипу: как вымоют голову и расчешут кудри — одно загляденье.

Пошли даже на то, что Укубала разрешила подрезать волосы Сауле: вот, мол, смотри, девочка

и то не боится. Это, кажется, возымело какое-то действие, но как только парикмахер взял в руки машинку, так снова крик и рев. Эрмек вырвался, и тут как раз в дверях появился Абуталип. Эрмек бросился к отцу. Отец приподнял его и крепко прижал к себе, понял, что не стоит мучить ребенка.

— Извините, — сказал он парикмахеру. — Как-нибудь в другой раз. Соберемся с духом и тогда… А пока потерпит еще, можно еще походить. Не к спеху… В другой раз…

В ходе чрезвычайного заседания особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по обоюдному согласию сторон на орбитальную станцию «Паритет» пошла еще одна кодированная радиограмма, предназначенная для передачи паритет-космонавтам 1–2 и 2–1, находящимся на планете внеземной цивилизации, — категорически не предпринимать никаких действий, находиться на месте до особого указания Общенупра.

Заседание продолжалось по-прежнему при закрытых дверях. Авианосец «Конвенция» по-прежнему находился на своем месте в Тихом океане, южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и

Владивостоком.

По-прежнему никто еще в мире не знал, что произошло величайшее межгалактическое событие — в системе светила Держатель открыта планета внеземной цивилизации, разумные существа которой предлагали установить контакт с землянами.

На чрезвычайном заседании стороны дебатировали все за и против столь необычной и неожиданной проблемы. На столе перед каждым членом комиссии, помимо прочих подсобных материалов, лежало досье с полным текстом посланий паритет-космонавтов 1–2 и 2–1. Изучалась каждая мысль, каждое слово документов. Любая деталь, приводимая как факт устройства разумной жизни на планете Лесная Грудь, рассматривалась прежде всего с точки зрения возможных последствий, совместимости или несовместимости с земным опытом цивилизации и с интересами ведущих стран планеты… С такого рода проблемами еще никому из людей не приходилось сталкиваться. И вопрос требовалось решать экстренно…

На Тихом океане по-прежнему штормило вполсилы…

После того как семья Куттыбаевых пережила са-

мую страшную пору сарозекского летнего пекла и не схватилась в отчаянии за пожитки, не двинулась с Боранлы-Буранного куда угодно, только бы прочь, боранлинцы поняли, что эта семья останется здесь, будет еще держаться. Заметно приободрился, вернее втянулся в боранлинскую лямку, Абуталип Куттыбаев. Ну, конечно, обвык, освоился с условиями жизни на разъезде. Как любой и каждый, вправе был и он сказать, что Бо-ранлы — самое гиблое место на свете, если даже воду приходилось привозить в цистерне по железной дороге и для питья и для всех прочих нужд, а кому хочется испить свежей, настоящей водицы, тот должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками к колодцу за тридевять земель, на что, кроме Едигея и Казангапа, никто и не отваживался.

Да, так было в пятьдесят втором году и вплоть до шестидесятых, пока не установили на разъезде глубинную электроветровую водокачку. Но тогда об этом еще и не мечтали. И, несмотря на все это, Абуталип никогда не клял, не поносил ни разъезд Боранлы-Буранный, ни сарозекскую местность эту. Воспринимал худое как худое, хорошее как хорошее. В конце концов земля эта ни в чем и ни перед кем не была виновата. Человек сам должен

был решать, жить ему здесь или не жить…

И на этой земле люди старались устроиться как можно удобней. Когда Куттыбаевы пришли к окончательному убеждению, что место их здесь, на Боранлы-Буранном, и что дальше им некуда податься, а необходимо устраиваться поосновательней, то времени не стало хватать на домашние дела. Само собой, каждый день или каждую смену полагалось отработать, но и в свободное время забот оказалось невпроворот. Закрутился, запарился Абуталип, когда принялся готовить жилье к зиме — печку перекладывал, дверь утеплял, рамы подгонял и прилаживал. Сноровки к таким делам особой у него не было, но Едигей и инструментом и материалом помогал, не оставлял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчика, то и Казангап не остался в стороне. Втроем устроили небольшой погреб, сделали перекрытие из старых шпал, соломой, глиной сверху привалили, крышку сколотили наипрочнейшую, чтобы чья-либо скотина вдруг не провалилась в погреб. И что бы они ни делали, сновали и крутились под руками сынки абуталиповские. Пусть и мешали порой, но так веселей и милей было. Стали Едигей с Казангапом подумывать, как помочь Абуталипу хозяйством

обзавестись, и уже кое-что прикинули. Решили с весны выделить ему дойную верблюдицу. Главное, чтобы он доить научился. Ведь это не корова. Верблюдицу надо доить стоя. Ходить за ней по степи и, главное, сосунка сберегать, подпускать его к вымени вовремя и вовремя отнимать. Забот о нем немало. Тоже надо знать что к чему…

Но больше всего радовало Буранного Едигея то, что Абуталип не только за хозяйство принялся, не только постоянно с детьми обеих семей возился, учил с Зарипой их книжкам и рисованию, но, более того, пересиливая, превозмогая боранлинскую глухомань, еще и собой занялся. Ведь Абуталип Куттыбаев был образованным человеком. Книги читать, делать какие-то свои записи — это просто надлежало ему. Втайне Едигей гордился тем, что имел такого друга. Потому и тянулся к нему. И с Елизаровым, сарозекским геологом, часто бывавшим в этих местах, тоже ведь дружба возникла не случайно. Уважал Едигей ученых, много знающих людей. Абуталип тоже много знал. Просто он старался меньше размышлять вслух. Но был у них однажды разговор серьезный.

Возвращались к вечеру с путевых работ. В тот день они противоснежные щиты устанавливали

на седьмом километре, где всегда заносы бушуют. Хотя осень еще только входила в силу, однако к зиме требовалось готовиться заблаговременно. Так вот, шли они домой. Хороший, светлый вечер установился, к разговору располагал. В такие вечера сарозекские окрестности, как дно Аральского моря с лодки в тихую погоду, лишь призрачно угадываются в дымке заката.

— А что, Абу, вечерами, как ни пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит. Пишешь что-то или чинишь что-то — лампа рядом? — спросил Едигей.

— Так это просто все, — охотно отозвался Абуталип, перекладывая лопату с одного плеча на другое. — Письменного стола у меня нет. Вот как только сорванцы мои улягутся, Зарипа читает что-нибудь, а я записываю кое-что, пока в памяти, — войну и, главное, мои югославские годы. Время идет, былое отодвигается все дальше. — Он помолчал. — Я все думаю, что могу сделать для своих детей. Кормить, поить, воспитывать — это само собой. Сколько смогу, столько смогу. Я прошел и испытал столько, сколько другому, дай бог, за сто лет не придется, я еще живу и дышу, не зря, должно быть, судьба предоставляет мне такую возможность. Может быть, для того,

чтобы я что-то сказал, в первую очередь своим детям. И мне положено отчитаться перед ними за свою жизнь, поскольку я породил их на свет, я так понимаю. Конечно, есть общая истина для всех, но есть еще у каждого свое понимание. А оно уйдет с нами. Когда человек проходит круги между жизнью и смертью в мировой сшибке сил и его могли по меньшей мере сто раз убить, а он выживает, то многое дается ему познать — добро и зло, истину и ложь…

— Постой, одно не пойму, — удивленно перебил его Едигей. — Может, ты и верные вещи говоришь, но сынки твои малыши, сопляки еще, парикмахерской машинки боятся — что они поймут?

— Потому и записываю. Для них хочу сохранить. Буду жив или нет, никому не знать наперед. Вот третьего дня задумался, как дурак, чуть под состав не попал. Казангап успел. Столкнул с места. Да заругался потом страшно: пусть, говорит, дети твои сегодня на коленях господа бога благодарят.

— И верно. Я тебе давно говорил. И Зарипе говорил, — возмутился в свою очередь Едигей и воспользовался случаем, чтобы еще раз высказать свои опасения. — Что ты ходишь по путям

так, точно паровоз должен с рельсов сворачивать, дорогу тебе уступать? Есть же правила безопасности. Грамотный человек, сколько можно тебе говорить? Ты теперь железнодорожник, а ходишь как на базаре. Попадешь, не шути.

— Ну, если такое случится, сам буду виноват, — мрачно согласился он. — Но ты все-таки послушай меня, потом будешь выговаривать.

— Да я так, к слову, продолжай.

— В прежние времена люди детям наследство оставляли. К добру ли, к худу ли оставалось то наследство — когда как. Сколько книг об этом написано, сказок, в театрах сколько пьес играют о тех временах, как делили наследство и что потом сталось с наследниками. А почему? Потому что наследства эти большей частью несправедливо возникали, на чужих тяготах да чужими трудами, на обмане, оттого изначально таят они в себе зло, грех, несправедливость. А я утешаю себя тем, что мы, слава богу, избавлены от этого. Мое наследство вреда никому не причинит. Это лишь мой дух, мои записи будут, а в них все, что я понял и вынес из войны. Большего богатства для детей у меня нет. Здесь, в сарозекских пустынях, пришел я к этой мысли. Жизнь все время оттесняла меня сюда, чтобы я затерялся, исчез, а я запишу для

них все, что думаю-гадаю, и в них, в детях своих, состоюсь когда-нибудь. То, чего не удалось мне, может быть, достигнут они… А жить им придется потрудней, чем нам. Так пусть набираются ума смолоду…

Некоторое время они шли молча, каждый занятый своими мыслями. Странно было Едигею слышать такие речи. Подивился он, что можно, оказывается, и эдак понимать свою суть на земле. И все-таки он решил выяснить то, что его поразило:

— Все думают, вон по радио говорят, что детям нашим будет жить лучше и легче, а тебе кажется, что им придется потрудней, чем нам. Атомная война будет, потому, что ли?

— Да нет, не только поэтому. Войны, может, и не будет, а если и будет, то не скоро. Не о хлебе речь идет. Просто колесо времени убыстряется. Им придется до всего самим доходить, своим умом, и за нас отвечать отчасти задним числом. А мыслить всегда тяжко. Потому им придется труднее, чем нам.

Едигей не стал уточнять, почему он считает, что мыслить всегда тяжко. И напрасно не стал, впоследствии очень сожалел, вспоминая этот разговор. Надо было пораспросить, выведать, в

чем тут смысл…

— Я к чему это говорю, — как бы отзываясь на сомнения Едигея, продолжал Абуталип. — Для малых детей взрослые всегда кажутся умными, авторитетными. Вырастут, смотрят — а учителя-то, мы то есть, не так уж много знали и не такие уж умные, как казалось. Над ними и посмеяться можно, порой даже жалкими кажутся им постаревшие наставники. Колесо времени все быстрее и быстрее раскручивается. И, однако, о себе мы сами должны сказать последнее слово. Наши предки пытались делать это в сказаниях. Хотели доказать потомкам, какими они были великими. И мы судим теперь о них по их духу. Вот я и делаю что могу для подрастающих сыновей. Мои сказания — мои военные годы. Пишу для них свои партизанские тетради. Все как было, что видел и пережил. Пригодятся, когда подрастут. Но кроме этого тоже есть задумки кое-какие. В сарозеках придется им расти. Опять же, когда подрастут, пусть не думают, что на пустом месте жили. Песни наши записал старинные, их ведь тоже потом не сыщешь. Песня в моем понимании — весть из прошлого. Укубала твоя много их знает, оказывается. И еще обещала припомнить.

— Ну а как же! Все-таки аральская родом! —

сразу возгордился Едигей. — Аральские казахи у моря. А на море петь хорошо. Море оно все понимает. Что ни скажешь — от души и все к ладу на море.

— А это ты верно сказал, точно. Перечитал недавно записанное — чуть не плакали с Зарипой. До чего красиво пели в старину! Каждая песня — целая история. Так и видишь тех людей. И хочется с ними быть душа в душу. И страдать и любить, как они. Вот ведь какую память оставили по себе. Я и Казангапову Букей сагитировал уже — вспоминай, говорю, свои каракалпакские песни, запишу в отдельную тетрадь. Будет у нас каракалпакская тетрадь…

И так они шли не спеша вдоль железнодорожной линии. Редкий час выдался. Облегченно, как протяжный вздох, затихал умиротворенный конец дня той предосенней поры. Казалось бы, ни лесов, ни рек, ни полей в сарозеках, но угасающее солнце создавало впечатление наполненности благодаря неуловимому движению света и тени по открытому лику земли. Смутная, текучая синева захватывающего дух простора возвышала мысли, вызывала желание долго жить и много думать…

— Слушай, Едигей, — заговорил снова Абута-

лип, вспомнив о том, что мысленно отложил и к чему должен был вернуться при случае. — Давно собираюсь спросить. Птица Доненбай. Как ты думаешь, наверно, есть такая птица в природе, которая так и называется — Доненбай. Тебе не приходилось встречать такую птицу?

— Так это же легенда.

— Понимаю. Но часто бывает, когда легенда подтверждается былью, тем, что есть в жизни. Ну вот, например, есть такая птица иволга, которая у нас в Семиречье целый день распевает в горных садах и все спрашивает: «Кто мой жених?» Так тут просто игра звуков. И есть сказка об этом, почему она так поет. Вот я и думаю: нет ли такого созвучия и в этой истории? Может быть, существует в степи какая-то птица, которая кричит что-то похожее на имя Доненбай, и потому она оказалась в легенде?

— Нет, не знаю. Не думал об этом, — засомневался Едигей. — Однако сколько уже езжу по здешним местам вдоль и поперек, но такой птицы не встречал. Должно быть, ее и нет.

— Возможно, — задумчиво отозвался Абуталип.

— А что, если нет такой птицы, так, выходит, все это неправда? — обеспокоился Едигей.

— Нет, почему же. Потому и стоит кладбище Ана-Бейит и что-то здесь было. И еще я думаю почему-то, что такая птица есть. И ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. Для детей я так и запишу.

— Ну, если для детишек, — неуверенно обронил Едигей, — тогда можно…

На памяти Буранного Едигея только два человека в свое время записывали сарозекскую легенду о Найман-Ане.

Вначале Абуталип Куттыбаев записал ее для своих детей на те времена, когда они подрастут, это было в конце пятьдесят второго года. Рукопись та пропала. Столько горя пришлось натерпеться после этого. До того ли было! Несколько лет спустя, году в пятьдесят седьмом, записал ее Елизаров Афанасий Иванович. Теперь его нет, Елизарова. А рукопись, кто его знает, наверно, в его бумагах осталась в Алма-Ате… И тот и другой записывали ее главным образом из уст Казангапа. Едигей присутствовал при том, но больше в качестве подсказчика-напоминателя и своего рода комментатора.

«Вот тебе и годы! Когда все это было-то, бог ты мой!» — думал Буранный Едигей, покачиваясь между горбами укрытого попоной Каранара. Теперь он вез самого Казангапа на кладбище Ана-

Бейит. Круг как бы замыкался. Сказитель легенды теперь уже сам должен был обрести последнее упокоение на кладбище, историю которого хранил и передавал другим.

«Остались только мы — я и Ана-Бейит. Да и мне скоро предстоит прибыть сюда. Место свое занять. Дело идет к этому», — тоскливо размышлял по пути Едигей, все так же возглавляя на верблюде странную похоронную процессию, следовавшую за ним по степи на тракторе с прицепом и на замыкающем колесном экскаваторе «Беларусь». Рыжий пес Жолбарс, самовольно примкнувший к похоронам, позволял себе находиться то в голове, то в хвосте процессии, то сбоку, а то и отлучался ненадолго… Хвост он держал по-хозяйски твердо и по сторонам поглядывал деловито…

Солнце уже поднялось на макушку, полдень вступал. До кладбища Ана-Бейит оставалось не так много…

8

И все-таки конец пятьдесят второго года, вернее, вея осень и зима, наступившая, правда с опозданием, но без метелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашней горстки жителей разъезда Боранлы-Буран-ного. Едигей часто потом скучал по тем дням.

Казангап, патриарх боранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся не в свои дела, пребывал еще в полной силе и крепком здравии. Его Сабитжан уже учился в кумбельском интернате. Семья Куттыбаевых к тому времени прочно осела в сарозеках. К зиме утеплили барак, картошкой запаслись, валенки Зарипе и мальчишкам приобрели, муки целый мешок привезли из Кумбеля, сам Едигей привез вьюком из орса на вступавшем в ту пору в расцвет сил молодом Каранаре. Абуталип работал как полагается и все свободное время по-прежнему возился с ребятами, а по ночам усердно писал, примостившись с лампой на подоконнике.

Были еще две-три семьи станционных рабочих, но, по всему, временных людей на разъезде. Тогдашний начальник разъезда Абилов тоже

казался недурным человеком. Никто из боранлинцев не болел. Служба шла. Дети росли. Все предзимние работы по заграждению и ремонту путей выполнялись в срок.

Погода стояла распрекрасная для сарозеков — коричневая осень, как хлебная корка! А потом зима подоспела. Снег лег сразу. И тоже красиво, белым-бело стало вокруг. И среди великого белого безмолвия черной ниточкой протянулась железная дорога, а по ней, как всегда, шли и шли поезда. И сбоку этого движения среди смежных всхолмлений притулился маленький поселочек — разъезд Боранлы-Буранный. Несколько домиков и прочее… Проезжие скользили из вагонов равнодушным взглядом, или на минутку просыпалась в них мимолетная жалость к одиноким жителям разъезда…

Но напрасной была та мимолетная жалость. Боран-линцы переживали хороший год, если не считать дикого летнего пекла, но то было уже позади. А вообще-то повсюду жизнь понемногу, со скрипом, налаживалась после войны. К Новому году опять ожидали снижения цен на продукты и промтовары, и хотя в магазинах было далеко не всего навалом, но все-таки год от года лучше…

Обычно Новому году боранлинцы не прида-

вали особого значения, не ждали с трепетом полуночи. Служба на разъезде шла невзирая ни на что, поезда двигались, ни на минуту не считаясь с тем, где и когда наступит Новый год в пути. Опять же зимой и по хозяйству дел прибавляется. Печи надо топить, за скотом больше присмотра и на выпасе и в загонах. Умается человек за день, и уж, кажется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше.

Так и шли годы один за другим…

А канун пятьдесят третьего года на Боранлы-Буранном был настоящим праздником. Праздник затеяла, конечно, семья Куттыбаевых. Едигей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Куттыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в сарозеках, легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионнолетние динозавровы яйца в сарозеках. В камень превратились те яйца, каждое яйцо величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в Алма-Ату. Об этом в газетах писали.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву ехать по морозу в Кумбель и там добиться в станционном месткоме, чтобы одну из пяти елок, прибывших

на такую большую станцию, все же отдали в Боранлы-Буранный. С этого все и пошло.

Едигей стоял как раз возле склада, получал у начальника разъезда новые рукавицы для работы, когда, морозно тормозя, остановился на первом пути закуржавелый со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь пломбированные четырехосные вагоны. С открытой площадки последнего вагона, с трудом переставляя окоченевшие ноги в смерзшихся сапогах, спустился на землю Абуталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд, в огромном тулупе, в наглухо завязанной меховой шапке, неуклюже теснясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. Елка, догадался Едигей и удивился очень.

— Эй, Едигей! Буранный! Поди сюда, помоги человеку! — окликнул его кондуктор, свешиваясь всей тушей со ступеней вагона.

Едигей поспешил и, когда подошел, перепугался за Абуталипа. Белый до бровей, весь в снежной пороше, закоченел Абуталип так, что губы не двигаются. Рукой шевельнуть не может. А рядом елка, это колючее деревце, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот свет.

— Что ж это люди у вас так ездят! — прохрипел недовольно кондуктор. — Душа вон отлетит на

ветрище сзади. Хотел тулуп свой скинуть, так сам застыну.

Едва совладав с губами, Абуталип извинился:

— Извините, так получилось. Я сейчас отогреюсь, тут рядом.

— Я ж ему говорил, — обращаясь к Едигею, бурчал кондуктор. — Я в тулупе, а под тулупом стеганая одежда, в валенках, в шапке, и то, пока сдам перегон, глаза на лоб лезут. Разве ж так можно!

Едигею было неловко:

— Хорошо, учтем, Трофим! Спасибо. Отправляйся, доброго тебе пути.

Он подхватил елку. Она была холодная, небольшая, в рост человека. Ощутил в хвое зимний лесной дух. Сердце екнуло — вспомнились фронтовые леса. Там такого ельника было видимо-невидимо. Танками валили, снарядами корчевали. А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого будет запах еловый вдохнуть.

— Пошли, — сказал Едигей и взглянул на Абуталипа, вскидывая елку на плечо.

На стянутом холодом, с застывшими слезами на щеках, сером лице Абуталипа сияли из-под белых бровей живые, радостные, торжествующие глаза. Едигею вдруг стало страшно: оценят ли дети его

отцовскую преданность? Ведь в жизни сплошь и рядом бывает, совсем наоборот. Вместо признательности — равнодушие, а то и ненависть. «Избави бог его от такого. Хватит ему и других горестей», — подумал Едигей.

Первым увидел елку старший из Куттыбаевых — Даул. Он радостно закричал и шмыгнул в двери барака. Оттуда выскочили без верхней одежды Зарипа и Эрмек.

— Елка, елка! Смотри, какая елка! — ликовал Даул, отчаянно прыгая вокруг.

Зарипа была обрадована не меньше:

— Ты все-таки достал ее! Как здорово!

А Эрмек, оказывается, никогда еще не видел елку. Он смотрел не отрываясь на ношу дяди Едигея.

— Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она будет жить у нас дома?

— Зарипа, — сказал Едигей, — из-за этой, как говорят русские, елки-палки ты могла получить замороженного мужа. Давай побыстрей отогревать его. Прежде всего, сапоги надо стянуть.

Сапоги примерзли. Абуталип морщился, стиснув зубы, стонал, когда все дружно пытались стащить их с ног. Детишки особенно усердствовали. То так, то эдак хватались они ручонками за

тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам.

— Ребята, не мешайтесь, ребята, дайте я сама! — отгоняла их мать.

Но Едигей счел необходимым сказать ей вполголоса:

— Не тронь их, Зарипа. Пусть, пусть потрудятся.

Он нутром своим понял, что для Абуталипа это высшее воздаяние — любовь, сопереживание детей. Значит, они уже люди, значит, они уже что-то смыслят. Особенно трогательно и потешно было смотреть на младшего. Эрмек почему-то называл отца папикой. И никто его не поправлял, поскольку то было его собственной «модификацией» одного из вечных и первоначальных слов на устах людей.

— Папика! Папика! — озабоченно суетился он, раскрасневшись от тщетных усилий. Его кудри распушились, глаза пылали желанием совершить нечто крайне необходимое, а сам он был так серьезен, что невольно хотелось расхохотаться.

Конечно, надо было сделать так, чтобы ребята достигли своей цели. Едигей нашел способ. Сапоги к тому времени начали оттаивать и их можно было сдернуть, не причиняя особой боли

Абуталипу.

— А ну, ребята, садись за мной. Будем как поезд — один другого тянуть. Даул, ты держись за меня, а ты, Эрмек, хватайся за Даула.

Абуталип понял замысел Едигея и одобрительно закивал, заулыбался сквозь слезы, навернувшиеся с холода в тепле.

Едигей сел напротив Абуталипа, за ним прицепились дети, и когда они приготовились, Едигей начал стаскивать сапог.

— А ну, ребята, посильней, подружней тяните! А то я один не смогу. Сил не хватит. Давай-давай, Даул, Эрмек! Посильней!

Ребята пыхтели позади, вовсю стараясь помочь. Зарипа была болельщицей. Едигей нарочно затруднял дело, и когда наконец первый сапог был снят, ребята победно закричали. Зарипа кинулась растирать мужу ступню шерстяным вязанием, но Едигей всех приостановил:

— А ну, ребята, а ну, мама! Вы что ж это? А второй сапог кто будет тянуть? Или так и оставим отца — одна нога босая, а другая в мерзлом сапоге? Хорошо будет?

И все расхохотались отчего-то. Долго смеялись, катались по полу. Особенно ребята и сам Абуталип.

И кто знает, так думал потом об этом Буранный Едигей, много раз пытаясь отгадать страшную загадку, кто знает, быть может, именно в этот момент где-то очень далеко от Боранлы-Буранного имя Абуталипа Куттыбаева вновь всплыло в бумагах и люди, получившие ту бумагу, решали на ее основании его судьбу, о чем никто не подозревал ни в этой семье, ни на разъезде.

Беда свалилась как снег на голову. Хотя, конечно, будь, скажем, Едигей поопытней в таких делах, похитрей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога закралась бы в душу.

А отчего было тревожиться? Всегда поближе к концу года приезжал на разъезд участковый ревизор. По графику объезжал он разъезд за разъездом, от станции к станции. Приедет, день-два побудет, проверит, как зарплата выдавалась, как материалы расходовались и всякое прочее, напишет акт ревизии вместе с начальником разъезда и еще с кем-нибудь из рабочих и уедет с попутным. Сколько там делов-то, на разъезде! Едигей, бывало, тоже расписывался в актах ревизии. В этот раз ревизор дня три пробыл в Боранлы-Буранном. Ночевал в дежурном домике, в главном помещении разъезда, где была связь да комнатушка начальника, именуемая кабинетом.

Начальник разъезда Абилов все бегал, чай носил ему в чайнике. Заглянул к ревизору и Едигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Едигей думал — может, кто из прежних, знакомых, но нет, этот был незнакомый. Краснощекий такой, редкозубый, в очках, седеющий. Странная прилипающая улыбочка мелькнула в его глазах.

А поздно вечером встретились. Едигей возвращался со смены, смотрит — ревизор прохаживается возле дежурки под фонарем. Воротник мерлушковый поднял, в мерлушковой папахе, в очках, курит задумчиво, хрустит подошвами сапог по песочку.

— Добрый вечер. Что, покурить вышли? Наработались? — посочувствовал ему Едигей.

Да, конечно, — ответил тот, полуулыбаясь. — Нелегко. — И опять полуулыбнулся.

— Ну, ясно, конечно, — промолвил для приличия Едигей.

— Завтра с утра уезжаю, — сообщил ревизор. — Подойдет семнадцатый, приостановится. И я поеду. — Он опять полуулыбнулся. Голос у него был приглушенный, какой-то вымученный. А глаза смотрели с прищуром, впивались в лицо. — Так вы и будете Едигей Жангельдин? — осведомился ревизор.

— Да, я самый.

— Я так и думал. — Ревизор уверенно дыхнул дымом сквозь редкие зубы. — Бывший фронтовик. На разъезде с сорок четвертого. Путейцы Буранным прозывают.

— Да, верно, — простодушно отвечал Цдигей. Ему было приятно, что тот так много знал о нем, но и удивился в то же время, как, зачем ревизор все это разузнал и запомнил.

— А у меня память хорошая, — полуулыбаясь, продолжал ревизор, видимо догадываясь, о чем думает Едигей. — Я ведь тоже пишу, как ваш Куттыбаев, — кивнул он, пуская струю дыма в сторону освещенного окна, в проеме которого виднелась склоненная, как всегда, над записями голова Абуталипа. — Третий день наблюдаю — все пишет и пишет. Понимаю. Сам пишу. Только я стихами занимаюсь. В деповской многотиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кружок литературный. Я им руковожу. И в областной газете помещался — на Восьмое марта однажды, на Первое мая в нынешнем году.

Они помолчали. Едигей уже собирался попрощаться и уйти, но ревизор снова заговорил:

— А он о Югославии пишет?

— Честно говоря, не знаю толком, — ответил

Едигей. — Кажется. Ведь он партизанил там много лет. Он для детей своих пишет.

— Слышал. Я тут порасспросил Абилова. Он и в плену побывал, выходит. Вроде и учительствовал какие-то годы. А теперь решил проявить себя с помощью пера, — скрипуче хихикнул он. — Но это не так просто, как кажется. Я тоже обдумываю крупную вещь. Фронт, тыл, труд будет. Да времени у нашего брата вовсе нет. Все по командировкам.

— Он тоже по ночам только. А днем работает, — вставил Едигей.

Они снова помолчали. И опять Едигей не успел уйти.

— Ну и пишет, ну и пишет, головы не поднимает, — все так же полуулыбаясь, осклабился ревизор, вглядываясь в силуэт Абуталипа у окна.

— Так надо же чем-то заниматься, — ответил ему на то Едигей. — Человек грамотный. Вокруг никого и ничего. Вот и пишет.

— Ага, тоже идея. Вокруг никого и ничего, — прищуриваясь, что-то соображая, пробормотал ревизор. — А ты себе волен, а вокруг никого и ничего, тоже идея… А ты себе волен…

На том они попрощались. И в следующие дни нет-нет да мелькала мысль не забыть рассказать

Абуталипу о том случайном разговоре с ревизором, да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось.

Дел было много к зиме. И, главное, Каранар пришел в великое движение. Вот морока, вот ведь где наказание хозяину! Как атанша[15] Каранар созрел два года назад. Но в те два года еще не так бурно проявлялись его страсти, еще можно было с ним сладить, припугнуть, подчинить строгому окрику. К тому же старый самец в боранлинском стаде — давнишний казангаповский верблюд — не давал ему еще развернуться. Бил его, грыз, отгонял от маток. Но степь-то широкая. С одного края отгонит, он с другого поспевает. И так целый день гонял его старый атан, а потом выбивался из сил. И тогда молодой да горячий атанша Каранар не мытьем, так катаньем достигал-таки своей цели.

Но в новый сезон, с наступлением зимних холодов, когда в крови верблюдов снова просыпался извечный зов природы, Каранар оказался верховным в боранлинском стаде. Достиг Каранар могущества, достиг сокрушающей силы. Запросто загнал старого казангаповского атана под обрыв

---

[15] Примечания: 15

Атанша — молоденький атан, молодой самец.

и в безлюдной степи избил, истоптал, изгрыз его до полусмерти, благо некому было разнять их. В этом неумолимом законе природа была последовательна — теперь настал черед Каранара оставлять по себе потомство.

На этой почве, однако, Казангап с Едигеем впервые поссорились. Не стерпел Казангап при виде жалкого зрелища — затоптанного атана своего под обрывом. Вернулся с выпасов мрачный и бросил Едигею:

— Что же ты допускаешь такое дело? Они скоты, но мы-то с тобой люди! Это же смертоубийство учинил твой Каранар. А ты его спокойно отпускаешь в степь!

— Не отпускал я его, Казаке. Сам он ушел. Как мне его держать прикажешь? На цепях? Так он цепи рвет. Сам знаешь, не случайно сказано исстари: «Кюш атасын танымайды»[16]. Пришла его пора.

— А ты и рад. Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать для шиша[17], но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стаде не успокоится.

---

[16] Примечания: 16
Сила отца не признает.

[17] Примечания: 17
Шишь — деревянная заноза, продеваемая в верхние губы верблюда.

Он пойдет по всем сарозекам биться. И никакого удержу ему не будет. Припомнишь тогда мои слова…

Не стал Едигей распалять Казангапа, уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно:

— Сам же ты его мне подарил сосунком, а теперь ругаешься. Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы управу на него найти.

Но обезображивать такого красавца, как Каранар, — прокалывать ему ноздри и продевать деревянный шишь — опять же рука не поднималась. И сколько раз потом действительно вспоминал он слова Казангапа и сколько раз, доведенный до бешенства, клялся, что не посмотрит ни на что, и все-таки не трогал верблюда. Подумывал одно время кастрировать и тоже не посмел, не пересилил себя. А годы шли, и всякий раз с наступлением зимних холодов начинались мытарства, поиски бушующего в гоне неистового Каранара…

С той зимы все и началось. Запомнилось. И пока усмирял Каранара да приспосабливал загон, чтобы накрепко запереть его, тут и Новый год подкатил. А Кут-тыбаевы как раз затеяли елку. Для всей боранлинской детворы большое

событие было. Укубала с дочерьми прямо-таки перебрались в барак Куттыбаевых. Весь день занимались приготовлениями и украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом заходил глянуть, как елка у Куттыбаевых. Все красивей, все нарядней становилась она, расцветала в лентах и игрушках разных самодельных. Тут уж женщинам надо отдать должное — Зарипа и Укубала постарались ради малышей, все свое мастерство приложили. И дело было, пожалуй, не столько в самой елке, сколько в новогодних надеждах, в общем для всех безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен.

Абуталип на этом не успокоился, вывел детвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вначале Едигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромная почти в человеческий рост снежная бабища, эдакое смешное чудище с черными глазами и черными бровями из углей, с красным носом и улыбающейся пастью, с облезлым лисьим казангаповским малахаем на голове встала перед разъездом, встречая поезда. В одной «руке» баба держала железнодорожный зеленый флажок — путь открыт, а в другой фанеру с по-

здравлением: «С новым, 1953 годом!» Здорово тогда получилось! Эта баба долго стояла еще и после 1 января…

31 декабря уходящего года весь день до самого вечера боранлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были заняты и взрослые, свободные от дежурств. Абуталип рассказывал с утра Едигею, как рано утром приползли к нему в постель ребята, сопят, возятся, а он прикинулся крепко спящим.

«— Вставай, вставай, папика! — Эрмек тормошит. — Скоро Дед Мороз приедет. Пойдем встречать.

— Хорошо, — говорю. — Вот сейчас встанем, умоемся, оденемся и пойдем. Обещал приехать.

— А каким поездом? — Это старший спрашивает.

— А любым, — говорю, — для Деда Мороза любой поезд остановится даже на нашем разъезде.

— Тогда надо вставать побыстрей!

Да, значит, собираемся торжественно, серьезно так.

— А как же мама? — спрашивает Даул. — Она ведь тоже хочет увидеть Деда Мороза?

— Конечно, — говорю, — а как же. Зовите и ее. Собрались и все вместе вышли из дома. Ребята

побежали вперед к дежурке. Мы за ними. Бегают ребята вокруг да около, а Деда Мороза нет.

— Папика, а где же он?

Глаза у Эрмека, знаешь, такие — хлоп-хлоп.

— Сейчас, — говорю, — не спешите. Узнаю у дежурного.

Вхожу в дежурку, я там с вечера припрятал записку от Деда Мороза и мешочек с подарками. Вышел, они ко мне:

— Ну что, папика?

— Да вот, — говорю, — оказывается, Дед Мороз оставил вам записку, вот она: «Дорогие мальчуганы — Даул и Эрмек! Я приехал на ваш знаменитый разъезд Боранлы-Буранный рано утром, в пять часов. Вы еще спали, было очень холодно. Да и сам я холодный, борода вся заиндевела у меня. А поезд остановился только на две минутки. Вот успел записку написать и оставить подарки. В мешочке всем ребятам разъезда от меня по одному яблоку и по два ореха. Не обижайтесь, дел у меня впереди много. Поеду к другим ребятам. Они меня тоже ждут. А к вам на следующий Новый год постараюсь приехать так, чтобы мы встретились. А пока до свидания. Ваш Дед Мороз, Аяз-ата». Постой-постой, а тут еще какая-то приписка. Очень торопливо, неразборчиво написано. Наверно,

уже поезд отходил. А, вот, разобрал: «Даул, не бей свою собачку. Я слышал, как однажды она громко заскулила, когда ты ударил ее калошей. Но потом я больше не слышал. Наверно, ты стал лучше к ней относиться. Вот и все. Еще раз ваш Аяз-ата». Постой-постой, тут еще что-то накорябано. А, понял: «Снежная баба у вас очень здорово получилась. Молодцы. Я поздоровался с ней за руку».

Ну, они, конечно, обрадовались. Записка Деда Мороза убедила их сразу. Никаких обид. Только начали спорить, кто понесет мешочек с подарками. Тут мать рассудила их:

— Сначала десять шагов понесет Даул, он старший. А потом десять шагов ты, Эрмек, ты младший…» Посмеялся от души и Едигей: «Надо же, будь я на их месте, тоже поверил бы».

Зато днем среди детворы самым популярным был дядя Едигей. Устроил он им катание на санях. У Казангапа водились сани давнишние. Запрягли казангаповского верблюда, смирного и хорошо идущего в нагрудном хомуте, Каранара нельзя было, конечно, допускать к таким делам. Запрягли и поехали всей гурьбой. То-то было шуму. Едигей был за кучера. Детишки липли, все хотели посидеть рядом с ним. И все просили: «Быстрей, быстрей поехали!» Абуталип и Зарипа то шли, то

бежали рядом, но на спусках присаживались на край саней. Отъехали от разъезда километра на два, развернулись на пригорке, назад со спуска покатили. Запыхался упряжной верблюд. Передохнуть требовалось.

Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, заснеженными сарозеками сколько хватало глаз и слуха лежала белая первозданная тишина. Вокруг, таинственно укрытая снегом, простиралась степь — грядами, холмами, равнинами, небо над сарозеками излучало матовый отсвет и кроткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху. А впереди по железной дороге шел длинный красноохряной состав и два черных паровоза, сцепленных цугом, тащили его, дыша в две трубы. Дым из труб зависал в воздухе медленно тающими, плывущими кольцами. Приближаясь к семафору, ведущий паровоз дал сигнал — длинный, могучий гудок. Дважды повторил, неся о себе весть. Поезд был сквозной, он прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, — мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко прилепившихся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг. И снова все стихло и замерло. Никакого движения. Лишь над крышами боранлинских домов вились сизые

печные дымки. Все замолчали. Даже разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту минуту. Зарипа промолвила негромко, только для мужа:

— Как хорошо и как страшно!

— Ты права, — также негромко отозвался Абуталип.

Едигей глянул на них искоса, не поворачивая головы. Они стояли, очень похожие друг на друга. Негромко, но внятно произнесенные слова Зарипы огорчили Едигея, хотя и не ему были предназначены. Он понял вдруг, с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог им помочь, ибо то, что ютилось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них.

Едигей понукнул упряжного верблюда. Стеганул бичом. И сани покатились назад к разъезду…

Вечером накануне новогодней ночи все боранлинцы собрались у Едигея и Укубалы — так порешили Едигей и У кубала еще несколько дней назад.

— Раз уж вновь прибывшие Куттыбаевы устроили елку для всей детворы, нам сам бог велел, — сказала Укубала, — не будем скупиться.

Едигей только обрадовался этому. Правда,

далеко не все смогли присутствовать — иные дежурили на линии, а другим дежурство предстояло с вечера. Поезда-то шли, не считаясь ни с праздниками, ни с буднями. Казангапу удалось посидеть только вначале. К девяти вечера он отправился на стрелку, да и Едигею по графику требовалось с шести часов утра 1 января быть на линии. Такова служба. И все-таки вечер получился на славу. Все были в приподнятом настроении и, хотя виделись по десять раз на дню, к встрече приоделись, ровно издалека прибывшие гости. Укубала отличилась — наготовила всякой снеди. Выпить тоже было что — водка, шампанское. А кто желал, тому зимний шубат был готов от проявовавших верблюдиц, и зимой их выдаивала неутомимая казангаповская Букей.

Но праздник стал праздником, когда после закусок и первых рюмок начали петь. Наступила такая минута, когда улеглись первые хлопоты хозяев, исчезла напряженность гостей и можно было не спеша, не отвлекаясь по мелочам, отдаться редкому душевному удовольствию — и пображничать и пообщаться с теми, кого каждый день видишь и хорошо знаешь, но и в них находишь новизну, потому что праздник имеет свойство преображать людей. Бывает, что и в дур-

ную сторону. Но не здесь, не среди боранлинцев. Жить в сарозеках да еще слыть неуживчивым или скандалистом… Едигей захмелел слегка. Однако ему это очень шло. Укубала без особой тревоги напомнила мужу:

— Не забудь, завтра в шесть утра на работу.

— Все ясно. Уку. Понял, — ответил он.

Сидя возле Укубалы, обнимая ее за шею, он тянул песню, правда иногда невпопад, но усердно, и тем создавал мощный шумовой эффект. Он пребывал в том отличном состоянии духа, когда ясность ума и восторженность чувств совмещаются без ущерба. За песней он умиленно вглядывался в лица гостей, одаряя всех веселой сердечной улыбкой, уверенный, что всем так же хорошо, как ему. И был он красив, тогда еще чернобровый и черноусый Буранный Едигей, с поблескивающими карими глазами и крепким рядом белых цельных зубов. И самое сильное воображение не помогло бы представить, каким он будет в старости. На всех хватало у него внимания. Похлопывая по плечу полнеющую добрую Букей, он называл ее боранлинской мамой, предлагал за нее тосты, в ее лице — за весь каракалпакский народ, пребывающий где-то на берегах Амударьи, и уговаривал ее не рас-

страиваться из-за того, что Казангапу пришлось покинуть стол ради работы.

— Он мне и так надоел! — задорно отвечала Букей.

Свою Укубалу Едигей называл в тот вечер только полным, расшифрованным именем: Уку баласы — дитя совы, совенок. Для каждого находилось у него доброе, задушевное слово, в том тесном кругу все были для него родными братьями и сестрами, вплоть до начальника разъезда Абилова, тяготящегося службой мелкого путейного работника в сарозеках, и его бледной беременной жены Сакен, которой предстояло в скором времени отправиться в станционный роддом в Кумбеле. Едигей искренне верил, что все обстоит именно так, что его окружают нерасторжимо близкие люди, да и как могло быть иначе, стоило среди песни на миг зажмурить глаза — и представлялась огромная заснеженная пустыня сарозеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за Абуталипа и Зарипу. Эта пара стоила того. Зарипа и пела и играла на мандолине, быстро подбирая мотивы сменяющих одна другую песен. Голос у нее был звонкий, чистый, Абуталип вел с грудной приглушенной протяжностью, пели задушевно,

слаженно, особенно песни на татарский лад, их они пели алмак-салмак — взаимоотвечая друг другу. Песню вели они, а остальные им подпевали. Уже многое перебрали из старинных и новых песен и не уставали, а наоборот, распевались все азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив Зарипы и Абуталипа, Едигей не отрываясь смотрел на них и умилялся — такими они и должны были бы быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им продыху. В страшный летний зной Зарипа ходила иссушенная, как обгорелое при пожаре деревце, с пожухлыми до корней бурыми волосами и полопавшимися в кровь черными губами, сейчас же она была неузнаваема. Черноглазая, с сияющим взором, открытым, по-азиатски гладким, чистым лицом, сегодня она была прекрасна. Ее настроение лучше всего передавали четкие подвижные брови, которые пели вместе с ней, то вскидываясь, то хмурясь, то разбегаясь в полете давно возникших песен. С особым чувством выделяя значение каждого слова, вторил ей Абуталип, раскачиваясь из стороны в сторону:

…Как след подпружный на боку иноходца,

Дни ушедшей любви не сотрутся из памяти…

А руки Зарипы, перебирая струны мандолины, заставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу, в новогоднюю ночь. Плыла Зарипа в песне, и чудилось Едигею, что была она где-то далеко, бежала, дыша легко и свободно, по снегам саро-зеков в этой своей сиреневой вязаной кофточке с белым отложным воротничком, со звенящей мандолиной, и тьма расступалась вокруг и, удаляясь, она исчезала в тумане, только слышна была мандолина, но вспомнив, что и на боранлинском разъезде есть люди, что им будет худо без нее, возвращалась Зарипа и снова возникала поющей за столом…

Потом Абуталип показывал, как они танцевали в партизанах, положив руки друг другу на плечи и перебирая в такт ногами. Зарипа подыгрывала, а Абуталип пел задорную сербскую песенку, и все они танцевали в кругу, положив руки на плечи друг другу и покрикивая: «Опля, опля…»

Потом еще пели и еще выпили, чокнулись, поздравляли с Новым годом, кто-то уходил, кто-то приходил… Начальник разъезда и его беременная жена ушли еще до танцев.

Зарипа вышла подышать, следом и Абуталип.

Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарипа и Абуталип долго не возвращались. Едигей решил пойти за ними, без них не тот получался праздник. Его окрикнула Укубала:

— Оденься, Едигей, куда ты так, простынешь!

— Я сейчас. — Едигей вышел за порог в холодную ясность полуночи. — Абуталип, Зарипа! — позвал он, оглядываясь по сторонам.

Никто не откликнулся. За домом услышал голоса. *И* остановился в нерешительности, не зная, как поступить: то ли уйти, то ли, наоборот, подойти к ним и увести домой. Что-то происходило между ними.

— Я не хотела, чтобы ты видел, — всхлипывала Зарипа. — Прости. Просто мне стало тяжко. Прости, пожалуйста.

— Я понимаю, — успокаивал ее Абуталип. — Я все понимаю. Но дело ведь не во мне, что я именно такой. Если бы это касалось только меня. Боже мой, одной жизнью больше, другой меньше. Можно было бы и не цепляться так отчаянно. — Они помолчали, и потом он сказал. — Дети наши избавятся… И на это вся надежда…

Недопонимая, в чем дело, Едигей осторожно отступил, передергивая плечами от холода, и

неслышно вернулся. Когда он вошел в дом, ему показалось, что все потускнело и праздник исчерпался. Новый год Новым годом, но пора и честь знать.

5 января 1953 года в десять часов утра на разъезде Боранлы-Буранный сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты, и он мог, как всегда, проследовать без задержки. Поезд простоял всего полторы минуты. Этого было, видимо, вполне достаточно. Трое — все в черных хромовых сапогах одинакового фасона — сошли с подножки одного из вагонов и направились прямо в дежурное помещение. Шли молча и уверенно, не оглядываясь по сторонам, лишь на секунду задержались возле снежной бабы. Молча посмотрели на надпись на куске фанеры, приветствующую их, да глянули на дурацкий малахай, старый, облезлый казангаповский малахай, напяленный на голову бабы. И с тем прошли в дежурку.

Через некоторое время из дверей выскочил начальник разъезда Абилов. Чуть было не столкнулся со снежной бабой. Выругался и поспешно пошел дальше, почти побежал, чего с ним никогда не бывало. Минут через десять, запыхавшись, он уже возвращался назад, ведя с собой Абута-

липа Куттыбаева, которого срочно разыскал на работе. Абуталип был бледен, шапку держал в руке. Вместе с Абиловым он вошел в дежурное помещение. Однако очень скоро вышел оттуда в сопровождении двух приезжих в хромовых сапогах, и все они направились в барак, где жили Куттыбаевы. Оттуда они вскоре вернулись, опять же неотступно сопровождая Абуталипа, неся какие-то бумаги, взятые в его доме.

Потом все стихло. Никто не выходил и не входил в дежурное помещение.

Едигей узнал о случившемся от Укубалы. Она добежала по поручению Абилова на четвертый километр, где проводились в тот день ремонтные работы. Отозвала Едигея в сторону:

— Абуталипа допрашивают.

— Кто допрашивает?

— Не знаю. Какие-то приезжие. Абилов велел передать, что если не будут допытываться, то не говорить, что на Новый год были вместе с Абуталипом и Зариной.

— А что тут такого?

— Не знаю. Он так просил сказать тебе. И велел тебе к двум часам быть на месте. У тебя тоже хотят что-то спросить, узнать насчет Абуталипа.

— А что узнавать?

— Откуда я знаю. Пришел перепуганный Абилов и говорит — так и так. А я к тебе.

К двум часам и без того ходил Едигей домой обедать. По пути да и дома все пытался взять в толк, что случилось. Ответа не находил. Разве что за прошлое, за плен? Так давно уже проверили. А что еще? Тревожно, плохо стало на душе. Хлебнул две ложки лапши и отставил в сторону. Посмотрел на часы. Без пяти два. Раз велели в два, значит, в два. Вышел из дома. Возле дежурки прохаживался взад-вперед Абилов. Жалкий, смятый, подавленный.

— Что случилось?

— Беда, беда, Едике, — заговорил Абилов, робко поглядывая на дверь. Губы у него мелко дрожали. — Куттыбаева засадили.

— А за что?

— Какие-то запрещенные писания нашли у него. Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. И вот дописался.

— Так это он для детей своих.

— Не знаю, не знаю для кого. Я ничего не знаю. Иди, тебя ждут.

В комнатушке начальника разъезда, именуемой кабинетом, его ждал человек примерно одного возраста с ним или помоложе немного,

лет тридцати, плотный, большеголовый, подстриженный ежиком. Мясистый, ноздрястый нос припотевал от напряжения мысли, он что-то читал. Он вытер нос платком, хмуря тяжелый высокий лоб. И потом на протяжении всего их разговора он то и дело обтирал постоянно припотевавший нос. Он достал из лежащей на столе пачки «Казбека» длинную папиросину, покрутил ее, закурил и, вскинув на Едигея, стоявшего в дверях, ясные, как у кречета, желтоватые глаза, сказал коротко:

— Садись.

Едигей сел на табурет перед столом.

— Что ж, чтоб не было никаких сомнений, — произнес кречетоглазый, достал из нагрудного кармана гражданского кителя какую-то коричневую корочку, распахнул ее и тут же убрал, буркнув при этом что-то, то ли «Тансыкбаев», то ли «Тысыкбаев», Едигей так и не запомнил толком его фамилию.

— Понятно? — спросил кречетоглазый.

— Понятно, — вынужден был ответить Едигей.

— Ну, в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучший друг-товарищ Куттыбаева?

— Может быть, и так, а что?

— Может быть, и так, — повторил кречетогла-

зый, затягиваясь казбечиной и как бы уясняя услышанное. — Может быть, и так. Допустим. Ясно. — И бросил вдруг с неожиданной усмешкой, с радостным, предвкушаемым удовольствием, вспыхнувшим в его четких, как стекло, глазах: — Ну что, друг любезный, пописываем?

— Что пописываем? — смутился Едигей.

— Это я хочу узнать.

— Я не понимаю, о чем речь.

— Неужто? А? Ну-ка подумай!

— Не понимаю, о чем речь.

— А что пишет Куттыбаев?

— Не знаю.

— Как не знаешь? Все знают, а ты не знаешь?

— Знаю, что он что-то пишет. А что именно, откуда мне знать. Какое мне дело? Охота человеку писать — пусть себе пишет. Кому какое дело?

— То есть как кому какое дело? — удивленно встрепенулся кречетоглазый, устремляя в него пронзительные, как пули, зрачки. — Значит, кто что хочет, то пусть и пишет? Это он тебя убедил?

— Ничего он меня не убеждал.

Но кречетоглазый не обратил внимания на его ответ. Он был возмущен:

— Вот она, вражеская агитация! А ты подумал, что будет, если любой и каждый начнет зани-

маться писаниной? Ты подумал, что будет? А потом любой и каждый начнет высказывать что ему в голову взбредет! Так, что ли? Откуда у тебя эти чуждые идеи? Нет, дорогой, такого мы не допустим. Такая контрреволюция не пройдет!

Едигей молчал, подавленный и удрученный обрушенными на него словами. И очень удивился, что ничего вокруг не изменилось. Как будто бы ничего не происходило. Видел через окно, как прошел, мелькая, ташкентский поезд, и представил себе на секунду: едут люди в вагонах по своим делам и нуждам, пьют чай или водку, ведут свои разговоры и никому нет дела, что в это время на разъезде Боранлы-Буранный сидит он перед невесть откуда свалившимся на голову кречетоглазым; и до саднящей боли в груди хотелось ему выскочить из дежурки, догнать уходящий поезд и уехать на нем хоть на край света, только бы не находиться сейчас здесь.

— Ну что? Доходит до тебя суть вопроса? — продолжал кречетоглазый.

— Доходит, доходит, — ответил Едигей. — Только одно я хочу узнать. Ведь это он для детей своих хотел воспоминания описать. Как, что было с ним, скажем, на фронте, в плену, в партизанах. Что тут плохого?

— Для детей — воскликнул тот. — Да кто этому поверит! Кто пишет для детей своих, которым без году неделя! Сказки! Вот как действует опытный враг! Упрятался в глуши, где никого и ничего вокруг, где никто за ним не следит, а сам принялся пописывать свои воспоминания!

— Ну, захотелось так человеку, — возразил Едигей. — Захотелось ему, наверное, свое личное слово сказать, что-то от себя, какие-то мысли от себя, чтобы они, дети его, почитали, когда вырастут.

— Какое еще личное слово! Это еще что такое? — укоризненно качая головой, вздохнул кречетоглазый. — Какие еще мысли от себя, что значит личное слово? Личное воззрение, так, что ли? Особое, личное мнение, что ли? Не должно быть никакого такого личного слова. Все, что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано пером, того не вырубить топором. Каждый еще будет мысли от себя высказывать. Очень жирно будет. Вот они, его так называемые «Партизанские тетради», вот в подзаголовке — «Дни и ночи в Югославии», вот они! — Он бросил на стол три толстые общие тетради в клеенчатых переплетах. — Безобразие! А ты тут пытаешься выгородить своего приятеля. А мы его изобли-

чили!

— В чем вы его изобличили?

Кречетоглазый дернулся на стуле и опять бросил с неожиданной усмешкой, с предвкушением удовольствия и злорадства, не мигая и не сводя ясных прозрачных глаз:

— Ну это позволь уж нам знать, в чем мы его изобличили. — Смакуя каждое слово, произнес, упиваясь произведенным эффектом: — Это наше дело. Докладывать каждому не стану.

— Ну что ж, если так, — растерянно промолвил Едигей.

— Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром, — заметил кречетоглазый и принялся что-то быстро писать, приговаривая: — Я думал, что ты поумней, что ты наш человек. Передовой рабочий. Бывший фронтовик. Поможешь нам разоблачить врага.

Едигей нахохлился и сказал негромко, но внятно, тоном, не оставляющим сомнений:

— Я ничего подписывать не буду. Это я вам сразу говорю.

Кречетоглазый вскинул уничтожающий взгляд.

— А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если ты не подпишешь, то делу пшик? Ошиба-

ешься. У нас достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к суровой ответственности и без твоей подписи.

Едигей умолк, чувствуя униженность, жгучую опустошенность. Одновременно росло, как волна на Аральском море, возмущение, негодование, несогласие с происходящим. Ему вдруг захотелось придушить этого кречетоглазого, как бешеную собаку, и он знал, что смог бы это сделать. Уж какая жилистая и крепкая была шея у того фашиста, которого ему пришлось удавить собственными руками. Другого выхода, не было. Они столкнулись с ним неожиданно лицом к. лицу в траншее, когда выбивали с позиции оборону противника. Зашли с фланга, забрасывая траншею гранатами и простреливая проходы очередями автоматов, и уже очистили линию и устремились с боем дальше, когда Вдруг сшиблись с ним в упор. Видимо, то был пулеметчик, до последнего простреливший свой створ перед окопом. Лучше было взять его в плен. Эта мысль мелькнула в сознании Едигея. Но тот успел занести нож над головой. Едигей боднул его каской в лицо, и они повалились. И уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в горло. А тот изворачивался, хрипел, скреб пальцами по сторонам, пытаясь нашарить

выбитый из рук нож. И каждое мгновение Едигей ожидал, что вонзится нож ему в спину, и поэтому с неослабевающим нечеловеческим, звериным усилием сжимал, стискивал, рыча, хрящастую шею оскалившегося, почерневшего врага. И когда тот задохнулся и резко запахло мочой, он разжал сцепившиеся в судороге пальцы. Его вырвало тут же, и, обливаясь собственной блевотиной, он пополз подальше со стоном и мутью в глазах. Об этом он никому не рассказал ни тогда, ни после. Кошмар этот снился иногда ему, и на другой день он не находил себе места, жить не хотелось… Об этом вспомнил Едигей сейчас с содроганием и омерзением. Однако он сознавал, что кречетоглазый берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело за живое. Пока тот писал, Едигей пытался найти слабину в доводах кречетоглазого. Из сказанного кречетоглазым одна мысль поразила Едигея каким-то дьявольским несоответствием: как это можно обвинять кого-либо во «враждебных воспоминаниях»? Разве могут быть воспоминания человека враждебными или невраждебными, ведь воспоминания — это то, что было когда-то в прошлом, чего уже нет.

— Я хочу узнать, — промолвил Едигей, чувствуя, как пересыхает в горле от волнения. Но он

заставил себя произнести эти слова очень даже спокойно. — Вот ты говоришь… — Он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едигею нечего лебезить и бояться, дальше сарозеков деться некуда. — Вот ты говоришь, — повторил он, — враждебные воспоминания. Как это понимать? Разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными? По-моему, человек вспоминает то, что было и как было когда-то и чего уже нет давно. Или, выходит, если хорошее — вспоминай, а если плохое, непригожее — не вспоминай, забудь? Такого вроде никогда и не было.

— Вот ты какой! Хм, черт возьми! — подивился кречетоглазый. — Порассуждать любишь, поспорить захотел. Ты тут никак местный философ. Что ж, давай. — Он сделал паузу. И как бы примерился, изготовился и изрек: — В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было! Важно вспомнить, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать. А если не придерживаешься этого, значит, вступаешь во враждебное действие.

— Я не согласен, — сказал Едигей. — Такого не

может быть.

— А никто и не нуждается в твоем согласии. Это ведь к слову. Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте своей. А вообще-то я не обязан вступать с тобой в такие разговоры. Ну хорошо, давай перейдем от слов к делу. Скажи мне, когда-нибудь Куттыбаев, ну, скажем, в откровенной беседе, за выпивкой допустим, не называл тебе какие-нибудь английские имена?

— А зачем это? — искренне изумился Едигей.

— А вот зачем. — Кречетоглазый открыл одну из «Партизанских тетрадей» Абуталипа и зачитал подчеркнутое красным карандашом место: «27 сентября к нам в расположение прибыла английская миссия — полковник и два майора. Мы прошлись перед ними парадным маршем. Они нас приветствовали. Потом был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и нас, нескольких человек иностранных партизан среди югославов. Когда меня познакомили с полковником, он очень любезно пожал мне руку и все расспрашивал через переводчика, откуда я и как сюда попал. Я коротко рассказал. Мне налили вина, и я тоже выпил вместе с ними. И потом еще долго разговаривали. Мне понравилось, что англичане простые, откровенные люди. Полковник

сказал, что великое счастье, или, как он выразился, провидение, помогло нам в том, что мы все в Европе объединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелей, а возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов» — и так далее. — Закончив цитировать, кречетоглазый отложил тетрадь в сторону. Закурил еще одну казбечину и, помолчав, попыхивая дымком, продолжал: — Выходит, Куттыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни крутились там, в Европе, в партизанах или еще как угодно. Значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал! Это до тебя доходит?

— А может быть, он говорил об этом, — Едигей пытался защитить Абуталипа, — да просто забыл написать.

— А где об этом сказано? Не докажешь! Больше того, мы сверились с показаниями Куттыбаева в сорок пятом году, когда он проходил контрольную комиссию по возвращении из югославского партизанского соединения. Там случай с английской миссией не упоминался. Значит, здесь что-то нечисто. Кто может поручиться, что он не был связан с английской разведкой!

Опять Едигею стало тяжко и больно. Не понимал он, что тут к чему и куда клонит кречетоглазый.

— Куттыбаев тебе что-нибудь не говорил, подумай, не называл имен английских? Нам важно знать, кто были эти, из английской миссии.

— А какие имена у них бывают?

— Ну, например, Джон, Кларк, Смит, Джек…

— Сроду такие не слыхал.

Кречетоглазый задумался, помрачнел, не все, должно быть, устраивало его во встрече с Едигеем. Потом он сказал несколько вкрадчиво:

— Он что тут, школу какую-то открывал, детей учил?

— Да какая там школа! — невольно рассмеялся Едигей. — Двое у него детишек. И у меня две девочки. Вот и вся школа. Старшим по пять лет, младшим по три. Детям некуда у нас деваться, кругом пустыня. Занимают они детишек, воспитывают, значит. Все-таки бывшие учителя — и он и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат что-то писать, считать. Вот и вся школа.

— Какие песенки они пели?

— Да всякие. Детские. Я и не помню.

— А чему он их учил? Что они писали?

— Буквы. Слова какие-то обычные.

— Какие, например, слова?

— Ну какие! Я не помню.

— Вот эти! — Кречетоглазый нашел среди бумаг листочки из ученических тетрадей с детскими каракулями. — Вот это первые слова. — На листочке было написано детской рукой: «Наш дом». — Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок, — «наш дом». А почему не «наша победа»? Ведь первым словом должно быть на устах сейчас, ну-ка, подумай, что? Должна быть — «наша победа». Не так ли? А ему почему-то в голову это не приходит? Победа и Сталин неразделимы.

Едигей замялся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим и так жалко стало ему Абуталипа и Зарипу, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился:

— Если уж так, то надо бы первым долгом писать «наш Ленин». Все-таки Ленин на первом месте стоит.

Кречетоглазый задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой комнатушке.

— Мы говорим — Сталин, подразумеваем — Ле-

нин! — произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно: — Хорошо, будем считать, что этого разговора между нами не было.

Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как у кречета, глаза с желтоватым оттенком.

— У нас есть сведения, что Куттыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при тебе, оказывается, было дело?

— Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения? — поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка: Абилов, начальник разъезда, во всем повинен, это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии.

Вопрос Едигея не на шутку разозлил кречетоглазого.

— Слушай, я уже давал тебе понять: откуда сведения, какие сведения — это наша забота. И мы ни перед кем не отчитываемся. Запомни. Выкладывай, что он говорил?

— Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа, сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает, бывает. А тут на пер-

вое сентября стал Сабитжана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться, — беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына, и в отдалении он постоянно…

— Ну хорошо, — перебил его кречетоглазый. — А что сказал Куттыбаев при этом?

— Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чует неладное. Потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат вроде бы отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери. Что это, в общем, очень трудный вопрос. Для всех трудный — и для него и для других. Но что поделаешь, раз нет возможностей других. Я его понимаю. У нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болит, как оно будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно…

— Это потом, — остановил его кречетоглазый. — Значит, он говорил, что советский интернат — это плохо?

— Он не говорил «советский». Он просто гово-

рил — интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю «плохо».

— Ну, это не важно. Кумбель в Советском Союзе.

— Как не важно! — вышел из себя Едигей, чувствуя, как тот запутывает его. — Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде, ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так, и я так думаю. Что ж, выходит?..

— Думай, думай! — проговорил кречетоглазый, приостанавливая разговор. И, помолчав, продолжал: — Та-ак, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?

— Ничего он не против! — не утерпел Едигей. — Зачем напраслину возводить! Как так можно?

— Не надо, не надо, прекрати, — отмахнулся кречетоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснения. — А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Доненбай»? Куттыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. Так ли это?

— Так точно, — оживился Едигей. — Это тут, в сарозеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище найманское стоит,

когда-то оно было найманское, а теперь общее, называется Ана-Бейит, там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, манкуртом…

— Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей, — сказал кречетоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение: — Птица Доненбай, хм, ничего лучшего и не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Доненбай, хм. Думает, не разберемся… Писаниной тут занялся втихомолку, для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? — Кречетоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке.

— А что это? — не понял Едигей.

— Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлена: «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».

— Ну верно, это тоже легенда, — начал Едигей. — Это быль. Старые люди знают эту историю…

— Не беспокойся, я тоже знаю, — перебил его кречетоглазый. — Слышал краем уха. Старый, выживший из ума старик влюбляется в молодую, девятнадцатилетнюю девицу. Что ж тут хоро-

шего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип, он еще и морально извращенный человек, выходит. Ишь как старался, подробно записал весь этот маразм.

Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполнилась его душа, ибо большей несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя:

— Ты вот что, не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай бог каждому быть таким отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем друг друга.

— Ладно, ладно, успокойся, — ответил кречетоглазый. — Затуманил он вам тут мозги. Враг всегда прикидывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным.

Едигей встал. Замялся, надевая шапку.

— Так что, как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?

Кречетоглазый резко привстал из-за стола.

— Слушай, я тебе еще раз повторяю: это не твое дело! За что преследовать врага, как с ним обходиться, к какому наказанию привлечь его — это мы знаем! Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!

В тот же день поздно вечером на разъезде Боранлы-Буранный еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже стоял недолго. Минуты три.

Ожидая впотьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева, в стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли боранлинцы — Зарипа с детишками, Едигей и Укубала да начальник разъезда Абилов, все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спокойно. А Казангап, тоже прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от сарозеков. Букей осталась дома с едигеевскими девочками.

Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Боранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали.

Ветер мел. Он гнал поземку с шорохом и едва различимым посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылая мгла в непроглядных сарозекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым, одиноким пятном. Мороз жег щеки.

Зарипа неслышно плакала, держа в руках узелок с едой и одеждой, который она собиралась передать мужу. Клубы пара изо рта выдавали тяжелые вздохи Укубалы. Она прятала в подол шубы Даула. Даул, видимо, что-то почувствовал, он тревожно молчал, прижавшись к тете Укубале. Но тяжелее всех приходилось с Эрмеком, которого, заслоняя собой от ветра, держал на руках Едигей. Этот малыш ничего не подозревал.

— Папика, папика! — звал он отца. — Иди сюда, к нам. Мы тоже поедем с тобой!

Абуталип вздрагивал при его голосе, невольно порывался обернуться и что-то ответить ребенку, но ему не позволяли оглядываться. Один из троих не выдержал:

— Не стойте здесь! Слышите? Идите отсюда, потом подойдете.

Пришлось отступить подальше.

Но вот показались издали огни паровоза, и все зашевелились, задвигались на месте. Зарипа

не удержалась, всхлипнула громче. И вместе с ней заплакала Укубала. Поезд нес с собой разлуку. Пробивая лобовым светом толщу морозной летучей мглы в воздухе, он грозно надвигался, вырастая из клубов тумана темной грохочущей массой. С его приближением все выше над землей поднимались пылающие фары паровоза, все различимей крутилась в полосе света мятущаяся поземка между рельсами, все слышней и тревожней доносился натруженный шум кривошипов и поршней. Вот уже видны стали очертания поезда.

— Папика, папика! Смотри, поезд идет! — кричал Эрмек и замолкал, удивленный тем, что отец не откликается. И снова пытался обратить его внимание: — Папика, папика!

Суетившийся возле начальник разъезда Абилов подошел к тем троим:

— Почтовый вагон будет в голове состава. Прошу, пройдите, пожалуйста, вперед. Вот туда.

Все двинулись в указанную им сторону довольно быстрым шагом, поезд уже нагонял. Впереди не оглядываясь шел кречетоглазый с портфелем, за ним, сопровождая Абуталипа, двое его широкоплечих помощников и на некотором расстоянии от них поспешали следом Зарипа, за ней Укуба-

ла, ведя за руку Даула. Едигей шел сбоку и чуть позади с Эрмеком на руках. Он не мог позволить себе разрыдаться при женщинах и детях. И пока они шли, боролся с собой, пытался совладать с тяжелым, застрявшим в горле комком.

— Ты умный мальчик, Эрмек. Ты умный, да? Ты умный, ты не будешь плакать, хорошо? — бессвязно бормотал он, прижимая к себе малыша.

А поезд тем временем, замедляя ход, подкатывал к остановке. Мальчик на руках Едигея испуганно вздрогнул, когда паровоз, ровняясь с ними и еще продвигаясь несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раздался пронзительный свисток кондуктора.

— Не бойся, не бойся, — сказал Едигей. — Ничего не бойся, когда я с тобой. Я всегда буду с тобой.

Поезд остановился с долгим, тяжким скрежетом, закуржавелые от изморози и снежной пыли, подслеповатые от наледи на стеклах вагоны застыли на месте. И стало тихо. Но паровоз тут же с шипением спустил пар, готовясь снова тронуться в путь. Почтовый вагон был следующим после багажного от паровоза. Окна почтового вагона были зарешечены, а двустворчатые двери располагались посередине. Двери открылись изнутри. Выглянули мужчина и женщина в фор-

менных почтовых фуражках, в ватных штанах и телогрейках. Женщина с фонарем была, видимо, старшей. Она была грузная и широкогрудая.

— Это вы? — сказала она, держа фонарь у головы так, чтобы всех осветить. — Ждем вас. Место готово.

Первым поднялся кречетоглазый с большим портфелем.

— Ну давайте, давайте, не задерживайте! — заторопили сразу те двое.

— Я скоро вернусь! Это какое-то недоразумение! — торопливо говорил Абуталип. — Скоро вернусь, ждите!

Укубала не вытерпела. Громко зарыдала, когда Абуталип стал прощаться с детьми. Он их изо всех сил прижимал к себе, целовал и что-то говорил им, испуганным и ничего не понимающим. А паровоз был уже под парами. Все это происходило при свете ручного фонаря. И тут раздался опять бегущий вдоль состава, как электричество, пронзительный, леденящий душу свисток.

— Ну все, давай-давай, садись! — потащили те двое Абуталипа к ступеням вагона.

Едигей и Абуталип успели напоследок крепко обняться и замерли на секунду, понимая все умом, сердцем, всем существом своим, прижимаясь

друг к другу мокрыми щетинистыми щеками.

— Рассказывай им про море! — шепнул Абуталип.

То были его последние слова. Едигей понял. Отец просил рассказывать сыновьям про Аральское море.

— Ну хватит тут, давай, а ну давай, садись давай! — растолкали их.

Подпирая сзади плечами, те двое втолкнули Абуталипа в вагон. И тут только дошла до ребят страшная суть расставания. Они разом заплакали в голос, разом крича:

— Папика! Папа! Папика! Папа!

И рванулся Едигей с Эрмеком на руках к вагону.

— Ты куда? Ты куда? Бог с тобой! — яростно отталкивала его в грудь женщина с фонарем, заслоняя тяжелыми плечами проход к дверям.

Но никто не понимал в ту минуту, что Едигей готов был, если бы на то пошло, сам уехать вместо Абуталипа, чтобы по дороге придушить кречетоглазого собственными руками, так стало ему невыносимо больно, когда закричали ребята.

— Не стойте здесь! Уходите отсюда, уходите! — орала женщина с фонарем. И пар из ее крепко прокуренного рта ударил луковым духом в лицо

Едигея.

Зарипа вспомнила, что узелок оставался у нее в руках.

— Нате, передайте, это еда! — кинула она узелок в вагон.

И двери почтового вагона захлопнулись. Все смолкло. Паровоз дал сигнал и тронулся с места. Он пошел, скрипуче раскручивая колеса, медленно набирая ход по морозу.

Боранлинцы невольно потянулись за отходящим поездом, идя рядом с наглухо закрытым вагоном. Первой опомнилась Укубала. Она схватила Зарипу, прижала ее к груди и не отпускала.

— Даул, не уходи! Стой, стой здесь! Держи маму за руку! — громко велела она, пересиливая стук все убыстряющихся, пробегающих мимо колес.

А Едигей с Эрмеком на руках еще пробежал по ходу поезда, и лишь когда промелькнул последний вагон, остановился. Поезд ушел, унося с собой утихающий шум движения и рдеющие угасающие огни… Послышался последний протяжный гудок…

Едигей повернул назад. И долго не мог успокоить плачущего мальчика…

Уже дома, сидя как оглушенный у печи, он вспомнил среди ночи об Абилове. Едигей тихо

поднялся, стал одеваться. Укубала сразу догадалась.

— Ты куда? — схватила она мужа. — Не тронь его, пальцем даже, не смей трогать! У него жена беременная. Да и не имеешь права. Как докажешь?

— Не беспокойся, — спокойно ответил Едигей. — Я его не трону, но он должен знать, что ему лучше перебираться в другое место. Я тебе обещаю — даже волоска не упадет с его головы. Поверь мне! — Он выдернул руку и вышел из дома.

Окна Абиловых еще светились. Значит, не спали.

Жестко скрипя снегом по тропинке, Едигей подошел к холодным дверям и громко постучал. Дверь открыл Абилов.

— А, Едике, заходи, заходи, — испуганно проговорил он и, бледнея, попятился назад.

Едигей молча вошел вместе с клубами морозного пара. Остановился на пороге, прикрыл за собой дверь.

— Ты зачем осиротил этих несчастных? — сказал он, стараясь быть как можно сдержанней.

Абилов упал на колени и буквально пополз, хватаясь за полы Едигеева полушубка.

— Ей-богу, не я, Едике! Вот чтобы жене моей не разродиться, — страшно поклялся он, оборачиваясь к замершей в страхе беременной жене, и заговорил, торопясь и сбиваясь: — Ей-богу, не я, Едике. Как я мог! Это тот самый ревизор! Вспомни. Это он все допытывался да расспрашивал, что, мол, он пишет и зачем пишет. Это он, тот ревизор. Как я мог! Вот чтобы ей не разродиться! Да я давеча у поезда не знал, куда себя деть, готов был провалиться, чтобы не видеть! Этот ревизор все в душу лез с разговорами и все расспрашивал обо всем, откуда мне было знать… Да если бы я знал…

— Ну ладно, — прервал его Едигей. — Встань, поговорим как люди. Вот при жене твоей. Пусть благополучно разрешится. Не об этом сейчас речь. Даже если ты и не виноват. Но ведь тебе все равно где быть. А нам здесь оставаться, может, до самой смерти. Так ты подумай. Наверно, стоит тебе со временем перебраться на другую работу. Это мой совет. Вот и все. И больше к этому разговору не вернемся. Только это и хотел сказать и больше ничего…

С тем Едигей вышел, закрыв за собой дверь.

9

На Тихом океане, южнее Алеутов было далеко за полдень. Все так же штормило вполсилы, все так же по всему видимому пространству катились вскипающими грядами волны одна вслед за другой, являя собой необозримое движение водной стихии от горизонта к горизонту. Авианосец «Конвенция» слегка покачивался на волнах. Он находился на прежнем месте, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком. Все службы судна международной научной программы находились в напряжении, в полной готовности к действиям.

К этому времени на борту авианосца завершалось экстренное заседание особоуполномоченных комиссий по расследованию чрезвычайного положения, возникшего в результате открытия внеземной цивилизации в системе светила Держатель. Самовольно отбывшие вместе с инопланетянами паритет-космонавты 2–1 и 1–2 все еще находились на планете Лесная Грудь, трижды предубежденные Общенупром через радиосвязь орбитальной станции «Паритет» — ни в коем

случае не предпринимать никаких действий вплоть до особых указаний Общенупра.

Эти категорические требования Общенупра отражали в действительности не только смятение умов, но и ту исключительно сложную, неудержимо обостряющуюся ситуацию, тот накал разногласий в отношениях сторон, которые грозили полным разрывом сотрудничества и более того — открытой конфронтацией. То, что недавно сближало стороны в интересах интегрированной научно-технической мощи ведущих держав, — программа «Демиург» сама собой отошла на второй план и сразу утратила свое былое значение перед лицом суперпроблемы, неожиданно возникшей с обнаружением внеземной цивилизации. Члены комиссий отчетливо понимали одно: что это небывалое, ни с чем несопоставимое открытие подвергало кардинальному испытанию сами основы современного мирового сообщества, все то, что проповедовалось, культивировалось, вырабатывалось в сознании поколений из века в век, — всю совокупность правил его существования. Мог ли кто отважиться на такой рискованный шаг, не говоря уж о соображениях тотальной безопасности земного мира?

И тут снова, как всегда в кризисные моменты истории, обнажились со всей силой коренные противоречия двух различных общественно-политических систем на Земле.

Обсуждение вопроса переросло в жаркие дебаты. Разность взглядов, разность подходов все больше принимала характер непримиримых позиций. Дело стремительно катилось к столкновению, к взаимным угрозам, к таким конфликтам, которые, выйдя из-под контроля, готовы были неминуемо вылиться в мировую войну. Каждая сторона поэтому пыталась воздержаться от крайностей перед общей опасностью подобного рода развития событий, но еще большим сдерживающим фактором служила нежелательность, а точнее говоря, угроза взрыва земного сознания, что могло стихийно произойти, если бы весть о внеземной цивилизации стала фактом общей гласности… Никто не мог поручиться за последствия такого исхода дела…

И разум взял свое, стороны пришли к компромиссу — вынужденному и опять же на строго сбалансированной основе. В связи с этим на орбитальную станцию «Паритет» передали кодированную радиограмму Обценупра следующего содержания:

«Космонавтам-контролерам 1–2 и 2–1. Вам вменяется в обязанности незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем «Паритета» с паритет-космонавтами 1–2, 2–1, находящимися в засол-нечной Галактике, в так называемой системе светила «Держатель», на планете Лесная Грудь. Необходимо срочно поставить их в известность, что на основании заключений двусторонних комиссий, изучивших информацию о внеземной цивилизации, открытой паритет-космонавтами 1–2 и 2–1, Обценупр принимает решение, не подлежащее пересмотру:

а) не допускать возвращения бывших паритет-космонавтов 1–2 и 2–1 на орбитальную станцию «Паритет» и тем самым на Землю, как лиц, нежелательных для земной цивилизации;

б) объявить обитателям планеты, именуемой Лесная Грудь, о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов как несовместимых с историческим опытом, насущными интересами и особенностями нынешнего развития человеческого общества на Земле;

в) предупредить бывших паритет-космонавтов 1–2 и 2–1, а также находящихся с ними в контакте инопланетян, чтобы они не пытались установить

связи с землянами ни тем более проникать в околоземные сферы, как это имело место в случае посещения инопланетянами орбитальной станции «Паритет» на орбите «Трамплин»;

г) в целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения Общенупр объявляет установление в срочном порядке Чрезвычайного транскосмического режима под названием операция «Обруч», запрограммировав серию барражирующих по заданным орбитам боевых ракет-роботов, рассчитанных на уничтожение ядерно-лазерным излучением любых предметов, приблизившихся в космосе к земному шару;

д) довести до сведения бывших паритет-космонавтов, самовольно вступивших в контакт с инопланетными существами, что в целях безопасности, сохранения сложившейся стабильности геополитической структуры землян исключается какая-либо возможность связи с ними. А потому будут предприняты все меры строжайшего засекречивания события, имевшего место, и меры по недопущению возобновления контактов. С этой целью орбита станции «Паритет» будет немедленно изменена^ а каналы радиосвязи станции

будут наново закодированы;

е) еще раз предупредить инопланетян об опасности приближения к зонам «Обруча» вокруг земного шара.

Обценупр. Борт авианосца «Конвенция».

Прибегая к этим оградительным мерам, Обценупр вынужден был заморозить на неопределенное время всю программу «Демиург» по освоению планеты Икс. Орбитальную станцию «Паритет» предстояло перевести на другие параметры вращения и использовать ее для текущих космических наблюдений. Кооперативный научно-исследовательский авианосец «Конвенция» было решено передать на сохранение нейтральной Финляндии. После запуска в дальний космос системы «Обруч» всем паритетным службам, всем научным и административным работникам, всей подсобной обслуге предстояло расформироваться при строжайшей подписке не разглашать до самой смерти причины свертывания деятельности Обценупра.

Для широкой общественности предполагалось объявить, что работы по программе «Демиург» приостанавливаются на неопределенное время в связи с возникшей необходимостью капитальных изысканий и коррекций на планете Икс.

Все было тщательно продумано. И всему этому предстояло быть сразу же после экстренного вывода «Обруча» вокруг земного шара.

Перед этим, непосредственно после окончания заседания комиссий, все документы, все шифровки, вся информация бывших паритет-космонавтов, все протоколы, все пленки и бумаги, имевшие какое-либо отношение к этой печальной истории, были уничтожены.

На Тихом океане, южнее Алеутов время клонилось к концу дня. Погода стояла все такая же сравнительно сносная. Но все-таки волнение океана постепенно усиливалось. И уже слышен был рокот вскипающих повсюду волн.

Служба авиакрыла на авианосце напряженно ждала момента выхода членов особоуполномоченных комиссий к самолетам по завершении заседания. Но вот они вышли все. Распрощались. Одни пошли на посадку к одному самолету, другие — к другому.

Взлет прошел отлично, несмотря на качку. Один из лайнеров взял курс на Сан-Франциско, другой в противоположную сторону — на Владивосток.

Омываемая вышними ветрами, плыла Земля по вечным кругам своим. Плыла Земля… То была ма-

ленькая песчинка в неизмеримой бесконечности Вселенной. Таких песчинок в мире было великое множество. Но только на ней, на планете Земля, жили-были люди. Жили как могли и как умели и иногда, обуреваемые любознательностью, пытались выяснить для себя, нет ли еще где в других местах подобных им существ. Спорили, строили гипотезы, высаживались на Луну, засылали автоматические устройства на другие небесные тела, но всякий раз убеждались с горечью, что нигде в окрестностях Солнечной системы нет никого и ничего похожего на них, как и вообще никакой жизни. Потом они об этом забывали, не до того было, не так-то просто удавалось им жить и ладить между собой, да и хлеб насущный добывать стоило трудов… Многие вообще считали, что не их это дело. И плыла Земля сама по себе…

Весь тот январь был очень морозным и мглистым. И откуда столько холода нагоняло в сарозеки! Поезда шли со смерзшимися буксами, добела прокаленные ледяной стужей. Странно было видеть — черные нефтеналивные цистерны останавливались на разъезде сплошь белой, завьюженной, в изморози чередой. А стронуться с места поездам тоже было нелегко. Сцепленные парами паровозы как бы в два плеча долго сдер-

гивали толчками, буквально отрывали с рельсов пристывшие колеса. И эти усилия паровозов, отдиравших вагоны, слышались в резком воздухе далеко вокруг лязгающим железным громыханием. По ночам дети боранлинцев испуганно просыпались от этого грохота.

А тут еще и заносы начались на путях. Одно к другому. Ветры ошалели. В сарозеках им был полный простор, не угадаешь, с какой стороны ударит пурга. И, казалось боранлинцам, ветер так и норовил наметать сугробы именно на железной дороге. Только и высматривал любую продушину, чтобы навалиться, запуржить, завалить пути тяжким своем.

Едигей, Казангап и еще трое путевых рабочих только и знали что поспевать из конца в конец перегона расчищать пути то там, то тут, то снова в прежнем месте. Выручали верблюжьи волокуши. Весь тяжелый верхний слой заноса вывозили на обочину дороги волокушей, а остальное приходилось довершать вручную. Едигей не жалел Каранара и был доволен возможностью измотать его, усмирить в нем буйную силу, впряг в пару с другим, под стать ему по тяге верблюдом и гонял их бичом, вывозя сугробы поперечной доской с противовесом позади, на котором сам стоял,

придавливая волокушу собственной тяжестью. Других приспособлений тогда не было. Поговаривали, что вышли уже с заводов специальные снегоочистители, локомотивы, сдвигающие сугробы по сторонам. Сулили в скором времени прислать такие машины, но пока обещания оставались на словах.

Если летом месяца два припекало до умопомрачения, то теперь вдохнуть морозный воздух было страшно — казалось, легкие разорвутся. И все равно поезда шли и дело требовалось делать. Едигей оброс щетиной, впервые в ту зиму начавшей поблескивать кое-где сединками, глаза вспухали от недосыпания, лицо — в зеркало глянуть отвратно: как чугун стало. Из полушубка не вылезал, а поверх еще постоянно плащ брезентовый носил с капюшоном. На ногах валенки.

Но чем бы ни занимался Едигей, как бы трудно ни приходилось, из головы не шла история Абуталипа Куттыбаева. Больно аукнулась она в Едигее. Часто думали-гадали они с Казангапом — как же все это приключилось и чем кончится. Казангап все больше молчал, хмурясь, напряженно думал о чем-то своем. А однажды сказал:

— Всегда так бывало. Пока еще разберутся… В давние дни не зря говорили: «Хан не бог. Он не

всегда знает, что делают те, что при нем, а те, что при нем, не знают о тех, кто на базарах поборы собирает». Всегда было так.

— Да что ты, слушай! Тоже мне мудрец, — недовольно высмеял его Едигей. — Когда им дали по шапке, ханам всяким! Да разве дело в этом!

— А в чем? — резонно спросил Казангап.

— В чем, в чем! — раздраженно проворчал Едигей, но так и не ответил. И ходил с этим застрявшим в мозгу вопросом, не находя ответа.

Как известно, беда не приходит одна. Простыл здорово старшенький Куттыбаев — Даул. Свалился в жару и бреду мальчишка, кашель мучил, горло болело. Зарипа говорила, что у него ангина. Лечила его всякими таблетками. Но при детях находиться неотлучно она не могла: работала стрелочницей, жить надо было. То в ночь, то в день приходилось ее дежурство. Пришлось Укубале взять на себя эти заботы. Своих двое да еще двое, с четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном положении оказалась семья Абуталипа. И Едигей как мог помогал. Рано утром приносил уголь к ним в барак из сарайчика и, если успевал, растапливал печь. Каменный уголь растопить тоже сноровку надо иметь. Засыпал сразу ведра полтора угля, чтобы целый день

тепло держалось для детей. Воду из цистерны на тупиковой линии тоже сам приносил, дрова колол на растопку. Что стоило ему сделать то, сделать это, дров наколоть, воды принести и прочее… Самое трудное заключалось в другом. Невозможно, мучительно, невыносимо было смотреть в глаза Абуталиповым ребятам и отвечать на их вопросы. Старший лежал больной, он был по характеру сдержанным малым, но младший, Эрмек, тот, что в мать, живой, ласковый, бесконечно чувствительный и ранимый, с тем трудно приходилось. Когда Едигей заносил поутру уголь и растапливал печь, то старался не разбудить ребят. Однако редко когда удавалось уйти незамеченным. Кудрявый, черноголовый Эрмек сразу просыпался. И первый его вопрос, как только открывал глаза, был:

— Дядя Едигей, а папика приедет сегодня?

Малыш бежал к нему раздетый, босиком и с неистребимой надеждой в глазах, что стоит Едигею сказать «да» — и отец непременно вернется и снова будет с ними дома. Едигей сгребал его в охапку, худенького, теплого, и снова укладывал в постель. Разговаривал как со взрослым:

— Сегодня не знаю, Эрмек, приедет или не приедет твой папика, но со станции нам должны

сообщить по связи, каким поездом он вернется. Ведь у нас пассажирские поезда не останавливаются, сам знаешь. Только по приказу самого главного диспетчера дороги. По-моему, на днях должны радировать. И тогда мы с тобой и с Даулом, вот если он поправится к тому времени, выйдем к поезду и встретим.

— Мы скажем: папика, а вот и мы! Так ведь? — развивал мальчонка придумку взрослого.

— Ну конечно! Мы так и скажем, — бодро поддерживал Едигей.

Но сообразительного малыша не так-то просто было провести.

— Дядя Едигей, а давай, как тогда, сядем на товарный поезд и поедем все к этому самому главному диспетчеру. И скажем, чтобы он остановил у нас поезд, на котором приедет папика.

Приходилось выкручиваться.

— Но ведь тогда было лето, тепло. А сейчас на товарном поезде как поедешь? Холодно очень. Ветрище. Вон видишь, как окна замерзли. Мы туда и не доедем, застынем, как ледышки. Нет, это очень опасно.

Мальчик примолкал грустно.

— Ты полежи пока, а я посмотрю Даула, — находил причину Едигей, подходил к постели

больного, клал тяжелую узловатую руку на горячий лоб ребенка… Тот с трудом приоткрывал глаза, слабо улыбался спекшимися от жара губами. Жар все еще держался. — Ты не раскрывайся. Ты потный. Слышишь, Даул? Еще больше простынешь. А ты, Эрмек, подноси ему тазик, когда он помочиться захочет. Слышишь? Чтобы он не вставал. Скоро ваша мама придет с дежурства. А тетя Укубала придет сейчас, покормит вас. А когда Даул выздоровеет, будете прибегать к нам, играть с Сауле и Шарапат. Мне на работу пора, а то ведь снег какой большой, поезда остановятся, — заговаривал Едигей ребят перед уходом.

Но Эрмек был неумолим.

— Дядя Едигей, — говорил он ему, стоящему уже на пороге. — Если снегу будет очень много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чистить. У меня есть маленькая лопатка.

Едигей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем. Саднило от обиды, беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет. И вымещал свою злость на снеге, ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на работе. Работал как зверь, точно бы один мог остановить всю сарозекскую пургу…

А дни шли как капли, падающие с неотврати-

мой размеренностью одна за другой. Вот и январь миновал и холода начали слегка сдавать. От Абуталипа Куттыбаева не было никаких известий. Терялись в догадках Едигей и Казангап — по-всякому думали, судили мужики. И тому и другому казалось, что должны его отпустить вскорости, что уж там такого страшного — писал что-то для себя, не для кого-нибудь. Надежда была у них такая, и эту надежду внушали они как могли Зарипе, чтобы она держалась, не падала духом. Она и сама понимала, что ради детей должна быть каменной. Она и впрямь стала каменной. Замкнулась, губ не размыкала, только глаза тревожно поблескивали. Кто знает, на сколько хватило бы ее выдержки.

Буранный Едигей тем часом был свободен от работы. Решил пройтись в степь взглянуть, как гурт верблюжий пасется и, главное, как ведет Каранар себя. Не покалечил ли кого в стаде? Перебесился ли, пора уж. Пошел на лыжах, это было неподалеку. Вернулся вовремя. И собирался доложить Казангапу, что, мол, все в порядке. Пасутся животные в Лисохвостовой лощине, снегу там почти нет, ветром продувает, потому подножный корм открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зайти домой, лыжи оставить. Старшая

дочка Сауле выглянула из двери испуганная:

— Папа, мама плачет! — И скрылась.

Едигей бросил лыжи, встревоженный, поспешил в дом. Укубала так рыдала, что у Едигея перехватило дыхание.

— Что? Что случилось?

— Будь проклято все в этом проклятом мире! — запричитала, захлебываясь в рыданиях, Укубала.

Никогда не видел Едигей жену свою в таком состоянии. Укубала была крепкой, разумной женщиной.

— Это ты, ты во всем виноват!

— В чем? В чем я виноват? — поразился Едигей.

— Наговорил с целый короб несчастным детишкам. А давеча, вот только что, останавливался пассажирский, встречный у него был впереди. Остановился пропустить его. И откуда только они сошлись на нашем разъезде? А ребята Абуталиповы оба как увидели, что остановился пассажирский поезд, да как кинутся с криком: «Папа! Папика! Папика приехал!» И к поезду! Я за ними. А они бегут от вагона к вагону и криком исходят: «Папа, папика! Где наш папика?» Думала, под поезд попадут. А они бегут по всему составу, отца зовут! Ни одна дверь не открылась. А они

бегут. Длиннющий глухой состав. А они бегут! И пока догнала я, пока ухватила этого, младшего, да пока второго схватила за руку, поезд тронулся и пошел. А они вырываются: «Там папика наш, не успел сойти с поезда!» — и такой рев подняли. Сердце мое зашлось, думала, с ума сойду, так кричали и плакали они. С Эрмеком плохо? Иди успокой ребенка! Иди! Это ты сказал им, что отец вернется, когда остановится пассажирский поезд. Если бы ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, а отец не появился! Если бы ты видел! И зачем только так устроено в жизни, зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дите к отцу? Зачем такие страдания?

Едигей шел к ним как на казнь. И только об одном молил бога: чтобы снизошел он и простил ему перед казнью этот невольный обман мадых доверчивых душ. Ведь он не хотел им зла. И что теперь сказать, как держать ответ?

При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные и опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали, с воплем подбежали и, давясь слезами, всхлипывая, плача, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а отец не успел сойти и что пусть он, дядя Едигей, остановит поезд…

— Сагындым[18], папикамды! Сагындым, сагындым! — кричал Эрмек, умоляя его всем свои видом, с доверием, надеждой, горем.

— Сейчас я все узнаю. Тише, тише, не плачьте, — пытался Едигей как-то вразумить, как-то успокоить зашедшихся в реве ребят. И еще труднее было самому выстоять, не поддаться, не измениться в лице, чтобы дети не увидели в нем слабого, беспомощного человека. — Вот сейчас мы пойдем, мы пойдем! «Куда пойдем? Куда? К кому пойдем? Что делать? Как быть?» — думал он при этом. — Вот мы сейчас выйдем и там подумаем, поговорим, — обещал Едигей что-то неопределенное, бормотал что-то бессвязное.

Он подошел к Зарипе. Она лежала на кровати пластом, уткнув лицо в подушку.

— Зарипа, Зарипа! — тронул ее за плечо Едигей.

Но она даже не подняла головы.

— Мы пойдем сейчас походим, побродим немного вокруг, а потом заглянем к нам, — сказал он ей. — Я пойду с ребятами.

Это было единственное, что он мог придумать, чтобы как-то успокоить, отвлечь их и самому

---

[18] Примечания: 18
Сагындым — истосковался, измучился в тоске.

собраться с мыслями. Эрмека он посадил к себе на спину, а Даула взял за руку. И пошли они бесцельно вдоль железной дороги. Никогда еще не испытывал Буранный Едигей такого сострадания к чужому несчастью. Эрмек сидел у него на спине, все еще всхлипывая, влажно и горестно дыша ему в затылок. Маленькое, изболевшееся в тоске человеческое существо так доверчиво приникло к нему, так доверчиво ухватилось за его плечи, а второе такое же существо так доверчиво держалось за его руку, что Едигею было хоть криком кричать от боли и жалости к ним.

Так шли они вдоль железной дороги среди пустынных сарозеков, и лишь, поезда проходили, грохоча, то в одну, то в другую сторону… Приходили и уходили…

И опять вынужден был Едигей сказать детям неправду. Он сказал им, что они ошиблись. Этот поезд, который случайно остановился на их разъезде, шел в другую сторону, а их папика должен прибыть с другой стороны. Но вернется он, наверное, не так скоро. Оказывается, его послали на какое-то море матросом, и как только корабль приплывет из того далекого путешествия, он приедет домой. Надо пока подождать. По его понятиям, эта неправда должна была помочь им

продержаться, пока неправда сбудется правдой. Едигей не сомневался, что Абуталип Куттыбаев вернется. Пройдет какое-то время, разберутся, и он вернется, ни одной секунды не задержится, как только его освободят. Отец, так любящий детей своих, не промедлит ни секунды… И потому Едигей говорил неправду… Достаточно хорошо зная Абуталипа, Едигей лучше чем кто-либо представлял себе, каково этому человеку в разлуке с семьей. Кто-нибудь другой, возможно, не так остро, не так тяжело переживал бы временную отлучку, пусть и не по своей воле, но с надеждой, что скоро вернется домой. А для Абуталипа, Едигей в этом не сомневался, то было равносильно высшей мере наказания. И боялся Едигей за него. Выдержит ли, дождется ли, пока будут вершиться суд да дело…

Зарипа к тому времени отправила уже несколько писем в соответствующие учреждения с запросом о муже и просила сообщить ей, может ли она получить с ним свидание. Пока никакого ответа не поступало. Казангап и Едигей тоже голову ломали. Мужики, однако, склонны были объяснить это тем, что разъезд Боранлы-Буранный не имел прямой почтовой связи. Письма необходимо было передавать через кого-то или

отвозить самому на станцию Кумбель. Поступления почты тоже шли через Кумбель и тоже путем добрых услуг… А такой способ связи, как известно, не всегда самый быстрый.

Так оно и случилось однажды…

В самых последних числах февраля ездил Казангап в Кумбель проведать Сабитжана в интернате. Ездил верхом на верблюде. В проходящих товарняках зимой слишком уж холодно было добираться. В вагоны не залезешь, запрещено, а на открытых площадках ветер невыносимый. На верблюде же, тепло одевшись, можно при хорошем ходе спокойно за день съездить туда и обратно и дела успеешь сделать.

Казангап вернулся в тот день к вечеру. Пока он спешивался, Едигей еще подумал — что-то не в духе Казангап, что-то уж очень мрачен, сын, наверно, нашкодил в интернате, да и устал, должно быть, трюхать верхом туда-сюда.

— Ну, как съездил? — подал голос Едигей.

— Да ничего, — глухо отозвался Казангап, занятый своей поклажей. Потом обернулся и, подумав, сказал: — Ты сейчас дома будешь?

— Дома.

— Дело есть. Я сейчас зайду к тебе.

— Заходи.

Казангап не заставил себя ждать. Пришел вместе со своей Букей. Сам впереди, жена следом. Оба они были чем-то очень озабочены. У Казангапа был усталый вид, шея еще больше вытянулась, плечи обвисли, усы поникли. Толстая Букей тяжело дышала, словно бы сердце так колотилось, что не могла продохнуть.

— Вы что такие, вы, часом, не поругались? — посмеялась Укубала. — Мириться пришли. Садитесь.

— Если бы поругались, — набрякшим голосом ответила Букей, все так же тяжело дыша.

Оглядываясь по сторонам, Казангап поинтересовался:

— А девчушки ваши где?

— У Зарипы играют с ребятами, — ответил Едигей. — А зачем они тебе?

— Вести у меня плохие, — промолвил Казангап, глянув на Едигея и Укубалу. — Дети пусть пока не знают. Беда большая. Умер наш Абуталип!

— Да ты что?! — подскочил Едигей, и Укубала, коротко вскрикнув, зажала ладонью рот и побелела, как стена.

— Умер! Умер! Несчастные дети, несчастные сироты! — полухрипом-полушепотом запричитала Букей.

— Как умер? — все еще не веря услышанному, испуганно придвинулся Едигей к Казангапу.

— Бумага такая пришла на станцию.

И все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга.

— Ой, горе! Ой, горе! — схватилась за голову Укубала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону…

— Где эта бумага? — спросил наконец Едигей.

— Бумага на месте, на станции, — стал рассказывать Казангап. — Ну, побывал я в интернате и дай, думаю, загляну на вокзал в магазинчик тот самый в зале ожидания, Букей мыла просила купить. Только я к двери, а навстречу сам начальник станции Чернов. Ну, поздоровались, давно ведь знаем друг друга, а он мне говорит: «Вот кстати попался на глаза, зайдем ко мне в кабинет, письмо есть, захватишь с собой на разъезд». Он открыл свой кабинет, мы вошли. Достает из стола конверт с печатными буквами. «Абуталип Куттыбаев, говорит, у вас работал на разъезде?». «У нас, говорю, а что такое?» «Да вот третьего дня прибыла эта бумага, а передать не с кем было на Боранлы-Буранный. На, передай его жене. Тут ответ на ее запросы. Умер он, как тут написано» — и сказал какое-то непонятное мне слово. От

инфаркта, говорит. А это что такое — инфаркт, говорю я. А он отвечает — от разрыва сердца. Вот оно как — лопнуло сердце. Я как сидел, так и оторопел. Не поверил вначале. Взял в руки ту бумагу. Там сказано: начальнику станции Кумбель сообщить на разъезд Боранлы-Буранный официальный ответ для гражданки такой-то на ее запрос — и дальше о том, что подследственный Абуталип Куттыбаев, так и так, умер от приступа. Так и сказано. Я прочел, гляжу на него и не знаю, что делать. «Вот какие дела, — говорит Чернов и разводит руками. «Возьми, передай ей». Я говорю — нет, у нас так не положено. Не хочу быть черным вестником. Детишки у него малые, как я посмею их сокрушить, нет, говорю. Мы, говорю, боранлинцы, вначале там у себя посоветуемся и потом решим. Или кто из нас приедет специально за этой бумагой и привезет ее, как подобает привозить такую тяжкую весть, не воробей же погиб, человек, или скорей всего жена его, Зарипа Куттыбаева, сама приедет и получит из ваших рук. И вы уж сами объясните да расскажете, как все произошло. А он мне: «Дело, говорит, твое, как хочешь. А только мне-то что объяснять да рассказывать. Я никаких подробностей знать не знаю. Мое дело передать эту бумагу по назначе-

нию, вот и все». Ну, я говорю, извините, но пусть пока бумага побудет у вас, а на словах я передать передам, и мы посоветуемся там у себя, на месте. «Ну, смотри, говорит, тебе виднее». С тем я вышел от него и всю дорогу погонял верблюда и сердцем изболелся: как же нам быть? У кого из нас хватит духу сказать им такое?..

Казангап замолчал. Едигей согнулся так, как будто гора налегла на плечи.

— Что теперь будет? — промолвил Казангап, но ему никто не ответил.

— Я так и знал, — горестно покачал головой Еди-гей. — Не выдержал он разлуки с детьми. Вот этого я больше всего боялся. Не вынес разлуки. А тоска — это вещь страшная. Вот детишки его так тоскуют по отцу — смотреть на них нет сил. А был бы он другим человеком, ну пусть, скажем, осудили бы его не знаю за что, ну пусть бы осудили его. Ну отсидел бы год, два или сколько и вернулся бы. Ведь он в немецком плену, в концлагерях сколько натерпелся, в партизанах тоже несладко приходилось и все эти годы воевал в чужих краях и не сломился, потому что тогда он был один, сам по себе, тогда семьи у него не было. А сейчас его, что называется, с живым мясом отодрали от живого, от самого дорогого для него, от детей. Вот

и случилась беда…

— Да-а, я тоже так думаю, — отозвался Казангап. — Не верил я, что от разлуки человек может умереть. А не то, совсем молодой ведь, и умный, и грамотный, дождался бы, когда разберутся да освободят. Не виноват ведь ни в чем. Разумом-то он понимал, конечно, а сердце, выходит, не выдержало. Уж как он любил своих детишек, на голову свою…

Потом они еще долго сидели, обдумывали положение, хотели придумать, как подготовить к этой вести Зарипу, но как они ни думали, ни гадали, а все сходилось клином к одному — семья лишилась отца, дети осиротели, Зарипа овдовела, и к этому ничего не прибавить, ни убавить. Однако самое разумное предложение высказала все-таки Укубала:

— Пусть Зарипа сама получит ту бумагу на станции. Пусть перенесет этот удар там, а не здесь, возле детей. И пусть решит — там, на станции, и по пути назад будет у нее время обдумать, как быть. Надо ли детям знать об этом или пока не стоит. Может, решит подождать, пока они чуточку подрастут да позабудут хоть немного отца. Трудно ведь сказать…

— Ты верно говоришь, — поддержал ее Еди-

гей. — Она мать, пусть сама решает, скажет или не скажет ребятам о смерти Абуталипа. Я лично не могу… — И дальше Едигей не смог выговорить, язык не подчинился, он закашлялся, чтобы скрыть жалость, стиснувшую его горло.

И еще сказала Укубала, когда они уже пришли к общему мнению.

— Надо, Казаке, — посоветовала она Казангапу, — чтобы вы сказали Зарипе, что какие-то письма ждут ее у начальника станции. Ответы, мол, пришли на ее запросы. Но просили прибыть ее лично, так, мол надо. А во-вторых, — продолжала она, — нельзя Зарипу отправлять туда одну в такой день, У них тут ни родных, ни близких. А самое страшное в горе — это одиночество. Ты, Едигей, поезжай вместе с ней, будь рядом в этот час. Мало ли что может случиться при таком несчастье. Скажи, что тебе надо на станцию по делам, и поезжайте вместе. А дети побудут у нас.

— Хорошо, — согласился Едигей с доводами жены. — Завтра я скажу Абилову, что Зарипу требуется повезти в больницу на станцию. Пусть приостановит на минуту проходящий поезд.

На том порешили. Но выехать в Кумбель им удалось лишь через пару дней на попутном поезде, приостановившемся на линии по просьбе

начальника разъезда. То было 5 марта. Буранный Едигей навсегда запомнил тот день.

Ехали в общем вагоне. Народу разного двигалось полно, с семьями, с детьми, с неизбежным дорожным бытом, сивушным духом, с беспорядочными хождениями, с картами до очумелости и бабьими полуприглушенными исповедями друг другу о нелегком житье-бытье, о пьянстве мужиков, о разводах, о свадьбах, о похоронах… Люди ехали далеко. И им сопутствовало все, что составляло их повседневную жизнь… К ним со своей бедой и горем примкнули ненадолго Зарипа и сопровождавший ее Буранный Едигей.

Конечно, Зарипе было не по себе. Сумрачная, встревоженная, она всю дорогу молчала, раздумывая, должно быть, о том, какие ответы ее ждут у начальника станции. Едигей тоже больше помалкивал.

Есть ведь на свете чуткие, сердобольные люди, примечающие с первого взгляда, что неладное происходит с человеком. Когда Зарипа встала с места и пошла по вагону в тамбур постоять у окна, русская старушка, сидевшая на лавке против Едигея, сказала, глянув добрыми, когда-то голубыми, а теперь выцветшими от старости глазами:

— Что, сынок, жена-то у тебя больная?

Едигей даже вздрогнул.

— Не жена, а сестра она мне, мамаша. В больницу везу.

— То-то, гляжу, мается бедняжка. И очень ей худо. Глаза в горести беспросветной. Боится небось в душе-то. Боится, как бы в больнице болезнь какую страшнущую не отыскали. Эх, житье наше бытье! Не родишься — свет не увидишь, а родишься — маеты не оберешься. Так-то оно. Да господь милостив, молодая еще, обойдется, чай, — приговаривала она, улавливая и понимая каким-то образом ту смятенность и печаль, которые переполняли Зарипу все сильнее с приближением к станции.

Езды до Кумбеля часа полтора. Пассажирам поезда было безразлично, по каким местам ехали они в тот день. Спрашивали лишь, какая станция впереди. А великие сарозеки лежали еще в снегу, в молчаливом и бескрайнем царстве нелюдимого приволья. Но какие-то первые признаки отступления зимы уже обозначились. Чернели оттаявшие местами залысины на склонах, проступали неровные кромки оврагов, мелькали пятна на пригорках, и повсеместно снег начал оседать от влажного, оттепельного ветра, пробудившегося в степи с приходом марта. Однако

солнце еще затворялось в сплошных низких тучах, серых и водянистых даже с виду. Жива была еще зима — мокрый снег мог повалить, а то и метель напоследок могла заняться…

Поглядывая в окно, Едигей оставался на своем месте, напротив сердобольной старушки, изредка разговаривая с ней, но к Зарипе не стал подходить. Пусть, думал он, одна побудет, пусть постоит у окна вагонного, обдумает свое положение. Может быть, какое-то внутреннее предчувствие подскажет ей что-то. Возможно, припомнится ей та поездка в начале осени прошлого года, когда они все вместе, обе семьи со всей ребятней забрались в попутный товарняк и поехали в Кумбель за дынями и арбузами и были очень счастливы, а для детей то было незабываемым праздником. Совсем недавно, казалось бы, все это происходило. Сидели они тогда, Едигей и Абуталип, у приоткрытых дверей вагона на ветерке и разговоры вели всякие, крутились рядом ребята, глазели на проплывающие мимо земли, а жены, Зарипа и Укубала, тоже вели о чем-то своем задушевные разговоры. Потом ходили по магазинам и по станционному скверику, в кино побывали, в парикмахерской. Мороженое ели ребята. Но самое трагикомичное было, когда они

так и не смогли все вместе уговорить Эрмека подстричься, боялся он почему-то прикосновения машинки к голове. И вспомнилось Едигею, как появился в тот момент в дверях парикмахерской Абуталип и как сынишка кинулся к нему, а тот схватил его и, прижимая к себе, как бы защищая его инстинктивно от парикмахера, сказал, что они наберутся духу и сделают это в следующий раз, а пока потерпится. Чернокудрый Эрмечик растет и поныне нестриженный от рождения, но теперь без отца…

И снова, уже в который раз пытался Буранный Едигей постичь, понять, объяснить себе, почему Абуталип Куттыбаев умер, не дождавшись решения своего дела. И снова приходил к единственно объяснимому заключению — только безысходная тоска по детям надорвала ему сердце. Только разлука, тяжесть которой дано далеко не всем постичь, только горестное сознание того, что сыновья, а без них он не представлял себе не то что жизни — дыхания, без которого мгновенно прерывается самая жизнь, остались оторванными, брошенными на произвол судьбы на каком-то разъезде, в безлюдных, безводных сарозеках, только это убило его…

Все о том же думал Едигей, сидя на скамейке

в пристанционном скверике, поджидая Зарипу. Они условились, что он будет поджидать ее здесь, на этой скамейке, пока она сходит за бумагами к начальнику станции.

Был уже полдень, но погода стояла нехорошая. Низкое, облачное небо так и не прояснилось. Сверху что-то изредка падало — то ли снежинки, то ли капли влаги задевали лицо. Ветер поддувал со степи волглый, пахнущий уже тронутыми таяньем лежалыми снегами. Зябко, неуютно было Едигею. Обычно он любил потолкаться при случае среди людей в станционной суете и сутолоке, сам ведь далеко не едешь, ничем не озабочен, а тут на поезда поглядишь, как выскакивают пассажиры и быстро шныряют по перрону, привнося в жизнь нечто от кино: вот оно есть — прибыл поезд, и вот его не станет — убыл поезд.

В этот раз все это не интересовало его. Он удивлялся, какие отрешенные лица у людей, какие они безликие, равнодушные, усталые, как отдалены друг от друга… К тому же музыка, передаваемая по радио, простудно хрипящему на всю пристанционную площадь, вызывала печаль и уныние однообразной текучей монотонностью. Заладили эту музыку!..

Прошло уже минут двадцать, а то и больше,

как Зарипа скрылась в вокзальном помещении. Едигей стал беспокоиться, и хотя они твердо договорились, что он будет ждать ее на этой скамейке, на этой именно, где в прошлый раз с детьми и Абуталипом сидели они и ели мороженое, он решил уже пойти за ней, посмотреть, что там.

И тут он увидел ее в дверях и вздрогнул невольно. Она бросилась в глаза среди входящей и выходящей толпы своей отъединенностью от всего, что было вокруг. Ее лицо было смертельно бледным, и она шла, никуда не глядя, как во сне, ни на кого и ни на что не натыкаясь, точно бы ничего вокруг не существовало, шла как в пустыне, как незрячая, прямо и скорбно держа голову, плотно сомкнув губы. Едигей встал при ее приближении. Она подходила, казалось, очень долго, опять же как во сне, настолько страшно, отстраненно было ее медленное приближение с опустевшими глазами. Минула, быть может, целая вечность, бездна холодной, темной протяженности невыносимого ожидания, покуда она подошла вплотную, держа в руках ту самую бумагу в плотном конверте с напечатанными, как выразился Казангап, буквами, и, подойдя, сказала, разомкнув губы:

— Ты знал?

Он медленно склонил голову.

Зарипа опустилась на скамейку и, закрыв лицо руками, крепко сжимая голову, точно бы голова могла развалиться, разлететься на куски, горько зарыдала, уйдя вся в себя, в свою боль и утрату, Она плакала, собравшись в мучительный содрогающийся комок, уходила, утопала, проваливалась все глубже в себя, в свое безмерное страдание, а он сидел рядом и готов был, как тогда, когда увозили Абуталипа, оказаться вместо него, на его месте, и принять на себя не задумываясь любые муки, только бы защитить, избавить эту женщину от удара. Он понимал при этом, что ничем не может ни утешить, ни унять ее, пока не иссякнет первая оглушающая волна беды.

И так они сидели на скамейке пристанционного скверика. Зарипа плакала, судорожно всхлипывая, и в какой-то момент не глядя отшвырнула прочь скомканный конверт с злополучной бумагой. Кому она нужна была теперь, та бумага, коли самого в живых не было? Но Едигей подобрал конверт и положил его к себе в карман. Потом он достал платок и силой, разжимая ее пальцы, заставил плачущую Зарипу взять платок и утереть слезы. Но это не помогло.

А музыка лилась по радио над станцией, будто

знала, траурная, бесконечно тягостная. Мартовское небо серо и влажно нависало над головой, ветер донимал душу порывами. Прохожие же косились на эту пару, на Зарипу и Едигея, думали, конечно, про себя: вот, мол, поскандалили людишки. Обидел он ее, наверно, крепко… Но, оказывается, не все так думали.

— Плачьте, добрые люди… Плачьте, — раздался рядом соболезнующий голос. — Лишились мы родимого отца! Как-то теперь будет?

Едигей поднял голову и увидел проходящую мимо женщину в старой шинели, на костылях. Одну ногу у нее отняли по самое бедро. Он ее знал. Бывшая фронтовичка, работала в билетной кассе на станции. Кассирша была сильно заплакана и, плача, шла, приговаривая: «Плачьте. Плачьте. Как-то теперь будет?» И, плача, прошла дальше, привычно переставляя с тупым перестуком костыли под неестественно приподнятыми плечами, пришаркивая на каждые два стука костылей подошвой единственной ноги, донашивающей старый солдатский сапог…

Смысл ее слов дошел до Едигея, когда он увидел, как столпились вдруг люди перед входом на станцию. Задрав головы, они смотрели, как несколько человек, приставив лестницу, вывешивали

высоко над дверью большой военный портрет Сталина в черном, траурном обрамлении.

Понял он, почему и музыка по радио так заунывно звучала. В другое время он тоже поднялся бы и постоял среди людей и разузнал бы, что и как случилось с этим великим человеком, без которого никто не представлял себе круговращения мира, но сейчас своего горя хватало. Он не проронил ни слова. И Зарипе было ни до кого и ни до чего…

А поезда шли, как и полагалось им идти, что бы ни произошло на свете. Через полчаса должен был проходить по линии поезд дальнего следования под номером семнадцать. Как и все пассажирские, он не останавливался на таких разъездах, как Боранлы-Буранный. С тем расчетом он и двигался. Никому, однако, не могло прийти в голову, что на этот раз придется семнадцатому остановиться на Боранлы-Буранном. Так решил про себя, причем твердо и спокойно, Едигей. Он сказал Зарипе:

— Нам скоро возвращаться, Зарипа. Осталось полчаса. Ты должна сейчас продумать как следует, как быть — скажешь ли детям о смерти отца или пока повременишь. Я не буду тебя успокаивать и что-то подсказывать, ты сама себе голова.

Теперь ты им и вместо отца и вместо матери. Но об этом тебе следует подумать, пока мы в пути. Если ты решишь пока не говорить ребятам, то бери себя в руки. При них ты не должна лить слезы. Сможешь ди, хватит ли сил у тебя? И мы должны знать, как вести себя при них. Понимаешь? Вот ведь какой вопрос.

— Хорошо, я все понимаю, — ответила сквозь слезы Зарипа. — И пока мы доедем, я соберусь с мыслями и скажу, как нам быть. Я сейчас, я постараюсь взять себя в руки. Я сейчас…

В поезде на обратном пути было все так же. Люди ехали скопом, в табачном дыму, все так же бороздя великую страну из края в край.

Зарипа и Едигей попали в купированный вагон. Пассажиров здесь было поменьше, и они пристроились в проходе у окна, с самого краю, чтобы не мешать другим и поговорить о своих делах. Едигей сидел на откидном сиденье в коридоре, а Зарипа стояла рядом и смотрела в окно, хотя он и предлагал ей свое место.

— Так мне будет лучше, — сказала она.



И теперь, все еще изредка всхлипывая, превозмогая себя, перебарывая свалившуюся на плечи беду, она пыталась сосредоточиться, глядя в окно,

обдумать хотя бы для начала свое новое — вдовье — житье-бытье. Если прежде была надежда, что все это оборвется в один прекрасный день как кошмарный сон, рано или поздно вернется Абуталип, ведь не могло же быть, чтобы не разобрались с таким недоразумением, и снова будут они вместе, всей семьей, а все остальное образуется — нашли бы способ, как ни трудно, выжить, выстоять и сыновей воспитать, то теперь нет надежды. Было ей о чем думу думать…

О том же думал и Буранный Едигей, поскольку не беспокоиться о судьбе этой семьи он не мог. Так уж оно получилось. Однако он считал, что сейчас больше чем когда-либо должен быть сдержанным и спокойным и тем самым внушить ей хоть какую-то уверенность. Он не торопил ее. И правильно сделал. Наплакавшись, она сама начала разговор.

— Мне придется пока скроить от ребят, что отца их больше нет, — проговорила прерывающимся голосом Зарипа, сглатывая, загоняя в себя плач. — Не могу сейчас. Особенно Эрмек… Зачем такая привязанность, это страшно… Как лишить их мечты? Что с ними будет? Ведь они только этим и живут… Ждут, ждут изо дня в день, каждую минуту… Надо будет со временем выбраться

отсюда, переменить место… Пусть подрастут немного. За Эрмека очень боюсь. Пусть он хоть чуточку повзрослеет… И тогда скажу, да и сами догадаются понемногу… А сейчас нет, не в силах… Пусть уж я сама… Напишу письма братьям и сестрам, своим и его. Теперь-то что им бояться нас? Откликнутся, надеюсь, помогут уехать… А там видно будет… Мне теперь только бы детей Абуталипа вырастить, раз уж самого нет…

Так рассуждала она, а Буранный Едигей молча слушал, понимая и принимая смысл каждого ее слова, зная наверняка, что это лишь самая малая толика, самая поверхностная часть того, что, как смерч, пронеслось и проносится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случаях… Потому он сказал, стараясь нисколько не выходить за пределы разговора:

— Пожалуй, ты права, Зарипа… Если бы я не знал этих ребят, сомневался бы. Но на твоем месте я тоже не посмел бы сказать им такое. Немножко надо подождать. А пока родственники твои откликнутся, не сомневайся ни в чем, что касается нас. Как были, так и будем держаться. Работай, как и прежде, дети будут у нас вместе с нашими. Сама знаешь, Укубала любит их как своих. А остальное видно станет…

И еще сказала в том разговоре Зарипа с тяжелым вздохом:

— Вот ведь как устроено, оказывается, в жизни. Так страшно, так мудро и взаимосвязанно. Конец, начало, продолжение… Если бы не дети, честное слово, Едигей, не стала бы я жить сейчас. Пошла бы даже на это. Зачем мне жить? Но дети, они обязывают, они принуждают, они удерживают меня. И в этом спасение, и в этом продолжение. Горькое, тяжкое, но продолжение… И думаю я сейчас со страхом не о том даже, когда они узнают правду, от этого никуда не денешься, а о том, что будет дальше. Это всегда будет в них кровоточить, то, что случилось с их отцом. С ним, я была в том уверена, наши сыновья выросли бы полноценными людьми. И это нас оберегало от разрушений, от невзгод… А теперь я не знаю… Я не могу заменить им его… Потому что он — это был он… Он бы всего добился. Он хотел как бы переместиться, перевоплотиться в своих детей. Потому он и умер, оттого, что его оторвали от них…

Едигей внимательно слушал ее. То, что Зарипа высказала эти сокровенные мысли ему как наиболее близкому человеку, вызывало в нем искреннее желание как-то отозваться, оградить,

помочь, но сознание своего бессилия угнетало его, вызывало глухое, подспудное раздражение.

Они уже приближались к разъезду Боранлы-Буранному. По знакомым местам, по перегону, на котором Буранный Едигей сам работал многие лета и зимы…

— Ты приготовься, — сказал пн Зарипе. — Прибываем уже. Значит, так и порешили — детям пока ни слова. Хорошо, так и будем знать. Ты, Зарипа, сделай так, чтобы не выдать себя. А сейчас приведи себя в порядок. И иди в тамбур. Стой у дверей. Как только поезд остановится, спокойно выходи из вагона и жди меня. Я выйду, и мы пойдем.

— Что ты хочешь сделать?

— Ничего. Это оставь мне. В конце концов, ты имеешь право сойти с поезда.

Как всегда, пассажирский поезд номер семнадцать шел сквозным через разъезд, правда сбавляя скорость у семафора. Именно в этот момент, при въезде на Боранлы-Буранный, поезд резко затормозил с шипением и страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакали с мест. Раздались выкрики, свистки по всему поезду.

— Что такое?

— Стоп-кран сорвали?

— Кто?

— Где?

— В купированном!

Едигей тем временем открыл дверь Зарипе, и она сошла с поезда. А сам подождал, пока в тамбур ворвались проводник и кондуктор.

— Стой! Кто сорвал стоп-кран?

— Я, — ответил Буранный Едигей.

— Кто такой? По какому праву?

— Надо было.

— Как надо было? Ты что, под суд захотел?

— А ничего. Запишите в своем акте, который вы в суд или куда передадите. Вот документы. Запишите, что бывший фронтовик, путевой рабочий Едигей Жангельдин сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде Боранлы-Буранный в знак траура в день смерти товарища Сталина.

— Как? Разве Сталин умер?

— Да, по радио объявили. Слушать надо.

— Ну тогда другое дело, — опешили те и не стали задерживать Едигея. — Тогда иди, раз такое дело.

Через несколько минут поезд номер семнадцать продолжил свой путь…

И снова шли поезда с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали все те же, испокон нетронутые пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Космодрома Сары-Озек-1 тогда еще не было и в помине в этих пределах. Возможно, он вырисовывался лишь в замыслах будущих творцов космических полетов.

А поезда все так же шли с востока на запад и с запада на восток…

Лето и осень пятьдесят третьего года были самыми мучительными в жизни Буранного Едигея. Ни до этого, ни после никогда никакие снежные заносы на путях, никакие сарозекские зной и безводье, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кенигсберга и мог быть тысячу раз и убитым, и раненым, и изувеченным, не принесли, не доставили Едигею стольких страданий, как те дни…

Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал Буранному Едигею, отчего происходят оползни, эти неотвратимые сдвиги, когда обваливаются, трогаясь с места, целые склоны, а то и вся гора заваливается набок, разверзая скрытую толщу земли. И ужасаются люди — какое бедствие таилось под ногами. Опасность оползней в том,

что катастрофа назревает незаметно, изо дня в день, ибо грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу пород — и достаточно небольшого сотрясения земли, грома или сильного ливня, чтобы гора начала медленно и неуклонно ползти вниз. Обычный обвал совершается внезапно и разом. Оползень же идет грозно, у всех на виду, и нет никаких сил, которые могли бы его приостановить…

Нечто подобное может произойти и с человеком, когда остается он один на один со своими неодолимыми противоречиями и мечется, сокрушаясь духом, не смея поведать о том никому, ибо никто на свете не в состоянии ни помочь ему, ни понять. Он об этом знает, это страшит его. И это надвигается на него…

Первый раз Едигей почувствовал в себе такое и явственно осознал, что это значило, когда месяца два спустя после поездки с Зарипой в Кумбель снова поехал туда по делам. Он обещал Зарипе заглянуть на почту, узнать, есть ли письма для нее, и если нет, послать три телеграммы по трем адресам, которые она ему вручила. До сих пор ни на одно свое письмо она не получила ответа от родственников. И теперь она хотела просто знать, получили они эти письма или нет, в те-

леграммах она так и писала — убедительная просьба сообщить, получены ли вами письма, только да или нет, ответ на письма необязателен. Выходило, братья и сестры не желали даже по почте связываться с семьей Абуталипа.

Едигей выехал на своем Буранном Каранаре поутру, с тем чтобы к вечеру уже обернуться. Конечно, когда он отправлялся один, без поклажи, любой знакомый машинист с радостью прихватывал его с собой, а там через полтора часа и Кумбель. Однако он стал остерегаться таких поездок на проходящих поездах из-за Абуталиповых ребят. Оба они, и старший и младший, все так же изо дня в день ждали у железной дороги возвращения отца. В их играх, разговорах, загадках, рисунках, во всем их немудреном ребяческом бытии ожидание отца было сутью жизни. И, несомненно, самой авторитетной фигурой для них в тот период был дядя Едигей, который, по их убеждениям, должен был все знать и помочь им.

Едигей и сам понимал, что без него на разъезде ребятам будет еще тягостней и сиротливей, и поэтому почти все свободное время пытался чем-то занять их, отвлечь постепенно от напрасных ожиданий. Памятуя о завещании Абуталипа рассказывать мальчишкам о море, он вспоминал

все новые и новые подробности своего детства и рыбацкой молодости, всякие были и небыли Аральского моря. Как умел приспосабливал эти рассказы для малышей, но всякий раз удивлялся их способности — смышлености, впечатлительности, памяти. И очень был доволен тем — сказывалось в них отцовское воспитание. Рассказывая, Едигей ориентировался прежде всего на младшего, Эрмека. Однако младший вовсе не уступал старшему, и среди всех четырех его слушателей — детей обоих домов — был он для Едигея самым близким, хотя Едигей старался не выделять его. Эрмек оказался наиболее заинтересованным слушателем и самым лучшим истолкователем его рассказов. О чем бы ни шла речь, любое событие, любой интересный поворот в действии он связывал с отцом. Отец для него присутствовал во всем и всюду. Идет, например, такой разговор:

«А на Аральском море есть такие озера у берегов, где растут густые камыши. А в тех камышах прячутся охотники с ружьями. И вот утки летят весной на Аральское море. Зимой они жили на других морях, где теплее было, а как стаяли льды на Арале, летят побыстрей и днем и ночью, потому что очень соскучились по здешним местам.

Летят они большой стаей, хотят поплавать в воде, искупаться в пути, покувыркаться, все ниже и ниже подлетают к берегу, а тут дым и огонь из камышей, пах-пах! То палят охотники. Утки с криком падают в воду. А другие в испуге улетают на середину моря и не знают, как быть, где теперь жить. И кружатся там над волнами, кричат. Ведь они привыкли плавать у берегов. А к берегам приближаться боятся.

— Дядя Едигей, но ведь одна утка сразу улетела назад, туда, откуда она прилетела.

— А зачем она туда улетела?

— Ну как же, ведь мой папика там матрос, он плавает там на большом корабле. Ты ведь сам говорил, дядя Едигей.

— Да, правильно, а как же, — вспоминает Едигей, попав впросак. — Ну и что потом?

— А эта утка прилетела и сказала моему папике, что охотники спрятались в камышах и стреляли в них» И что им негде жить!

— Да, да, это ты верно.

— А папика сказал той утке, что скоро он приедет, что на разъезде у него два мальчика — Даул и Эрмек, и еще есть дядя Едигей. И когда он приедет, мы все соберемся и пойдем на Аральское море и прогоним из камышей охотников, которые

стреляют в уток. И снова уткам будет хорошо на Аральском море… Будут плавать в воде и кувыркаться вот так, через голову…

Когда рассказы истощались, Буранный Едигей прибегал к гаданиям на камнях. Теперь он постоянно носил при себе сорок один камушек величиной с крупный горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою старинную терминологию. Когда Едигей раскладывал камушки, приговаривая и заклиная, чтобы они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по имени Абуталип, где он, и скоро ли дорога ляжет перед ним, и что на челе у него и что на душе, ребята сосредоточенно молчали, неотрывно следя за тем, как располагались камни. Как-то раз Едигей услышал какое-то шебаршение, тихий разговор за углом. Заглянул осторожно. То были Абуталиповы ребята. Эрмек теперь сам гадал на камнях. Раскладывая их как умел, он при этом каждый камушек подносил ко лбу и к губам и каждый заверял:

— И тебя я люблю. Ты тоже очень умный, хороший камушек. И ты не ошибайся, не спотыкайся, говори честно и прямо, так же как говорят камушки дяди Едигея. — Потом он принялся истолковывать старшему брату значение расклада,

в точности повторяя сказ Едигея. — Вот видишь, Даул, общая картина неплохая, совсем неплохая. Вот это дорога. Дорога немного затуманена. Туман какой-то стоит. Но это ничего. Дядя Едигей говорит, это дорожные неурядицы. В пути не без этого. Отец все время собирается в путь. Он хочет сесть в седло, но подпруга ослабла немного. Вот видишь, подпруга не затянута. Ее надо подтянуть покрепче. Значит, что-то еще задерживает отца, Даул. Придется подождать. А теперь посмотрим, что на правом ребре, что на левом ребре. Ребра целы. Это хорошо. А на лбу что у него? На лбу хмурость какая-то. Очень он беспокоится о нас, Даул. На сердце, вот видишь этот камушек, на сердце боль и тоска — очень он соскучился по дому. Скоро ли в путь? Скоро. Но одна подкова на заднем копыте коня болтается. Значит, надо перековать. Придется подождать еще. А что в переметных сумах? О, в сумах покупки с базара! А теперь — будет ли ему доброе расположение звезд? Вот видишь, эта звезда — Золотая коновязь. А от нее пошли следы. Они еще не совсем ясные. Значит, предстоит скоро отвязать коня и двинуться в путь…

Буранный Едигей незаметно отошел, растроганный, огорченный и удивленный всем этим. С

того дня он стал избегать гадания на камнях…

Но дети детьми, их можно было еще как-то утешить, обнадежить, а если на то пошло, взять на себя такой грех — обмануть до поры до времени. Но еще одна кручина-дума поселилась в душе Буранного Едигея. В тех обстоятельствах и в той цепи событий она должна была возникнуть, она, как тот оползень, должна была когда-то стронуться с места, и остановить ее он не смог…

Очень он переживал за нее, за Зарипу. Хотя и не было между ними никаких иных разговоров помимо обычных житейских, хотя никогда и ни в чем не давала она тому повода, Едигей постоянно думал о ней. Но он не просто жалел ее, сочувствовал, как любой и каждый, не просто сострадал ей оттого, что все видел и знал, какие беды обступали ее. Он думал о ней с любовью и внутренней готовностью стать для нее человеком, на которого она могла бы положиться во всем, что касалось ее жизни. И он был бы счастлив, если бы узнал, что она, допустим, так и полагает, что именно он, Буранный Едигей, самый преданный и самый любящий ее человек на свете.

То было мучительно — делать вид, что ничего особенного он к ней не испытывает, что между ними ничего не может и не должно быть!..

По пути в Кумбель всю дорогу он был занят этими размышлениями. Изводился. По-разному думалось. Испытывал странное, переменчивое состояние духа как бы в ожидании то ли скорого праздника, то ли неминуемой болезни. И в этом его состоянии ему казалось порой, что снова он находится на море. На море человек всегда чувствует себя по-другому, не как на земле, даже если все спокойно вокруг и, казалось бы, ничего не грозит. Как ни раздольно, как ни отрадно подчас бороздить по волнам, пусть и занимаясь нужным делом на плаву, как ни красивы отражения закатов и зорь на водной глади, но все равно надо возвращаться к берегу, к тому или иному, но к берегу. Вечно на плаву не пробудешь. А на берегу ждет совсем иная жизнь. Море — временно, сушь постоянна. Или, если страшно приставать к берегу, надо найти остров, высадиться на нем и знать, что здесь твое место и здесь ты должен быть всегда. И ему даже представилось: нашелся бы такой остров, забрал бы он Зарипу с детишками и жил бы там. И к морю приучил бы ребят, и сам до конца дней провел бы жизнь на острове посреди моря, не сетуя на судьбу, а лишь радуясь. Только бы знать, что в любое время можешь ее видеть и быть для нее нужным, желанным, самым родным

человеком…

Но тут же стало стыдно от таких желаний — он почувствовал, как в краску кинуло, хотя за сотни километров вокруг и духу человеческого близко не было. Размечтался, как пацан, на остров захотелось, а с чего бы, спрашивается, с какой стати? И это он смеет так грезить, он, повязанный по рукам и ногам всей жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой, наконец, сарозеками, к которым прирос, сам того не замечая, душой и телом… Да и нужен ли он Зарипе, пусть худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе такое, почему он должен быть ей мил? Насчет ребят он не сомневался — он в них души не чаял, и они тянулись к нему. А с чего Зарина стала бы того желать?! Да и имеет ли он право, чтобы об этом думать, когда жизнь давно поставила его крепко-накрепко на место, где ему наверняка пребывать до скончания дней…

Буранный Каранар шел знакомой тропой, много раз хоженной, и, зная, сколько еще предстоит пути, без принуждений со стороны хозяина трусил ходкой пробежкой, покрикивая и тяжко постанывая на бегу, покрывая резвым шагом немеренные сарозекские расстояния, по весенним увалам, логам, мимо иссохшего некогда

соленого озера. А Едигей, сидя на нем, страдал, кручинился, занятый собою… И настолько переполняли его эти противоречивые чувства, что не находил он себе места и душа его не находила приюта в немеренных пространствах Сары-Озеков… Так невмоготу было ему…

С таким настроением прибыл он в Кумбель. Хотелось, конечно, чтобы Зарина получила наконец ответы на свои письма от родственников, но при мысли, что родственники могут приехать за осиротевшей семьей и увезти ее в свои края или вызвать к себе, Едигею становилось совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему опять ответили, что никаких писем для Зарипы Куттыбаевой не приходило. И он неожиданно для себя обрадовался этому. Мелькнула даже какая-то нехорошая, дикая мысль против совести: «Вот и хорошо, что нет». Потом он добросовестно выполнил ее поручение — отправил три телеграммы по трем адресам. С тем вернулся к вечеру…

Весна тем временем сменялась летом. Уже пожухли, повыгорели сарозеки. Отошла трава-мурава как тихий сон. Желтая степь снова стала желтой. Накалялся воздух, день ото дня приближалась жаркая пора. А от родственников Куттыбаевых все так же не было ни слуху ни

духу. Нет, не откликнулись они ни на письма, ни на телеграммы. А поезда катились через Боранлы-Буранный, и жизнь текла своим чередом…

Зарипа уже и не ждала ответов, поняла, что нечего рассчитывать на помощь родных, что не стоит обременять их больше письмами и призывами о помощи… И, убеждаясь в этом, женщина впадала в молчаливое отчаяние — куда было двинуться теперь, как быть?.. Как сказать детям об их отце, с чего начинать, как перестраивать сокрушенную жизнь? Ответа пока не находила.

Быть может, не меньше, чем сама Зарипа, переживал за них Едигей. Переживали все боранлинцы, но Едигею-то было более чем ведомо, как обернулась трагедия этой семьи лично для него. Он уже не мог отделить себя от них. Изо дня в день он жил теперь судьбой этих ребят и Зарипы. И тоже был в напряженном ожидании — что теперь будет с ними, и тоже был в молчаливом отчаянии — как теперь быть им, но ко всему этому он еще постоянно думал, все время мучительно думал: а как быть самому, как сладить с собой, как заглушить в себе чувство, зовущее к ней? Нет, и он не находил никакого решения… Не предполагал он никогда, что придется столкнуться в жизни и с таким…

Много раз Едигей хотел решиться признаться ей, сказать откровенно и прямо, как любит ее и что готов все тяготы ее взять на себя, потому что не мыслит себя отдельно от них, но как было это сделать? Каким образом? Да и поймет ли она его? Совсем ведь женщине не до этого, когда такие беды обрушились на ее одинокую голову, а он, видите ли, полезет со своими чувствами! Куда это годится? Постоянно думая об этом, он мрачнел, терялся, ему стоило немалых усилий оставаться внешне таким, каким ему подобало быть на людях.



Однажды он все же сделал такую попытку. Возвращаясь с обхода по перегону, заметил еще издали, что Зарипа пошла с ведрами к цистерне

за водой. Его толкнуло к ней, И он пошел. Не потому, что был удобный случай, вроде бы ведра поднести. Почти через день, а то и ежедневно работали они вместе на путях, разговаривать могли сколько угодно. Но именно в ту минуту почувствовал Едигей неодолимое желание подойти к ней немедленно и сказать то, что просилось наружу. Он подумал даже сгоряча, что это к лучшему, — пусть не поймет, пусть отвергнет, но зато остынет, успокоится душа… Она не видела и не слышала его приближения. Стояла спиной, отвернув кран цистерны. Одно ведро было уже наполнено и отставлено в сторону, а под струей стояло второе, из которого вода уже переливала через край. Кран был открыт до отказа. Вода пузырилась, выплескивалась, натекала вокруг лужей, а Зарипа точно бы не замечала ничего, стояла понуро, прислонившись плечом к цистерне. Она была в ситцевом платьице, в котором прошлым летом встречала большой ливень. Едигей разглядел прядки вьющихся волос на виске и за ухом, ведь Эрмек был кудрявым в нее, осунувшееся лицо, истончившуюся шею, опустившееся плечо и брошенную на бедро руку. Шум ли воды заворожил ее, напомнив горные речки и арыки Семиречья, или просто ушла в себя, застигнутая

в ту минуту горьким раздумьем? Бог знает. Но только Едигею стало невыносимо тесно в груди оттого, что все в ней было до бесконечности родным, от желания немедленно приласкать ее, оберечь, защитить от всего, что угнетало. Но делать это было нельзя. Он лишь молча закрутил вентиль крана, остановил льющуюся воду. Она обратила на него без удивления долго возникающий взгляд, как будто он находился не возле, а где-то очень далеко от нее.

— Ты чего? Что с тобой? — молвил он участливо. Она ничего не сказала, усмехнулась только углами губ и неопределенно приподняла брови над проясняющимися глазами, говоря этим: ничего, мол, так себе…

— Тебе худо, что ли? — снова спросил Едигей.

— Худо, — призналась она, тяжело вздохнув.

Едигей растерянно подвигал плечами.

— Зачем ты так изводишься? — упрекнул он ее, хотя собирался говорить не об этом. — Сколько можно? Ведь этим не поможешь. И нам тяжко (он хотел сказать — и мне) смотреть на тебя и детям трудно. Пойми. Не надо так. Надо что-то делать, — говорил он, стремясь подобрать слова, которые, как того хотел он, должны были бы сказать ей, что именно он больше чем кто-либо на

свете переживает и любит ее. — Ты вот сама подумай. Ну не отвечают на письма, так бог с ними, не пропадем. Ведь с тобой мы (он хотел сказать — я) все тут как свои. Ты только не падай духом. Работай, держись. А ребята поднимутся и здесь, среди нас (он хотел сказать — со мной). И все образуется понемногу. Зачем тебе куда-то уезжать? Мы все здесь как свои. А я, ты сама знаешь, без детишек твоих дня не живу. — И умолк, потому что раскрылся настолько, насколько позволяло его положение.

— Я все понимаю, Едике, — ответила Зарипа. — Спасибо, конечно. Я знаю, в беде не бросите. Но нам надо выбираться отсюда. Чтобы позабыли дети все, что и как тут было. И тогда я должна буду сказать им правду. Сам понимаешь, так долго не может продолжаться… Вот и думаю, как быть…

— Так-то оно так, — вынужден был согласиться Едигей. — Только ты не спеши. Подумай еще. Ну куда ты с этими малолетками? А я как подумаю, мне страшно, как я тут без вас буду…

И действительно, очень страшился за них, за нее и за ребят, и оттого не пытался заглянуть дальше, чем в завтрашний день, хотя тоже понимал, что долго так продолжаться не могло. А через несколько дней после этого разговора

был еще случай, когда он выдал себя с головой и долго каялся, мучился после этого, не находя себе оправдания.

С той памятной поездки в Кумбель, когда Эрмек, испугавшись парикмахера, не дал себя подстричь, прошло много месяцев. Мальчик так и ходил нестриженый, весь в черных кудряшках, и хотя вольные кудри украшали его, но подстричь упрямого трусишку давно было пора. Едигей при случае то и дело утыкался носом в пушистое темя мальчонки, целуя его и вдыхая запах детской головы. Однако волосы доходили Эрмеку уже до плеч и мешали ему в играх и беготне. Как, должно быть, непривычна, чужда и непонятна была для малыша сама необходимость стрижки. Потому он не давался никому, а Казангап, видя это, сумел уговорить его. Припугнул даже немного — что, мол, козлята не любят длинноволосых, бодать будут.

Дел там было — что тебе мировая трагедия! Потом Зарипа рассказывала, что начать-то стричь начали, но с трудом большим докончили. Уж и не чаяли, как быть! Плакать, вырываться стал Эрмек, пришлось Казангапу по-настоящему силу применить. Зажал его между ног и обработал машинкой. Рев стоял на весь разъезд. А

когда закончилась стрижка, добрая Букей, чтобы успокоить ребенка, сунула ему зеркало. На, мол, посмотри, какой ты хорошенький стал. Мальчик глянул, не узнал себя и еще больше заорал. Таким, ревущим во всю мочь, уводила его Зарипа с Казангапова двора, когда повстречался на тропинке Едигей.

Наголо остриженный Эрмек, совершенно не похожий на себя, с оголившейся тонкой шеей, с оттопыренными ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к Едигею с плачем.

— Дядя Едигей, посмотри, что они сделали со мной!

И если бы прежде сказали Буранному Едигею, что с ним произойдет такое, ни за что бы не поверил. Он подхватил малыша на руки и, прижимая его к себе, всем существом своим воспринял его беду, его беззащитность, его жалобу и доверие, как будто все это произошло с ним самим, он стал целовать его и приговаривать срывающимся от горечи и нежности голосом, не понимая толком смысла своих слов:

— Успокойся, родной мой! Не плачь. Я никому не дам тебя в обиду, я буду тебе как отец! Я буду любить тебя как отец, только ты не плачь! — И, глянув на Зарину, которая замерла перед ним

сама не своя, понял, что перешагнул какую-то запретную черту, и растерялся, заспешил, удаляясь от нее с мальчиком на руках, бормоча в замешательстве одни и те же слова. — Не плачь! Вот я сейчас этого Казангапа, я вот, сейчас я ему покажу! Я ему покажу, вот я сейчас этого Казангапа, я ему покажу! Вот я сейчас, я ему покажу!..

Несколько дней после этого Едигей избегал Зарипу. Да и она, как понял он, уходила от встречи с ним. Каялся Буранный Едигей, что так нелепо проговорился, что смутил ни в чем не повинную женщину, у которой и без этого хватало забот и тревог. Каково было ей в ее положении — сколько боли добавил он к ее горестям! Ни прощения, ни оправдания не находил себе Едигей. И на долгие годы, быть может до последнего вздоха, запомнил он то мгновение, когда всем существом своим ощутил приникшего к нему беззащитного обиженного ребенка, и как дрогнула в нем душа от нежности и горечи, и как смотрела на него Зарипа, пораженная этой сценой, как глядела она на него с немым криком скорби в глазах.

Умолк на какое-то время Буранный Едигей после этого случая и все то, что вынужден был в себе затаить, заглушить, перенес на ее детей. Иного способа не находил. Он занимал их всякий раз,

когда был свободен, и все продолжал рассказывать им, многое повторяя и многое припоминая заново, о море. То было самой любимой темой у них. О чайках, о рыбах, о перелетных птицах, об аральских островах, на которых сохранились редкие животные, уже исчезнувшие в других местах. Но в разговорах с ребятами припоминал Едигей все чаще и все настойчивей собственную быль на Аральском море, единственное, что он предпочитал не рассказывать никому. То было вовсе не детским делом. Знали о том только двое, только он и Укубала, но и между собой они никогда не заговаривали об этом, ибо то было связано с их умершим первенцем. Будь он жив, тот младенец, был бы он сейчас гораздо старше боранлинской детворы, старше даже Казангапова Сабитжана года на два. Но не выжил. А ведь всякого ребенка ждут с надеждой, что родится он и будет долго жить, очень долго, даже трудно представить себе, как долго, а иначе стали бы разве люди рожать детей?..

В ту рыбацкую бытность его, в молодые годы, незадолго до войны пережили они с У ку бал ой удивительный случай. Такое бывает, должно быть, лишь однажды и никогда не повторяется.

С тех пор как они поженились, Едигею в море

все время хотелось побыстрей вернуться домой. Он любил Укубалу. Он знал, что она его тоже ждет. Более желанной женщины для него тогда не было. И вот это желание побыстрей вернуться к ней томило его и занимало целиком мысли. Ему подчас казалось, что он существует, собственно, для того, чтобы все время думать о ней, вбирать, накапливать в себе силу моря и силу солнца и отдавать затем себя ей, ждущей его жене, ибо из этой отдачи возникало обоюдное счастье, сердцевина счастья — все остальное внешнее лишь дополняло и обогащало их счастье, их взаимное упоение тем, что было даровано ему солнцем и морем. И когда она почувствовала, что в ней что-то произошло, что она забеременела и скоро быть ей матерью, к постоянным ожиданиям встреч после моря прибавилось ожидание будущего первенца. То была безоблачная пора в их жизни.

Поздней осенью, уже перед началом зимы на лице Укубалы начали проступать различимые при внимательном взгляде коричневые пятна. И уже обозначился, округлился живот. Однажды она спросила его, какая из себя рыба алтын мекре. «Слышать слышала о ней, но никогда не видела». Он сказал ей, что это очень редкая рыба из осетровых, глубоководная, довольно крупная,

но достоинство ее больше в красоте — сама рыба синевато-крапчатая, а темя, плавники и хрящевой гребень по спине — от головы до кончика хвоста — как из чистого золота, дивно как светится золотым блеском. Оттого и название имеет — алтын мекре, золотой мекре.

В следующий раз Укубала сказала, что ей приснился во сне золотой мекре. Рыба будто бы плавала вокруг нее, а она пыталась ее изловить. Ей очень того хотелось — поймать рыбу, а затем отпустить. Но обязательно подержать рыбу в руках, ощутить ее золотую плоть. Ей до того хотелось потискать ту рыбину, что во сне она погналась за ней. А рыбина не давалась, и, проснувшись, Укубала долго не могла успокоиться, испытывая странную досаду, будто и в самом деле не удалось ей достигнуть какой-то важной цели. Укубала посмеялась над собой, но и наяву ей все так же нестерпимо хотелось изловить золотого мекре.

А Едигей это понял, думал об этом, выгребая сети из моря, и, как оказалось потом, правильно истолковал значение ее желания, возникшего во сне и не исчезнувшего в яви. Он понял так, что ему предстоит во что бы то ни стало добыть золотого мекре, ибо то, что испытывала беременная

Укубала, было ее талгаком[19]. Многие женщины на сносях чувствуют такую неудовлетворенность, их талгак проявляется в том, что они хотят съесть чего-то кислого, соленого, очень острого или горького, а иные страсть как хотят жареного мяса какого-нибудь дикого зверя или птицы. Едигей не удивился талгаку жены. Жена промыслового рыбака и должна была пожелать то, что имело отношение к занятию мужа. Ей сам бог велел захотеть увидеть воочию и ощутить в руках золото той большой рыбы. Понаслышке Едигей знал, что если талгак беременной женщины останется неутоленным, то это может привести к вредным последствиям для ребенка в утробе.

Талгак же Укубалы оказался настолько необыкновенным, что она сама не посмела признаться в этом прямо, а Едигей не стал уточнять, не стал допытываться, потому что неизвестно было, сможет ли он добыть такую редкую рыбу. Решил вначале поймать ее, а уж потом выяснить, это ли было ее страстью.

К тому времени большой сезон рыболовства на Аральском море был уже на исходе — разгар сезона от июля по ноябрь. Зима дышала уже в

[19] Примечания: 19

Талгак — потребность беременной женщины в особой на вкус еде, утоление некоего желания.

лицо. Артель готовилась к зимнему промыслу, подледному лову, когда море на всем своем полуторатысячекилометровом по кругу пространстве покроется крепким льдом и придется бить огромные проруби, запускать туда об-груженные сети и тянуть их со дна морского воротом от одной проруби к другой с помощью упряжных верблюдов, этих незаменимых степных тягачей…

И ветер будет вьюжить, а рыба, что попадет в сети, не успеет и шевельнуться, когда ее выпростают наверх, закаменеет сразу, покроется ледяным панцирем на открытом аральском холоде… Но сколько ни приходилось Едигею зимой и летом ловить с артелью рыбу и ценных и малоценных пород, однако не помнил, чтобы золотой мекре когда-нибудь попадался в сети. Эту рыбу удавалось изредка взять на крючок или блесну, и это было событием для рыбаков. О нем говорили потом, что такому-то повезло — вытащил золотого мекре.

В то раннее утро он отправился в море, сказав жене, что порыбачит для дома, пока еще лед не стал. Укубала отговаривала его накануне:

— Дома ведь полно всякой рыбы, стоит ли выходить! Холодно уже.

Но Едигей настоял на своем.

— Что дома, то дома, — сказал он. — Сама говоришь, тетка Сагын крепко слегла. Надо ее попользовать горячей свежей ухой, усачовой или жереховой. Самое первое средство. А кто ей, старой, наловит рыбы?

Под этим предлогом и двинулся с утра пораньше Едигей на добычу золотого мекре. Все снасти, все необходимые приспособления он тщательно продумал и приготовил заранее. Все это было уложено на носу лодки. И сам поплотней оделся, поверх всего плащ дождевой с капюшоном натянул и поплыл.

День бы неясный, неустойчивый, между осенью и зимой. Преодолевая под косым углом накат воды, Едигей направлял лодку веслами в открытое море, где, как он предполагал, должны быть места пастьбы золотого мекре. Все, конечно, зависело от везения, ибо нет ничего малопостижимее в охотничьем предприятии, нежели ловля морской рыбы на крючок. На суше, как бы то ни было, человек и его добыча находятся в одной среде, ловец может преследовать зверя, приближаясь, подкрадываясь, выжидая и нападая. Под водой ничего этого ловцу не дано. Опустив снасти, он вынужден ждать, появится ли рыба, и если появится, то накинется ли на приманку.

В душе Едигей очень надеялся, что должно ему повезти, ибо вышел он в море не ради промысла, как бывало всегда, а ради вещего желания беременной жены.

С тем и нагребал. Крепок и силен был молодой Едигей на веслах. Неутомимо, равномерно отталкиваясь от зыбкой текучей воды, выводил он лодку в море по извилистым, шатким волнам. Такие волны аральс кие рыбаки называют ийрек толкун — кривобокие волны. Ийрек тол куны — ранние предвестники грядущего шторма. Но сами по себе они неопасны, и можно было не страшась плыть подальше в море.

По мере удаления от земли берег с его крутым глинистым обрывом и каменистой полосой прибоя с края воды постепенно уменьшался, становясь все менее различимым, и вскоре превратился в смутную, временами исчезающую черту. Тучи неподвижно нависли сверху, а понизу держался заметно сквозящий ветер, лижущий водную рябь.

Часа через два Едигей остановил лодку, убрал весла, заякорился и стал устраивать снасти. У него были две катушки бечевы с самодельным устройством, застопоряющим лесу. Одну он приладил на корме, бечева с грузилом опустилась

через рогатину на глубину метров в сто, и в запасе оставалось метров двадцать. Другую установил таким же способом на носу. И затем снова взял в руки весла, для того, чтобы придерживать, подправлять лодку в нужном положении среди течений и ветра. И, главное, чтобы не спутались лесы между собой.

И с тем стал ждать. По его предположениям, именно в таких местах могла обитать эта редкая рыба. Доказательств тому не имелось, это была чистая интуиция. И, однако, он верил, что рыба должна появиться. Непременно, обязательно должна появиться. Без нее он не мог возвратиться домой. Она нужна ему была не ради забавы, а ради очень важного в его жизни дела.

Рыбы через некоторое время дали о себе знать. Но это были не те. Сначала поймался жерех. Когда Едигей его тянул, он знал, что это не золотой мекре. Не могло быть такого, чтобы с первого раза попался золотой мекре. Слишком просто и неинтересно стало бы жить на свете. Едигей согласен был потрудиться, подождать. Потом подцепился на крючок большой усач, одна из лучших рыб на Арале, если не самая лучшая. И того, оглушив, он бросил на дно лодки. Во всяком случае, на уху для больной тетки Сагын уже бы-

ло больше чем достаточно. И еще попался тран — аральский лещ. Какого черта его туда занесло? Обычно тран держится поверху. Но бог с ним, сам виноват. И после этого наступила длительная, тягостная пауза… «Нет, я дождусь, — сказал себе Едигей. — Хоть я и не говорил, но она знает, что я отправился за золотым мекре. И я должен его добыть, чтобы дите в утробе не изнывало. Это ведь дите хочет, чтобы мать увидела и подержала в руках золотого мекре. А почему оно того хочет, этого никто не знает. Мать тоже того жаждет, а я отец и я сделаю так, чтобы желание их утолить».

Пошаливали ийрек толкуны, крутили лодку, кривобокие, неверные, шаткие волны. Замерзать начал Едигей от малоподвижности и все время зорко следил за катушками с бечевой — не дернется ли, не поползет ли леса, покоящаяся на рогатине. Нет, ни на носу, ни на корме никаких признаков. Однако Едигей не терял терпения. Он знал, он верил, что должен прийти к нему золотой мекре. Только бы море потерпело малость — что-то уж больно крутят ийрек толкуны. К чему бы это? Нет, шторма не должно быть так скоро. Скорее всего к вечеру или к ночи поднимутся штормовые волны — алабаши, пестроголовые ревуны. И тогда закипит грозный Арал от края

и до края, белой пеной покроется, и никто не посмеет тогда сунуться в море. А пока еще можно, пока еще есть время…

Нахохлившись, замерзая и оглядываясь вокруг, ждал Едигей свою рыбу в море. «Что ж ты медлишь, вот, ей-богу, да ты не бойся, — подумал он о рыбе. — Не бойся, я говорю, я ведь тебя отпущу назад. Не бывает, говоришь, такого? А вот представь себе — бывает. Не для еды тебя я поджидаю. Еды и рыбы всякой полно дома. И вот на дне лодки лежат три рыбины. Стал бы я из-за еды выжидать тебя, золотой мекре! Понимаешь, первенец должен появиться у нас. А ты приснился недавно моей жене, и с тех пор она покой потеряла, хотя и не говорит об этом, но я-то все вижу. Я не могу объяснить, почему это так, но очень надо, чтобы она увидела тебя и подержала в руках, и я даю тебе слово, сразу же отпущу тебя в море. Тут дело такое, что ты особая, редкая рыба. У тебя золотое темя и хвост, и плавники, и хребет по спине тоже золотые. И ты войди в наше положение. Она жаждет увидеть тебя наяву, она хочет притронуться к тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь, золотой мекре. Не думай, что если ты рыба, то какое к нам имеешь отношение. Хотя ты и рыба, а она почему-то тоскует по тебе как по

сестре, как по брату, и хочется ей увидеть тебя, прежде чем родится ребенок. И дите в чреве будет довольно. Вот такое вот дело. Выручай, друг мой, золотой мекре. Подходи. Не обижу. Слово даю. Если бы я имел злой умысел, ты бы это почувствовал. На крючок, их два крючка, выбирай любой, я нацепил большой кусок мяса. Немного с запахом мясо, чтобы ты учуял издали. И ты подходи и не думай ничего плохого. Если бы я блесну подсунул тебе, тогда было бы нечестно, хотя ты скорее пошел бы на блесну. Но ведь ты же проглотишь блесну, и как ты будешь потом жить с железом в брюхе, когда я отпущу тебя в море? То было бы обманом. А я тебе честно предлагаю крючок. Немного поранятся губы, только и всего. И не беспокойся, я захватил с собой большой бурдюк. Туда я налью воды, и ты полежишь пока в бурдюке с водой, а потом уплывешь. Но я не уйду отсюда без тебя. А время не ждет. Разве ты не чувствуешь, как крепчают волны и ветер усиливается, разве ты хочешь, чтобы первенец мой родился сиротой, без отца? Подумай, помоги мне…»

Уже смеркалось в сизых просторах холодного предзимнего моря. То появляясь на гребнях волн, то исчезая между волнами, лодка шла к берегу. Трудно шла, борясь с бурунами, море уже шуме-

ло, вскипало исподволь, раскачивалось, набирая штормовую силу. Ледяные брызги летели в лицо, и руки на веслах взбухали от холода и влаги.

Укубала ходила по берегу. Давно уже, охваченная тревогой, она вышла к, морю и ждала мужа. Когда соглашалась идти замуж за рыбака, говорили ей степные сородичи-скотоводы: подумала бы, прежде чем слово дать, на тяжкую жизнь отваживаешься, выходишь замуж за море и придется не раз и не два умываться слезами у моря, мольбы к нему обращать. А она не отказала Едигею, только сказала: как муж, так и я буду…

Так оно и получилось. А в этот раз ушел он не с артелью, а один, и уже быстро смеркалось, и на море было шумно и неспокойно.

Но вот замелькали среди бурунов взмахи весел и лодка показалась на волне. Закутанная в платок, с выпирающим уже животом, Укубала подошла к самому прибою и ждала здесь, пока причаливал Едигей. Прибой вынес мощным толчком лодку на отмель. Едигей мигом соскочил в воду и вытащил лодку на берег, волоча ее, как бык. И когда он распрямился весь волглый и соленый, Укубала подошла и обняла его за мокрую шею под холодным, одеревеневшим плащом.

— Все глаза проглядела. Почему ты так долго?

— Он не появлялся весь день и только под конец приплыл.

— Как, ты ходил за золотым мекре?

— Да, я его упросил. Ты можешь посмотреть на него.



Едигей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк, наполненный водой, развязал его и выплеснул на прибрежную гальку вместе с водой

золотого мекре. То была большая рыба. Могучая и красивая рыба. Она бешено заколотила золотым хвостом, изгибаясь, подпрыгивая, разметая вокруг мокрую гальку, и, широко разевая розовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до родной стихии, до прибоя. На какую-то недолгую секунду рыба вдруг замерла напряженно, затихла, пытаясь освоиться, оглядывая немигающими безупречно круглыми и чистыми очами тот мир, в котором нечаянно очутилась. Даже в сумеречном предвечерье зимнего дня непривычный свет ударил в голову, и увидела рыба сияющие глаза людей, склонившихся над ней, кромку берега и небо и в очень далекой перспективе над морем различила за редкими облаками на горизонте нестерпимо яркий для нее закат угасающего солнца. Задыхаться начала. И рыба вскинулась. Заколотилась, закрутилась с новой силой, желая добраться до воды. Едигей поднял золотого мекре под жабры.

— Подставляй руки, держи, — сказал он Укубале. Укубала приняла рыбину, как ребенка, на обе руки и прижала ее к груди.

— Какая она упругая! — воскликнула Укубала, ощутив ее пружинистую внутреннюю силу. — А тяжелая, как полено! И как здорово пахнет морем!

И красивая какая! На, Едигей, я довольна, очень довольна. Исполнилось мое желание. Отпусти ее в воду поскорей…

Едигей понес золотого мекре к морю. Войдя по колено в набегающий прибой, он дал рыбе соскользнуть вниз. На какое-то короткое мгновение, когда золотой мекре падал в воду, отразилась в густой синеве воздуха вся золотая оснастка рыбы от темени до хвоста, и, блеснув, вспарывая воду стремительным корпусом, рыба уплыла в глубину…

А большой шторм разразился на море ночью. Ревело море за стеной, под обрывом. Еще раз убедился Едигей: неспроста возникают предвестники бури — ийрек толкуны. Была уже глубокая ночь. Прислушиваясь в полудреме к бушующему прибою, Едигей вспомнил о своем заветном мекре. Как-то его рыбе сейчас? Хотя, должно быть, на больших глубинах море не так сотрясается. В своей глубокой тьме рыба тоже прислушивается, наверно, к тому, как ходят волны поверху. Едигей счастливо улыбнулся при этом и, засыпая, положил руку на бок жены и услышал вдруг толчки в чреве. То давал о себе знать его будущий первенец. Едигей ласково улыбнулся и безмятежно уснул.

Знал бы, что не пройдет и года, как разразится война и все опрокинется в жизни, и уйдет он от моря навсегда и только будет о нем вспоминать… Особенно когда тяжелые дни наступят…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей…

В том страшном для Буранного Едигея пятьдесят третьем году и зима легла ранняя. Никогда такого не бывало в сарозеках. В конце октября уже заснежило, холода начались. Хорошо, что успел до того картошки завезти с Кумбеля себе и Зарипе с детьми. Как знал — поторопился. Последний раз пришлось на верблюде ехать, побоялся, что в проходящем товарняке картошка померзнет в открытом тамбуре, пока довезешь. Кому она тогда нужна. А так поехал на Буранном Каранаре, уложил на него вьюком два огромных мешка — самому не сладить было с мешками, хорошо, что люди подсобили, — один по одну сторону, другой по другую, а сверху утеплил мешки кошмой, подоткнул края, чтобы ветер не задувал, сам же взгромоздился на самый верх между мешками и

поехал спокойно к себе на Боранлы-Буранный. Сидел на Каранаре, как на слоне. Так думалось и самому Едигею. До этого никто здесь представления не имел о верховых слонах. Той осенью крутили на станции первый индийский фильм. Все кумбельцы от мала до велика повалили смотреть невиданную кинокартину о невиданной стране. В фильме, кроме бесконечных песен и танцев, показывали слонов, на тигров в джунгли выезжали охотиться, сидя на слонах. Едигею тоже удалось посмотреть ту картину. Были они с начальником разъезда на общепрофсоюзном собрании как делегаты от боранлинцев, вот тогда по окончании собрания в клубе депо показали им индийский фильм. С того и началось. Стали выходить из кино, разговоры разные возникали, и дивились железнодорожники, как в Индии на слонах ездят. А кто-то громко сказал на это:

— И что вам дались эти слоны, едигеевский Буранный Каранар чем хуже слона? Нагрузи — так он прет, как слон!

— И то верно, — засмеялись вокруг.

— Да что слон! — откликнулся еще голос. — Слон-то только в жарких странах может жить. А попробуй у нас по сарозекам зимой. Слон твой и копыта откинет, куда ему до Каранара!

— Слушай, Едигей, слушай, Буранный, а почему бы тебе не соорудить такую же будку на Каранаре, как в Индии на слонах? И будешь себе ездить как тамошний богач!

Едигей посмеивался. Подшучивали над ним друзья, но все же лестно было слышать такие слова о своем знаменитом атаке…

Зато досталось Едигею той зимой, попереживал погоревал из-за того же Каранара…

Но это случилось уже с холодами. А в тот день застиг его в пути первый снегопад. Снежок и до этого сыпал несколько раз и быстро таял. А тут зарядил, да еще как! Сомкнулось небо над сарозеками сплошным мраком, ветер закрутил. Густо, тяжело повалил снег белыми кружащимися хлопьями. Не холодно было, но мокро и неуютно. А главное — не различить ничего вокруг из-за снега. Что было делать? В сарозеках нет попутных пристанищ, где можно было бы переждать непогоду. Оставалось одно — положиться на силу и чутье Буранного Каранара. Он-то должен был привезти к дому. Едигей предоставил атану полную волю, а сам поднял воротник, нахлобучил шапку, укрылся капюшоном и терпеливо сидел, тщетно стараясь что-то различить по сторонам. Непроглядная завеса снега, и только… А Каранар

шел в той круговерти, не сбавляя шага и, должно быть, понимая, что хозяин сейчас ему не хозяин, потому и примолк, затих на вьюках и ничем уже не проявлял себя. Великой силой должен был обладать Каранар, чтобы с таким грузом бежать в степи по снегопаду. Могуче, жарко дышал, неся на себе хозяина, и кричал, рявкал, как зверь, а то завывал подолгу тягучим дорожным гудом и все шел неутомимо и безостановочно сквозь летящий навстречу снег…

Не мудрено — слишком длинным показался Едигею тот путь. «Скорее бы уж добраться», — думал он и представлял себе, как заявится и что дома наверняка беспокоятся, что с ним в такую непогоду. Укубала тревожится о нем, только не скажет об этом вслух. Она не из тех, кто выкладывает все, что в мыслях. Может быть, и Зарипа думает, что с ним? Конечно думает. Но она тем более звука не проронит, старается как можно меньше попадаться ему на глаза и избегает всяческих разговоров наедине. А что избегать, что, собственно, плохого такого произошло? Ведь ни словом, ни поступком каким не дал он, Едигей, повода к тому, чтобы кто-то мог подумать, будто что-то здесь не так. Как было прежде, так и есть. Просто они, оказавшись попутчиками в жизни,

словно бы оглянулись вдруг, той ли дорогой идут… И снова пошли. Вот и все. А каково приходится ему при этом, это уж его беда… Это его судьба — на роду, должно быть, так написано, что разрываться суждено как между двух огней. И пусть то никого не тревожит, это его дело, как быть с самим собой, с душой своей многострадальной. Кому какое дело, что с ним и что его ждет впереди! Не малое дитятко он, как-нибудь разберется, сам развяжет тугой узел, который затягивался все туже по его же вине…

Это были страшные мысли, мучительные и безысходные. Вот уже зима вступила в сарозеки, а он по-прежнему не мог ни забыть Зарину, ни отказаться хотя бы мысленно от Укубалы. На беду свою, он нуждался в обеих сразу, и они, вероятно, видя и зная это, не пытались торопить события, чтобы помочь ему побыстрей определиться. Внешне все обстояло как всегда — ровные отношения между женщинами, детвора обоих домов, как общая семья, вместе росла, постоянно вместе играли их дети на разъезде — то в том доме, то в этом… Так прошло лето и так минула осень…

Сиротливо и неприютно чувствовал себя Буранный Едигей в одиночестве среди снегопада. Мело, безлюдье кругом. Каранар то и дело стря-

хивал с головы налипающие комья снега и будил на бегу тишину рыком и выкликами. Худо было хозяину в том пути. Едигей ничего не мог поделать с собой, никак не удавалось ему успокоить, определить себя на чем-то одном, бесспорном и безусловном. Не мог начистоту открыться перед Зарипой, не мог отречься и от Укубалы. И тогда он начинал поносить, ругать себя последними словами: «Скотина! Х айв ан что ты, что твой верблюд! Сволочь! Собака! Дурья голова!» — и еще в том же духе, перемежая их крепким матом, бичевал себя, устрашал и оскорблял, чтобы отрезветь, чтобы прийти в себя, одуматься, остановиться… Но ничто не помогало… И был он что тот оползень, стронувшийся с места… Единственная отрада, которая ждала его, были дети. Они безоговорочно принимали его таким, какой он есть, и не ставили перед ним особых проблем. В чем помочь, что подвезти, что приладить по дому — это он для них готов был всегда с великим удовольствием, как и сейчас картошку вез им на зиму в двух огромных мешках, навьюченных на Каранара. Топливо тоже было запасено…

Мысли о детях были прибежищем для Едигея, там он оказывался в полном ладу с самим собой. Он представлял, как доберется до Боранлы-Буран-

ного, как выбегут мальчишки из дома, заслышав его приезд, и не загонишь их назад, хотя снег идет, и будут прыгать вокруг с громкими криками: «Дядя Едигей приехал! На Каранаре! Картошку привез!» — и то, как строго и властно прикажет он верблюду лечь ничком на землю и тогда, весь заснеженный, слезет с Каранара, отряхиваясь и успевая между делом погладить детишек по головкам, и как затем начнет разгружать мешки с картошкой и поглядывать, а не появится ли возле Зарипа, если она дома, он ей ничего не скажет особенного, да и она не скажет, он только посмотрит ей в лицо и будет тем доволен — и опять занедужит, закручинится, так что ж, куда от этого денешься, а ребятишки будут крутиться возле, путаться под руками, то и дело опасливо подбегая к нему, боясь верблюжьего рыка, и, преодолевая страх, будут пытаться ему помочь, и это принесет ему вознаграждение за все муки…

Внутренне он готовился к скорой встрече с Абута-липовыми ребятами, заранее думал: а что расскажет он им в этот раз, своим, как он их называл, ненасытным слухачам? Опять об Аральском море? Самые любимые рассказы — всякие случаи на море, которые они домысливают затем с непременным участием отца и тем самым

продолжают, сами того не ведая, держать связь с ним, с памятью о нем… Только вот все, что знал и слышал Едигей о морской жизни, истощилось, все уже много раз им было сказано и пересказано, кроме разве что истории с золотым мекре. А как поведать эту историю? Кому ее объяснить кроме как самому себе, знающему, что стоит за давнишним тем событием.

Так проделывал он путь в тот снегопадный день. Всю дорогу не покидали его сомнения, размышления… И всю дорогу шел снег…

С того снега и зима легла в сарозеках ранняя и студеная с первых шагов.

С началом холодов снова пришел в неистовство Буранный Каранар, снова взъярился, снова взбунтовалась в нем самцовая сила, и уже ничто и никто не мог посягать на его свободу. Тут и самому хозяину впору было отступиться, не лезть на рожон…

На третий день после снегопада промело сарозеки метельным морозным ветром, и встала сразу, как пар, напряженная мглистая стынь над степью. Далеко и отчетливо слышались по стуже скрипучие шаги, любой звук, любой шорох разносился с предельной ясностью. Поезда на перегоне слышались за многие километры. А когда

на рассвете услышал Едигей спросонья трубный рев Буранного Каранара в загоне и то, как он топтался и расшатывал со скрежетом изгородь за домом, понял, какая напасть снова пожаловала ко двору. Быстро оделся, вышел впотьмах, пошел к загону и раскричался, колюче обдирая глотку морозным вяжущим воздухом:

— Ты чего! Ты чего, опять конец света? Опять за свое? Опять кровь мою пить! Ах ты хайван! Замолчи! Заткнись, говорю! Что-то ты рано больно в этом году решил заняться этим делом. Не насмешил бы народ!

Но напрасно он тратил слова на ветер. Обуреваемый пробудившейся страстью, верблюд не думал считаться с ним. Он требовал своего, он орал, фыркал, устрашающе скрипел зубуми, ломал загон.

— Значит, учуял? — Хозяин сменил гнев на укоризну. — Ну ясное дело, тебе сейчас немедленно требуется бежать туда, в стадо. Учуял, что какая-то кайманча[20] в охоту пришла! Эх-эх! И почему только угораздило бога устроить ваше верблюжье отродье так, что в году только раз спохватываетесь о том, чем могли заниматься

---

[20] Примечания: 20
Кайманча — молодая верблюдица.

каждый день без шума и скандала? И кому тогда какое дело! Так нет, прямо конец света!..

Все это выговаривал Буранный Едигей больше для формы, чтобы не так обидно было, ибо он прекрасно понимал свою беспомощность. Ничего не оставалось, не сотрясать же воздух впустую, — открыл загон. И не успел он отодвинуть тяжеленную, в рост человека калитку из жердей, которую держал на крепкой цепи, как, едва не сшибя его с ног, Каранар ринулся вон и побежал в степь с яростным воплем и рыком, широко раскидывая цыбастые ноги и тряся тугими черными горбами. Мигом скрылся с глаз, взметая тучи снега за собой.

— Тьфу ты! — плюнул вслед хозяин и добавил в сердцах: — Беги, беги, дурак, а то опоздаешь!

Едигею с утра предстояло выходить на работу. Потому и пришлось смириться с бунтом Каранара. Знал бы, чем все это кончится, да разве отпустил бы его — ни за что, хоть лопнул бы. Но кто бы без него смог управляться дома с взбесившимся атаном? Пусть проваливает куда подальше. Понадеялся Едигей, что верблюд проветрится на воле, поостынет в нем горячая кровь, поуспокоится…

А в полдень пришел Казангап и сказал ему,

сочувственно усмехаясь:

— Ну, бай, худо твое дело. Только что на выпасе был. Твой Каранар пошел, как я думаю, в большой поход. Здешних каиманок ему уже маловато.

— Побежал, что ли, куда? Да ты не разыгрывай меня, скажи серьезно.

— Что тут несерьезного? Говорю тебе, потянуло его в другие стада. Что-то учуял зверюга. Ездил я глянуть, как там у нас. Только выехал за большую балку, смотрю, кто-то по степи бежит, аж земля гудит, — сам Каранар. Глаза выкатил, орет что есть мочи, слюни текут из пасти. И прет, как паровоз. Целая метель за ним. Думал, потопчет. Так он мимо меня пронесся, точно и не видит, что человек перед ним. Пошел в сторону Мала-кумдычапа. Там под обрывом ходят стада побольше, чем наше. Здесь ему теперь неинтересно. Для него теперь размах нужен. В самой силе скотина.

Едигей расстроился по-настоящему. Представил себе — сколько мороки будет, сколько неприятностей.

— Да ладно, успокойся. Найдутся в той стороне хорошие атаны, они ему бой дадут, вернется восвояси, как собака битая, куда он денется, — успокоил его Казангап.

На другой день уже стали поступать вести, как

сводки с фронта, о боевых действиях Буранного Каранара. Картина складывалась малоутешительная. Стоило остановиться поезду на Боранлы-Буранном, как машинист, или кочегар, или кондуктор наперебой рассказывали о бесчинствах и погромах Каранара, устраиваемых им в пристанционных и приразъездных верблюжьих гуртах. Передали, что на разъезде Малакумдычап Каранар забил до издыхания двух атанов и погнал перед собой в степь четырех маток, хозяевам с трудом удалось отбить их у Каранара. Люди из ружей стреляли в воздух. В другом месте Каранар согнал с верблюдицы ехавшего верхом хозяина. Хозяин, олух небесный, ждал часа два, думал, что позабавившись, атан с миром отпустит его верблюдицу, которая, кстати, вовсе не собиралась сама избавляться от этого нахала. Но когда человек стал приближаться к верблюдице, чтобы уехать на ней домой, Каранар кинулся на него зверь зверем и погнал его — и затоптал бы, если бы тот не успел спрыгнуть в глубокую промоину и затаиться там, как мышь, ни живой ни мертвый. Потом он пришел в себя, и выбравшись по оврагу подальше от места встречи с Буранным Каранаром, поспешил домой счастливый, что жив остался.

Поступали по устному телефону сарозекскому и другие подобные вести о свирепых похождениях Каранара, но самое тревожное и грозное сообщение прибыло в письменном виде с разъезда Ак-Мойнак. Вон куда подался, чертяка, — Ак-Мойнак, за станцией Кум-бель! Оттуда прислал свое послание некий Коспан. Вот что писалось в этой достопримечательной записке:

«Салем, уважаемый Едигей-ага! Хотя ты известный человек в сарозеках, но придется тебе выслушать неприятные вещи. Я-то думал, ты мужик покрепче. Чего ты распустил своего громилу Каранара? От тебя такого мы не ожидали. Он тут страх навел на нас великий. Покалечил наших атанов, а сам отбил трех лучших маток, к тому же прибыл он сюда не один — пригнал какую-то верблюдицу оседланную, видно согнал по пути хозяина, а не то зачем этой верблюдице пришлой быть под седлом. Так вот, отбил он этих маток, угнал их в степь *и* никого близко не подпускает — ни человека, ни скотину. Куда это годится? Один молодой атанча наш уже издох, ребра у него оказались переломаны. Я хотел выстрелами в воздух отпугнуть Каранара, забрать наших маток. Куда там! Ничего он не боится. Готов загрызть, изжевать заживо кого угодно! Только бы

не мешали ему заниматься его делом. Он не жрет, не пьет, кроет этих маток подряд, только земля ходуном ходит. Тошно смотреть, как он это зверски делает. И орет при этом на всю степь, словно конец света наступает. Сил нет слушать! И, сдается мне, он мог бы заниматься этим делом сто лет без продыху. Я такого изверга сроду не видывал. В нашем поселке все встревожены. Женщины и дети боятся далеко уходить от домов. А потому я требую, чтобы ты прибыл незамедлительно и забрал своего Каранара. Даю срок. Если через день не появишься и не избавишь нас от этого наваждения, то не серчай, дорогой ага. Ружье у меня крупнокалиберное. Такими пульками медведя валят. Прострелю ему ненавистную башку при свидетелях и делу конец. А шкуру пришлю попутным товарняком. Не посмотрю, что Буранный Каранар. А на слово я крепкий человек. Приезжай, пока не поздно.

Твой ак-мойнакский ини[21] Коспан».

Вот такие дела закрутились. Письмецо хотя и чудаком писанное, но предупреждение в нем вполне серьезное. Посоветовались они с Казангапом и решили, что Едигею придется немедленно

---

[21] Примечания: 21
Ини — младший брат, младший родич, земляк.

отправляться на разъезд Ак-Мойнак.

Сказать просто, сделать не так легко. Надо было добраться до Ак-Мойнака, изловить Каранара в степи да вернуться назад по таким холодам, и вьюга могла подняться в любой момент. Проще всего было одеться потеплее, сесть на проезжавший товарняк, а оттуда верхом. Но кто знает, как далеко ушел в степь Каранар со своим гаремом. Судя по тону письма, ак-мойнакцы могли быть так раздражены, что не дадут верблюда, придется в чужой стороне пешком гоняться по сугробам за Каранаром.

Утром Едигей двинулся в путь. Укубала наготовила ему еды на дорогу. Оделся он плотно. Поверх стеганых ватных штанов и телогрейки надел овчинную шубу, на ноги валенки, на голову лисий махалай-трилист-ник — такой, что ни с боков, ни сзади ветер не задувает, вся голова и шея в меху — на руки теплые овчинные рукавицы. А когда оседлывал он верблюдицу, на которой собрался ехать в Ак-Мойнак, прибежали Абута-липовы ребята, оба. Даул принес ему вязанный вручную шерстяной шарф.

— Дядя Едигей, мама сказала, чтобы у тебя шея не простыла, — сказал он при этом.

— Шея? Скажи, горло.

Едигей принялся от радости тискать ребят, целовать их, так растрогался, что и слов других не находил. Возликовал в душе, как малец, — это был первый знак внимания с ее стороны.

— Скажите маме, — сказал он детям при отъезде, — что скоро я вернусь, бог даст, завтра же прибуду. Ни минуты не стану задерживаться. И мы все соберемся и будем вместе пить чай.

Как хотелось Буранному Едигею поскорее добраться до злополучного Ак-Мойнака и сразу обернуться назад, чтобы поскорее увидеть Зарипу, глянуть в ее глаза и убедиться, что не случайным намеком был этот шарфик, который он бережно сложил и упрятал во внутренний карман пиджака. Когда уже выехал и потом, когда изрядно удалился от дома, едва удержался, чтобы не повернуть назад, бог с ним, с этим взбесившимся Каранаром, пусть пристрелит его на здоровье некий Коспан и пришлет его шкуру, в конце концов сколько можно нянчиться с диконравным верблюдом, пусть покарает его судьба. Пусть! Поделом! Да, были такие горячие порывы! Но постыдился. Понял, что дурак дураком будет, что опозорится в глазах людей, и прежде всего в глазах Укубалы, да и самой Зарипы. И остыл. Убедил себя, что только один у него способ утолить

нетерпение — поскорее добраться и поскорее вернуться.

С тем и погонял. Достаточно морозно было. Ветер тянул ровный и жесткий. На ветру иней обкладывал лицо, особенно мех лисьего малахая намерзал пушистой куржой. И такой же белой куржой оседало дыхание бурой верблюдицы шлейфом от шеи до самой холки. Зима, знать, входила в силу. Затуманились дали. Вблизи вроде нет тумана, а посмотришь — на краю видимости стоит туманность. Эта туманность все время как бы передвигалась перед ним по мере езды. Насколько к ней приблизится путник, настолько она отступит. Нелюдимо и сурово было в зимних са-розеках, застывших в ветреной белизне.

Молодая, но ходкая верблюдица шла под верхом неплохо, бодро взрыхляя целину. Но для Едигея это была не та езда, не та скорость. Будь то Каранар, совсем по-другому ехалось бы. У того дыхание куда мощнее и размах шага — не сравнить. Недаром ведь сказано еще исстари:

Чем лучше конь того коня?
Превосходящим ходом лучше.
Чем лучше батыр того батыра?
Умом превосходящим лучше…

Ехать было далеко и все время в одиночестве. Порядком истомился бы в пути Едигей, если бы не шарфик, подаренный Зарипой. Всю дорогу он ощущал присутствие этой вроде бы пустяковой вещицы. Сколько прожил уже на свете, а не предполагал, что такая мелочь может так согреть сердце, если исходит от любимой женщины. Тем и пробавлялся всю дорогу. Запуская руку за пазуху, поглаживал шарфик и блаженно улыбался. Но потом призадумался. Как же быть, как жить дальше? Впереди получался полный тупик. Как быть? Живой человек должен жить, видя перед собой цель и пути к этой цели. А их-то и не было.

И тогда скорбным туманом заволакивался взор Буранного Едигея, как те молчаливые сарозекские дали, затянутые морозной мглой. Не находил Едигей ответа, сокрушался, переживал, падал духом и снова обнадеживал себя безнадежными грезами…

И подчас становилось ему по-настоящему страшно в этом безмолвии и одиночестве. И почему такая жизнь выпала ему? Зачем он попал в сарозеки? Зачем объявилась на Боранлы-Буранном эта несчастная семья, гонимая судьбой? Не было бы всего этого — не знал бы никаких терзаний и жил бы себе спокойно и удобно. Так

нет, душа его невменяема, и хочет она того, что невозможно… А тут еще этот разбушевавшийся Кара-нар, тоже обуза, тоже кара божья, не везет. Нет, кроме шуток, не везет ему в жизни…

Прибыл Едигей на Ак-Мойнак уже почти к вечеру. Притомилась по пути верблюдица. Путь был далекий, да еще в зимнее время.

Ак-Мойнак — такой же разъезд, как Боранлы-Буранный, только вода у них тут своя, колодезная. А в другом особых отличий нет — те же сарозеки.

Подъезжая к Ак-Мойнаку, спросил Едигей у встретившегося на краю улочки малого, где, мол, тут Коспан. Тот ему сказал, что Коспан в этот час как раз на работе, дежурит по разъезду. Туда и направился Буранный Едигей. Подъехал к дежурке и собирался уже спешиться, как на крыльце появился среднего роста, бойкий, хитро ухмыляющийся мужичок в полушубке словно бы с чужого плеча, в стоптанных валенках, в старом треухе набекрень.

— А-а, Едигей-ага! Наш дорогой Боранлы-ага! — сразу узнал он Едигея, скатываясь с крыльца. — Значит, прибыл, а мы ждем-пождем. Думаем-гадаем, то ли приедет, то ли нет.

— Попробуй тут не приехать, — усмехнулся

Едигей, — когда такое грозное письмо прислали.

— А как же иначе! Ну, письмо еще полбеды, Едигей-ага. Письмо — это бумажка. А тут дела такие, что надо тебе срочно избавлять нас от своего Каранара, а то мы тут как в блокаде. В степь ходу нам нет. Завидит кого издали — бежит как бешеный, готов изувечить! Что за паразит! Страшно иметь такого атана. — Он умолк, оглядел верхового Едигея и добавил: — Только я смотрю, как ты будешь с ним управляться, голыми руками, что ли!

— Зачем голыми руками? Вот мое оружие. — Едигей достал из переметной сумки навернутый на кнутовище бич.

— Вот этой плеткой, что ли?

— А что же, пушку, что ли, прикажешь иметь против верблюда?

— Да мы тут с ружьями не смеем. Не знаю, может, конечно, признает тебя за хозяина, тогда... Только вряд ли, глаза его в дыму.:.

— Ну, это посмотрим, — отвечал Едигей. — Что время терять. Должно быть, ты и есть тот самый Коспан. Если так, то веди меня, покажи, где он там, а остальное оставь мне.

— Это не так близко, — сказал Коспан и стал оглядываться по сторонам, а потом посмотрел

на свои часы. — Вот что, Едигей-ага, поздно уже. Пока доберемся туда, свечереет. А куда ты потом на ночь глядя? Нет, так не пойдет. Таких людей, как ты, не всегда зазовешь в гости. Будь нашим гостем. А с утра — как душе твоей угодно.

Такого оборота Едигей не ожидал. Он-то рассчитывал, если удастся изловить Каранара, сегодня же ночью добраться до Кумбеля, там заночевать возле станции у знакомых, а на рассвете двинуться пораньше домой. Видя, что Едигей намеревается уехать, Коспан решительно запротестовал:

— Нет, Едигей-ага, так не пойдет. За письмо прости, но другого выхода не было. Житья не стало. Только я не отпущу тебя. Если, не дай бог, случится что ночью в безлюдной зимней степи, не хочу быть черноликим на все Сары-Озеки. Оставайся, а утром как хочешь. Вон мой домик, с краю. У меня еще полтора часа дежурства. Будь как у себя. Располагайся. Верблюдицу ставь в загон. Корм будет. Вода у нас своя, вволю.

Быстро потемнело тем зимним днем. Коспан и его семья оказались чудесными людьми. Старуха мать, жена, мальчик лет пяти (старшая девочка училась, оказывается, в кумбельском интернате) и сам Коспан были заняты только тем, чтобы

угодить гостю. В доме было жарко натоплено, по-особому оживленно. На кухне уваривалось мясо зимнего забоя. Тем временем пили чай. Старуха мать сама наливала пиалы Буранному Едигею и все расспрашивала про семью, про детей, про житье-бытье, про погоду, да откуда, мол, родом-племенем, да сама, в свою очередь, рассказывала, когда и и как прибились они на разъезд Ак-Мойнак. Едигей охотно отзывался на разговоры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал ломтиками горячих лепешек и отправлял в рот. Коровье масло в сарозеках редкость. Овечье, козье, верблюжье масло тоже неплохое дело, но коровье все же вкуснее. А им прислали коровьего масла их родственники с Урала. Едигей, уплетая лепешки с этим маслом, уверял, что чувствует даже запах луговых трав, чем очень покорил старуху, и она принялась рассказывать о родине своей — о яицких[22] землях, о тамошних травах, лесах и реках…

Тем временем пришел начальник разъезда — Эрлепес, приглашенный Коспаном по случаю приезда Буранного Едигея. С приходом Эрлепеса начался само собой мужской разговор о службе,

---

[22] Примечания: 22

Яицких — от слова «Жайык» (раздольная, широкая), так казахи называли прежде реку Урал.

о транспорте, о заносах на путях. С Эрлепесом Едигей был немного знаком и прежде, тот давно уже работал на железной дороге, а теперь привелось познакомиться поближе. Эрлепес был старше Едигея. Начальником Ак-Мойнака он сидел с конца войны и чувствовалось, что к нему на разъезде относились с уважением.

Уже ночь стояла за окнами. Как и на Боранлы-Буранном, то и дело проходили с шумом поезда, позвякивали стекла, ветер посвистывал в оконных створках. И все-таки это было совсем другое место, хотя и по той же железной дороге в сарозеках, и Едигей был среди совсем других людей. Здесь он был гостем, хотя приехал из-за сумасбродного Каранара, но все равно его встретили достойно.

С приходом Эрлепеса Едигей почувствовал себя тем более на своем месте. Эрлепес был интересным собеседником, хорошо знавшим казахскую старину. Разговор вскоре перешел на былые времена, на знаменитых людей, на знаменитые истории. Очень расположился в тот вечер Едигей к новым ак-мойнакским друзьям. К этому располагали его не только беседы, но и радушие хозяина и хозяйки и в немалой степени хорошее угощение и выпивка. Водка была. С мороза и с

дороги Едигей выпил полстакана, закусил из выставленных на низеньком круглом столе солений вяленым оркочем — горбьим салом молодой верблюжатины, — и благодать разлилась по телу, умиляя и углаживая душу. Захмелел малость Буранный Едигей, оживился, заулыбался. Эрлепес тоже позволил себе выпить в честь гостя и тоже чувствовал себя приподнято. Поэтому он и попросил Ко спана:

— Сходи, ради бога, Коспан, принеси мою домбру.

— Вот это дело, — одобрил Едигей. — С малолетства завидую тем, кто на домбре играет.

— Большой игры не обещаю, Едике, но кое-что припомню в твою честь, — сказал Эрлепес, скинув пиджак и засучивая заранее рукава рубашки.

В отличие от шустрого, многословного Коспана Эрлепес был более сдержанным. Массивный лицом и дородный, он внушал почтение к себе. Когда он взял в руки домбру, то сосредоточился и словно отдалился на некое расстояние от повседневности. Так случается, когда человек готовится обнаружить свои сокровенные привязанности. Налаживая инструмент, Эрлепес глянул на Едигея долгим, мудрым взглядом, и в его черных, навыкате, больших глазах блесну-

ли, отражаясь, как в море, блики света. А когда он ударил по струнам и пробежал длинными цепкими пальцами вверх и вниз по высокой, на всю длину взмаха шейке домбры, успев извлечь разом целую гроздь звуков и одновременно завязывая узелки новых гроздей, которые будет затем, развивая тему, щедро срывать со струн, понял Буранный Едигей, что не легко и не просто обернется ему слушанье этой музыки. Ибо он, оказывается, всего лишь отвлекся, всего лишь забылся малость в гостях, но первые же звуки домбры снова вернули его к себе, снова кинули с головой в пучину горестей и бед. Отчего же такое возникало в нем? Выходит, давно уже было известно тем людям, которые сочинили эту музыку, как и что произойдет с Буранным Едигеем, какие тяготы и муки предназначены ему на роду? А иначе как могли они знать, что почувствует он, когда услышит себя в том, что наигрывал Эрлепес? Встрепенулась душа Едигея, воспарила и застонала, и разом отворились для него все двери мира — радости, печали, раздумья, смутные желания и сомнения…

Действительно отменно играл Эрлепес на домбре. Давнишние переживания давнишних людей оживали в струнах, высвобождая, как сухие дро-

ва в костре, огонь душевного горения. А Едигей думал в тот час, то и дело поглаживая дареный шарфик, спрятанный во внутреннем кармане пиджака, о том, что есть на свете женщина, которую он любит, и сама мысль о ней для него услада и мука, что жить без нее ему невмоготу, и потому он будет любить ее всегда, неоглядно, неизбывно, бесконечно, чего бы то ему ни стоило. Об этом и звенела, то угасая, то возгораясь, домбра в руках Эрлепеса. Одни наигрыши сменялись другими, одни мелодии переливались в следующие, и плыла душа Едигея, словно лодка по волнам. Снова очутился он мысленно на Аральском море, припомнились незримые морские течения вдоль берегов, их направление угадывалось по длинным и густым, как женские волосы, водорослям, уплывающим по течению, вытягиваясь на одном и том же месте. Когда-то у Укубалы были такие волосы, ниже колен. И когда она купалась, то ее волосы тяжело уплывали в сторону, как те водоросли по морскому течению. И она счастливо смеялась и была красива и смугла.

Просветлел, растрогался Буранный Едигей, так хорошо ему было слушать домбру. Только ради этого стоило проделать по зимним сарозекам дневной путь. «Вот и хорошо, что Каранар заско-

чил сюда, — подумалось Едигею. — Сам очутился здесь и меня завлек, просто принудил приехать. А душа моя зато хоть разок насладится домброй. Эй да молодец Эрлепес! Большой мастер, оказывается! А я-то и не знал…»

Слушая наигрыши Эрлепеса, Едигей думал о своем, пытался со стороны посмотреть на свою жизнь, подняться над ней, как кличущий коршун над степью, высоко-высоко и оттуда, в полном одиночестве паря на прямо расставленных крыльях по восходящим воздушным потокам, оглядывать то, что внизу. Огромная картина зимних сарозеков представала перед его взором. Там на незаметной излучине железнодорожной линии приткнулось кучкой несколько домиков и несколько огоньков — это разъезд Боранлы-Буранный. В одном из домиков Укубала с дочурками. Они, пожалуй, уже спят. А Укубала, возможно, и не спит. Что-то ведь думает и что-то должно ей подсказывать сердце. А в другом домике — Зарипа со своими ребятами. Она-то наверняка не спит. Тяжело ей, что и говорить. А впереди еще столько предстоит горя мыкать — ребятишки-то пока не знают об отце. А куда денешься, правду не обойдешь стороной…

Представил он себе, как, грохоча, бегут в тот

час поезда среди ночи, полыхая огнями и взметая снежную пыль, и какая глухая и бесконечная ночь стоит вокруг. Неподалеку от того места, где сейчас он гостит, внимая домбре, в беспросветно темной и дикой степи, среди снегов и ветра бодрствует неистовый Каранар. Ему не до сна, не до покоя. Вот ведь как устроено в природе. Весь год набирается сил, весь год изо дня в день собирает и пережевывает корм, все время непрестанно перетирая жвачку могучими челюстями, и для этого у него соответственно устроен желудок, вначале накапливающий грубый корм, а затем возвращающий его для вторичного измельчения, чем и занимается верблюд в любое время, пережевывая жвачку на ходу и даже во сне, и все это с тем, чтобы накопить, сконцентрировать силу в горбах, и чем мощнее, налитее и крепче горбы, чем плотнее в них сало, тем мощнее самец в зимний гон. И тогда ему нипочем ни снега, ни холода, ни даже хозяин и тем более прочие люди. Тогда он лютует, опьяненный неукротимой силой, тогда он царь и владыка, и нет ему ни устали, ни страха, и ничего на свете не существует — ни питья, ни еды, ничего, кроме утоления великой и необузданной страсти его. Но ведь для этого он и жил целый год, для этого и набирался силы изо

дня в день. И в этот час Буранный Едигей сидел гостем в тепле и сыте и слушал, а где-то в этой округе, среди буранистой ночи, среди лунных снегов ярился и метался Буранный Каранар, верный зову крови, ревниво оберегая облюбованных им маток от всего постороннего, не допуская к ним ни зверя, ни даже птицу, зычно вопя и потрясая устрашающе черными космами бороды.

И об этом думалось Едигею под звуки домбры…

Музыка мгновенно переносила его мысль из прошлого в настоящее. К тому, что ожидалось завтра. Странное желание возникло при этом — заслонить, загородить от опасности все, что дорого ему, весь мир, который представился ему, чтобы никому и ничему не было плохо. И это смутное ощущение некой вины своей перед всеми, кто был связан с его жизнью, вызывало в нем тайную печаль…

— Уа, Едигей, — окликнул его Эрлепес, задумчиво улыбаясь, доигрывая, мелко перебирая затихающие струны. — Ты никак устал с дороги, надо тебе отдохнуть, а я тут на домбре бренчу.

— Да нет, что ты, Эрлеке, — искренне смутился Едигей, прикладывая руки к груди. — Наоборот, давно мне не было так хорошо, как сейчас. Если сам не устал, продолжай, сделай такое добро.

Играй.

— А что бы ты хотел?

— Это тебе лучше знать, Эрлеке. Мастер сам знает, что ему сподручней. Конечно, старинные вещи — они как бы роднее. Не знаю отчего, за душу берут, думы навевают.

Эрлепес понимающе кивнул.

— Вот и Коспан у нас такой, — усмехнулся он, глядя на непривычно притихшего Коспана. — Как слушает домбру, вроде тает, другим человеком становится. Так, что ли, Коспан? Но сегодня у нас гость. Ты уж не забывай. Плесни нам понемногу.

— Это я мигом, — оживился Коспан и подлил на дно стаканов по новой.

Они выпили, закусили. Переждав, Эрлепес снова взял в руки домбру, снова проверил, ударяя по струнам, так ли настроен инструмент.

— Коли тебе по душе старинные вещи, — сказал он, обращаясь к Едигею, — напомню я тебе одну историю, Едике. Многие старики ее знают, да и ты знаешь. Кстати, у вас Казангап хорошо рассказывает, но он рассказывает, а я наиграю и спою — целый театр устрою. В твою честь, Едике. «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».

Едигей благодарно закивал, а Эрлепес прошелся по струнам, предваряя сказание так хорошо

знакомой домбровой увертюрой, и снова застонала настороженная душа Едигея, ибо все, что было в этой истории, отзывалось в нем в этот раз с особой тоской и пониманием.

Гудела домбра, ей вторил голос поющего Эрлепеса, густой и низкий, очень подходящий для рассказа о трагической судьбе знаменитого жырау[23] Раймалы-аги. Раймалы-аге было уже за шестьдесят, когда он влюбился в молодую девушку, в девятнадцатилетнюю бродячую певицу Беги май, она зажглась как звезда на его пути. Вернее, это она влюбилась в него. Но Беги-май была свободна, своенравна и могла распорядиться собой так, как ей хотелось. Молва же осудила Раймалы-агу. И с тех пор эта история любви имеет своих сторонников и противников. Нет равнодушных. Одни не приемлют, отвергают поступок Раймалы-аги и требуют, чтобы имя его было забыто, другие сочувствуют, сопереживают, передают эту горькую печаль влюбленного из уст в уста, из рода в род. Так и живет сказание о Раймалы-аге. Во все времена есть у Раймалы-аги свои хулители и свои защитники.

Припомнилось Едигею в тот вечер, как злоб-

---

[23] Примечания: 23
Жырау — степной бард.

ствовал кречетоглазый, обнаруживший среди бумаг Абуталипа Куттыбаева запись обращения Раймалы-аги к брату Абдильхану. Абуталип же, напротив, был очень высокого мнения об этой, как он называл ее, поэме о степном Гете; оказывается, у немцев тоже был великий и мудрый старик, который влюбился в молоденькую девушку. Абуталип записал песню о Раймалы-аге со слов Казангапа в надежде, чтобы прочли ее сыновья, когда станут взрослыми людьми. Абуталип говорил, что бывают отдельные случаи, отдельные судьбы людей, которые становятся достоянием многих, ибо цена того урока настолько высока, так много вмещает в себя та история, что то, что было пережито одним человеком, как бы распространяется на всех, живших в то время, и даже на тех, кто придет следом много позже…

Перед ним сидел Эрлепес, вдохновенно наигрывая на домбре и вторя ей голосом, начальник разъезда, которому положено прежде всего ведать путями на определенном участке железной дороги, казалось бы, зачем ему носить в себе мучительную историю давнего прошлого, историю несчастного Раймалы-аги, зачем страдать так, точно бы сам он был на его месте… Вот что значит музыка и истинное пение, думалось Едигею,

скажут: умри и родись заново — и на все готов в ту минуту… Эх, как хочется, чтобы всегда горел в просветлевшей душе такой огонь, от которого ясно и вольготно думается человеку о себе самым лучшим образом…

На новом месте Едигею не сразу удалось уснуть, хотя он и выходил перед этим подышать воздухом, хотя и устроили ему хозяева удобное, теплое ложе, застелили свежими простынями, сберегаемыми в каждом доме для таких случаев. Он лежал подле окна и слышал, как скребся и посвистывал ветер, как проходили поезда в ту и другую сторону… Ждал рассвета, чтобы обратать взбунтовавшегося Каранара и пораньше отправиться в путь, побыстрей добраться до Боранлы-Буранного, где ждут его детишки обоих домов, потому что он всех любит в равной степени и потому что он для того и живет на этой земле, чтобы им было хорошо… Обдумывал он, каким способом предстоит усмирить Каранара. Вот ведь задача, все у него не как у людей, и верблюд достался самый норовистый и свирепый, люди боятся одного его вида и теперь готовы даже пристрелить… Но как втолкуешь скотине, что хорошо, что плохо… Ведь потянуло его сюда неспроста — так природа распорядилась, а Каранар велик и могуч, и оттого

нет ему никаких преград, и кто бы ни встал на его пути, любого сокрушит… Как тут быть‘, как приструнить Каранара? Придется заковать его в цепи и держать всю зиму в загоне, а не то не сносить ему бедовой головы, не Коспан, так кто-нибудь другой пристрелит, и ничего не поделаешь… Засыпая, припомнил еще раз пение Эрлепеса, его игру на домбре и очень был доволен, что довелось провести с ним целый вечер. Ожили и переселились в душу через ту домбру страдания некогда влюбившегося, на беду свою, певца Раймалы-аги. И хотя ничего общего не было между ними, Едигей ощутил в той истории Раймалы-аги какое-то отдаленное созвучие, какую-то одинаковую боль. То, что испытал Раймалы-ага лет сто тому назад, как эхо отдавалось теперь в нем, в Буранном Едигее, живущем в пустынных сарозеках. Едигей тяжело вздыхал, ворочался в постели, грустно и печально было ему от всей этой надвигающейся неясности, неопределенности. Куда ему было податься и как быть дальше? Что сказать Зарипе и что ответить Укубале? Нет, не находил распутья, плутал, запутывался и, засыпая, очутился вдруг на Аральском море… Голова закружилась от нестерпимой синевы и ветра… И как тогда, как в детстве, ринулся к морю, чтобы вообразить

себя чайкой, вольно витающей над бурунами, и очень тому обрадовался, ликовал, реял над морским простором и слышал все время, как гудела и звенела домбра, как пел Эрлепес о несчастной любви Раймалы-аги, и снилось ему снова, как выпускал он в море золотого мекре. Мекре был гибкий и увесистый, и когда он нес его к воде, явственно ощущал живую плоть рыбы, то, как она жаждала вырваться в свою стихию. Он шел по прибою, море катилось ему навстречу, а он смеялся ветру в лицо, а потом разжал руки, и золотой мекре, вспыхивая в густой синеве воздуха живым радужным блеском, очень долго соскальзывал и падал в воду… И все так же доносилась откуда-то музыка… Кто-то плакал и жаловался на свою судьбу.

Той ночью гулял в степи морозный порывистый ветер. Стужа набирала силу. Стадо верблюдиц из четырех голов, облюбованное и оберегаемое Буранным Каранаром, стояло в затишке, в ложбине под невысокой сопкой. Заметаемые с подветренной стороны снегом, они сбились в кучу, угревая друг друга, положа головы на шеи друг друга, но их неистовый косматый повелитель Каранар не давал им покоя. Он все носился, кружил вокруг да около, злобно рыча, ревнуя их неизвестно к кому

и чему, разве что к луне, которая просвечивала вверху сквозь летучую мглу. Каранар не находил себе места. Он топтался по метельному дымному насту, черный зверь о двух горбах, с длиннющей шеей и рявкающей патлатой головой. Сколько же в нем было силы! Он и сейчас не прочь был заняться любовным трудом и все докучал и приставал то к одной, то к другой матке, крепко кусал их за лодыжки и за ляжки, оттирал их одну от другой, но это было уж слишком с его стороны, верблюдицам достаточно было и дневного времени, когда они охотно исполняли его прихоти, а ночью им хотелось покоя. Поэтому они тоже неприязненно орали в ответ, отбивались от его неуместных приставаний и не собирались уступать. Ночью им хотелось покоя.

Ближе к рассвету поуспокоился, попритих и Буранный Каранар. Стоял рядом с самками, покрикивая изредка как бы спросонья и дико озираясь вокруг. И тогда верблюдицы прилегли на снег, вся четверка, одна возле другой, вытянули шеи, опустили головы и притихли, задремали малость. Снились им малые верблюжата, те, что были, и те, которые собирались народиться от черного атана, прибежавшего сюда невесть откуда и завладевшего ими в битве с другими

атанами. И снилось им лето, пахучая полынь, нежное прикосновение сосунков к вымени, и вымена их побаливали, покалывали из смутной глубины, предощущая будущее молоко… А Буранный Каранар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал в его космах…

И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца, и когда, вращаясь вокруг себя, она наконец повернулась таким боком, что наступило утро над сарозеками, увидел вдруг Буранный Каранар, как появились поблизости двое людей верхом на верблюдице. То были Едигей и Коспан. Коспан взял с собой ружье.

Взъярился Буранный Каранар, задрожал, заорал, закипел во гневе — как смели люди вступить в его пределы, как могли приблизиться к его гурту, какое имели право нарушить его гон? Каранар завопил зычным, свирепеющим голосом и, дергая головой на длиннющей шее, залязгал зубами, как дракон, разевая страшную клыкастую пасть. И пар валил, как дым, из его горячего рта на холоду и тут же оседал на его черных космах белой налетающей изморозью. От возбуждения Каранар начал мочиться, встал раскорячившись и пустил струю против ветра, отчего в воздухе

резко запахло распыленной мочой, и ледяные капли упали на лицо Едигея.

Едигей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег и, оставшись налегке — в телогрейке и ватных штанах, — раскрутил бич с кнутовища, которое держал в руках.

— Ты смотри, Едике, в случае чего я его уложу, — сказал Коспан, направляя ружье.

— Нет, ни в коем случае. За меня не беспокойся. Я хозяин, я сам отвечаю. Ты это береги для себя. Если на тебя нападет, тогда дело другое.

— Хорошо, — согласился Коспан, оставаясь верхом на верблюдице.

А Едигей, нахлестывая бич резкими, стреляющими хлопками, пошел навстречу своему Каранару. Каранар же, завидев его приближение, еще больше впал в бешенство и потрусил, крича и брызгая слюной, навстречу Едигею. Тем временем матки встали с лежбища и тоже беспокойно забегали вокруг.

Хлопая бичом, которым он обычно погонял верблюжью волокушу на снежных заносах, Едигей шел по снегу, громко окликая издали Каранара, надеясь, что тот узнает его голос:

— Эй, эй, Каранар! Не валяй дурака! Не валяй, говорю! Это я! Ты что, ослеп? Это я, говорю?

Но Каранар не реагировал на его голос, и Едигей ужаснулся, когда увидел косматый злобный взгляд верблюда и то, как он набегал на него всей своей черной громадой с трясущимися горбами на спине. И тогда, поплотней надвинув малахай, Едигей пустил в ход бич. Бич был длинный, метров семь, плетенный из тяжелой, просмоленной кожи. Верблюд орал, наступал на Едигея, пытаясь схватить его зубами или повалить на, землю и затоптать, но Едигей не подпускал его к себе I и хлестал бичом со всей силы, увертывался, отступал, и наступал и все кричал ему, чтобы тот опомнился и признал его. Так бились они каждый как умел, и каждый был по-своему прав. Едигей был потрясен неукротимой, невменяемой устремленностью атана к счастью и понимал, что лишает его этого счастья, но другого выхода не было. Одного только опасался Едигей: только бы глаз Каранару не выбить, остальное сойдет. Упорство Едигея сломило наконец волю животного. Нахлестывая, крича, наступая на верблюда, Едигею удалось приблизиться и кинуться, затем ухватить его за верхнюю губу, он чуть не оторвал эту губу, с такой силой вцепился, и тут же, изловчившись, наложил на нее заготовленную заранее закрутку. Каранар замычал,

застонал от нестерпимой боли, причиненной ему закруткой, в его расширенных, немигающих, немеющих от страха и боли глазах Едигей увидел свое четкое отражение, как в зеркале, и отпрянул было, убоявшись собственного вида, — такое нечеловеческое выражение было на его разгоряченном, потном лице. Ему захотелось бросить все к черту и бежать прочь, чем так мучить ни в чем не повинную тварь, но он тут же одумался: его ждали в Боранлы-Буранном и нельзя было возвращаться без Каранара, того просто пристрелят ак-мойнакские соседи. И он пересилил себя. Торжествующе вскрикнул и принялся угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо было его оседлать. Буранный Каранар все еще сопротивлялся, вопил и рычал, обдавая хозяина влажным дыханием горячей ревущей пасти, но хозяин оставался непреклонным. Он заставил верблюда покориться.

— Коспан, сбрасывай сюда седло и отгони этих верблюдиц подальше, за сопку, чтобы он их не видел! — прокричал Едигей Коспану.

Тот сразу скинул седло с верховой верблюдицы, а сам побежал отгонять Каранарово стадо. Тем временем все было покончено — Едигей быстро уложил седло на Каранара, и когда прибежал

Коспан и принес Едигеюброшенную шубу, быстро оделся и не мешкая водрузился верхом на оседланного и обузданного Каранара.

Разъяренный верблюд еще пытался вернуться к разлученным с ним маткам, хотел даже, закидывая голову набок, достать зубами хозяина. Но Едигей знал свое дело. И, несмотря на рыки и злобные вопли, на раздраженное несмолкаемое вытье Каранара, Едигей, упорно гнал его по снежной степи и все пытался вразумить.



— Перестань! Хватит! — говорил он ему. — Замолчи! Все равно назад не вернешься. Дурная ты голова! Думаешь, я тебе зла желаю? Да не будь

меня, сейчас бы тебя пристрелили как вредного бешеного зверя. А что скажешь? Ты же взбесился, это верно, еще как верно! Взбесился, ведешь себя как последний сумасброд! А не то зачем приперся сюда, своих маток тебе не хватало? Вот учти, доберемся до дома — и конец твоим куролесиям по чужим стадам! На цепь посажу, и ни шагу тебе не будет свободы, раз ты такой оказался!

Грозился Буранный Едигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Каранара от его ак-мойнакских верблюдиц. И это было вообще-то несправедливо. Был бы он смирным животным — какой вопрос! Вот ведь бросил Едигей верховую верблюдицу у Коспана. Коспан обещал при случае пригнать ее на Боранлы-Буранный — и никаких тебе проблем, все мило и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности.

Через некоторое время смирился Буранный Каранар и с тем, что снова оказался под седлом, и с тем, что снова попал под начало хозяина. Кричал уже поменьше, выровнял, убыстрил шаг и вскоре достиг высшего хода — бежал тротом, стриг ногами расстояние сарозеков как заведенный. И Едигей успокоился, уселся поудобней между упругими горбами, застегнулся от ветра, поплот-

ней подвязал малахай и теперь с нетерпением ждал приближения к боранлинским местам.

Но было еще достаточно далеко от дома. День выдался сносный. Немного ветреный, немного облачный. Метели в ближайшие часы можно было не опасаться, хотя ночью вполне могло запуржить. Буранный Едигей возвращался довольный тем, что удалось изловить и обуздать Каранара, а особенно вчерашним вечером у Коспана, домброй и пением Эрлепеса.

И Едигей невольно вернулся к мыслям о своей незадачливой жизни. Вот ведь беда! Как сделать, чтобы никто не пострадал и чтобы боль свою не таить, а сказать напрямик — так и так, мол, Зарипа, люблю тебя. И если детям Абуталипа не будет ходу с фамилией отца, то, если Зарипу это устроит, пожалуйста, пусть запишет этих ребят на его, Едигея, фамилию. Он будет только счастлив, если его фамилия пригодится Даулу и Эрмеку. И пусть не будет им никаких помех и преград в жизни. И пусть добиваются они успеха своими силами и умением.

Да, и такие мысли навещали по пути Буранного Едигея.

Уже день клонился к исходу. Неутомимый Кара нар как ни противился, как ни ярился, но под

верхом шел добросовестно. Вот впереди открылись боранлин ские лога, вот знакомые буераки, заметенные сугро бами, вот большое всхолмление — и впереди на излучине железной дороги приткнулся разъезд Боранлы-Буранный. Дымки вьются над трубами. Как-то там его родные семьи? Вроде бы отлучился всего на день, а тревога такая, будто целый год здесь не был. И соскучился здорово — особенно по детишкам. Завидев впереди поселение, Каранар еще прибавил шагу. Припотевший, разгоряченный шел, широко раскидывая ноги, выбрасывая изо рта клубы пара. Пока Едигей приближался к дому, на разъезде успели встретиться и разминуться два товарных поезда. Один пошел на запад, другой на восток…

Едигей остановился на задах, во дворе, чтобы сразу же запереть Каранара в загон. Спешился, ухватил врытую в землю на перекладине толстую цепь, сковал ею переднюю ногу верблюда. И оставил его в покое. «Пусть поостынет, потом расседлаю», — решил он про себя. Спешил он почему-то очень. Распрямляя затекшие спину и ноги, Едигей выходил из загона, когда прибежала старшая дочка — Сауле. Едигей обнял ее, неловко двигаясь в шубе, поцеловал.

— Замерзнешь, — сказал он ей. Она была легко

одета. — Беги домой. Я сейчас.

— Папа, — сказала Сауле, ласкаясь к отцу, — а Даул и Эрмек уехали.

— Куда уехали?

— Совсем уехали. С мамой. Сели на поезд и уехали.

— Уехали? Когда уехали? — все еще не понимая, о чем речь, переспросил он, глядя в глаза дочери.

— Да сегодня утром еще.

— Вот как! — дрогнувшим голосом отозвался Едигей. — Ну ты беги, домой беги, — отпустил он девочку. — А я потом, потом. Иди, иди сейчас…

Сауле скрылась за углом. А Едигей быстро, даже не прикрыв за собой калитку загона, как был в шубе поверх ватника двинулся прямо в барак Зарипы. Шел и не верил. Ребенок мог что-то напутать. Не должно быть такого. Но крыльцо было потоптано многими следами. Едигей резко потянул на себя полуприкрытую дверь за скобу и, переступив порог, увидел покинутую, уже давно простывшую комнату с разбросанным повсюду ненужным хламом. Ни детей, ни Зарипы!

— Как же так? — прошептал Едигей в пустоту, все еще не желая понять до конца, что произошло. — Значит, уехали? повторил он удивленно и скорбно.

И ему стало плохо, так плохо, как никогда за всю прожитую жизнь. Он стоял в шубе посреди комнаты, у холодной печи, не понимая, что делать, как быть дальше, как остановить в себе кричащую, рвущуюся наружу обиду и боль. На подоконнике лежали забытые Эрмеком гадательные камушки, те самые сорок один камушек, на которых научились они гадать, когда вернется не существующий давно их отец, камушки надежды и любви. Едигей сгреб в горсть гадательные камушки, зажал их в руке — вот и все, что осталось. Больше у него не хватило сил, он отвернулся к стене, прижимаясь горячим горестным лицом к холодным доскам, и зарыдал сдавленно и безутешно. И пока он плакал, из рук его то и дело падали на пол камушки один за другим. Он судорожно пытался удержать их в дрожащей руке, но рука не подчинялась ему и камушки выскальзывали и падали на пол с глухим стуком один за другим, падали и закатывались по разным углам опустевшего дома…

Потом он обернулся, сползая по стене, медленно опустился на корточки и сидел так в шубе и нахлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая. Достал из кармана шарфик, подаренный накануне Зарипой, и утирал им

слезы…

Так сидел он в покинутом бараке и пытался понять, что произошло. Выходит, Зарипа уехала с детьми в его отсутствие нарочно. Значит, она того хотела или боялась, что он не отпустит их. Да он и не отпустил бы их ни в коем случае, ни за что. Чем бы это ни кончилось, не отпустил бы, будь он здесь. Но теперь было поздно гадать, как и что было бы, не будь он в отъезде. Их не было. Не было Зарипы! Не было мальчиков! Да разве бы он разлучился с ними! Это все Зарипа, поняла, что лучше уехать в его отсутствие. Облегчила себе отъезд, но не подумала о нем, о том, как страшно будет ему застать опустевший барак.

И кто-то ведь остановил ей поезд на разъезде! Кто-то! Да известно кто — Казангап, кто же еще! Только, он не срывал, конечно, стоп-кран, как Едигей в день смерти Сталина, а договорился, упросил начальника разъезда остановить какой-нибудь пассажирский поезд. Это такой тип… И Укубала, должно быть, приложила руку, чтобы побыстрей выпроводить их вон отсюда! Ну подождите же! И кровь мщения глухо и черно вскипела, зажигая мозг, — хотелось ему сейчас собраться с силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуемом Боранлы-

Буранный, сокрушить дотла, чтобы щепочки не осталось, сесть на Каранара и укатить в сарозеки, подохнуть там в одиночестве от голода и холода! Так он сидел на покинутом месте — обессилевший, опустошенный, потрясенный случившимся. Осталось только тупое недоумение: «Зачем уехала, куда уехала? Зачем уехала, куда уехала?»

Потом он появился дома. Укубала молча приняла его шубу, шапку, валенки отнесла в угол. По застывшему, как камень, серому лицу Буранного Едигея трудно было определить, что он думает и что намерен делать. Глаза его казались незрячими. Они ничего не выражали, затаили в себе нечеловеческое усилие, которое он прилагал, чтобы оставаться сдержанным. Укубала уже несколько раз в ожидании мужа ставила самовар. Самовар кипел, в нем полно было тлеющего древесного угля.

— Чай горячий, — сказала жена. — С огня.

Едигей молча глянул на нее и продолжал хлебать кипяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно ждали разговора.

— Зарипа уехала отсюда с детьми, — промолвила наконец Укубала.

— Знаю, — не поднимая головы от чая, коротко буркнул Едигей. И, помолчав, спросил, все так же

не поднимая головы от чая: — Куда уехала?

— Этого она нам не сказала, — ответила Укубала.

На том они замолчали. Обжигаясь горячим чаем, Едигей занят был лишь одним: только бы не взорваться, только бы не разнести тут все вдребезги, не напугать детей, только бы не натворить беды…

Кончив пить чай, он снова стал собираться на улицу. Снова надел валенки, шубу, шапку.

— Ты куда? — спросила жена.

— Скотину посмотреть, — бросил он в дверях.

Короткий зимний день успел тем временем кончиться. Быстро, почти зримо сгущался, темнел воздух вокруг. И мороз заметно покрепчал, поземка зашевелилась, вскидываясь, змеясь бегущими гривами. Едигей хмуро прошагал в загон. И, войдя, раздраженно зыркнул глазами, прикрикнул на порывавшегося с Цепи Каранара:

— Ты все орешь! Тебе все неймется! Ну так ты у меня, сволочь, дождешься! С тобой у меня разговор короткий теперь! Теперь мне все нипочем!

Едигей зло толкнул Каранара в бок, заматерился крепким матом, расседлал, отшвырнул прочь седло со спины верблюда и расцепил на его ноге цепь, на которой тот был прикован. Затем он

взял его за повод, в другой руке зажал бич, намотанный на кнутовище, и пошел в степь, ведя на поводу нудно покрикивающего, воющего с тоски атана. Несколько раз хозяин оглядывался, угрожающе замахивался, одергивал Буранного Каранара, чтобы тот прекратил свой стон и вопль, но поскольку это не возымело действия, плюнул и, не обращая внимания, шел, угрюмо и терпеливо снося верблюжий ор, шел упрямо по глубокому снегу, по поземке, по сумеречному полю, темнеющему, теряющему постепенно очертания. Он тяжело дышал, но шел не останавливаясь. Долго шел, мрачно опустив голову. Отойдя от разъезда далеко за пригорок, он остановил Каранара и учинил над ним жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Едигей быстро привязал повод недоуздка к поясу на ватнике, чтобы верблюд не вырвался и не убежал и чтобы иметь руки свободными, и, ухватившись обеими руками за кнутовище, принялся стегать бичом атана, вымещая на нем всю свою беду. Яростно, беспощадно хлестал он Буранного Каранара, нанося удар за ударом, хрипя, изрыгая ругательства и проклятия:

— На тебе! На! Подлая скотина! Это все из-за тебя! Из-за тебя! Это ты во всем виноват! И теперь я тебя отпущу на вольную волю, беги куда глаза

глядят, но прежде я тебя изувечу! На тебе! На! Ненасытная тварь! Тебе все мало! Тебе надо бегать по сторонам. А она уехала тем часом с детьми! И никому из вас нет дела, каково мне! Как мне теперь жить на свете? Как мне жить без нее? Если вам все равно, то и мне все равно. Так получай, получай, собака!

Каранар кричал, рвался, метался под ударами бича и, обезумев от страха и боли, сбил хозяина с ног и побежал прочь, волоча его по снегу. Он волок хозяина с дикой, чудовищной силой, волок как бревно, лишь бы избавиться от него, лишь бы освободиться, убежать туда, откуда его насильно вернули.

— Стой! Стой! — вскрикивал Едигей, захлебываясь, зарываясь в снегу, по которому тащил его атан.

Шапка слетела, сугробы били жаром и холодом в голову, в лицо, в живот, налезали за шею, за пазуху, в руках запутался бич, и ничего нельзя было поделать, чтобы как-то остановить атана, отвязать повод от ремня на поясе. А тот волок его панически, безрассудно, видя в бегстве спасение. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Едигею не удалось каким-то чудом распустить ремень, сдернуть пряжку и тем спастись, не то

задохнулся бы в сугробах. Когда он уже схватился за повод, верблюд проволок его еще несколько метров и остановился, удерживаемый хозяином из последних сил.

— Ах ты! — приходя в себя, бормотал обгоревший от снега Едигей, задыхаясь и пошатываясь. — Так ты так! Ну получай, скотина! И прочь, прочь с моих глаз! Беги, проклятый, чтобы никогда мне не видеть тебя! Пропади ты пропадом! Сгинь, проваливай! Пусть тебя пристрелят, пусть изведут, как бешеную собаку! Все из-за тебя! Подыхай в степи. И чтобы духу твоего близко не было! — Каранар убегал с криком в ак-мойнакскую сторону, а Едигей догонял его, стегал бичом, выпроваживал, отрекаясь, проклиная и матеря на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки. И потому Едигей долго кричал еще вслед:

— Пропадай, чертова скотина! Беги! Подыхай там, ненасытная тварь! Чтоб тебе пулю в лоб закатили!

Каранар убегал все дальше по сумеречному, стемневшему полю и вскоре исчез в метельной мгле, только доносились изредка его резкие трубные выклики. Едигей представил себе, как всю ночь напролет без устали будет бежать он сквозь метель туда, к ак-мойнакским маткам.

— Тьфу! — плюнул Едигей и повернул назад по широкому, пропаханному собственным телом снежному следу. Без шапки, без шубы, с пылающей кожей на лице и руках, брел он в темноте, волоча бич, и вдруг почувствовал полное опустошение, бессилие. Он упал на колени в снег и, согнувшись в три погибели, крепко обнимая голову, зарыдал глухо и надсадно. В полном одиночестве, на коленях посреди сарозеков, он услышал, как движется ветер в степи, посвистывая, взвихриваясь, заметая поземку, и услышал, как падает сверху снег. Каждая снежинка и миллионы снежинок, неслышно шурша, шелестя в трении по воздуху, казалось ему, говорили все о том, что не снести ему бремя разлуки, что нет смысла жить без любимой женщины и без тех ребятишек, к которым он привязался, как не всякий отец. И ему захотелось умереть здесь, чтобы замело его тут же снегом.

— Нет бога! Даже он ни хрена не смыслит в жизни! Так что же ждать от других? Нет бога, нет его! — сказал он себе отрешенно в том горьком одиночестве среди ночных пустынных сарозеков. До этого он никогда не говорил вслух такие слова. И даже тогда, когда Елизаров, постоянно памятуя сам о боге, убеждал в то же время, что, с точки

зрения науки, бога не существует, он не верил тому. А теперь поверил…

И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца и, вращаясь вокруг оси своей, несла на себе в тот час человека, коленопреклоненного на снегу, посреди снежной пустыни. Ни король, ни император, ни какой иной владыка не пал бы на колени перед белым светом, сокрушаясь от утраты государства и власти, с таким отчаянием, как сделал то Буранный Едигей в день разлуки с любимой женщиной… И плыла Земля…

Дня через три Казангап остановил Едигея у склада, где они получали костыли и подушки под рельсы для ремонта.

— Что-то ты нелюдимый стал, Едигей, — сказал он как бы между прочим, перекладывая связку железок на носилки. — Ты избегаешь меня, что ли, сторонишься почему-то, все никак не удается поговорить.

Едигей резко и зло глянул на Казангапа.

— Если мы начнем говорить, то я тебя придушу на месте. И ты это знаешь!

— А я и не сомневаюсь, что ты готов придушить меня и, быть может, еще кое-кого. А только с чего это ты так гневаешься?

— Это вы принудили ее уехать! — высказал напрямик Едигей то, что мучило и не давало ему покоя все эти дни.

— Ну знаешь, — покачал головой Казангап, и лицо его стало красным то ли от гнева, то ли от стыда. — Если тебе такое пришло в голову, значит, ты дурно думаешь не только о нас, но и о ней. Скажи спасибо, что женщина эта оказалась с великим умом, не то что ты. Ты думал когда-нибудь, чем бы могло все это кончиться? Нет? А она подумала и решила уехать, пока не поздно. И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том. И я не стал допытываться, куда она двинулась с детьми, и она не сказала, пусть об этом знает судьба и больше никто. Понял? Уехала, не уронив ни единым словом своего достоинства и достоинства твоей жены. И они попрощались как люди. Да ты поклонись им обеим в ноги, что уберегли они тебя от беды неминуемой. Такой жены, как Укубала, тебе вовек не сыскать. Другая на ее месте такое бы устроила, что ты убежал бы на край света почище твоего Каранара…

Молчал Едигей — что было отвечать? Казангап говорил, в общем-то, правду. Только нет, не понимал Казангап того, что ему было недоступно. И Едигей пошел на прямую грубость.

— Ладно! — проговорил он и сплюнул пренебрежительно в сторону. — Послушал я тебя, умника. Потому ты такой ходишь здесь двадцать три года бессменно, без сучка, без задоринки, как истукан. Откуда тебе знать дела эти! Ладно! Некогда мне тут выслушивать. — И пошел, не стал разговаривать.

— Ну смотри, дело хозяйское, — послышалось позади.

После этого разговора задумал Едигей покинуть опостылевший разъезд Боранлы-Буранный. Всерьез задумал, потому что не находил успокоения, не находил в себе сил забыть, не мог осилить снедающую душу тоску. Без Зарипы, без ее мальчишек все померкло вокруг, опустело, оскудело. И тогда, чтобы избавиться от этих мучений, решил Едигей Жангельдин официально подать заявление начальнику разъезда об увольнении и уехать с семьей куда глаза глядят. Только бы здесь не оставаться. Ведь не прикован же он цепями навечно к этому богом забытому разъезду, большинство людей живут же в других местах — в городах и селах, они не согласились бы здесь жить ни часа. А почему он должен век куковать в сарозеках? За какие грехи? Нет, хватит, уедет, вернется на Аральское море или двинет в Ка-

раганду, в Алма-Ату — и мало ли еще мест на свете. Работник он хороший, руки-ноги на месте, здоровье есть, голова пока на плечах, плюнет на все и уедет, чего тут думу думать. Соображал Едигей, как подступиться с этим разговором к Укубале, как убедить ее, а остальное не задача. И пока он собирался, выбирал удобный момент для разговора, минула неделя и объявился вдруг Буранный Каранар, выгнанный хозяином на вольное житье.

Обратил внимание Едигей на то, что собака что-то все лает за домом, беспокоится, побежит, полает и снова вернется. Едигей вышел посмотреть, что там, и увидел неподалеку от загона незнакомое животное — верблюд, только странный какой-то, стоит и не двигается. Едигей подошел поближе и только тогда узнал своего Каранара.

— Так это ты, значит? До чего же ты дошел, бечара[24], до чего же ты истаскался! — воскликнул опешивший Едигей.

От прежнего Буранного Каранара остались только кожа да кости. Огромная голова с запавшими грустными глазами болталась на

---

[24] Примечания: 24
Бечара — бедолага.

истончившейся шее, космы были вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже колен, прежних каранаровских горбов, вздымавшихся как черные башни, не было и в помине — оба горба свалились набок, как увядшие старушечьи груди. Атан так обессилел, что не хватило мочи добрести до загона. И остановился здесь, чтобы передохнуть. Весь до последней кровинки, до последней клеточки изошелся он в гоне и теперь вернулся как опорожненный мешок, добрался, приполз.

— Эх-хе-хе! — не без злорадства удивлялся Едигей, оглядывая Каранара со всех сторон. — Вот до чего ты докатился! Тебя даже собака не узнала. А ведь был атаном! Ну и ну! И ты еще заявился?! Ни стыда, ни совести! Яйца-то у тебя на месте, дотянул или потерял по пути? А и вонища же от тебя. На ноги лил, сил не хватало. Вон как намерзло на заднице! Бечара! Совсем доходягой стал!

Каранар стоял не в силах шевельнуться, и не было в нем ни прежней силы, ни прежнего величия. Грустный и жалкий, он лишь покачивал головой и старался только устоять, удержаться на ногах.

Едигею стало жалко атана. Он пошел домой и вернулся с полным тазиком отборного пше-

ничного зерна. Подсолил сверху полпригоршней соли.

— На, поешь, — поставил он корм перед верблюдом. — Может, оклемаешься. Я потом доведу тебя до загона. Полежишь, придешь в себя.

В тот день у него был разговор с Казангапом. Сам пошел к нему домой и речь завел такую:

— Я к тебе, Казангап, вот по какому делу. Ты не удивляйся: вчера, мол, разговаривать не хотел, то да се говорил, а сегодня заявился. Дело серьезное. Хочу я возвратить тебе Каранара. Поблагодарить пришел. Когда-то ты подарил его мне сосунком. Спасибо. Послужил он мне хорошо. Я его недавно прогнал, терпение мое лопнуло, так он сегодня прибрел. Едва ноги приволок. Сейчас лежит в загоне. Недели через две придет в прежний вид. Силен и здоров будет. Только подкормить требуется.

— Постой, — перебил его Казангап. — Ты куда клонишь? Чего это ты вдруг решил возвращать мне Каранара? Я тебя просил об этом?

И тогда Едигей выложил все, как того ему хотелось. Так и так, мол, помышляю уехать с семьей. Надоело в сарозеках, пора переменить место жительства. Может, к лучшему обернется. Казангап внимательно выслушал и вот что сказал ему:

— Смотри, дело твое. Только, сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, допустим, ты уехал, но от себя-то не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, а от беды своей не уйдешь. Она будет всюду с тобой. Нет, Едигей, если ты джигит, то ты здесь попробуй перебори себя. А уехать — это не храбрость. Каждый может уехать. Но не каждый может осилить себя.

Едигей не стал соглашаться с ним, но не стал и спорить. Просто задумался и сидел, тяжело вздыхая. «А может, все же уехать, закатиться в другие края? — думал он. — Но смогу ли забыть? А почему я должен забывать? А как же быть дальше? И не думать нельзя и думать тяжко. А ей каково-то? Где она теперь с несмышленышами? И есть ли кому понять и помочь ей в случае чего? И Укубале нелегко — сколько дней уже молча сносит она мое отчуждение, мою угрюмость… А за что?»

Казангап понял, что происходит в уме Буранного Едигея, и сказал, кашлянув, чтобы привлечь его внимание:

— А впрочем, зачем мне тебя убеждать, Едигей, словно бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты и сам все разумеешь. И если на то пошло, ты не Раймалы-ага, а я не Абдильхан. И главное, за сто верст вокруг нет у нас ни одной березины, к

которой я мог бы привязать тебя. Ты свободен, поступай как угодно. Только подумай, перед тем как стронуться с места.

Эти слова Казангапа долго оставались в памяти Едигея.

10

Раймалы-ага был очень известным для своего времени певцом. Смолоду прославился. Милостью божьей он оказался жырау, сочетавшим в себе три прекрасных начала: он был и поэтом, и композитором собственных песен, и исполнителем незаурядным, певцом большого дыхания. Своих современников Раймалы-ага поражал. Стоило ему ударить по струнам, как вслед за музыкой лилась песня, рождаясь в присутствии слушателей. И на следующий день эта песня ходила уже из уст в уста, ибо, услышав напев Раймалы, каждый уносил его с собой по аулам и кочевьям.

Это его песню распевали тогдашние джигиты:

Воды прохладной вкус познает конь горячий,

Когда он припадет к реке бегущей с гор.

Когда же я скачу к тебе, чтобы с седла

припасть к твоим губам,

Я познаю отраду бытия на белом све-

me…

Раймалы-ага красиво и ярко одевался, это ему сам бог велел. Особенно любил богатые, отороченные лучшими мехами шапки, разные для зимы, лета и весны. И был еще у него конь неразлучный — всем известный золотисто-игреневый ахалтекинец Сарала, даренный туркменами на званом пиру. Хвалу воздавали Сарале не меньше, чем хозяину. Любуясь походкой его, изящной и величественной, знатоки наслаждение получали. Потому и говорили те, кому охота была подшутить: все богатство Раймалы — звук домбры да походка Саралы.

А оно так и было. Всю свою жизнь Раймалы-ага провел в седле и с домброй в руках. Богатства не нажил, хотя славу имел огромную. Жил, как майский соловей, все время в пирах, в веселии, везде ему почет и ласка. А коню уход и корм. Однако были иные крепкие, состоятельные люди, которые не любили его — беспутно, мол, бестолково прожил жизнь, как ветер в поле. Да, поговаривали и так за спиной.

Но когда Раймалы-ага появлялся на красном пиру, то с первыми звуками его домбры и песни все затихали, все завороженно смотрели на его руки, глаза и лицо, даже те, кто не одобрял его

образа жизни. На руки смотрели потому, что не было таких чувств в человеческом сердце, созвучия которым не нашли бы эти руки в струнах; на глаза смотрели потому, что вся сила мысли и духа горела в его глазах, беспрестанно преображавшихся; на лицо смотрели потому, что он был одухотворенно красив. Когда он пел, лицо его менялось, как море в ветреный день…

Жены уходили от него, отчаявшись и исчерпав терпение, но многие женщины плакали украдкой по ночам, мечтая о нем.

Так катилась его жизнь от песни к песне, со свадьбы на свадьбу, с пира на пир, и незаметно старость подкралась. Вначале в усах седина замелькала, потом борода поседела. И даже Сарала стал не тот — телом упал, хвост и грива иссеклись, по походке только и можно было судить, что был когда-то конь отменный. И вступил Раймалы-ага в зиму свою, как тополь островерхий, подсыхающий в гордом одиночестве… И тут обнаружилось, что нет у него ни семьи, ни дома, ни стад, ни иного богатства. Приютил его младший брат Абдиль-хан, но прежде высказал в кругу близких сородичей недовольство и упреки. Однако велел поставить ему отдельную юрту, велел кормить и обстирывать…

О старости стал петь Раймалы-ага, о смерти стал призадумываться. Великие и печальные песни рождались в те дни. И настал его черед постигать на досуге изначальную думу мыслителей — зачем рождается человек на свет? И уже не разъезжал он, как прежде, по пирам и свадьбам, все больше дома оставался, все чаще наигрывал на домбре грустные мелодии, воспоминаниями жил, да все дольше засиживался со старейшинами в беседах о бренности мира…

И, бог ему свидетель, спокойно завершил бы дни свои Раймалы-ага, если бы не один случай, потрясший его на склоне лет.

Однажды не утерпел Раймалы-ага, оседлал своего престарелого Саралу и поехал на большой праздник развеять скуку. Домбру на всякий случай прихватил. Уж очень просили уважаемые люди побывать на свадьбе, если не петь; то погостить хотя бы. С тем и поехал Раймалы-ага — с легкой душой, с намерением быстро вернуться.

Встретили его с почетом большим, в самую лучшую юрту белокупольную пригласили. Сидел он там в кругу знатных лиц, кумыс попивал, разговоры вел приличествующие да благожелания высказывал.

А в ауле пир шел горой, доносились отовсюду

песни, смех, голоса молодых, игры и забавы. Слышно было, как готовились к скачкам в честь молодоженов, как хлопотали повара у костров, как гомонили на воле табуны, как беспечно резвились собаки, как ветер шел со степи, донося запахи трав цветущих… Но более всего ревностно улавливал слух Раймалы-ага музыку и пение в соседних юртах, смех девичий, то и дело взрывался вокруг, заставляя его настораживаться…

Томилась, изнывала душа старого певца. Виду не подавал собеседникам, но мысленно Раймалы-ага витал в прошлом, ушел в те дни, когда сам был молодым и красивым, когда мчался по дорогам на молодом и ретивом скакуне Сарале, когда травы, сминаясь под копытами, плакали и смеялись, когда солнце, заслышав песню его, катило навстречу, когда ветер не вмещался в грудь, когда от звуков его домбры закипала кровь в сердцах людей, когда каждое слово его хватали на лету, когда умел он страдать, умел любить, казниться и слезы лить, прощаясь со стремени… К чему и зачем все то было? Чтобы затем тосковать и угасать на старости, как тлеющий огонь под пеплом серым?

Печалился Раймалы-ага, все больше помалкивал, погруженный в себя. И вдруг услышал он

приближающиеся к юрте шаги, голоса и звон монист, и знакомое шуршание платья уловило его ухо. Кто-то снаружи высоко приподнял полог над дверью юрты и на пороге появилась девушка с домброй, прижатой к груди, яснолицая, со взглядом озорным и гордым, с бровями, как тетива, тугими, что выдавало весьма решительный характер, и вся она та черноокая, была ладна собой, словно бы сотворена умелыми руками, — и ростом, и обличьем, и одеянием девичьим. Она стояла в дверях с поклоном, в сопровождении подруг и нескольких джигитов, прощения прося у знатных лиц. Но никто не успел и рта открыть, как девушка уверенно ударила по струнам и, обращаясь к Раймалы-аге, запела приветственную песню:

«Как караванщик, издали идущий к роднику, чтоб жажду утолить, к тебе пришла я, певец прославленный Раймалы-ага, сказать слова привета. Не осуди, что вторглись мы сюда толпою шумной, — на то здесь пир, на то веселье воцаряется на свадьбах. Не удивляйся смелости моей, Раймалы-ага, — отважилась к тебе явиться с песней, с таким же трепетом и тайным страхом, как если бы сама в любви признаться я хотела. Прости, Раймалы-ага, я смелостью заражена, как порохом

ружье заветное. Хотя живу я вольно на пирах и свадьбах, но к встрече этой готовилась всю жизнь, как та пчела, что мед по каплям собирает. Готовилась, как тот цветок в бутоне, которому раскрыться суждено в урочный час. И этот час настал…»

«Позволь, но кто же ты, пришелица прекрасная?» — хотел было узнать Раймалы-ага, но не посмел прервать чужую песню на полуслове. Однако весь подался к ней в удивлении и восторге. Душа смутилась в нем, горячей кровью возбудилась плоть, и если бы в тот час особым зрением обладать сумели люди, увидели б они, как встрепенулся он, как крыльями взмахнул, подобно беркуту на взлете. Глаза в нем ожили и засияли, насторожился сам, как клин желанный заслышав в небесах. И поднял голову Раймалы-ага, забыв о годах…

А девушка-певица продолжала:

«Послушай же историю мою, жырау великий, коль скоро я решилась на этот шаг. Я с юных лет люблю тебя, певец от бога Раймалы-ага. Я всюду следовала за тобой, Раймалы-ага, где б ты ни пел, куда б ты ни приехал. Не осуждай. Моя мечта была акыном стать таким, каким ты был, какой ты есть поныне, великий мастер песни Раймалы-ага.

И, следуя повсюду за тобой незримой тенью, ни слова твоего не пропустив, твои напевы повторяя как молитвы, училась я, стихи твои, как заклинанья повторяя. Мечтала я, просила я у бога мне ниспослать великой силы дар, чтобы могла тебя приветствовать в один счастливый день, чтобы в любви признаться, в преклоненье давнем, спеть песни, сочиненные в твоем присутствии, и еще, пусть бог простит мне эту дерзость, с тобой, великий мастер, в искусстве состязаться я мечтала, пусть если даже буду побеждена. О Раймалы-ага, об этом мечталось мне, как иной о свадьбе. Но я была мала, а ты — таким великим был, таким любимым всеми, настолько славой и почетом окружен, не мудрено, меня, девчонку малую, заметить ты не мог в народе, не мог ты отличить в том многолюдье на пирах. А я же, упиваясь песнями твоими, сгорая от стыда, я втайне грезила тобой и женщиной хотела стать скорее, чтобы прийти к тебе и объявиться смело. И клятву я дала себе познать искусство слова, познать природу музыки так глубоко и научиться петь, как ты, учитель мой, чтобы прийти к тебе, не уклоняясь и не страшась взыскующего взора, чтоб привет сказать, в любви признаться и бросить вызов свой, нисколько не таясь. И вот я здесь. Я

вся здесь на виду и на суду. Пока росла я, пока я женщиной предстать спешила без опозданья, так время медленно тянулось, и наконец-то нынешней весной все девятнадцать мне исполнились. А ты, Раймалы-ага, в моем девичьем мире все такой же и все тот же, лишь поседел немного. Но это не помеха, чтобы любить тебя, как можно не любить других, совсем не поседевших. И вот я здесь. Теперь позволь сказать мне решительно и ясно, меня отвергнуть как девицу волен ты, но как певицу — не смеешь отвергать, поскольку я пришла с тобою состязаться В красноречии. Тебе бросаю вызов, мастер, слово за тобой!»

— Но кто же ты? Откуда ты? — воскликнул Раймалы-ага и с места встал. — Как звать тебя?

— Мое имя Беги май.

— Бегимай? Так где же ты была до этого? Откуда ты явилась, Бегимай? — невольно вырвалось из уст Раймалы-аги, и голову склонил он омраченно.

— Ведь я сказала, Раймалы-ага. Мала была я, я росла.

«Все понимаю, — ответил он на то. — Не понимаю лишь одно — судьбы своей не понимаю! Зачем угодно было ей тебя взрастить такой прекрасной к закату лет моих предзимних? Зачем?

Чтобы сказать, что все, что было прежде, не то все было, что я напрасно жил на свете, не ведая, что будет мне как воздаяние от неба отрадное мучение узнать, услышать, лицезреть тебя? К чему судьба немилость проявляет столь жестоко?

— Напрасно сетуешь так горько, Раймалы-ага, — сказала Бегимай. — Уж если то судьба в моем лице явилась — во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Ничто не будет мне дороже, чем знать, что радость я могу тебе доставить девичьей лаской, песней и любовью беззаветной. Во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Но если ты сомненья одолеть не сможешь, уж если ты закроешь предо мной дверь к себе, то и тогда, любя тебя безмерно, почту за честь особую с тобою состязаться в мастерстве, готовая принять любые испытания.

— О чем ты говоришь! Что испытание словом, Беги-май! Что стоит состязание в мастерстве, когда есть испытанья пострашнее — любви, несовместимой с тем порядком, в котором мы живем. Нет, Бегимай, не обещаю я соревноваться в красноречии с тобой. Не потому, что сил не хватит, не потому, что слово умерло во мне, не потому, что голос потускнел. Не потому. Я лишь могу тобою восхищаться, Бегимай. Я лишь могу любить тебя себе на горе, Бегимай, и лишь в люб-

ви с тобою состязаться, Бегимай.

С этими словами Раймалы-ага взял домбру, настроил ее на новый лад и запел новую песню, запел как в былые дни — то как ветер, чуть слышный в траве, то как гроза, грохочущая раскатами в бело-голубом небе. С тех пор и осталась та песня на земле. Песня «Бегимай»:

«…Если ты пришла издалека, чтоб испить воды из родника, я как ветер встречный добегу и к ногам твоим паду, Бегимай. Если же сегодня день наипоследний мне судьбой начертан на роду, то сегодня не умру я, Бегимай. И во веки не умру я, Бегимай, оживу и снова буду жить, Бегимай, чтобы не остаться без тебя, Бегимай, без тебя, как без очей, Бегимай…»

Вот так он пел ту песню «Бегимай».

День тот надолго остался в памяти людей. Сколько разговоров закипело сразу вокруг Раймалы-аги и Бегимай. А когда провожали невесту к жениху, среди праздничных белых юрт, среди всадников на праздничных конях, среди яркой праздничной толпы, во главе провожального каравана гарцевали Раймалы-ага и Бегимай с песнями благопожеланий. Бок о бок ехали они, стремя в стремя ехали они, красовались рядышком они, обращались к богу они, к добрым силам

обращались они, новобрачным счастья желали они, на домбрах играли они, на свирелях играли они, песни пели они — то он, то она, то он, то она…

И дивились люди вокруг, что такие песни слышат они, и смеялись травы вокруг, дым костров стелился вокруг, и летали птицы вокруг, веселились ребята, на двухлетках вокруг скача…

Не узнавали люди старого певца Раймалы-агу. Снова голос звенел, как бывало, снова гибким и ловким он стал, как бывало, а глаза сияли, как две лампы в белой юрте на зеленом лугу. Даже конь его Сарала шею выгнул и тоже возгордился.

Но не всем это было по душе. Были в толпе и те, что плевались, глядя на Раймалы-агу. Сродственники, соплеменники его возмущались — баракбаи, так назывался тот род. Баракбаи злились, находясь на свадьбе. Куда это годится — Раймалы-ага с ума спятил на старости лет. Стали наговаривать они брату его Абдильхану. Как же будем тебя волостным избирать, засмеют нас другие на выборах, если старый пес Раймалы на позорище нас выставляет? Слышишь, что поет, как жеребец молодой, гогочет. А она, девка эта, слышишь, что отвечает? Стыд и срам! На глазах у всех голову крутит ему. Не к добру. Зачем свя-

зываться с этой девкой? Приструнить его надо, чтобы худая молва не пошла по аулам…

Абдильхан давно уже зло держал на беспутного брата, до седин дожившего за беспутным занятием. Думал — постарел, остепенился, и тут на тебе: на весь род баракбаев позор навлекает.

И тогда приударил коня своего Абдильхан, пробиваясь к брату через толпу, и кричал, угрожая кнутом: «Опомнись! Домой уезжай!» Но не слышал и не видел его старший брат, сладкозвучными песнями занятый. А поклонники — те, что плотной толпой окружали верхами певцов, те, которые в песнях каждое слово ловили, Абдильхана вмиг оттеснили и успели с разных сторон по шее огреть плетьми. Разберись тут, кто руку приложил. Ускакал Абдильхан…

А песни пелись. В ту минуту новая песня рождалась в устах.

«…Когда марал влюбленный подругу кличет ревом поутру, ему ущелье вторит эхом горным», — пел Раймалы-ага.

«Когда же лебедь, разлученный с лебедицей белой, на солнце глянет поутру, то солнце он увидит кругом черным», — отвечала песней Бегимай.

И так они пели в честь молодых — то он, то она, то он, то она…

Не ведал Раймалы-ага в тот час самозабвенный, с какой кипучей злобой в груди ускакал брат Абдильхан, с какой обидой и местью нетерпимой последовали за ним сородичи, весь баракбаев род. Какую в сговоре расправу заготовили они ему, не знал…

А песни пелись — то он, то она, то он, то она…

Мчал Абдильхан, к седлу пригнувшись черной тучей. К аулу, к дому! Сородичи, что волчьей стаей рядом шли, ему кричали на скаку:

— Брат твой рассудком тронулся! Ума лишился! Беда! Его лечить скорее надо!

А песни пелись — то он, то она, то он, то она…

Так с песнями проводили они свадебный кортеж к положенному месту. Здесь на прощание еще раз спели благопожелания. И, обращаясь к людям, сказал Раймалы-ага, что счастлив тем, что дожил до благословенных дней, когда судьба ему в награду послала равного акына, певицу молодую Бегимай. Сказал, что кремень, лишь о кремень ударяясь, огонь воспламеняет, так и в искусстве слова, состязаясь в мастерстве, акыны постигают тайны совершенства. Но сверх всего, сверх мыслимого счастья он счастлив тем, что напоследок жизни, как на закате, когда светило всей мощью полыхает, наполненной от сотворе-

нья мира, познал любовь он, познал такую силу духа, какую не знавал от роду.

— Раймалы-ага! — ему в ответном слове сказала Бегимай. — Сбылась моя мечта. Я буду следовать за тобой. Как скажешь и где скажешь — явлюсь немедленно с домброй. Чтоб песня с песней сочеталась, чтобы любить тебя и быть твоей любовью. С тем жизнь свою судьбе вручаю без оглядки.

Так пелись песни.

И здесь при всем степном народе условились они, что встреча через день на ярмарке большой, где будут петь для всех приезжих со всех сторон.

И тот же час те, что разъезжались с проводов, весть разнесли по всей округе о том, что Раймалы-ага и Бегимай на ярмарку приедут петь. Бежала новость:

— На ярмарку!

— На ярмарку коней седлайте!

— На ярмарку акынов слушать приезжайте!

Молва людская эхом откликалась:

— Вот праздник будет!

— Вот потеха!

— Вот красота!

— Какой позор!

— Как здорово!

— Бесстыдство-то какое!

А Раймалы-ага и Бегимай расстались посреди пути:

— До ярмарки, родная Бегимай!

— До ярмарки, Раймалы-ага!

И, удаляясь, еще кричали с седел:

— До ярмарки-и!

— До ярмарки-и, Раймалы-ага-а-а!

День на исходе был. Большая степь спокойно погружалась в наплывы белых сумраков степного лета. Созрели травы, чуть духом увядания травы отдавали, прохладой свежей веяло после дождей в горах, летели коршуны перед закатом низко и неспешно, посвистывали птахи, славя вечер мирный…

— Какая тишина, какая благодать! — промолвил Раймалы-ага, поглаживая коня по гриве. — Ах, Сарала, ах, старина, мой славный конь, неужто жизнь так прекрасна, что даже в свой последний срок любить так можно?..

А Сарала шагал дорожным ходом, пофыркивал, спеша домой, чтобы ногам дать отдых, день-деньской ходил он под седлом, воды речной испить ему хотелось и в поле выйти попастись при лунном свете.

А вот аул в изгибе у реки. Вот юрты, вот огни веселые дымят.

Раймалы-ага спешился. Коня у коновязи на выстойку поставил. В жилье не заходя, присел передохнуть у очага снаружи. Но кто-то подошел. Соседский парень.

— Раймалы-ага, вас просят люди в юрту.

— Какие люди?

— Да все свои, все баракбаи.

Переступив порог, увидел Раймалы-ага старейшин рода, сидящих тесным полукругом, и среди них чуть сбоку — брата Абдильхана. Тот мрачен был. Глаза не поднимал, как будто прятал что во взоре.

— Мир вам! — приветствовал Раймалы-ага сородичей. — Уж не случилась ли беда?

— Тебя мы ждем, — промолвил самый главный.

— Если меня, то здесь я, — ответил Раймалы-ага, — и собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу.

— Постой! Остановись в дверях! И на колени встань! — услышал он приказ.

— Что это значит? Ведь я пока хозяин этой юрты.

— Нет, ты не хозяин! Не может быть хозяином старик, сдвинувшийся с ума!

— О чем же речь?

— О том, что дашь отныне клятву нигде и никогда не петь, не шляться по пирам и напрочь выкинуть из головы ту девку, с которой ты сегодня песни пел срамные, забыв о пегой бороде своей бесстыжей, забыв о чести нашей и своей. Так поклянись! Чтоб на глаза ты больше ей не попадался!

— Напрасно тратите слова. Я послезавтра на ярмарке с ней буду петь при всем народе.

Тут крик поднялся:

— Да он же нас позором покрывает!

— Пока не поздно, откажись!

— Да он же рехнулся!

— Да он и впрямь свихнулся!

— А ну-ка тише! Помолчите! — навел порядок главный судия. — Итак, Раймалы, ты все сказал?

— Я все сказал.

— Вы слышите, потомки рода Баракбая, что соплеменник наш, сей нечестивый Раймалы, сказал?

— Мы слышали.

— Тогда послушайте, что я скажу. Вначале я тебе скажу, несчастный Раймалы. Всю жизнь в бедности однолошадной, в гуляниях провел ты, пел на пирах, домброй бренчал, шутом-маскаропосом был. Ты жизнь свою употребил для

развлечения других. Тебе прощали мы твое беспутство, в те времена ты молод был. Теперь ты стар и ты смешон теперь. Тебя мы презираем. Пора о смерти бы подумать, о смирении. А ты же на забаву и на злословие чужим аулам с той девкой спутался, как вертопрах последний, попрал обычаи, законы и не желаешь покориться нашему совету, так что ж, пусть покарает тебя бог, сам на себя пеняй. Теперь второе слово. Встань, Абдильхан, ты брат его единокровный, от одного отца и матери одной, и ты опора наша и надежда. Тебя мы волостным хотели бы избрать от имени всех баракбаев. Но брат твой рехнулся вконец, он сам не разумеет, что творит, и может стать помехой в этом деле. А потому ты вправе поступить с ним так, чтобы умалишенный Раймалы нас не позорил бы на людях, чтобы никто не смел бы плюнуть нам в глаза и на посмешище поднять не смел бы баракбаев!

— Никто мне не пророк и не судья, — заговорил Раймалы-ага, опережая Абдильхана. — Мне жалко вас, сидящих здесь и не сидящих, вы в заблужденье темном, вы судите о том, что недоступно решать на общем сборе. Не ведаете вы, где истина, где счастье в этом мире. Да разве же постыдно петь, когда поется, да разве же любить

постыдно, когда любовь приходит, ниспосланная богом на веку? Ведь самая большая радость на земле — влюбленным радоваться людям. Но коли вы меня считаете безумным лишь потому, что я пою и от любви, пришедшей неурочно, не уклоняюсь, радуюсь ей, то я уйду от вас. Уйду, свет клином не сошелся. Сейчас же сяду на Саралу, уеду к ней, или уедем вместе в края другие, чтоб не тревожить вас ни песнями, ни поведением своим.

— Нет, не уйдешь! — взорвался грозным хрипом все это время молчавший Абдильхан. — Отсюда ты не выйдешь никуда. Ни на какую ярмарку тебе нет хода. Тебя лечить мы будем, пока твой разум не найдет тебя.

И с этими словами брат выхватил домбру из рук акына.

— Вот так! — И оземь бросил, растоптал тот хрупкий инструмент, как бык взъяренный топчет пастуха. — Отныне петь ты позабудешь! Эй вы, ведите клячу эту, Саралу! — И подал знак.

И те, что на дворе стояли наготове, от коновязи быстро подогнали Саралу.

— Срывай седло! Бросай сюда! — топор припрятанный выхватывая, командовал Абдильхан.

Седло крушил он топором, кромсая в щепки.

— Вот! Никуда ты не поедешь! Ни на какую ярмарку! — И в ярости изрезал в клочья сбрую, ремни стремян порезал на куски, а сами стремена в кусты забросил, одно в одну, второе в сторону другую.

В испуге заметался Сарала, на пятки приседал, храпел, грызя удила, как будто знал, что и его постигнет та же участь.

— Так, значит, ты на ярмарку собрался? На Сарале верхом? Так погляди! — свирепствовал Абдильхан.

И тут же сородичи свалили Саралу в два счета, в два счета волосяным арканом стянули лошадь в узел. А Абдильхан могучей пятерней схватив коня за храп, оттягивая голову назад, над горлом беззащитным нож занес.

Рванулся что есть силы Раймалы-ага из рук его удерживающих.

— Остановись! Не убивай коня!

Но не успел. Кровь струей горячей ударила из-под ножа, в глаза ударила, как тьма средь дня. И весь в крови дымящейся, облитый кровью Саралы, с земли шатаясь встал Раймалы-ага.

— Напрасно! Ведь я пешком уйду. Я на коленях уползу! — сказал униженный певец, полою утираясь.

— Нет, и пешком ты не уйдешь! — От горла перерезанного Саралы лицо в оскале резко поднял Абдильхан. — Тебе отсюда шагу не шагнуть! — проговорил он тихо и вдруг вскричал: — Хватайте! Смотрите, он безумен! Вяжите, он убьет!

Тут крики. Все смешались, сшиблись:

— Сюда веревку!

— Заламывай руки!

— Крути потуже!

— Он спятил! Вот вам бог!

— Смотри глаза какие!

— Он разум потерял, ей-ей!

— Тащи его туда, к березе!

— Давай поволокли!

— Тащи скорей!

Уже луна над головой стояла высоко. Совсем спокойно было в небе, на земле. Пришли какие-то шаманы, костер разложили и в дикой пляске изгоняли духов, затмивших разум великого певца.

А он стоял привязанный к березе, с руками, туго стянутыми за спиной.

Потом пришел мулла. И стал зачитывать молитвы из корана. На путь потребный наставлял мулла.

А он стоял, привязанный к березе, с руками,

стянутыми за спиной.

И, обращаясь к брату Абдильхану, запел Раймалы-ага:

«Последний сумрак унося с собой, уходит ночь, и день грядущий с утра наступит снова. Но для меня отныне света нет. Ты солнце отнял у меня, несчастный брат мой Абдильхан. Ты рад, угрюмо торжествуешь, что разлучил меня с любовью, от бога посланной уже на склоне лет. Но знал бы ты, какое счастье я ношу с собою, пока дышу, пока не смолкло сердце. Ты повязал, ты прикрутил меня петлями к древу, а я не здесь сейчас, несчастный брат мой Абдильхан. Здесь только тело бренное мое, а дух мой, как ветер, пробегает расстояния, как дождь, соединяется с землей, я каждое мгновение с нею неразлучен, как волос ее собственный, как собственное ее дыхание. Когда она проснется на рассвете, я козерогом диким с гор к ней прибегу и буду ждать на каменном утесе, когда она из юрты выйдет поутру. Когда она огонь воспламенит, я буду дымом сладким, окуривать ее я буду. Когда она поскачет на коне и через брод речной перебираться станет, я буду брызгами лететь из-под копыт, я буду окроплять ее лицо и руки. Когда же запоет она, я песней буду…»

Над головой чуть слышно шелестели ветки по утренней заре. День наступил. Узнав о том, что Рай малы сошел с ума, полюбопытствовать прибыли соседи. С коней не слезая, толпились в отдалении.

А он стоял в изодранной одежде, привязанный к березе, с руками, туго стянутыми за спиной.

И песню пел, ту песню, что знаменитой стала после:

С черных гор когда пойдет кочевье,
Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан.
С синих гор когда пойдет кочевье,
Дай мне волю, брат мой Абдильхан.
Не гадал, не думал, что тобою буду
Связан по рукам и по ногам.
С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан,
Я по доброй воле в небеса уйду…
С черных гор когда пойдет кочевье,
Я на ярмарке не буду, Бегимай.

С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай,
Мы с тобой не будем петь на ярмарке,
Конь мой не поспеет, сам я не дойду,
С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай,
Я по доброй воле в небеса уйду…

Вот какая она, история эта…

Теперь, по пути на Ана-Бейит, провожая Казангапа в последний путь, и об этом неотступно думал Едигей.

11

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей…

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Миновав очень долгий проезд вдоль красно-песчаного обрыва Малакумдычап, где некогда кружила Найман-Ана в поисках своего сына-манкурта, они оказались на подступах к Ана-Бейиту. Постоянно посматривая то на часы, то на солнце над сарозеками, Бураный Едигей считал, что все пока идет так, как надо. После похорон они вполне могли поспеть вовремя вернуться домой, чтобы сообща помянуть Казангапа. Конечно, дело уже будет к вечеру, но главное, чтобы день в день совпало. Да, жизнь, жизнь! Казангап будет уже покоиться на Ана-Бейите, а они, вернувшись

домой, еще раз помянут его добрым словом…

Все в том же порядке — впереди Едигей на Карана-ре, обряженном в попону с кистями, за ним трактор с прицепом и за прицепом экскаватор «Беларусь» — они выехали из Малакумдычапа на ана-бейитскую равнину в сопровождении рыжего пса Жолбарса, бегущего себе сбоку с независимым видом. И тут по выходе из Малакумдычапа случилась первая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на препятствие — на изгородь из колючей проволоки.

Едигей первым остановился — вот те раз! Он даже привстал на стременах и с высоты Каранара посмотрел направо, посмотрел налево — насколько глаз хватало змеилась вверх и вниз по степи непроходимая шипованная проволока, нацепленная в несколько рядов на железобетонные четырехгранные столбцы, врытые в землю через одинаковые промежутки, через каждые пять метров. Прочно, основательно стояла та изгородь. Неизвестно, откуда она начиналась и где кончалась. А может быть, нигде не кончалась. Проезда дальше не было. И как тут было быть, как дальше путь держать?

Тем временем позади остановились трактора. Первым выскочил из кабины Сабитжан, за ним

Длинный Эдильбай.

— Что такое? — махнул рукой Сабитжан на изгородь. — Не туда попали, что ли? — спросил он у Едигея.

— Почему не туда? Туда, да только вот проволока откуда-то взялась. Черт ее побери!

— *А* разве ее прежде не было?

— Не было.

— А как же быть теперь? Как мы поедем дальше?

Едигей промолчал. Он и сам не знал, как быть.

— Эй ты! А ну останови трактор! Хватит тарахтеть! — раздраженно бросил Сабитжан высунувшемуся из кабины Калибеку.

Тот заглушил мотор. За ним смолк и экскаватор. Стало тихо. Совсем тихо. Буранный Едигей хмуро сидел на своем верблюде, Сабитжан и Длинный Эдильбай стояли возле, трактористы — Калибек и Жумагали — оставались в кабинах, покойный Казангап, запеленатый в белый войлок, лежал в прицепе, рядом сидел его зять-алкоголик, муж Айзады, рыжий пес Жолбарс, воспользовавшись моментом, пристроился к тракторному колесу, высоко задрав ногу.

Великая сарозекская степь простиралась под небом от края и до края земли, но прохода к

Ана-Бейитскому кладбищу не было. И все остановились в недоумении перед колючей стеной.

Первым нарушил молчание Длинный Эдильбай:

— А что, Едике, прежде ее здесь не было?

— Сроду не было! Первый раз вижу.

— Выходит, что оградили зону специально. Для космодрома, наверно? — предположил Длинный Эдильбай.

— Да, так получается. Иначе зачем столько трудов — в голой степи такую изгородь отгрохали. Кому-то ведь взбрело в голову. Что ни вздумается, то и делают, черт их побери! — выругался Едигей.

— Да что тут чертыхаться! Лучше было узнать заранее, прежде чем выезжать на похороны в такую даль, — мрачно подал голос Сабитжан.

Наступила тягостная пауза. Буранный Едигей глянул неприязненно сверху вниз, с высоты Каранара, на стоящего подле Сабитжана.

— Ты вот что, родимый, потерпи-ка малость, не суетись, — сказал он как можно спокойней. — Прежде здесь не было колючей проволоки, откуда было знать.

— Вот об этом и речь, — буркнул Сабитжан и отвернулся.

Опять «замолчали. Длинный Эдильбай что-то соображал.

— Так как быть теперь, Едике? Что делать? Есть ли какая-нибудь другая дорога на кладбище?

— Да должна быть. Почему же нет? Есть тут дорога, километров пять правее, — отвечал Едигей, оглядываясь по сторонам. — Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда — ни туда, ни сюда.

— Так это точно, там есть дорога? — вызывающе уточнил Сабитжан. — А то как раз получится — ни туда, ни сюда!

— Есть, есть, — заверил Едигей. — Садитесь, поехали. Не будем время терять.

И они снова двинулись. Снова затарахтели трактора позади. Поехали вдоль проволоки.

Переживал Едигей. Очень он был обескуражен этим. Как же так, досадовал он в душе, позакрывали, заградили кругом местность и на кладбище дорогу не указали. Вот дела-то, вот жизнь! И, однако, у него была надежда — должен быть какой-то въезд и на этой, южной, стороне. Так оно и оказалось. Выехали прямо к шлагбауму.

Приближаясь к шлагбауму, Едигей обратил внимание на основательность, прочность пропускного пункта: крепкие бетонные монолиты

по краям, у самого проезда с края дороги кирпичный домик с широким, сплошь цельным стеклом для обозрения, сверху, на плоской крыше, были установлены два прожекторных фонаря, видимо для освещения проезда в ночное время. От шлагбаума уходила дальше асфальтированная дорога. Едигей забеспокоился при виде такой устроенности.

С их появлением из постового помещения вышел молоденький, совсем еще юный белобрысый солдат с автоматом через плечо дулом книзу. Одергивая гимнастерку на ходу и поправляя фуражку на голове для пущей важности, он остановился посреди полосатого шлагбаума с неприступным видом. И все же вначале поздоровался, когда Едигей подъехал вплотную к перекладине, преграждающей дорогу.

— Здравствуйте, — козырнул часовой, глянув на Едигея светло-голубыми, еще ребяческими глазами. — Кто такие будете? Куда путь держите?

— Да мы здешние, солдат, — сказал Едигей, улыбаясь мальчишеской строгости часового. — Вот везем человека, старика нашего, хоронить на кладбище.

— Не положено без пропуска, — отрицательно покачал головой молоденький солдат, не без

опаски отстраняясь от Каранаровой зубастой пасти, жующей жвачку. — Здесь охраняемая зона, — пояснил он.

— Понимаю, но нам же на кладбище. Оно тут неподалеку. Что тут такого? Похороним и назад. Никаких задержек.

— Не могу. Не имею права, — сказал часовой.

— Слушай, родимый. — Едигей склонился с седла так, чтобы лучше были видные его боевые ордена и медали. — Не посторонние мы. Мы с разъезда Боранлы-Буранного. Слышал, должно быть. Мы свои люди. Хоронить-то ведь надо. Мы только на кладбище и назад.

— Да я-то понимаю, — начал было часовой, бесхитростно пожимая плечами, но тут некстати подоспел Сабитжан с напускным, поспешающим видом важного, делового человека.

— Что такое, в чем дело? Я из облпрофсовета, — заявил он. — Почему задержка?

— Потому что не положено.

— Я же говорю, товарищ постовой, я из облпрофсовета.

— А мне все равно, откуда вы.

— Как это так? — опешил Сабитжан.

— А так. Охраняемая зона.

— Тогда зачем разговоры разводить? — оскор-

бился Сабитжан.

— А кто разводит? Я вот разъясняю из уважения человеку на верблюде, а не вам. Чтобы ему понятно было. А вообще-то я не имею права вступать в разговоры с посторонними. Я на посту.

— Значит, проезда на кладбище нет?

— Нет. Не только на кладбище. Здесь проезда нет никому.

— Ну тогда что ж, — обозлился Сабитжан. — Я так и знал! — бросил он Едигею. — Так и знал, что ерунда получится! Так нет! Куда там! Ана-Бейит! Ана-Бейит! Вот тебе Ана-Бейит! — И с этими словами он оскорбленно отошел, сплевывая зло и нервно.

Едигею стало неловко перед молоденьким часовым.

— Ты извини, сынок, — сказал он ему по-отечески. — Ясное дело, ты службу несешь. Но покойника куда теперь девать? Это же не бревно, чтобы свалил да поехал.

— Да я-то понимаю. А что я могу? Мне как скажут, так я и должен делать. Я же не начальник здесь.

— Да-а дела-а, — растерянно протянул Едигей. — А сам-то ты откуда родом?

— Вологодский я, папаша, — проокал часовой

смущенно и по-детски обрадованно, откровенно улыбаясь тому, что приятно ему было ответить на этот вопрос.

— Так что у вас в Вологде тоже так — на кладбищах часовые стоят?

— Да что ты, папаша, зачем же! На кладбище у нас когда хошь и сколько хошь. Да разве в этом дело? Тут ведь закрытая зона. Да ты, папаша, сам служил и воевал, смотрю, знаешь небось, служба есть служба. Хочу не хочу, а долг, никуда не денешься.

— Так-то оно так, — соглашался Едигей, — только куда теперь нам с покойником?

Они замолчали. И, крепко подумав, солдатик с сожалением тряхнул белобровой, ясноглазой головой.

— Нет, папаша, не могу! Не в моих правах!

— Что ж, — проговорил совершенно растерянно Едигей.

Ему было тяжко повернуться лицом к своим спутникам, потому что Сабитжан все больше распалялся, подойдя к Длинному Эдильбаю. У экскаватора были слышны его раздраженные выпады:

— Я ведь говорил! Не надо тащиться в такую даль! Это же предрассудки! Морочите голову себе

и другим. Какая разница, где закидать мертвеца! Так нет: лопни, а подай им Ана-Бейит. И ты тоже мне — уезжай, без тебя похороним! Вот и хороните теперь!

Длинный Эдильбай молча отошел от него.

— Слушай, друг, — сказал он часовому, подойдя к шлагбауму. — Я тоже служил и тоже знаю кое-какие порядки. Телефон у тебя есть?

— Есть конечно.

— Тогда так — звони начальнику по караулу. Доложи, что местные жители просят, чтобы им разрешили проезд на кладбище Ана-Бейит!

— Как? Как? Ана-Бейит? — переспросил часовой.

— Да. Ана-Бейит. Так называется наше кладбище. Звони, друг, другого выхода нет. Пусть самолично разрешение получит для нас. А мы — будь уверен, кроме кладбища, нас тут Ничего не интересует.

Часовой задумался, переминаясь с ноги на ногу, наморщив лоб.

— Да ты не сомневайся, — сказал Длинный Эдильбай. Все по уставу. На пост прибыли посторонние лица. Ты докладываешь начальнику караула. Вот и вся механика. Что ты на самом деле! Ты обязан доложить.

— Ну хорошо, — кивнул часовой. — Сейчас позвоню. Только начальник караула все время по территории колесит, по постам. А территория-то вон какая!

— Может, и мне разрешишь рядом быть? — попросил Длинный Эдильбай. — В случае чего подсказать что к чему.

— Ну давай, — согласился часовой.

И они скрылись в постовом помещении. Дверь была открыта, и Едигею все было слышно. Часовой звонил куда-то, все спрашивал начальника караула. А тот не обнаруживался.

— Да нет, мне начальника по караулу! — объяснял он. — Лично его… Да нет. Тут дело важное.

Едигей нервничал. Куда же запропастился этот начальник по караулу? Вот не везет так не везет!

Наконец он отыскался.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — громко заговорил часовой звонким, взволнованным голосом.

И доложил ему, что, мол, тут местные жители приехали хоронить человека на старинном кладбище. Как быть? Едигей насторожился. Скажет лейтенант — пропусти, и все! Молодец Длинный Эдильбай! Все же сообразительный парень. Однако разговор часового стал затягиваться. Теперь

он все время отвечал на вопросы:

— Да… Сколько? Шесть человек. А с покойником семь. Старик какой-то умер. А старший у них на верблюде. Потом трактор с прицепом. А за трактором экскаватор тоже… Да нужно, говорят, стало быть, могилу рыть… Как? А что мне сказать? Значит, нельзя? Не разрешается? Есть, слушаюсь!

И тут раздался голос Длинного Эдильбая. Видимо, он выхватил трубку.

— Товарищ лейтенант! Войдите в наше положение. Товарищ лейтенант, мы прибыли с разъезда Боранлы-Буранный. А куда же нам теперь? Войдите в наше положение, товарищ лейтенант. Мы здешние люди, мы ничего плохого не сделаем. Мы только похороним человека и сразу вернемся… А? Что? Ну как же так! Ну приезжайте, приезжайте, сами убедитесь! У нас тут есть старик наш, фронтовик был, воевал. Объясните ему.

Длинный Эдильбай вышел из караульного помещения расстроенный, но сказал, что лейтенант приедет и все решит на месте. За ним подошел часовой и сказал то же самое. Часовой теперь чувствовал облегчение, поскольку начальник караула сам должен был решить вопрос. Он теперь спокойно шагал взад-вперед у полосатой

перекладины.

Буранный Едигей призадумался. Кто мог ожидать такого оборота дела? Придется ждать прибытия лейтенанта. Тем временем Едигей спешился, отвел верблюда к экскаватору и привязал к самому ковшу. Потом повернул назад, к шлагбауму. Трактористы Калибек и Жумагали негромко разговаривали между собой. Курили. Сабитжан нервно прохаживался взад и вперед в стороне от всех. А Казангапов зять, муж Айзады, все так же сидел в прицепе у тела покойного.

— Ну что, Едике, как там, пропустят нас? — спрссил он у Едигея.

— Должны пропустить. Сейчас приедет сам начальник, лейтенант. Что ж нас не пускать? Что мы, шпионы какие! А ты бы слез с прицепа. Походи, промнись малость.

Было уже три часа. А они еще не добрались до Ана-Бейита, хотя и оставалось не так далеко.

Едигей вернулся к часовому.

— Сынок, долго ли ждать твоего начальника? — спросил он.

— Да нет. Сейчас примчится. Он на машине. Тут минут десять — пятнадцать ходу.

— Ну ладно, подождем. А давно эту колючую проволоку установили?

— Да порядочно. Мы ее ставили. Я тут служу уже год. Выходит пол го да уже как оцепили вокруг.

— То-то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что я затеял сюда везти на погребение. Тут у нас кладбище старинное — Ана-Бейит. А Казангап покойный был очень хорошим человеком. Тридцать лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше.

Солдат, видимо, проникся сочувствием к Буранному Едигею.

— Слушай, папаша, — сказал он деловито. — Вот приедет начальник караула лейтенант Тансыкбаев, вы ему скажите все как есть. Что он, не человек? Пусть доложит выше. А там вдруг и разрешат.

— Спасибо на добром слове. А иначе как же нам? Как ты сказал — Тансыкбаев? Фамилия лейтенанта Тансыкбаев?

— Да, Тансыкбаев. Он у нас тут недавно. А что? Знакомый? Из ваших он. Может, свояк какой будет?

— Да нет, что ты, — усмехнулся Едигей. — Тансыкбаевых у нас, как у вас Ивановых. Просто припомнился один человек с такой фамилией.

Тут зазвонил телефон на посту, и часовой по-

спешил туда. Едигей остался один. Вздыбились опять брови. И, хмуро оглядываясь вокруг, посматривая, не покажется ли машина на дороге за шлагбаумом, Буранный Едигей покачал головой. «А вдруг это сын того, кречетоглазого? — подумал он и сам же себя обругал мысленно. — Еще что! Втемяшится же в голову! Сколько их, с такой фамилией. Не должно, не может быть. С тем Тансыкбаев ым сквитались ведь потом сполна… Все-таки есть правда на земле! Есть! И как бы то ни было, всегда будет правда…»

Он отошел в сторону, достал носовой платок и протер им тщательно свои ордена, медали и ударнические значки на груди, чтобы они блестели и чтобы их сразу видно было лейтенанту Тансыкбаеву.

12

А с тем кречетоглазым Тансыкбаевым дело обстояло так.

В 1956 году в конце весны был большой митинг в кумбельском депо, всех тогда созвали, со всех станций и разъездов съехались тогда путейцы. Оставались на местах только те, кто стоял в тот день на линии. Сколько всяких собраний промелькнуло на веку Буранного Едигея, но тот митинг не забывался никогда.

Собрались в паровозоремонтном цехе. Народу было полным-полно, иные аж наверх залезли, под самую крышу, на консолях сидели. Но самое главное — какие речи были! Про Берию выяснилось все до дна. Заклеймили проклятого палача, никаких сожалений не было! Крепко выступали, до самого вечера, деповские рабочие сами лезли на трибуну, и ни один человек не ушел, как пригвоздило всех к месту. И только рокот голосов, как лес, шумел под сводами корпуса. Запомнилось, кто-то рядом в толпе молвил чисто российским говором: «Ну как есть море перед бурей». А так оно и было. Колотилось сердце в груди, на фронте перед атакой так колотилось, и

очень пить хотелось. Во рту пересыхало. Но где там при таком многолюдье воды достать. Не до воды было, пришлось терпеть. В перерыве Едигей протиснулся к парторгу депо Чернову, бывшему начальнику станции. Тот в президиуме был.

— Слушай, Андрей Петрович, может, и мне выступить?

— Давай, если есть такая охота.

— Охота есть, очень даже. Только вначале посоветуемся. Помнишь, у нас на разъезде работал Куттыбаев. Абуталип Куттыбаев. Ну, еще ревизор написав на него донос, что, мол, югославские воспоминания пишет. Абуталип там воевал в партизанах. И всякое другое приписал еще тот ревизор. А эти бериевские приехали, забрали человека. Он и умер из-за этого, пропал ни за что! Помнишь?

— Да, помню. Жена его приезжала за бумагой.

— Во-во! А потом семья-то уехала. А я вот сейчас слушал, думал. С Югославией у нас дружба — и никаких разногласий! А за что страдают неповинные люди? Детишки Абуталиповы подросли, им уже в школу. Так надо же все на чистую воду. А не то будет им каждый тыкать в глаза. Детишки там и так пострадали — без отца остались.

— Постой, Едигей. Так ты хочешь об этом вы-

ступить?

— Ну да.

— А как фамилия того ревизора?

— Да узнать можно. Я его, правда, больше не видел.

— У кого ты сейчас узнаешь? А потом, есть ли документальное доказательство, что именно он написал?

— А кто еще больше?

— Тут фактическое доказательство нужно, дорогой мой Буранный. А вдруг не так окажется? Дело нешуточное. Ты вот что, Едигей, послушай совета. Напиши письмо обо всем этом в Алма-Ату. Напиши все как было, всю ту историю, и пошли в ЦК партии республики. А там разберутся. Задержки не будет. Партия крепко взялась за это дело. Сам видишь.

Вместе со всеми на том митинге Буранный Едигей выкрикивал громогласно и решительно: «Слава партии! Линию партии одобряем!» А потом, под конец митинга, кто-то запел на задах «Интернационал». Его поддержало несколько голосов, и через минуту вся толпа как один запела под сводами депо великий гимн всех времен, гимн всех, кто был вечно угнетаем. Никогда еще не доводилось Едигею петь в таком многолюдье.

Как на волнах подняло и понесло его торжественное, гордое и в то же время горькое сознание своего единства с теми, кто есть соль и пот земли. А гимн коммунистов все нарастал, возвышался, вскипая в сердце отвагой и решимостью остоять, утвердить право многих для счастья многих. И как часто бывало с Едигеем в случаях сильного волнения, опять почудилось ему, что он на Аральском море. И там витал его дух вольной чайкой над беловерхими бурунами — алабашами.

С этим ликующим чувством он вернулся домой. За чаем рассказал Укубале подробно и живо все, что было на митинге. Рассказал и о том, как тоже хотел было выступить и что ему ответил на то теперешний парторг Чернов. Укубала слушала мужа, наливала ему из самовара чай пиалу за пиалой, а тот все пил и пил.

— Да что с тобой, ты вон опорожнил уже весь самовар! — удивилась она, посмеиваясь.

— Понимаешь, там, на митинге, страшно захотелось пить отчего-то. Заволновался очень. А где там, столько народу, не шевельнешься. А потом выскочил, хотел напиться, а тут смотрю — в нашу сторону состав направляется. Я к машинисту. Свой оказался парень. Жан-дос с Тогрек-Тама. Ну, по пути попил я у него воды. Но разве то дело!

— То-то же, гляжу, — промолвила Укубала, подливая ему чаю по новой. И сказала потом: — Вот что, Едигей, хорошо, что ты подумал о них, об Абуталиповых детях. Раз такое дело, если времена наступили такие, что не будет притеснений сиротам, так ты уж отважься. Письмо — дело хорошее, но пока оно напишется, пока дойдет, да прочтется, да пока думать будут над ним, ты уж лучше сам поезжай в Алма-Ату. И там все расскажешь как было.

— Так ты думаешь, мне в Алма-Ату? Прямо к большому начальству?

— Ну а что такого? По делу же. Друг твой Елизаров сколько уже зовет не дозовется. Адреса оставляет каждый раз. Ну, не я, так ты съезди. Мне-то от дому куда, детей на кого? А ты не откладывай. Бери отпуск. Сколько у тебя отпусков было бы за эти годы — на сто лет. Возьми хоть разок и там, на месте, большим людям все расскажи.

Едигей подивился разумности жены.

— А что, жена, ты вроде дело говоришь. Давай подумаем.

— Не думай долго. Не тот случай. Чем раньше сделаешь, тем лучше. Афанасий Иванович тебе и поможет. Куда идти, к кому идти, он-то лучше знает.

— Тоже дело.

— Вот и я говорю. Не стоит откладывать. А заодно посмотришь — кое-что купишь для дома. Девчушки-то наши подросли. Сауле осенью в школу. Ты думал об этом? В интернат определять будем или как? Ты думал об этом?

— Думал, думал, а как же, — спохватился Буранный Едигей, стараясь скрыть, как поразило его то, что так быстро подросла старшая из дочерей, что уже и в школу пора.

— Так вот, если думал, — продолжала Укубала, — поезжай, поведай людям о том, что мы тут пережили в те годы. Пусть помогут сиротам хотя бы оправдаться за отца. А потом будет время — походи, посмотри что для дочерей и для меня не мешало бы. Я ведь тоже уже немолода, — сказала она почему-то со сдержанным вздохом.

Едигей посмотрел на жену. Странно, что можно постоянно видеться и не замечать того, что потом увидишь разом. Конечно, она немолода была уже, но и до старости было далеко. И, однако, нечто такое, новое, незнакомое почувствовал в ней. И понял он — умудренность во взгляде жены обнаружил и первую ее седину заметил. Их было на виске штуки три-четыре, белеющих нитей, не больше, и все-таки они говорили о прожитом и

пережитом…

Через день Едигей был уже на станции Кумбель в качестве пассажира. Да, пришлось сделать ход назад от Боранлы-Буранного, чтобы сесть на алма-атинский поезд. Едигей не сожалел об этом. Так или иначе, надо было сперва отправить телеграмму Елизарову о своем приезде. А это можно было сделать только на станции.

Потом прибыл поезд Москва — Алма-Ата, на нем и поехал Едигей, минуя собственный разъезд Боранлы-Буранный. Место у него было в купированном вагоне на верхней полке. Пристроив вещи, Едигей сразу вышел в коридор и стоял у окна, чтобы не пропустить, взглянуть на свой разъезд с поезда, как пассажир, а уже потом можно было залезть на полку и поспать, благо впереди двое суток пути. Так думал он, хотя уже на второй день не знал, куда себя деть от вынужденного безделья. Удивлялся, глядя на иных лежебок в поезде, которые только жрали и спали.

Однако первый день, особенно в первые часы, на душе у него было празднично и даже немного тревожно с непривычки покидать надолго семью. Он стоял у окна взволнованный, подтянутый, в новой шляпе, купленной по такому случаю

в станционном магазине, в чистой рубашке, в полурасстегнутом, хорошо сохранившемся у Казангапа кителе военных времен. Казангап навязал ему этот китель, так, говорит, лучше будет, с орденами и медалями на груди, в галифе и хромовых сапогах добротной офицерской кожи. Сапоги эти очень нравились Буранному Едигею, хотя редко когда приходилось их носить. Едигей считал, что для представительности у человека прежде всего должны быть хорошие сапоги и новый головной убор. И то и другое у него было.

Так он стоял у окна. Прохожие по вагону уважительно обходили его и оглядывались. Буранный Едигей выделялся своим видом, должно быть, выражением достоинства и взволнованности на лице.

А поезд шел, мчался на всех парах по раздолью весенних сарозеков, как бы спеша нагнать убегающую вперед прозрачную кайму горизонта. В мире существовали только две стихии — небо и открытая степь. Они светло соприкасались вдали, туда и рвался скорый поезд.

Но вот набегают навстречу боранлинские места. Каждая складка земли, каждый камень здесь знакомы. С приближением к Боранлы-Буранному Едигей оживленно задвигался возле окна,

заулыбался из-под усов, словно бы годы прошли, как он здесь не был. А вот и разъезд. Мелькнули семафор, домики, пристройки, штабеля рельсов и шпал у склада, и все это предстало с разбегу примкнувшим к железной дороге среди-огромного, пустынного пространства вокруг. Едигей успел даже разглядеть своих дочурок. Они, должно быть, встречали сегодня все пассажирские поезда с запада на восток. Размахивая руками, припрыгивая, чтобы обратить на себя внимание, Сауле и Шарапат радостно улыбались проносящимся окнам вагонов. Их косички смешно дергались при этом, а глаза сияли. Едигей инстинктивно прильнул к окну, замахал им, забормотал ласковые словечки, но они или не увидели, или не узнали его. И все-таки было отрадно, что дочки ждали его проезда. И никто из пассажиров не догадывался, что остались позади его дети, его дом, его разъезд! И тем более никто не мог предположить, что в гурте верблюдов в степи за разъездом гулял его знаменитый Каранар. Едигей его сразу узнал издали, потеплел глазами.

Потом, когда удалились за несколько станций от дома, Едигей уснул. Спал долго и сладко под мерный перестук колес, под негромкий говор соседей по вагону.

А на другой день пополудни грянули Алатауские горы — от Чимкента и по всему Семиречью. Вот это были горы, вот это загляденье! И сколько ни любовался Буранный Едигей торжественным видом снежных хребтов, сопровождавших железную дорогу до самой Алма-Аты, налюбоваться не мог. Для него, для сарозекского Степняка, то было чудом, созерцанием вечности. Алатауы вызывали в нем не только восхищение своей величественностью, но и потребность думать, глядя на них. Это ему нравилось — молчаливо думать, когда горы на виду. И мысленно он готовился к встрече с теми пока еще незнакомыми ему ответственными людьми, которые объявили, что ошибкам прошлого больше не быть никогда, и по этой причине он хотел поведать им горькую историю Абуталиповой семьи. Пусть разберутся, пусть решат теперь, как исправить то дело. Самого Абуталипа не оживишь, но детей чтобы никто не смел обижать, чтобы им была во всем открыта дорога. Старшему, Даулу, в школу этой осенью, пусть пойдет, ничего не боясь и не таясь. Только где они теперь? Как-то им приходится? А как там Зарипа?

Тягостно холодило на душе, когда вспоминал он об этом. Пора было призабыться былому, пере-

кипеть. Ведь и ушла она для того, чтобы начисто прервать мысль о ней. Но только одному богу вестимо, что забылось, а что нет! Печалился Буранный Едигей, замирял своя, подчиняясь судьбе. А кому об этом скажешь, кто поймет? Разве что снежные горы, подпирающие небо, но ведь им на высоте такой дела нет до земных невзгод человеков. На то они великие Алатауы, чтобы многие смертные приходили и уходили, а они оставались бы навечно, чтобы многие думу думали, глядя на них, а они молчали несокрушимо…

Припомнилось Едигею, как Абуталип, уже после того как записал «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану», должно быть, много размышлял о сказании и поделился однажды в разговоре мыслью о том, что такие люди, как Раймалы-ага и Бегимай, встретившись на жизненном пути, несут друг другу столько же счастья, сколько и горя, вовлекая один другого в неразрешимую трагедию — в несвободность человека от суда других. Потому и обошлись с ним так, с Раймалы-агой, его же близкие люди для его же блага, как полагали они. Для Едигея эти умные слова были тогда не более чем умными словами, пока сам не познал на себе их правоту, пока сам не настрадался. Пусть они с Зарипой были далеки от подобной

истории, как звезды от земли, ничего-то между ними и не произошло, только то, что думал он о ней и очень любил, но Зарипа первой взяла на себя удар, чтобы избавиться от той неизбежной неразрешимости. Для себя решила, пресекла разом, как кровь из жилы перехватила, однако не подумала о нем, не подумала, чего будет стоить ему это решение. Хорошо хоть жив остался. И теперь бывает, такая тоска подступится, что готов хоть на край света бежать, только бы увидеть ее, только бы услышать ее хоть один раз…

И еще припомнил Едигей, усмехаясь над собой, как чудно ему было тогда узнать от Абуталипа, что будто бы в Германии был очень видный человек, великий поэт Гете. Имя его по-казахски звучит не очень благозвучно, но не в этом суть, каждый носит имя, предписанное судьбой. Старик Гете, за семьдесят ему уже было, вроде тоже ведь полюбил юную девушку, и она полюбила его всем сердцем. Об этом повсюду знали, никто, однако, не вязал Гете по рукам и ногам и сумасшедшим его не объявлял… А как обошлись с Раймалы-агой! Унизили, уничтожили человека, а хотели добра… Зарипа же тоже по-своему хотела ему добра и поступила так, как подсказывала ей совесть… Потому он на нее не в обиде. Да и

можно ли обижаться на любимого человека? Скорей себя в чем-либо обвинишь и виноватым почтешь. Пусть уж тебе будет плохо, но только не ей… И если можешь, то и тогда, когда она тебя покинула, помни и люби ее…

С тем и ехал Буранный Едигей, помня и любя ее, помня об Абуталипе и его осиротевших детях…

Уже подъезжая к Алма-Ате, Едигей в друг подумал: а что, если Елизарова не окажется на месте? Вот те на! Почему-то такое не пришло ему на ум дома. И Укубала не подумала об этом. По себе судили. Если сами живут безвылазно в сарозеках, то, думают, и все так. А ведь очень даже может быть, что Афанасия Ивановича не окажется дома. Человек работает в самой академии, повсюду его ждут, мало ли дел у такого ученого. Может уехать в командировку, и надолго уехать. «Вот незадача-то получится», — тревожился Едигей. И стал он думать о том, что придется тогда обратиться в редакцию своей казахской газеты, адрес газеты в каждом номере указывается. Там ему наверняка растолкуют, как и куда обращаться. Кому как не работникам газеты знать, куда идти с таким вопросом. Дома-то казалось все так просто — собрался и поехал. А теперь, с приближением к месту, забеспокоился Буранный — не зря сказано:

плохой охотник мечтает об охоте, сидя дома. Так и он. Но, конечно, он рассчитывал на Елизарова. Елизаров свой человек, друг с давнишних пор, много раз бывавший у него дома на разъезде, знавший историю Абуталипа Куттыбаева. Он-то с полуслова понял бы. А как рассказать незнакомым людям, с чего начинать да как речи держать — свидетельствовать, как на суде, или докладывать или еще как? Будут ли слушать его и что скажут в ответ? А кто, мол, ты такой и почему тебе больше всех надо обелить Абуталипа Куттыбаева? Какое ты имеешь отношение? Кто ты ему — брат, сват, свояк?

А поезд тем временем шел уже краем алма-атинского пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании остановки. Едигей тоже был готов. Вот и вокзал завиднелся, вот и конец пути. Народу на перроне было полно — разный встречающий и уезжающий люд. Поезд постепенно останавливался. И вдруг в окне среди мелькающих лиц на перроне увидел Буранный Едигей Елизарова и обрадовался бурно, как дитя. Елизаров приветливо помахал ему шляпой и пошел рядом с вагоном. Вот повезло! Не мечтал Едигей, что Елизаров сам встретит. Не виделись они давно, с прошлой осени. Нет, не изменился

Афанасий Иванович, пусть и в годах был. Все такой же подвижный, сухощавый. Казангап называл его аргамаком — скакуном чистых кровей. То была высокая похвала — аргамак Афанасий. Елизаров знал об этом и добродушно соглашался — пусть будет по-твоему, Казангап! И при том добавлял — старый аргамак, но все-таки аргамак! И на том спасибо! Обычно он приезжал в сарозеки в рабочей одежде, в кирзовых сапогах, в старой, видавшей виды кепке, а здесь был при галстуке, в хорошем темно-синем костюме. И этот костюм ему очень шел, его фигуре и, главное, цвету волос — седых уже наполовину.

И пока поезд останавливался, Афанасий Иванович шел рядом полубоком, улыбаясь ему в окно. Серые, со светлыми ресницами глаза Елизарова лучились искренним удовольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Едигея, и недавние сомнения отошли разом. «Хорошее начало, — обрадовался он, — бог даст, поездка будет удачной».

— Ну наконец-то пожаловал! В кои-то веки! Здравствуй, Едигей! Здравствуй, Буранный! — встретил его Елизаров.

Они крепко обнялись. От многолюдья вокруг, от радости Едигей растерялся немного. Пока они

выбирались на привокзальную площадь, Елизаров засыпал его вопросами. Обо всех спросил, кто как поживает, — как там Казангап, Укубала, Букей, дети, кто теперь начальник разъезда, не забыли о Каранаре.

— А как там твой Буранный Каранар? — поинтересовался он, заранее весело смеясь чему-то. — Все такой же — лев рыкающий?

— Ходит. Что с ним станется, рычит, — отвечал Едигей. — В сарозеках ему приволье. Чего ему еще надо!

Возле вокзала стояла большая черная машина, поблескивающая полировкой. Такую Едигей видел впервые. То был «ЗИМ» — лучший автомобиль пятидесятых годов.

— Это мой Каранар, — пошутил Елизаров. — Садись, Едигей, — говорил он, открывая ему переднюю дверцу. — Поедем.

— А кто же поведет машину? — спросил Едигей.

— Сам, — сказал Елизаров, садясь за руль. — На старости лет вознамерился, как видишь. Чем мы хуже американцев?

Елизаров уверенно завел мотор. И, прежде чем тронуться с места, улыбаясь, посмотрел вопросительно на гостя.

— Вот ты и прибыл, стало быть. Выкладывай сразу-надолго ли?

— Я ведь по делу, Афанасий Иванович. Как получится. А прежде посоветоваться надо с вами.

— Я так и знал, что по делу едешь, а не то вытащишь тебя из твоих сарозеков! Как же! Давай так, Едигей. Сейчас мы поедем к нам. Будешь жить у нас. И не возражай. Никаких гостиниц! Ты у меня особый гость. Как я у вас в сарозеках, так ты у меня. Сыйдын сыйы бар — так ведь по-казахски! Уважение от уважения!

— Да вроде так, — подтвердил Едигей.

— Значит, порешили. И мне веселей будет. Моя Юлия уехала в Москву к сыну, второй внук народился. Вот она и поспешила на радостях к молодым.

— Второй внук! Поздравляю! — сказал Едигей.

— Да, слушай, второй уже, — проговорил Елизаров, удивленно приподнимая плечи. — Станешь дедом, поймешь меня! Хотя тебе еще далеко. В твои годы у меня еще ветер в голове гулял. А вот странно, мы с тобой понимаем друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Ну так, поехали. Поедем через весь город. Наверх. Вон видишь горы, снег на вершинах? Туда, под горы, в Медео. Я тебе рассказывал, по-моему, дом наш в приго-

роде, почти в селе.

— Помню, Афанасий Иванович, вы говорили, дом у самой речки. Всегда слышно, как вода шумит.

— Сейчас сам убедишься. Поехали. Пока светло, посмотри на город. Красота у нас сейчас. Весна. Все в цвету.

От вокзала улица шла прямо и, казалось, бесконечно через весь город, постепенно среди тополей и парков поднимаясь к возвышенности. Елизаров ехал не спеша. Рассказывал по пути, где что располагалось — то были все больше разные учреждения, магазины, жилые дома. В самом центре города на большой и открытой со всех сторон площади стояло здание, которое Едигей сразу узнал по изображениям, — то был Дом правительства.

— Здесь ЦК, — кивнул Елизаров.

И они проехали мимо, не предполагая, что на другой день им предстоит быть здесь по делу. И еще одно здание узнал Буранный Едигей, когда они свернули с прямой улицы налево, — то был Казахский оперный театр. Через пару кварталов они снова повернули в сторону гор по дороге, уходящей в Медео. Центр города оставался позади. Ехали долгой улицей среди особняков, палисад-

ников, мимо журчащих от половодья арычных потоков, бегущих с гор. Сады цвели кругом.

— Красиво! — промолвил Едигей.

— А я рад, что ты попал как раз в эту пору, — ответил Елизаров. — Лучшей Алма-Аты быть не может. Зимой тоже красиво. Но сейчас душа поет!

— Значит, настроение хорошее, — порадовался Едигей за Елизарова.

Тот быстро глянул на него серыми выпуклыми глазами, кивнул и посерьезнел, хмурясь, и снова разбежались в улыбке морщины от глаз.

— Эта весна особая, Едигей. Перемены есть. Потому и жить интересно, хотя годы набегают. Одумались, огляделись. Ты когда-нибудь болел так, чтобы заново вкус жизни ощутить?

— Что-то не помню, — со всей непосредственностью ответил Едигей. — Разве что после контузии…

— Да ты здоров, как бык! — рассмеялся Елизаров Я вообще-то и не об этом. Просто к слову… Так вот. Партия сама сказала первое слово. Очень я этим доволен, хотя в личном плане причин особых нет. А вот отрадно на душе и надежды питаю, как в молодости. Или это оттого, что на самом деле старею? А?

— А ведь я, Афанасий Иванович, как раз по такому делу прибыл.

— То есть как? — не понял Елизаров.

— Может быть, помните? Я вам рассказывал об Абуталипе Куттыбаеве.

— А, ну как же, как же! Прекрасно помню. Вон оно что. А ты в корень глядишь. Молодец. И не откладывая сразу прибыл.

— Да это не я молодец. Укубала надоумила. Только вот с чего начинать? Куда идти?

— *С* чего начинать? Это мы должны с тобой обсудить. Дома, за чаем, не торопясь обсудим что к чему. — И, помолчав, Елизаров сказал многозначительно: — Времена-то как меняются, Едигей, — года три назад в мыслях не шевельнулось бы приехать по такому делу. А теперь — никаких опасений. Так и должно быть в принципе. Надо, чтобы все мы, все до едина держались этой справедливости. И никому никаких исключительных прав. Я так понимаю.

— Вам-то здесь виднее, к тому же вы ученый человек, — высказал свое Едигей, — у нас на митинге в депо тоже об этом говорилось. А я сразу подумал тогда об Абуталипе, давно эта боль сидит во мне. Хотел даже выступить на митинге. Речь не просто о справедливости. У Абуталипа дети

ведь остались, подрастают, старшему в школу этой осенью…

— А где они сейчас, семья-то?

— Не знаю, Афанасий Иванович, как уехали тогда, скоро уже три года, так и не знаем.

— Ну, это не страшно. Найдем, разыщем. Сейчас, главное, говоря юридически, возбудить вопрос о деле Абуталипа.

— Вот-вот. Вы сразу нашли нужное слово. Потому и приехал я к вам.

— Думаю, что не напрасно приехал.

Как знал, так оно и получилось. Очень скоро, буквально через три недели по возвращении Едигея, прибыла бумага из Алма-Аты, в которой черным по белому было написано, что бывший рабочий разъезда Боранлы-Буранный Абуталип Куттыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано! Бумага предназначалась для оглашения ее в коллективе, где работал пострадавший.

Почти одновременно с этим документом пришло письмо от Афанасия Ивановича Елизарова. Это было знаменательное письмо. Всю жизнь сохранял Едигей то письмо среди самых важных документов семьи — свидетельств о рождении

детей, боевых наградах, бумаг о фронтовых ранениях и трудовых характеристик…

В том большом письме Афанасий Иванович сообщал, что премного доволен скорым рассмотрением дела Абуталипа и рад его реабилитации. Что сам факт этот — доброе знамение времени. И, как он выразился, это наша победа над самими собой.

Писал он далее, что, после того как Едигей уехйл, он еще раз побывал в тех учреждениях, которые они посетили с Едигеем, узнал важные новости. Во-первых, следователь Тансыкбаев снят с работы, разжалован, лишен полученной награды и привлекается к ответственности. Во-вторых, писал он, как сообщили ему, семья Абуталипа Куттыбаева проживает, оказывается, в Павлодаре. (Вон в какую даль занесло!) Зарипа работает учительницей в школе. Семейное положение в настоящее время — замужняя. Вот такие официальные сведения поступили с ее местожительства. И еще, писал он, твои подозрения, Едигей, насчет того ревизора оправдались в ходе пересмотра дела — оказывается, это именно он сочинил донос на Абуталипа Куттыбаева. «Почему он это сделал, что его побудило на такое злодеяние? Я много размышлял об этом, припо-

миная то, что знал из подобных историй, и то, что ты мне рассказывал, Едигей. Представив себе все это, я пытался понять мотивы его поступка. Нет, мне трудно ответить. Я не могу объяснить, чем была вызвана такая ненависть с его стороны к совершенно постороннему для него человеку — Абуталипу Куттыбаеву. Возможно, это такая болезнь, эпидемия, поражающая людей в какой-то период истории. А возможно, подобное губительное свойство изначально таится в человеке — зависть, исподволь опустошающая душу и приводящая к жестокости. Но какую зависть могла вызвать фигура Абуталипа? Для меня это остается загадкой. А что касается способа расправы, то он стар, как мир. В свое время стоило лишь донести на кого-то, что он еретик, и такого на базарах Бухары забивали камнями, а в Европе сжигали на костре. Об этом мы с тобой много говорили, Едигей, в твой приезд. После выяснения фактов по пересмотру Абуталипова дела лишний раз убеждаюсь: долго еще предстоит людям изживать в себе этот порок — ненависть к личности в человеке. Как долго — даже трудно предугадать. Вопреки всему этому славлю я жизнь за то, что справедливость неистребима на земле. Вот и в этот раз снова восторжествовала она. Пусть

дорогой ценой, но восторжествовала! И так будет всегда, покуда мир стоит. Я доволен, Едигей, что добился ты справедливости бескорыстно...»

Многие дни ходил Едигей под впечатлением письма. И удивлялся Едигей себе — тому, как изменился он сам, нечто прибавилось, словно уяснилось в нем. Тогда он и подумал впервые, что, должно быть, пришла пора готовиться к грядущей не за горами старости...

Елизаровское письмо явилось для него неким рубежом — жизнь до письма и после. Все, что было до письма, — отошло, подернулось дымкой, удаляясь, как берег с моря, все, что после, — спокойно протекало изо дня в день, напоминая, что оно будет длиться долго, но не бесконечно. Но главное — из письма он узнал о том, что Зарипа была уже замужем. Это известие еще раз заставило его пережить тяжкие минуты. Успокаивал он себя тем, что знал, каким-то образом чувствовал, что она вышла замуж, хотя и не знал, где она, что с детьми и как живется ей среди других людей. Особенно остро и неотступно почувствовал он это по пути, когда возвращался поездом домой. Трудно сказать, отчего такое пришло в голову. Но вовсе не потому, что на душе было плохо. Наоборот, из Алма-Аты Едигей уезжал в приподнятом,

хорошем настроении. Везде, где они побывали с Елизаровым, их принимали с пониманием и доброжелательностью. И это уже само по себе вселяло уверенность в правоте помыслов и надежду на добрый исход дела. Так оно потом и оказалось. А в тот день, когда Едигей уезжал из Алма-Аты, Елизаров повел его обедать в привокзальный ресторан. Времени до отхода поезда было предостаточно, и они славно посидели, и выпили, и потолковали по душам на прощание. В том разговоре, как понял Едигей, Афанасий Иванович высказал свою сокровенную думу. Он, бывший московский комсомолец, очутившийся еще в двадцатые годы в Туркестанском крае, боровшийся с басмачами, да так и осевший здесь на всю жизнь, занявшись геологической наукой, считает, что вовсе не напрасно возлагал весь мир столько надежд на то, что было начато Октябрьской революцией. Как бы тяжко ни приходилось расплачиваться за ошибки и промахи, но продвижение на неизведанном пути не остановилось — в этом суть истории. И еще он сказал, что теперь движение пойдет с новой силой. Порукой тому — самоуправление, самоочищение общества. «Раз мы можем сказать себе в лицо об этом, значит, есть в нас силы для будущего», —

утверждал Елизаров. Да, хорошо потолковали они тогда за обедом.

С тем настроением и возвращался Буранный Едигей к себе в сарозеки.

И опять двинулись перед взором сине-снежные Алатауы, пролегая на отдалении кряжистым сопутствующим хребтом; протянувшимся через все Семиречье. И вот тогда, обдумывая в пути свое пребывание в Алма-Ате, понял он, внутренний голос подсказал ему, что, должно быть, Зарипа уже замужем.

Глядя на горы, глядя на весенние дали, думалось Едигею о том, что есть на свете верные люди — и слову и делу, такие, как Елизаров, и что без таких, как он, человеку на земле было бы гораздо труднее. И еще уже по завершении всех хождений по делу Абуталипа думалось ему о превратностях быстротекущего, переменчивого времени — остался бы жив Абуталип, сейчас бы сняли с него возведенные облыжно обвинения и, быть может, заново обрел бы он счастье и покой со своими детьми. Был бы жив! Этим все сказано. Был бы он жив, конечно же, Зарипа ждала бы его до наипослед-него дня. Уж это точно! Такая женщина дождалась бы мужа, чего бы то ей ни стоило. А коли некого ждать, то и нечего ждать,

нечего жить молодой женщине в одиночестве. А раз такое дело, если встретит подходящего человека, то выйдет замуж, а почему и нет? Едигей расстроился от этих мыслей. Пытался переключить внимание на что-то другое, пытался не думать, не давать воли воображению. Но ничего не получалось. Тогда он пошел в вагон-ресторан.

Здесь было малолюдно и еще чисто и свежо по началу пути. Сидел Едигей в одиночестве у самого окна. Вначале взял бутылку пива, чтобы занять себя чем-то. Широкий обзор вагона-ресторана позволял созерцать одновременно и горы, и степь, и небо над ними. Этот зеленый простор в мимолетном маковом цвету с одной стороны и торжественность заснеженных горных хребтов с другой стороны возвышали, возносили душу к несбыточным желаниям и приводили к горьким сокрушениям. От горечи ему захотелось горького. И он заказал водки. Выпив несколько рюмок, он, однако, не почувствовал выпитого. Тогда он заказал еще пива и сидел, весь отдавшись своим размышлениям. День клонился к концу. В прозрачности весеннего вечера разбегалась земля по сторонам от железной дороги. Проносились, мелькая, поселки, сады, дороги, мосты, люди и стада, но все это мало трогало Едигея, ибо тяж-

кая тоска, подступившая вдруг с новой силой, омрачала и угнетала его душу смутным предчувствием некой законченности былого.

И опять пришли на память прощальные слова Раймалы-аги:

С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай…

В том состоянии казалось Едигею Буранному, что это он притянут веревками к березе, как когда-то Раймалы-ага, что это он, отторгнутый и отнятый от самого себя…

Так просидел он до темноты, пока не набилось в вагон-ресторан много люду и стало трудно дышать от табачного дыма. Не понимал Едигей — и чего эти люди так беспечны, что за мелочные разговоры волнуют их за столом и почему они находят удовольствие в водке и табаке? Неприятны были ему и женщины, объявившиеся здесь с мужчинами. Особенно неприятен был их смех. Он встал, пошатываясь, нашел официантку, запыхавшуюся с подносом между галдящими столами путевого ресторана, и, расплатившись, пошел к себе в купе. Предстояло пройти несколько вагонов. Пока он шел, раскачиваясь вместе с

поездом, ему становилось все тягостней и сиротливей от ощущения своего полного одиночества и отчужденности.

Зачем было жить, зачем куда-то ехать…

И теперь ему было безразлично, откуда, куда и зачем он едет, куда спешит сквозь ночь скорый поезд. В каком-то тамбуре он остановился, прижался пылающим лбом к прохладным застекленным дверям и стоял здесь не оглядываясь, не обращая внимания на пассажиров, снующих мимо него.

А поезд шел, раскачиваясь. И можно было открыть дверь, поскольку у Едигея, как у всех железнодорожников, был свой ключ, открыть и переступить черту… В какой-то пустынной местности во тьме Едигей различил два далеких манящих огонька. Они долго не исчезали из виду. То ли окна одинокого жилья светились, то ли это были костры небольшие. Какие-то люди, должно быть, находились возле тех огней. Кто они? И почему они там? Эх, была бы там Зарипа с детишками! Спрыгнул бы сейчас с поезда и побежал к ней, а добежав одним духом, упал бы ей в ноги и плакал бы не стыдясь, чтобы выплакать всю накопившуюся боль и тоску…

Буранный Едигей сдавленно застонал, глядя на

те огоньки в степи, уже исчезающие в стороне. И стоял так у дверей тамбура, всхлипывая неслышно и не оборачиваясь, не обращая внимания на шумные хождения пассажиров по поезду. Лицо его было мокрым от слез… и была возможность открыть дверь и переступить черту…

А поезд шел, раскачиваясь.

С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай…

…Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на вое-ток…

Поднявшись с гнездовья, с обрыва Малакумдычап, большой коршун-белохвост вылетел на обозрение местности. Он облетал свои угодья дважды — до полудня и пополудни.

Внимательно просматривая поверхность степи, примечая все, что шевелилось внизу, вплоть до ползущих жуков и юрких ящериц, коршун молча летел над сарозеками, мерно намахивая крыльями, постепенно набирая высоту, чтобы шире и дальше видеть степь под собой, и одновременно приближался, перемещаясь плавными витками, к своему излюбленному месту охоты — к территории закрытой зоны. С тех пор как этот обширный район был огорожен, здесь заметно прибавилось мелкой живности и разного рода пернатых, потому что лисы и другие рыскающие звери уже не могли проникать сюда беспрепятственно. Зато коршуну изгородь была нипочем. Тем он и пользовался. Она обернулась ему на благо. Хотя как сказать. Третьего дня засек он сверху маленького зайчонка и когда кинулся на него камнем, зайчишка успел заскочить под проволоку, а коршун чуть не напоролся с размаху на шипы. Едва вывернул, едва уклонился, взмыл круто и яростно вверх, задевая перьями острое жало шипов. Несколько пушинок с груди потом отделились в воздухе, полетели сами по себе. С тех пор коршун старался подальше держаться от этой опасной изгороди.

Так летел он в тот час, как подобает владыке,

с достоинством, не суетясь, ничем, ни одним лишним взмахом не привлекая к себе внимания наземных существ. В этот день с утра — в первый и теперь, во второй, залет — он заметил большое оживление людей и машин на обширных бетонированных полях космодрома. Машины катили взад-вперед и особенно часто кружили возле конструкций с ракетами. Эти ракеты, нацеленные в небо, давно уже стояли особняком на своих площадках, коршун давно уже привык к ним, но сегодня что-то происходило вокруг. Слишком много машин, слишком много людей, слишком много движения…

Не осталось не замеченным коршуном и то, что проследовавшие давеча по степи человек на верблюде, два тарахтящих трактора и рыжая лохматая собака стояли теперь у колючей проволоки снаружи, точно бы не могли ее преодолеть… Рыжая собака раздражала коршуна своим праздным видом и особенно тем, что околачивалась возле людей, но он ничем не выказал своего отношения к рыжей собаке, не опустится же он до такой степени. Он просто кружил над этим местом, зорко поглядывая, что будет дальше, что собирается делать эта рыжая собака, виляющая хвостом возле людей…

Едигей поднял бородатое лицо и увидел в небе парящего коршуна. «Белохвост, крупный, — подумал он. — Эх, был бы коршуном, кто бы мог меня остановить. Полетел бы и сел на кумбезах[25] Ана-Бейита!..»

В это время впереди по дороге послышалась приближающаяся машина. «Едет! — обрадовался Буранный Едигей. — Ну, дай бог все уладится!» «Газик» быстро примчался к шлагбауму и резко остановился сбоку от дверей постового помещения. Часовой ждал приближения машины. Он сразу вытянулся, отдал честь начальнику по караулу лейтенанту Тансыкбаеву, когда тот вышел из «газика», и начал докладывать:

— Товарищ лейтенант, докладываю вам...

Но начальник караула приостановил его жестом и, когда часовой на полуслове убрал руку от козырька, обернулся к стоящим по ту сторону шлагбаума.

— Кто тут посторонние? Кто ждет? Это вы? — спросил он, обращаясь к Буранному Едигею.

— Биз, бизгой, карагым. Ана-Бейитке жетпей турып калдык. Калай да болса, жардамдеш, кара-

---

[25] Примечания: 25
Кумбез — гробница.

гым[26], — сказал Едигей стараясь, чтобы награды на груди попали на глаза молодому офицеру.

На лейтенанта Тансыкбаева это не произвело никакого впечатления, он лишь сухо кашлянул, и когда старик Едигей намерился было снова заговорить, холодно упредил его:

— Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на русском языке. Я лицо при исполнении служебных обязанностей, — пояснил он, хмуря черные брови над раскосыми глазами.

Буранный Едигей засмущался сильно:

— Э-э, извини, извини. Если не так, то извини. — И растерянно умолк, потеряв дар речи и ту мысль, которую собирался высказать.

— Товарищ лейтенант, разрешите изложить нашу просьбу, — выручая старика, обратился Длинный Эдильбай.

---

[26] Примечания: 26

Мы, это мы, сынок. Не пропускают нас на кладбище. Сделай что-нибудь, помоги нам, сынок.



— Изложите, только покороче, — предупредил начальник по караулу.

— Одну минутку. Пусть присутствует при этом

сын покойного. — Длинный Эдильбай обернулся в сторону Сабитжана. — Сабитжан, ей, Сабитжан, подойди сюда!

Но тот, прохаживаясь в стороне, лишь отмахнулся неприязненно:

— Договаривайтесь сами.

Длинному Эдильбаю пришлось покраснеть.

— Извините, товарищ лейтенант, он в обиде, что так получается. Это сын умершего, нашего старика Казангапа. И тут еще зять его, вон он, в прицепе.

Зять подумал, кажется, что его требуют, и стал слезать с прицепа.

— Эти детали меня не интересуют. Излагайте суть дела, — предложил начальник по караулу.

— Хорошо.

— Коротко и по порядку.

— Хорошо. Коротко и по порядку.

Длинный Эдильбай принялся докладывать все как есть — кто они, откуда, с какой целью и почему появились здесь. И пока он говорил, Едигей следил за лицом лейтенанта Тансыкбаева и понял, что ничего хорошего ждать им не следует. Тот стоял по ту сторону шлагбаума лишь для того, чтобы выслушать формально жалобу посторонних лиц. Едигей это понял и померк в душе. И все,

что было связано со смертью Казангапа, все его приготовления к выезду, все то, что он сделал, чтобы убедить молодых согласиться хоронить покойника на Ана-Бейите, все его думы, все то, в чем он видел связующую нить свою с историей сарозеков, — все это вмиг превратилось в ничто, все это оказалось бесполезным, ничтожным перед лицом Тансыкбаева. Едигей стоял оскорбленный в лучших чувствах. Смешно и обидно было ему до слез за трусливого Сабитжана, который вчера еще только, запивая водку шубатом, разглагольствовал о богах, о радиоуправляемых людях, стараясь поразить боранлинцев своими познаниями, а теперь не желал и рта раскрыть! Смешно и обидно было ему за нелепо обряженного в ковровую попону с кистями Буранного Каранара — зачем и кому это надо теперь! Этот лейтенантик Тансыкбаев, не пожелавший или побоявшийся говорить на родном языке, — разве он мог оценить убранство Каранара? Смешно и обидно было Едигею за несчастного Казангапова зятя-алкоголика, который, ни капли не употребив спиртного, ехал в трясучем прицепе, чтобы быть рядом с телом покойного, а теперь подошел и встал рядом, судя по всему, еще надеясь, что их пропустят на кладбище. Даже за собаку

свою, за рыжего пса Жолбарса, смешно и обидно было Буранному Едигею — зачем увязался он по своей доброй воле и зачем терпеливо выжидает, когда они двинутся дальше? Зачем все это ему-то, псине? А быть может, собака-то как раз и предчувствовала, что худо будет хозяину, потому и примкнула, чтобы быть в такой час рядом. В кабинах сидели молодые парни трактористы Калибек и Жумагали — что им сказать теперь и что они должны думать после всего этого?

Униженный и расстроенный Едигей, однако, явственно ощущал, как поднималась в нем волна негодования, как горячо и яростно исторгалась кровь из сердца, и, зная себя, как опасно ему поддаваться зову гнева, старался заглушить его в себе усилием воли. Нет, не имел он права не совладать с собой, покуда покойник лежал еще непогребенный в прицепе. Не к лицу старому человеку возмущаться и повышать голос. Так думал он, стискивая зубы и напрягая желваки, чтобы не выдать ни словом, ни жестом того, что происходило в нем в тот час.

Как и ожидал Едигей, разговор Длинного Эдильбая с начальником по караулу сразу же обернулся плохо.

— Ничем не могу помочь. Въезд на территорию

зоны посторонним лицам категорически воспрещен, — сказал лейтенант, выслушав Длинного Эдильбая.

— Мы не знали об этом, товарищ лейтенант. А иначе мы не приехали бы сюда. Зачем, спрашивается? А теперь, раз уже мы оказались здесь, попросите вышестоящее начальство, чтобы нам разрешили похоронить человека. Не везти же нам его обратно.

— Я уже докладывал по службе. И получил указание не допускать никого ни под каким предлогом.

— Какой же это предлог, товарищ лейтенант? — изумился Длинный Эдильбай. — Стали бы мы искать предлог. Зачем? Чего мы не видели там, в вашей зоне? Если бы не похороны, зачем бы мы стали такой путь делать?

— Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний, сюда доступа нет никому.

— Что значит посторонний! — вдруг подал голос до сих пор молчавший зять-алкоголик. — Кто посторонний? Мы посторонний? — сказал он, багровея дряблым, испитым лицом, а губы у него стали сизые.

— Вот именно: с каких это пор? — поддержал его Длинный Эдильбай.

Стараясь не преступить некую дозволенную границу, зять-алкоголик не повысил голоса, а лишь сказал, понимая, что он плохо говорит по-русски, задерживая и выправляя слова:

— Это наш, наше сарозекский кладбищ. И мы, мы, сарозекский народ, имеет право хоронить здесь своя людей. Когда здесь хоронит очень давно Найман-Ана, никто не знал, что будет такой закрытый зон.

— Я не намерен вступать с вами в спор, — заявил на то лейтенант Тансыкбаев. — Как начальник караульной службы на данное время, я еще раз заявляю — на территорию охраняемой зоны никакого доступа ни по каким причинам нет и не будет.

Наступило молчание. «Только бы выдержать, только бы не обругать его!» Заклиная себя, Буранный Едигей глянул мельком на небо и опять увидел того коршуна, плавно кружащего в отдалении. И опять позавидовал он этой спокойной и сильной птице. И решил, что дальше нечего испытывать судьбу, придется убираться, не лезть же силой. И, глянув еще раз на коршуна, Едигей сказал:

— Товарищ лейтенант, мы уйдем. Но передай, кто там у вас, генерал или еще больше, — так

нельзя! Я, как старый солдат, говорю — это неправильно.

— Что правильно, что нет — обсуждать приказ свыше я не имею права. И чтобы в дальнейшем вы знали, мне велено передать: это кладбище подлежит ликвидации.

— Ана-Бейит? — поразился Длинный Эдильбай.

— Да. Если оно так называется.

— А почему? Кому мешает это кладбище? — возмутился Длинный Эдильбай.

— Там будет новый микрорайон.

— Чудеса! — развел руками Длинный Эдильбай. — Вам больше негде, места не хватает?

— Так предусмотрено по плану.

— Слушай, а кто твой отец? — спросил в упор Буранный Едигей лейтенанта Тансыкбаева.

Тот очень удивился:

— Это еще зачем? Какое ваше дело?

— А такое, что не должен ты говорить нам о том, о чем должен был сказать там, где задумали уничтожить наше кладбище. Или твои отцы не умирали, или ты сам никогда не умрешь?

— Это не имеет никакого отношения к делу.

— Хорошо, давай по делу. Тогда давай, товарищ лейтенант, кто у вас самый главный, пусть ме-

ня выслушает, я требую, чтобы разрешили мне сказать жалобу самому главному вашему начальнику. Скажи, что старый фронтовик, сарозекский житель Едигей Жангельдин хочет сказать ему пару слов!

— Этого я сделать не могу. Мне указано, как положено действовать.

— А что ты можешь? — опять вмешался зять-алкоголик. — И сказал с отчаяния: — Милица на базаре и то лучше!

— Прекратите безобразие! — выпрямился, бледнея, начальник по караулу. — Прекратите! Уберите этого от шлагбаума и освободите дорогу от тракторов!

Едигей и Длинный Эдильбай схватили зятя-алкоголика и потащили его прочь, к тракторам на дороге, а он продолжал кричать, оглядываясь:

— Саган жол да жетпейди, саган жер да жейтпейди! Урдым сендейдин аузын![27]

Сабитжан, который все это время отмалчивался, мрачно прохаживаясь в стороне, тут решил проявить себя, выступив навстречу:

— Ну что? От ворот поворот! Так оно и должно было быть! Разбежались! Ана-Бейит! И только! А

---

[27] Примечания: 27
Тебе и дороги не хватает, тебе и земли не хватает! Плевал я на тебя!

теперь вот как побитые собаки!

— Это кто побитая собака? — кинулся к нему разошедшийся не на шутку зять-алкоголик. — Если есть среди нас собака, то это ты, сволочь! Какая разница — тот, что стоит там, или ты? А еще бахвалишься — я государственный человек! Да ты никакой не человек!

— А ты, пьянчуга, язык-то придержи! — крикливо пригрозил Сабитжан, чтобы слышно было и на посту. — Я бы на их месте за такие слова упек бы тебя куда подальше, чтоб духу твоего близко не было! Какая польза обществу, уничтожать надо таких, как ты!

С этими словами Сабитжан повернулся спиной, плевать, мол, мне на тебя и тех, кто с тобой, и, проявляя вдруг активность, по-хозяйски, громко и требовательно стал распоряжаться, приказывая трактористам:

— А вы что разинуди рты? А ну давай заводите трактора! Как приехали, так и уедем! К чертовой матери! Давай поворачивай! Хватит! Побыл в дураках! Послушался других.

Калибек завел свой трактор и стал осторожно разворачивать прицеп на выезд, тем временем зять-алкоголик вскочил в тележку, снова занял свое место возле покойника. А Жумагали ждал,

пока Буранный Едигей отвяжет своего Каранара от ковша экскаватора. Видя это, Сабитжан, однако, не воздержался, а, наоборот, заторопил:

— А ты чего не заводишь? Давай заводи! Нечего! Крути назад! Похоронил, называется! Я ведь сразу был против! А теперь хватит! Крути домой!

Пока Буранный Едигей садился на верблюда — надо было вначале заставить его прилечь, потом взгромоздиться на седло и поднять его на ноги, — трактора пошли вперед, в обратный путь. Покатили по своим же следам. И даже ждать не стали. Это Сабитжан, сидя в первом тракторе, торопил…

А в небе кружил все тот же коршун. Наблюдая свысока за рыжей собакой, почему-то раздражавшей его своим бесцельным поведением, коршун следил за ней. Непонятно было, почему собака не побежала, когда двинулись трактора, вперед, а осталась возле человека с верблюдом, ждала, пока он сядет верхом, и потом потрусила за ним.

Люди на тракторах, следом верховой на верблюде, а за ним рыжая собака, бегущая скоком, снова двинулись по сарозекам в направлении обрыва Малакумдычап, где на уступе в одной из глухих промоин грунта было коршунье гнездо. В другое бы время коршун заволновался, роняя

тревожные выкрики, держался бы вроде на отдалении, но не спускал бы глаз с пришельцев, убыстряя полет, позвал бы свдю подругу, что охотилась по соседству на своих законных землях, чтобы и она присоединилась к нему на всякий случай, если потребуется защищать гнездо, но на этот раз коршун-белохвост нисколько не беспокоился — птенцы давно уже оперились и покинули гнездо. С каждым днем укрепляя крылья, янтарноглазые, горбатоклювые коршунята уже вели самостоятельную жизнь, имели свои владения в сарозекской округе и теперь не очень-то дружелюбно встречали старого коршуна, когда он заглядывал мимоходом в их края…

Коршун следил за людьми, повернувшими в обратный путь, по привычке видеть все, что происходит в пределах его угодий. И особенно вызывала любопытство рыжая лохматая собака, неотлучно находящаяся при людях. Что связывало ее с ними, почему она не охотилась сама по себе, а бегала, виляя хвостом, за теми, кто занят был своими делами? Зачем ей такая жизнь? И еще привлекали внимание коршуна какие-то блестящие предметы на груди человека, едущего на верблюде. Именно поэтому коршун сразу заметил, как человек на верблюде, следовавший

за трактором, вдруг резко свернул в сторону и пошел суходолом наискось, обгоняя трактора наперерез, пока они огибали суходол. Он погонял верблюда все быстрей и быстрей, размахивая плетью, блестящие предметы на груди его подпрыгивали и позвякивали, верблюд резво бежал, широко и длинно выкидывая ноги, а рыжая собака припустила галопом…

Так продолжалось некоторое время, пока человек на верблюде не обогнал стороной трактора и не остановился поперек пути на въезде в каньон Малакумдычапа. И трактора затормозили перед ним:

— Что? Что случилось еще? — выглянул из кабины Сабитжан.

— Ничего. Глуши моторы, — велел Буранный Едигей… — Разговор есть.

— Какой еще разговор? Не задерживай, накатались досыта!

— Сейчас ты задерживаешь. Потому что хоронить будем здесь.

— Хватит издеваться! — вспылил Сабитжан, еще больше раздергивая на шее галстук, свалявшийся в тряпку. — Я сам буду хоронить на разъезде, и никаких разговоров! Хватит!

— Слушай, Сабитжан! Отец твой, никто не

спорит. Но ведь в мире не ты один. Ты послушай все-таки. Что случилось там, на посту, ты сам видел, сам слышал. Никто из нас не виноват. Но подумай о другом. Где это видано, чтобы мертвого возвращали с похорон домой? Такого не бывало. Это позор на наши головы. Во веки такого не бывало.

— А мне плевать на все, — возразил Сабитжан.

— Это сейчас тебе плевать. Сгоряча чего не скажешь. А завтра будет стыдно. Подумай. Позора ничем не смоешь. Вынесенный из дома на погребение не должен возвращаться назад.

Тем временем из кабины экскаватора вылез Длинный Эдильбай, с тележки спустился зять-алкоголик, экскаваторщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Буранный Едигей верхом на Каранаре преграждал им дорогу.

— Слушайте, джигиты, — говорил он. — Не идите против человеческого обычая, не идите против природы! Такого не бывало, чтобы с кладбища покойника возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен. Другого не дано. Вот обрыв Малакумдычап. Это тоже наша земля сарозекская! Здесь, на Малакумдычапе, Найман-Ана великий плач имела. Послушайте меня, старика Едигея. Пусть будет здесь могила

Казангапа. И моя могила тоже пусть будет здесь. Бог даст, сами похороните. Об этом буду молить вас. А сейчас еще не поздно, еще есть время — вон там, на самом обрыве, предадим покойника земле!

Длинный Эдильбай глянул на указанное Едигеем место.

— Как, Жумагали, проедет твой экскаватор? — спросил он у того.

— Да проедет, почему же нет. Вон тем краем…

— Ты постой, тем краем! Ты вперед у меня спроси! — вмешался Сабитжан.

— А вот мы и спрашиваем, — ответил Жумагали. Слышал, что человек сказал? Что тебе еще надо?

— А я говорю, хватит издеваться! Это надругательство! Поехали на разъезд.

— Ну, если ты думаешь об этом, то надругательство как раз и будет, когда покойника с кладбища домой приволокешь! — сказал ему Жумагали. — Так что ты крепко подумай.

Все примолкли.

— Вот что, вы как хотите, — бросил Жумагали, — а я поеду могилу рыть. Мой долг вырыть яму, да поглубже. Пока еще время терпит. В темноте никто этим заниматься не будет. А вы тут

как хотите.

И Жумагали направился к своему экскаватору «Беларусь». Не мешкая завел его, вырулил на обочину и поехал мимо на пригорок и с него на верх обрыва Малакумдычап. За ним зашагал Длинный Эдильбай, за ним тронул своего Каранара Буранный Едигей.

Зять-алкоголик сказал трактористу Калибеку:

— Если не поедешь туда, — указал он на обрыв, — то я лягу под трактор. Мне это ничего не стоит. — *С* этими словами он встал перед трактористом.

— Ну чего, куда ехать? — спросил Калибек у Сабитжана.

— Кругом сволочи, кругом собаки! — выругался вслух Сабитжан. — Ну чего сидишь, заводи давай, трогай за ними!

Коршун в небе теперь следил за тем, как люди завозились на обрыве. Одна из машин стала судорожно дергаться, выгребая землю и откладывая ее в кучу возле себя, как суслик возле норы. Тем временем сзади подползал трактор с прицепом. В нем все так же сидел одинокий человек перед странным неподвижным предметом, завернутым в белое и положенным посередине тележки. Рыжая лохматая собака слонялась возле людей, но

больше держалась верблюда, лежала у его ног.

Коршун понял, что эти пришельцы долго останутся на обрыве, копаясь в земле. Он плавно отвалил в сторону и, наметывая широкие круги над степью, полетел в сторону закрытой зоны, собираясь поохотиться по пути и глянуть заодно, что происходило там, на космодроме.

Вот уже вторые сутки на площадках космодрома царило напряжение, работа шла беспрерывно днем и ночью. Весь космодром со всеми прилегающими спецслужбами и зонами ночью был ярко освещен сотнями мощных прожекторов. На земле было светлее, чем днем. Десятки тяжелых, легких и специальных машин, много ученых и инженеров были заняты подготовкой к осуществлению операции «Обруч».

Антиспутники, изготовленные для уничтожения летательных аппаратов в космосе, давно уже стояли, нацеленные к подъему, на особой площадке космодрома. Но по соглашению ОСВ-7 они были заморожены в использовании до особой договоренности, так же как подобные средства американской стороны. Теперь они находили свое новое применение в связи с экстренной программой по осуществлению транскосмической операции «Обруч». Такие же ракеты-роботы

готовились к синхронному запуску по операции «Обруч» и на американском космодроме Невада.

Время старта в сарозекских широтах приходилось на восемь часов вечера. Ровно в восемь ноль-ноль ракеты должны были стартовать. Последовательно с интервалом полторы минуты в дальний космос должны были уйти девять сарозекских антиспутниковых ракет, предназначенных образовать в плоскости Запад — Восток постоянно действующий обруч вокруг земного шара против проникновения инопланетных летательных аппаратов. Невадским ракетам-роботам предстояло установить обруч Север — Юг.

Ровно в три часа пополудни на космодроме Сары-Озек-1 включилась контрольно-предпусковая система «Пятиминутка». Через каждые пять минут на всех экранах и табло по всем службам и каналам вспыхивали напоминания, сопровождаемые звуковым дубляжем: «До старта четыре часа пятьдесят пять минут! До старта четыре часа пятьдесят минут…» За три часа до старта должна была включиться система «Минутка».

К тому времени орбитальная станция «Паритет» успела изменить параметры своего местонахождения в космосе и одновременно были перекодированы каналы радиосвязи бор-

товых систем станции, чтобы исключить всякую возможность контактов с паритет-космонавтами 1–2 и 2–1.

А между тем совершенно напрасно, поистине как глас вопиющего в пустыне, из Вселенной шли беспрерывные радиосигналы паритет-космонавтов 1–2 и 2–1! Они отчаянно просили не прерывать с ними связи. Они не оспаривали решение Общенупра, предлагая еще и еще раз изучить проблемы возможных контактов с лесногрудской цивилизацией, исходя, разумеется, прежде всего из интересов землян, они не настаивали на немедленной реабилитации своей, соглашаясь ждать и делать все, чтобы их нахождение на планете Лесная Грудь служило обоюдной пользе межгалактических отношений, но они возражали против предпринимаемой сторонами операции «Обруч» — против той глобальной самоизоляции, ведущей, как они считали, к неизбежной исторической и технологической рутине человеческого общества, на преодоление которой потребуются тысячелетия… Но было уже поздно… Никто на свете не мог их слушать, никто не предполагал, что в мировом пространстве безмолвно взывают их голоса…

Тем временем на космодроме Сары-Озек-1 уже

включилась система «Минутка», необратимо отсчитывающая приближение старта по операции «Обруч»...

А коршун, совершив очередной облет, снова появился над обрывом Малакумдычап. Люди там были заняты своим делом — они работали лопатами. Экскаватор уже нарыл большую кучу земли. Теперь он запускал ковш глубоко в яму, выскребая последние порции грунта. Вскоре он перестал дергаться и отошел в сторону, а люди принялись что-то докапывать на дне ямы. Верблюд был на месте, однако рыжей собаки не было видно. Куда она могла деться? Коршун подлетел поближе и, описывая плавный круг над обрывом, поворачивая голову то направо, то налево, увидел наконец, что рыжая собака лежала под прицепом, растянувшись у самых колес. Собака валялась себе, отдыхая, а может быть, дремала, и дела ей не было до коршуна. Сколько летал он сегодня над ней, а она даже ни разу не взглянула в небо. Суслик и тот, привстав столбиком, вначале оглядится вокруг и посмотрит вверх, нет ли опасности какой. А собака приспособилась к житью возле людей и ничего не боится, и никаких тебе забот. Вон как разлеглась! Коршун завис на мгновение, напрягся и выпустил из-под хвоста

резкую, как выстрел, зеленовато-белую струю в сторону собаки. Вот, мол, на тебе!

Что-то шмякнулось сверху на рукав Буранного Едигея. То был птичий помет. Откуда бы? Едигей стряхнул помет с рукава, поднял голову. «Опять белохвост, все тот же. Уже в который раз над головой. К чему бы это? Ишь, как хорошо ему. Плывет, качается по воздуху». Мысль его прервал голос Длинного Эдильбая со дна ямы:

— Ну что, Едике, ты посмотри! Хватит или еще копать?

Едигей хмуро склонился над краем могилы.

— Отойди в тот угол, — попросил он Длинного Эдильбая, — а ты, Калибек, вылезай пока. Спасибо тебе. Ну что ж, вроде бы глубина достаточная. И все-таки, Эдильбай, еще чуток расширить надо казанак, пусть будет попросторней.

Отдав эти распоряжения, Буранный Едигей взял малую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось, перед молитвой. И тогда душа его более или менее водворилась на место — пусть не удалось похоронить Казангапа на Ана-Бейите, но как бы то ни было — избежали большого позора: не приволокли покойника непогребенным домой. Не прояви он настойчивости, так бы оно и полу-

чилось. Теперь надо было как-то уложиться во времени, чтобы до наступления темноты успеть вернуться на Боранлы-Буранный. Дома, конечно, ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали ведь вернуться не позднее шести, к тому времени готовились поминки. Но уже было полпятого. Еще предстояли захоронение и дорога по сарозекам. Даже при быстрой езде это часа на два. Однако спешить, комкать похороны тоже было не след. В крайнем случае помянут поздно вечером. Ничего не поделаешь…

После омовения Едигей почувствовал себя облеченным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку канистры, он появился из-за экскаватора со значительным выражением лица, важно разглаживая бороду и усы.

— Сын усопшего раба божьего Казангапа Сабитжан, встань с левой стороны от меня, а вы четверо принесите тело на край могилы, положите покойника головой к закату, — произнес он несколько торжественным голосом. И когда все было сделано, сказал: — А теперь обратимся все в сторону священной Каабы. Раскройте ладони перед собой, думайте о боге, чтобы слова и помыслы наши были услышаны им в такой час.

Как ни странно, никаких смешков и бормота-

ний за спиной у себя Едигей не уловил. И был тем доволен, а ведь могли же сказать: брось, старик, голову морочить, какой ты, к шутам, мулла, давай лучше прикопаем мертвеца побыстрей да вернемся домой. Мало того, Едигей взял на себя смелость приносить молитву на погребении стоя, а не сидя, ибо слышал от знающих людей, что в арабских странах, откуда пришла религия, молятся на кладбищах, стоя во весь рост. Так это или не так, но хотелось Едигею быть поближе головой к небесам.

Но, прежде чем начать обряд, кланяясь во вступлении к нему правой и левой сторонам света и таким же наклоном головы земле и небу и тем самым кланяясь творцу за незыблемое устроение мира, в котором человек возникает случайно, а исчезает с неизменностью наступления дня и ночи, опять же увидел Буранный Едигей коршуна-белохвоста перед собой. Тот планировал впереди, чуть пошевеливая крыльями, размеренно описывая высоко в небе круг за кругом. Но коршун вовсе не отвлекал его от внутреннего настроя, а, наоборот, помогал сосредоточиться в кругу высоких дум.

Перед ним на краю зияющей ямы лежал на носилках завернутый в белую кошму усопший

Казангап. Произнося вполголоса погребальные слова, заблаговременно предназначенные всем и каждому, всем и на все времена впредь до скончания света, слова, в которых были изначально сказаны предопределения, неизбежные и равнозначные для всех, для любого человека, кем бы он ни был и в какую бы эпоху ни жил, а в равной степени неизбежно и для тех, кому еще суждено будет народиться, произнося эти всеобъемлющие формулы бытия, постигнутые и завещанные пророками, Буранный Едигей вместе с тем пытался дополнить их собственными мыслями, исходящими из его души и личного опыта. Ведь не зря же жил человек на свете.

«Если ты и вправду слышишь, о боже, мою молитву, которую я повторяю вслед за праотцами из заученных книг, то услышь и меня. Я думаю, одно другому не будет мешать.

Вот мы стоим здесь, на обрыве Малакумдычап, у разверзнутой могилы Казангапа, в безлюдном и диком месте, потому что не удалось похоронить нам его на завещанном кладбище. А коршун в небе смотрит на нас, как стоим мы с раскрытыми ладонями и прощаемся с Казангапом. Ты, великий, если ты есть, прости нас и прими захоронение раба твоего Казангапа с милостью

и, если он того заслуживает, определи его душу на вечный покой. Все, что от нас зависело, мы постарались сделать. Остальное за тобой!

А теперь, раз я к тебе обращаюсь в такой час, выслушай меня, пока я еще жив и могу мыслить. Ясное дело, люди только и знают что просят тебя — пожалей, помоги, огради! Слишком многого ждут от тебя по всякому случаю — правому и неправому. Убийца и тот хочет в душе, чтобы ты был на его стороне. А ты все молчишь. Что и говорить, на то мы люди, кажется нам, особенно когда туго приходится, что только для того ты и существуешь в небесах. Тяжко тебе, понимаю, мольбам нашим нет конца. А ты один. Я же ничего не прошу. Я лишь хочу сказать в такой час, что мне думается.

Сокрушаюсь я крепко оттого, что заветное кладбище наше, где покоится Найман-Ана, отныне нам недоступно. А потому хочу я, чтобы и мне суждено было лежать в этом месте, на Малакумдычапе, где ступала нога ее. Да будет так, чтобы быть мне рядом с Казангапом, которого сейчас мы предадим земле. И если правда, что душа после смерти переселяется во что-то, зачем мне быть муравьем, хотелось бы мне превратиться в коршуна-белохвоста. Чтобы летать мне, вон как

тот, над сарозеками и глядеть не наглядеться с высоты на землю свою. Вот и все.

А насчет завещания своего я накажу молодым, что прибыли сюда вместе со мной. Скажу я им, что наказ свой возлагаю на них — похоронить меня здесь. Вот только не вижу, кто совершит молитву надо мной. В бога они не верят и молитв никаких не знают. Ведь никто не знает и никогда не узнает, есть ли бог на свете. Одни говорят — есть, другие говорят — нет. Я хочу верить, что ты есть и что ты в помыслах моих. И когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе, и дано мне в час такой мыслить, как если бы мыслил ты сам, создатель. В этом ведь все дело! А они, молодые, об этом не думают и молитвы презирают. Но что они смогут сказать себе и другим в великий час смерти? Жалко мне их, как постигнут они сокровенность свою человеческую, если нет у них пути возвыситься в мыслях так, как если бы каждый из них вдруг оказался бы богом? Прости мне это кощунство. Никто из них богом не станет, но иначе и ты перестанешь существовать. Если человек не сможет возомнить себя втайне богом, ратующим за всех, как должен был бы ратовать ты о людях, то и тебя, боже, тоже не станет… А

мне не хотелось бы, чтобы ты исчез бесследно…

Вот и вся докука моя и печаль. Прости, однако, если что не так. Я простой человек, как умею, так и думаю. Сейчас доскажу я последние слова из священных писаний, и мы приступим к погребению. Благослови же нас на это дело…»

— Аминь, — заключил Буранный Едигей молитву и, помолчав, еще раз глянув на коршуна, с пронзительной тоской, медленно обернулся лицом к стоящим позади молодым, о которых только что высказал свое мнение самому господу богу. Кончилась беседа с богом. Перед ним стояли те самые пятеро, с которыми он прибыл сюда и с которыми предстояло сейчас совершить наконец столь затянувшееся захоронение.

— Так вот, — сказал он им раздумчиво, — что полагалось сказать в молитве, я сказал за вас. Теперь приступим к делу.

Скинув в сторону пиджак с орденами, Буранный Едигей сам опустился на дно ямы. Ему помогал Длинный Эдильбай. Сабитжан, как сын умершего, оставался в стороне, выражая свою скорбь склоненной головой, те трое — Калибек, Жумагали и зять-алкоголик — сняли с носилок кошмяной куль с телом и опустили его в могилу на руки Едигея и Длинного Эдильбая.

«Вот и настал час разлуки! — подумал Буранный Едигей, укладывая Казангапа на вечное пребывание на ложе его в глубине земли. — Прости, что долго не могли определить тебя на место. Целый день возили то туда, то сюда. Но так уж получилось. Не по нашей вине не погребли мы тебя на Ана-Бейите. Но не думай, я это дело не оставлю так. Дойду куда угодно. Пока жив, не промолчу. Уж я им скажу! А ты будь спокоен на своем месте. Велика, необъятна земля, а место тебе в десять вершков оказалось, видишь ли, предназначено здесь. И ты здесь не будешь один. Скоро и я водворюсь сюда, Казангап. Ты подожди меня немного. И не сомневайся. Если только беды какой не приключится, если умру своей смертью, прибуду и я сюда, и будем снова вместе. И превратимся мы в землю в сарозекскую. Только знать того не будем. Знать об этом дано, лишь покуда живешь. Потому я и говорю вроде бы тебе, а на самом деле себе. Ведь то, чем ты был, того уже нет. Вот так мы и уйдем — из былого в небылое. А поезда будут пробегать по сарозекам, и другие люди придут вместо нас…»

И тут старый Едигей не выдержал, всхлипнул — все, что было-перебыло за многие годы их жизни на разъезде Боранлы-Буранный, невзгоды и

радости поместились в несколько прощальных слов и несколько минут погребения. Как много и как мало дано человеку!

— Ты слышишь, Эдильбай? — проговорил Едигей, соприкасаясь с ним в тесной яме плечом к плечу. — Ты и меня похорони здесь, чтобы рядышком был. И вот так вот руками своими уложи меня и пристрой, как это делаем мы сейчас, чтобы и мне лежалось удобно. Ты даешь мне слово?

— Перестань, Едике, потом поговорим. Ты давай сейчас вылезай на свет божий. А я тут сам закончу дело. Успокойся, Едике, вылезай. Не томись.

Размазывая глину на мокром лице, Буранный Еди-гей поднялся со дна ямы, ему протянули руки, и он вылез наверх, плача и бормоча какие-то жалостливые слова. Калибек принес канистру с водой, чтобы старик умылся.

Потом они кинули вниз по пригоршне земли и принялись засыпать могилу с подветренной стороны. Вначале лопатами, а потом Жумагали сел за руль, сталкивая грунт бульдозером. Потом снова укладывали холм над могилой лопатами…

А коршун-белохвост все парил над ними, наблюдая за облачком пыли и за этой горсткой людей, совершавших нечто странное на обрыве Малакумдычап. Он отметил какое-то особое

оживление среди них, когда на месте ямы стала вырастать свежая гора земли. И рыжая собака, потягиваясь, встала тем временем со своего места из-под прицепа и тоже теперь крутилась возле людей. Ей-то чего надо было? Только старый верблюд, украшенный попоной с кистями, все так же невозмутимо жевал свою жвачку, непрестанно двигая челюстями…

Кажется, люди собирались уезжать. Но нет, вот один из них, хозяин верблюда, развернул ладони перед лицом, и все остальные поступили так же…

Время уже не терпело. Буранный Едигей обвел всех долгим, пристальным взглядом и сказал:

— Вот и делу конец. Хорошим ли человеком был Казангап?

— Хорошим, — ответили те.

— Не остался ли в долгах он кому? Здесь его сын, пусть возьмет на себя долг отца.

Никто ничего не ответил. И тогда Калибек сказал за всех:

— Нет, никаких долгов за ним не осталось.

— В таком случае что ты скажешь, сын Казангапа Сабитжан? — обратился к нему Едигей.

— Спасибо вам всем, — коротко ответил тот.

— Ну раз так, значит — двинулись домой! —

сказал Жумагали.

— Сейчас. Одно только слово, — остановил его Буранный Едигей. — Я среди вас тут самый старый. Просьба у меня ко всем. Если такое случится, похороните здесь меня, вот тут, бок о бок с Казангапом. Вы слышали? Это мой завет, стало быть, так и понимайте.

— Этого никто не знает, Едике, как и что будет, зачем заранее думать, — высказал свое сомнение Калибек.

— Все равно, — настаивал Едигей. — Мне полагается сказать, а вам полагается выслушать. А когда дело дойдет до дела, вспомните, что был такой завет.

— А еще какие великие заветы будут? Давай, Едике, выкладывай заодно, — подшутил Длинный Эдильбай, желая разрядить обстановку.

— А ты не смейся, — обиделся Едигей. — Я ведь всерьез.

— Запомни, Едике, — успокоил его Длинный Эдильбай. — Если так выйдет, сделаем, как ты того хочешь. Не сомневайся.

— Ну вот это слово джигита, — удовлетворенно пробурчал тот.

Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва. Ведя на поводу Каранара, Буранный

Едигей пошел рядом с Сабитжаном, пока трактора съезжали вниз. Он хотел поговорить с ним наедине о том, что его очень тревожило.

— Слушай, Сабитжан, руки у нас освободились, и есть теперь один разговор. Как же нам быть с кладбищем нашим, с Ана-Бейитом? — сказал он ему вопрошающим тоном.

— А что как быть? Тут и голову нечего ломать, — ответил Сабитжан. — План есть план. Ликвидировать его будут, сносить по плану. Вот и весь сказ.

— Да я не об этом. Так можно на любое дело махнуть рукой. Вот ты родился и вырос здесь. Выучил тебя отец. И теперь мы его похоронили. Одного, в чистом поле — единственное утешение, что все равно на своей земле. Ты грамотный, работаешь в области, слава богу, разговоры можешь вести с кем угодно. Книги разные читал…

— Ну и что из этого? — перебил его Сабитжан.

— А то, что помог, бы ты мне в разговоре, отправились бы мы с тобой, пока не поздно, не откладывая прямо завтра к начальству здешнему, есть же в этом городке кто-то самый главный. Нельзя, чтобы Ана-Бейит сровняли с землей. Ведь тут история.

— Это все старые сказки, пойми ты, Едике. Здесь

решаются мировые, космические вопросы, а мы пойдем с жалобой о каком-то кладбище. Кому это нужно? Для них это — тьфу! Да и все равно туда нас не пустят.

— Так если не идти, то не пустят. А если потребовать, то и пустят. А нет, так сам начальник может подъехать на встречу. Не гора же он, чтобы с места не трогаться.

Сабитжан метнул на Едигея раздраженный взгляд.

— Оставь, старик, это пустое дело. А на меня не рассчитывай. Мне это совсем ни к чему.

— Так бы и сказал. И разговору конец. А то сказки!

— А как же ты думал! Что я, так и побегу! Ради чего? У меня семья, дети, работа. Зачем мне против ветра мочу пускать? Чтобы отсюда один звонок — и мне пинком под задницу? Нет уж, спасибо!

— Ты свое спасибо сам принимай, — бросил Буранный Едигей и добавил зло: — Пинком под задницу! Выходит, только для задницы и живешь!

— А как же ты думал? Вот именно! Это тебе просто — кто ты? Никто. А мы для задницы живем, чтобы в рот послаще попало.

— Во-во! Прежде головой дорожили, а теперь, выходит, задницей.

— Как хочешь, так и понимай. А дураков не ищи.

— Ясно. Разговору конец! — отрезал Буранный Едигей. — Справляй поминки, и больше нам с тобой, бог даст, не встретиться никогда.

— Уж как придется, — скривился Сабитжан.

На том они разминулись. Пока Бураный Едигей садился на верблюда, трактористы поджидали его, заведя моторы, но он им сразу сказал, чтобы они не задерживались, а ехали своим ходом да побыстрей насколько можно, люди там ждут с поминками, а ему верхом везде дорога, он, мол, поедет сам по себе.

Когда трактористы укатили, Едигей еще оставался на месте, решая, как поступить дальше.

Теперь он был один, в полном одиночестве посреди сарозеков, если не считать верного пса Жолбарса, который вначале кинулся за уходящими тракторами, а потом снова прибежал, когда понял, что хозяину теперь не по пути с ними. Но Едигей не обращал на него внимания. Если бы собака убежала домой, он и это не заметил бы. Не до того было. Свет был не мил. Ничем не мог подавить он в себе душевного ожога — гнетущую,

тревожную опустошенность после разговора с Сабитжаном. Эта сосущая пустота неутихающей боли зияла в нем, как сквозная брешь, как ущелье, в котором только холод и мрак. Каялся Буранный Едигей, крепко каялся, что зря затеял разговор, напрасно бросил слова на ветер. Разве же Сабитжан тот человек, к которому стоило обращаться за советом да помощью? Понадеялся — грамотный, мол, образованный, ему проще найти язык с таким, как он сам. А что из того, что обучался он на разных курсах да в разных институтах? Может быть, его и обучали для того, чтобы он сделался таким, каким оказался. Может быть, где-то есть кто-то проницательный, как дьявол, который много трудов вложил в Сабитжана, чтобы Сабитжан стал Сабитжаном, а не кем-то другим. Ведь сам он, Сабитжан, рассказывал, расписывал на все лады такую ерунду о радиоуправляемых людях. Грядут, мол, те времена! А что, если им самим уже управляет по радио тот невидимый и все! — могущий…

И чем больше думал старик Едигей об этом, тем обидней и безысходней становилось от этих мыслей.

— Манкурт ты! Самый настоящий манкурт! — прошептал он в сердцах, ненавидя и жалея

Сабитжана.

Но он вовсе не собирался примиряться со случившимся, он понимал, что должен что-то сделать, что-то предпринять, чтобы не согнуться в три погибели. Буранный Едигей понимал, что если он отступит, то это будет его поражением в собственных глазах. Предчувствуя, что предстоит что-то совершить вопреки очевидному исходу дня, он пока еще не мог сказать точно, что именно он хотел бы сделать, с чего начать и как приступить к тому, чтобы думы и чаяния его по поводу Ана-Бейита дошли до слуха тех, кто действительно может изменить приказ. Дошли бы и возымели какое-то действие, переубедили бы их… Но как этого достичь? Куда двинуться, что предпринять?

В тяжком раздумье том Едигей огляделся по сторонам, сидя верхом на Каранаре. Кругом была молчаливая степь. Предвечерние тени уже закрадывались под краснопесчаные яры Малакумдычапа. Трактора давно уже исчезли вдали, умолкли. Укатила молодежь. Последний из тех, кто знал и сохранял в памяти сарозекскую быль, — старик Казангап лежал теперь на обрыве, под свеженасыпанным холмом одинокой могилы, посреди необъятной степи. Едигей пред-

ставил себе, как мало-помалу бугорок этот осядет, приплюснется, сольется с полынным цветом сарозеков и трудно, а то и просто невозможно будет различить его на этом месте. Тому и быть — никто не переживет землю, никто не минет земли…

Солнце набрякло, отяжелело к концу дня, принижаясь под непосильной тяжестью своей все ближе и ближе к горизонту. Свет уходящего светила менялся с минуты на минуту. В чреве заката неуловимо зарождалась тьма, наливаясь сумеречной синевой в сияющем золоте озаренного пространства.

Размышляя, обдумывая обстановку, Буранный Едигей решился на то, чтобы снова вернуться к шлагбауму, на проезде в зону. Иного способа не придумал. Теперь, когда похороны были позади, когда он не был связан никем и ничем и потому мог полагаться на себя в полной мере настолько, насколько хватило бы сил, отпущенных ему природой и опытом, он мог позволить себе действовать на свой страх и риск так, как считал нужным. Прежде всего он хотел добиться, заставить караульного службы пойти на то, чтобы его препроводили пусть даже под конвоем к большому начальству, или, если потребуется,

принудить того начальника прибыть к шлагбауму и выслушать его, Буранного Едигея. И тогда бы он все высказал в лицо…

Все это им было продумано, и Буранный Едигей решил действовать без промедления — непосредственным поводом к тому он намерен был выдвинуть прискорбный случай с похоронами Казангапа. Он твердо решил проявить настойчивость у шлагбаума, требовать пропуска или встречи, с этого начать, заставить охранников понять, что он будет добиваться своего до тех пор, пока его не выслушает самый высокий чин, а не какой-то Тансыкбаев…

На том он укрепился духом.

— Таубакель! Если у собаки есть хозяин, то у волка есть бог! — ободрил он себя и уверенно приударил Каранара, направляясь в сторону шлагбаума.

Тем временем солнце закатилось, стало быстро темнеть. Когда он приближался к зоне, было уже совсем темно. Оставалось с пол кило метра до шлагбаума, когда впереди стали ясно видны постовые фонари. Здесь, не доезжая до часового, Едигей заранее спешился. Слез, сползая с седла. Верблюд был ни к чему в таком деле. Зачем такая обуза? Да еще какой начальник попадется, а то

ведь не захочет разговаривать, скажет: «Проваливай отсюда вместе со своим верблюдом. Откуда ты такой взялся! Никакого приема тебе нет!» — и в кабинет не допустит. Но главное же, не знал Едигей, чем кончится его затея, долго ли придется ждать результата, так уж лучше было заявиться самому по себе, а Каранара оставить пока стреноженным в степи. Будет себе пастись.

— Ну ты, здесь подожди пока, а я пойду попытаю, чем оно обернется, — пробурчал он, обращаясь к Кара-нару, но больше для собственной уверенности. Пришлось все-таки укладывать верблюда наземь, потому что требовалось достать из переметной сумки путы, приготовить их.

Пока Едигей возился впотьмах с путами, было так тихо вокруг, царила такая безмерная тишина, что он слышал собственное дыхание и попискивание, жужжание каких-то насекомых в воздухе. Над головой засветилось великое множество звезд, вдруг сразу объявившихся в чистом небе. Так тихо было, точно бы ожидалось что-то…

Даже привычный к сарозекской тишине Жолбарс и тот, напряженно настораживаясь, поскуливал почему-то. Что ему могло не нравиться в этой тишине?

— Ты еще мне тут путаешься под ногами! —

недовольно высказался хозяин. Потом он подумал: а куда девать собаку? И некоторое время соображал, перебирая верблюжьи путы в руках, как быть с собакой. Ясное дело, собака не отстанет. Будешь гнать — *все* равно не уйдет. Появляться же с собакой просителем опять же было не к лицу. Если не скажут, то посмеются, подумают: вот, мол, пришел старик права отстаивать, а с ним никого, кроме собаки. Так уж лучше быть без пса. И тогда Едигей решил привязать его на длинном поводу к верблюжьей сбруе. Пусть побудут вместе в одной связке собака и верблюд, пока он отлучится. С тем он подозвал собаку: «Жолбарс! Жолбарс! Поди сюда!» — и склонился, чтобы заладить узел на его шее. И тут как раз что-то произошло в воздухе, что-то сдвинулось в пространстве с нарастающим вулканическим грохотом. И совсем рядом, где-то совсем вблизи, в зоне космодрома, взметнулась столбом в небо яркая вспышка грозного пламени. Буранный Едигей отпрянул в испуге, а верблюд с криком вскочил с места… Собака в страхе кинулась к ногам человека.

То пошла на подъем первая боевая ракета-робот, по Транскосмической заградительной операции «Обруч». В сарозеках было ровно во-

семь часов вечера. Вслед за первой рванулась ввысь вторая, за ней третья и еще, и еще… Ракеты уходили в дальний космос закладывать вокруг земного шара постоянно действующий кордон, чтобы ничего не изменилось в земных делах, чтобы все оставалось как есть…

Небо обваливалось на голову, разверзаясь в клубах кипящего пламени и дыма… Человек, верблюд, собака— эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали вместе, страшась расстаться друг с другом, они бежали по степи, безжалостно высветляемые гигантскими огненными сполохами…

Но как долго бы они ни бежали, то был бег на месте, ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой пожаром всеохватного света и сокрушающего грохота вокруг…



А они бежали — человек, верблюд и собака, бежали без оглядки, и вдруг, почудилось Едигею, откуда ни возьмись появилась сбоку белая

птица, некогда возникшая из белого платка Найман-Аны, когда она падала с седла, пронзенная стрелой собственного сына-манкурта… Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и светопреставлении:

— Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой, отец — Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай…

И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся тьме…

Через несколько дней из Кызыл-Орды прибыли на Боранлы-Буранный обе дочери Едигея, Сауле и Шара-пат, с мужьями, с детьми, получив телеграмму о кончине сарозекского старца Казангапа. Помянуть, засвидетельствовать свою скорбь приехали, а заодно и погостить денек-другой у родителей, поскольку нет худа без добра.

Когда они сошли с поезда всей гурьбой и объявились у Е ди геев а порога, отца дома не было, а Укубала выскочила навстречу и, плача, обнимаясь, целуясь с детьми, не нарадуясь потомкам, все приговаривала:

— Многое спасибо тебе, господи! Вот кстати-то! Отец как обрадуется! Как хорошо, что приехали! И все вместе приехали, собрались да приехали! Отец-то как обрадуется!

— А где же отец? — спросила Шарапат.

— А он вернется к вечеру. Уехал с утра в Почтовый ящик, к начальству тамошнему. Все дела у него там какие-то! Я потом расскажу. Да что же вы стоите? Это же ваш дом, дети мои…

Поезда в этих краях все так же шли с запада на восток и с востока на запад…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Чолпон-Ата, декабрь 1979 — март 1980 гг.

ПОСЛЕ СКАЗКИ (БЕЛЫЙ ПАРОХОД)

ПОВЕСТЬ

1

У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

В тот год ему исполнилось семь лет, шел восьмой.

Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-защелкой, проскальзывающей под скобу. С накладным кармашком для мелочей. Словом, необыкновенный самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось.

Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним на лесной кордон, в Сан-Ташскую падь.

Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался в верховья заповедный горный лес. На кордоне всего три семьи. Но все же время от времени автолавка наведывалась и к лесникам.

Единственный мальчишка на все три двора, он всегда первым замечал автолавку.

— Едет! — кричал он, подбегая к дверям и окош-

кам. — Машина-магазин едет!

Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Иссык-Куля, все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было ездить по такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос и оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом — летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. И там, на дороге, всегда все видно как на ладони — и пеший, и конный, и, уж конечно, машина.

В тот раз — а это случилось жарким летом — мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запылила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запруда, кто знает, может быть, мальчика давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссык-Куль, и разглядывали бы их там рыбы и всякая водяная тварь. И никто не стал бы его искать и по нем убиваться — потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого не случилось. А случись, кто знает, — бабка, может, и вправду не

кинулась бы спасать. Еще был бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой. А чужой — всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи. Чужой… А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая?

Но об этом — потом, и о запруде дедовой тоже потом…

Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и, сам мокрый еще, посиневший — вода в реке холодная, — побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки.

Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и обегая валуны, если не по силам было их перескочить, и нигде не задержался ни на секунду — ни возле высоких трав, ни возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала. Я приду потом», — бросил он на ходу «Лежащему верблюду» — так он назвал рыжий горбатый гранит, по грудь ушедший в землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не

похлопав своего «Верблюда» по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина — так, небрежно, походя; ты, мол, обожди, я отлучусь тут по делу. Был у него валун «Седло» — наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень «Волк» — очень похожий на волка, бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень — это «Танк», несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется «Танк» с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят: с берега в воду — и пошел… Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед иногда возил внука в кино на совхозную племферму в соседнее урочище за горой. Потому и появился на берегу «Танк», готовый всегда ринуться через реку.

Были еще и другие — «вредные» или «добрые» камни, и даже «хитрые» и «глупые».

Среди растений тоже — «любимые», «смелые», «боязливые», «злые» и всякие другие. Колючий бодяк, например, — главный враг. Мальчик рубился с ним десятки раз на дню. Но конца этой

войне не видно было — бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные, — самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают — что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки, только пригреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй, и потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные… И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи — и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают?

Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых ширалджинов. Ширалджины высокие, цветов на них нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Ширалджины — верные друзья. Особенно, если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел, в ширалджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в ширалджинах. И главное — они не заслоняют неба. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала

сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака и будут выделывать наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали — исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?.. И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты не захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака.

А в ширалджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, ширалджины, пахнущие горячими соснами…

И еще разные разности знал он о травах. К серебристым ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудаки — ковыли! Ветреные головы. Их мягкие, шелковистые метелки без ветра жить не могут. Только и ждут — куда дунет, туда они и клонятся. И кланяются все как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают, прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы,

наверное, куда глаза глядят… Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру — куда ветер, туда и они…

Один, без друзей, мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали, и разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка — это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет, в автолавке!

Когда мальчик добежал до дому, автолавка уже подъезжала ко двору, сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, надворье переходило в пологий спуск прямо к берегу, а на той стороне реки, сразу от размытого яра, круто восходил лес по горам, так что подъезд к кордону был один — сзади домов. Не добеги мальчик вовремя, никто и не знал бы, что автолавка уже здесь.

Мужчин в тот час никого не было, все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям:

— Приехала! Машина-магазин приехала!

Женщины всполошились. Кинулись искать припрятанные деньги. И выскочили, обгоняя одна другую. Бабка и та его похвалила:

— Вот он у нас какой глазастый!

Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на задворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой дверцы автофургона. Но здесь женщины сразу забыли о нем. Им было не до него. Товары разные — глаза разбегались. Женщин было всего три: бабка, тетка Бекей — сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Орозкула, — и жена подсобного рабочего Сейдахмата — молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины. Но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом.

Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, «потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз расспрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот… Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного, исчезла та радость, которую он испытал, когда увидел на горе автолавку. Ав-

толавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.

Продавец хмурился: не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он ехал сюда, в такую даль, по горам?

Так оно и получилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться — то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет в руках — товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей — самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей, за это и бьет ее спьяну Орозкул, потому и дед страдает, ведь тетка Бекей его, дедова дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря, и напрасно — самой же хуже будет. Бабка не удержалась:

— Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? — зашипела она, чтобы продавец ее не услышал.

— Сама знаю, — коротко отрезала тетка Бекей.

— Ну и дура, — еще тише, но со злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух, они и ругаются же!..

Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее Сейдахмат собирается скоро в город, в городе деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.

Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара «на грош», так сказал продавец, и разошлись по домам. Ну, разве это торговля! Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку.

— Ты чего, ушастый? — спросил он. У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая, круглая голова. — Купить хочешь? Так побыстрей, а то закрою. Деньги есть?

Продавец спрашивал так, просто от нечего делать, но мальчишка ответил уважительно:

— Нет, дядя, денег нет, — и помотал головой.

— А я думаю, есть, — с притворным недоверием протянул продавец. — Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что, разве не деньги.

— Нет, дядя, — по-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. (Второй карман был наглухо зашит.)

— Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал. Найдешь.

Они помолчали.

— Ты чей будешь? — снова стал расспрашивать продавец. — Старика Момуна, что ли?

Мальчик кивнул в ответ.

— Внуком ему доводишься?

— Да. — Мальчик опять кивнул.

— А мать где?

Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить.

— Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?

— Не знаю.

— А отец? Тоже не знаешь?

Мальчик молчал.

— Что ж это ты, друг, ничего не знаешь? — шутливо попрекнул его продавец. — Ну, ладно, коли так. Держи, — он достал горсть конфет. — И будь здоров.

Мальчик застеснялся.

— Бери, бери. Не задерживай. Мне ехать пора.

Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул Балтека, страшно ленивого, лохматого пса. Озоркул все грозился пристрелить его — зачем, мол, держать такую собаку. Да дед все упрашивал повременить:

надо, мол, завести овчарку, а Балтека увезти куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего, — сытый спал, голодный вечно подлизывался к кому-нибудь, к своим и чужим без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был, пес Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потрусит домой. Ненадежная собака. Но все же бежать с собакой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть — все-таки собака…

Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри, — предупредил он пса. — Долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал — ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету. Можно ведь обидеть человека, не для собаки же дал он целую пригоршню.

И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку, а с пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, еще не уехала автолавка. Случай. Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке.

Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали Расторопным Момуном, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун

заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Момуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу — а Момун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников — ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко, и главное — не отлынивал, как другие. Аильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Момун с работой, говорили:

— Что бы мы делали, если бы не Расторопный Момун!

И получалось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного

джигита-самоварщика. Кто другой на месте Момуна лопнул бы от оскорбления. А Момун хоть бы что!

И никто не удивлялся, что старый Расторопный Момун прислуживает гостям — на то он и есть всю жизнь Расторопный Момун. Сам виноват, что он Расторопный Момун. И если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни, — Момун отвечал: «Покойный был моим братом. (Всех бугинцев он считал братьями. Но не в меньшей мере они приходились «братьями» и другим гостям.) Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей — Рогатой матери-оленихи. А она, пречудная мать-олениха, завещала нам дружбу и в жизни, и в памяти…»

Вот такой он был, Расторопный Момун!

И старый, и малый были с ним на «ты», над ним можно было подшутить — старик безобидный; с ним можно было и не считаться — старик безответный. Не зря, говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он не умел.

Он многое умел в жизни. Плотничал, шорни-

чал, скирдоправом был; когда был еще помоложе, такие в колхозе скирды ставил, что жалко было их разбирать зимой: дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крышей двускатной ложился. В войну трудармейцем в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцем величали. Вернулся, дома срубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и числился подсобным рабочим, за лесом-то следил он, а Орозкул, зять его, большей частью по гостям разъезжал. Разве когда начальство нагрянет — тут уж Орозкул сам и лес покажет, и охоту устроит, тут уж он был хозяином. За скотом Момун ходил, и пасеку он держал. Всю жизнь с утра до вечера в работе, в хлопотах прожил Момун, а заставить уважать себя не научился.

Да и наружность Момуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был, и с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагодарное свойство человеческое. Во все времена учат таких: «Не будь добрым, будь злым! Вот тебе, вот тебе! Будь злым», — а он, на беду свою, остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбчивое и морщинистое-морщинистое, а глаза вечно вопрошали: «Что тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас, ты мне только скажи, в

чем твоя нужда».

Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький старичок, как подросток.

На что борода — и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке две-три волосинки рыжеватые — вот и вся борода.

То ли дело — видишь вдруг едет по дороге осанистый старик, а борода, как сноп, в просторной шубе с широким мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне, и седло посеребренное — чем не мудрец, чем не пророк, такому и поклониться не зазорно, такому почет везде! А Момун уродился всего лишь Расторопным Момуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. (Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не так, не то…) В этом смысле Момун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком.

Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, снедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть. (Кому не хочется слыть умным, достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым,

решительным?..)

А Момун был не таким. Он был чудаком, и относились к нему, как к чудаку.

Одним можно было сильно обидеть Момуна: позабыть пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок... Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду, но не оттого, что обошли его, — на советах он все равно ничего не решал, только присутствовал, — а оттого, что нарушалось исполнение древнего долга.

Были у Момуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали. А свои люди знали.

Когда увидел Момун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу.

— Ассалам-алейкум, большой купец! — сказал он полушутя-полусерьезно. — В благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля? — весь сияя, Момун тряс руку продавца. — Сколько воды утекло, как не виделись! Добро пожаловать!

Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом — все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой, потрепанный пиджачок, побуревшая от дождей и солнца войлочная шляпа, — отвечал Момуну:

— Караван в целости. Только вот получается — купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.

— Не взыщи, дорогой, — смущенно извинялся Момун. — Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку…

— Сказывай! — перебил его продавец. — Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом — за три дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать — жметесь. Купи вот шелковое одеяло, швейная машинка осталась одна…

Ей-богу, нет таких денег, — оправдывался Момун.

— Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньги копишь. А куда?

— Ей-богу нет, клянусь Рогатой матерью-оле-

нихой!

— Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьешь.

— Взял бы, клянусь Рогатой матерью-оленихой…

— Э-э, да что с тобой толковать! — махнул рукой продавец. — Зря приехал. А Орозкул где?

— С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.

— Гостит, стало быть, — понимающе уточнил продавец.

Наступила неловкая пауза.

— Да ты не обижайся, милый, — снова заговорил Момун. — Осенью, бог даст, продадим картошку…

— До осени далеко.

— Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.

— Не за тем я приехал, — отказался продавец.

Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глядя на внука, который стоял подле старика уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать за машиной:

— Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть? Сколько ему?

Момун сразу ухватился за эту идею: хоть что-то

он да купит у настырного автолавочника, и внуку действительно нужен портфель, нынешней осенью ему в школу.

— А верно ведь, — засуетился Момун, — я и не подумал. Как же, семь, восьмой уже. Иди-ка сюда, — позвал он внука.

Дед порылся в карманах, достал припрятанную пятерку.

Давно она, наверно, была у него, слежалась уже.

— Держи, ушастый. — Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель. — Теперь учись. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.

— Осилит! Он у меня смышленый, — отозвался Момун, пересчитывая сдачу.

Потом глянул на внука, неловко держащего новенький портфель, прижал его к себе.

— Вот и добро. Пойдешь осенью в школу, — негромко сказал он. Твердая, увесистая ладонь деда мягко прикрыла голову мальчика.

И тот почувствовал, как вдруг сильно сдавило горло, и остро ощутил худобу деда, привычный запах его одежды. Сухим сеном и потом работящего человека пахло от него. Верный, надежный, родной, быть может, единственный на свете

человек, который души в мальчике не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стариком, которого умники прозвали Расторопным Момуном… Ну и что ж? Какой ни есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед.

Мальчик сам не подозревал, что радость его будет такой большой. До сих пор он не думал о школе. До сих пор он только видел детей, идущих в школу, — там, за горами, в иссык-кульских селах, куда они с дедом ездили на поминки знатных бугинских стариков. А с этой минуты мальчик не расставался с портфелем. Ликуя и хвалясь, он обежал тотчас всех жителей кордона. Сначала показал бабке, — вот, мол, дед купил! — потом тетке Бекей — она тоже порадовалась портфелю и похвалила самого мальчика.

Редко когда тетка Бекей бывает в добром настроении. Чаще — мрачная и раздраженная — она не замечает своего племянника. Ей не до него. У нее свои беды. Бабка говорит: были бы у ней дети, совсем другой женщиной была бы она. И Орозкул, муж ее, тоже был бы другим человеком. Тогда и дед Момун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были две дочери — тетка Бекей да еще мать мальчика, младшая дочь, — а все равно плохо, плохо, когда нет своих

детей; еще хуже, когда у детей нет детей. Так говорит бабка. Пойми ее…

После тетки Бекей мальчик побежал показать покупку молодой Гульджамал и ее дочке. А отсюда пустился на сенокос к Сейдахмату. Опять бежал мимо рыжего камня «Верблюда» и опять не было времени похлопать его по горбу, мимо «Седла», мимо «Волка» и «Танка», а дальше все по берегу, по тропе через облепиховый кустарник, потом по длинному прокосу на лугу он добежал до Сейдахмата.

Сейдахмат сегодня здесь был один. Дед давно уже выкосил свою делянку, заодно и делянку Орозкула. И сено уже свезли они — бабка с теткой Бекей сгребали, Момун накладывал, а он помогал деду, подтаскивал сено к телеге. Сложили возле коровника две скирды. Дед их так аккуратно свершил, что никакие дожди не затекут. Гладкие, как гребнем очесанные скирды. Каждый год так. Орозкул сено не косит, все на тестя валит — начальник как-никак. «Захочу, — говорит, — в два счета повыгоняю вас с работы». Это он на деда и Сейдахмата. И то по пьяному делу. Деда ему не прогнать. Кто будет тогда работать? Попробуй без деда! В лесу работы много, особенно осенью. Дед говорит: «Лес не отара овец, не разбредется. Но

присмотру за ним не меньше. Потому как пожар случится или с гор паводок ударит дерево не отскочит, не сойдет с места, погибнет, где стоит. Но на то лесник, чтобы дерево не пропадало». А Сейдахмата Орозкул не прогонит, потому что Сейдахмат смирный. Ни во что не вмешивается, не спорит. Но хотя он парень смирный и здоровый, а ленивый, поспать любит. Потому и прибился в лесничество. Дед говорит: «Такие парни в совхозе машины гоняют, на тракторах пашут». А Сейдахмат на огороде совсем картошку зарастил лебедой. Пришлось Гульджамал с ребенком на руках самой управляться с огородом.

И с началом покоса Сейдахмат затянул. Позавчера дед заругался на него. «Зимой прошлой, — говорит, — не тебя мне жалко стало, а скотину. Оттого поделился сеном. Если опять рассчитываешь на мое стариковское сено, то сразу скажи, я за тебя накошу». Проняло, с утра сегодня махал Сейдахмат косой.

Заслышав за спиной быстрые шаги, Сейдахмат обернулся, утерся рукавом рубашки.

— Ты чего? Зовут меня, что ли?

— Нет. У меня портфель. Вот. Дед купил. Я в школу пойду.

— Из-за этого и прибежал? — Сейдахмат хо-

хотнул. — Дед Момун такой, — повертел он пальцем возле виска, — и ты туда же! А ну, что за портфель? — Он пощелкал замочком, покрутил портфель в руках и вернул, насмешливо покачивая головой. — Постой, — воскликнул он, — в какую же школу ты пойдешь? Где она, твоя школа-то?

— Как в какую? В ферменскую.

— Это в Джелесай ходить? — подивился Сейдахмат. — Так туда через гору километров пять, не меньше.

— Дед сказал, будет на лошади меня возить.

— Каждый день туда-сюда? Чудит старик… В пору ему самому в школу поступать. Посидит с тобой на парте, кончатся уроки — и назад! — Сейдахмат покатывался со смеху. Очень ему смешно стало, когда представил себе, как дед Момун сидит с внуком за школьной партой.

Мальчик озадаченно молчал.

— Да я это так, для смеха! — объяснил Сейдахмат.

Он небольно щелкнул мальчика по носу, надвинул ему на глаза козырек дедовской фуражки. Момун не носил форменную фуражку лесного ведомства, стыдился ее. («Что я, начальник какой-нибудь? Я свою киргизскую шапку ни на

какую другую не променяю».) И летом на Момуне была допотопная войлочная шляпа, «бывший» акколпак — белый колпак, отороченный черным облезлым сатином по полям, а зимой — тоже допотопный — овчинный тебетей. Зеленую форменную фуражку лесного рабочего он давал носить внуку.

Мальчику не понравилось, что Сейдахмат так насмешливо принял новость. Он хмуро поднял козырек на лоб и, когда Сейдахмат еще раз хотел щелкнуть его по носу, отдернул голову и огрызнулся:

— Не приставай!

— Ох ты, сердитый какой! — усмехнулся Сейдахмат. — Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо! — И потрепал его по плечу. — А теперь валяй. Мне еще косить и косить…

Поплевав на ладони, Сейдахмат снова взялся за косу.

А мальчик бежал домой опять по той же тропе и опять бегом мимо тех же камней. Некогда пока было забавляться с камнями. Портфель вещь серьезная.

Мальчик любил разговаривать сам с собою. Но в этот раз он сказал не себе — портфелю: «Ты не верь ему, дед у меня вовсе не такой. Он совсем

не хитрый, и потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. Он нас с тобой будет возить в школу. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с Караульной горы* И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком, а я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой — как потащит, не удержишь его, — а вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова — его мать, и ей не жалко молока. Понимаешь? Матери никогда ничего не жалеют. Это Гульджамал так говорит, у ней своя девочка… Скоро корову будут доить, а потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на Караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое — я, ты и бинокль…»

Так он возвращался домой. Ему очень понравилось разговаривать с портфелем. Он собирался продолжить этот разговор, хотел рассказать о себе, чего еще не знал портфель. Но ему помешали. Сбоку послышался конский топот. Из-за деревьев выехал всадник на сером коне. Это был Орозкул. Он тоже возвращался домой. Серый конь Алабаш,

на котором он никому, кроме себя, не разрешал ездить, был под выездным седлом с медными стременами, с нагрудным ремнем, со звякающими серебряными подвесками.

Шляпа Орозкула сбилась на затылок, обнажив красный, низко заросший лоб. Его разбирала дрема на жаре. Он спал на ходу. Вельветовый китель, не очень умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, был расстегнут сверху донизу. Белая рубашка на животе выбилась из-под пояса. Он был сыт и пьян. Совсем еще недавно сидел в гостях, пил кумыс, ел мясо до отвала.

С приходом в горы на летние выпасы окрестные чабаны и табунщики частенько зазывали Орозкула к себе. Были у него старые друзья-приятели. Но зазывали и с расчетом. Орозкул — нужный человек. Особенно для тех, кто строит дом, а сам сидит в горах; стадо не бросишь, не уйдешь, а стройматериалы где сыщешь? И в первую очередь лес? А угодишь Орозкулу — смотришь, из заповедного леса два-три бревна на выбор и увезешь. А нет, так будешь скитаться со стадом в горах, и дом твой век будет строиться…

Подремывая в седле, отяжелевший и важный Орозкул ехал, небрежно упираясь носками хро-

мовых сапог в стремена.

Он чуть было не слетел с лошади от неожиданности, когда мальчик побежал ему навстречу, размахивая портфелем:

— Дядя Орозкул, у меня портфель! Я пойду в школу. Вот у меня портфель.

— О, чтоб тебя! — испуганно натягивая поводья, выругался Орозкул.

Он глянул на мальчика красными спросонья, набухшими, пьяными глазами:

— Ты чего, откуда?

— Я домой. У меня портфель, я показывал его Сей-дахмату, — упавшим голосом сказал мальчик.

— Ладно, играй, — буркнул Орозкул и, неуверенно покачиваясь в седле, поехал дальше.

Какое ему было дело до этого дурацкого портфеля, до этого брошенного родителями мальчишки, племянника жены, если сам он был так обижен судьбой, если бог не дал ему сына собственного, своей крови, в то время как другим дарит детей щедро, без счета?..

Орозкул засопел и всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко ему было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной жене. Это она, проклятая, вот уже столько лет

ходит порожняя…

«Уж я тебе!» — мысленно пригрозил Орозкул, сжимая мясистые кулаки, и сдавленно застонал, чтобы не заплакать в голос. Он знал уже, что приедет и будет бить ее. Так случалось всякий раз, когда Орозкул напивался; этот быкоподобный мужик одуревал от горя и злобы.

Мальчик шел по тропинке следом. Он удивился, когда вдруг впереди Орозкул исчез. А тот, свернув к реке, слез с лошади, бросил поводья и пошел сквозь высокую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Орозкул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо.

«Наверно, у него голова разболелась от жары», — решил мальчик, увидев, что делает Орозкул. Он не знал, что Орозкул плакал и никак не мог остановить рыданий. Плакал оттого, что не его сын выбежал ему на-, встречу, и оттого, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.

2

С макушки Караульной горы открывался вид во все стороны. Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то им премировали деда за долгую службу на кордоне. Старик не любил возиться с биноклем: «У меня свои глаза не хуже». Зато внук его полюбил.

В этот раз он пришел на гору с биноклем и с портфелем.

Вначале предметы прыгали, смещались в круглом оконце, затем вдруг обретали четкость и неподвижность. Это было интересней всего. Мальчик затаивал дыхание, чтобы не нарушать найденный фокус. Потом он переводил взгляд, на другую точку — и снова все смещалось. Мальчик снова принимался крутить окуляры.

Отсюда все было видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади всех гор, над всеми горами и над всей землей. И те горы, что пониже снежных, — лесистые горы, поросшие понизу лиственными чащами, а поверху темным сосновым бором. И горы Кунгеи, обращенные к солнцу; на склонах

Кунгеев ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро, — просто голые каменистые увалы. Увалы спускались в доли-ну, а долина смыкалась с озером. В этой же стороне лежали поля, сады, селения… Сквозь зелень посевов уже проступала разводьями желтизна — близилась жатва. Как мыши, бегали по дорогам крошечные автомашины, а за ними вились длинные пыльные хвосты. И на самом дальнем краю земли, куда только достигал взор, за песчаной прибрежной полосой густо синела выпуклая кривизна озера. То был Иссык-Куль. Там вода и небо соприкасались. И дальше ничего не было. Озеро лежало неподвижно, сияющее и пустынное. Лишь чуть заметно шевелилась у берега белая пена прибоя.



Мальчик долго смотрел в эту сторону. «Белый пароход не появился, — сказал он портфелю. — Давай еще раз посмотрим на нашу школу».

Отсюда хорошо видна была вся соседняя лощина за горой. В бинокль можно было разглядеть даже пряжу в руках старушки, сидевшей подле дома, под окном.

Лощина Джелесай была безлесной, лишь кое-где остались после порубок старые одинокие сосны. Когда-то был здесь лес. Теперь стояли рядами скотные дворы под шиферными крышами, виднелись большие черные кучи навоза и соломы. Здесь выращивали племенной молодняк молочной фермы. Тут же, неподалеку от скотных дворов, примостилась куцая улочка — поселок животноводов. Улочка спускалась с пологого пригорка. На самом краю ее стоял маленький дом, нежилой на вид. Это и была школа-четырехлетка. Ребята старших классов уезжали учиться в совхоз, в школу-интернат. А в этой учились малыши.

Мальчик бывал в поселке с дедом у фельдшера, когда болело горло. Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую школу под бурой черепицей, с одинокой покосившейся трубой, с самодельной надписью на фанерной вывеске: «Мектеп». Он не умел читать, но догадался, что написано именно это слово. В бинокль все было видно до мельчайших, неправдоподобно

мелких подробностей. Какие-то слова, нацарапанные по штукатурке стены, подклеенное стекло в оконной шибке, погорбившиеся, щербатые доски веранды. Он представил себе, как он придет сюда со своим портфелем и шагнет в ту дверь, на которой сейчас висел большой замок. А что там, что будет там, за этой дверью?

Кончив рассматривать школу, мальчик снова направил бинокль на озеро. Но там все было по-прежнему. Белый пароход еще не показывался. Мальчик отвернулся, сел спиной к озеру и стал смотреть вниз, под гору, отложив бинокль в сторону. Внизу, прямо под горой, по дну продолговатой лощины, серебрилась бурная, порожистая река. Вместе с рекой вилась берегом дорога, и вместе с рекой дорога скрывалась за поворотом ущелья. Противоположный берег был обрывистый и лесистый. Отсюда и начинался Сан-Таш с кий заповедный лес, уходящий высоко в горы, под самые снега. Выше всех взбирались сосны. Среди камней и снега топорщились они темными щеточками на гребнях горных цепей.

Мальчик насмешливо рассматривал дома, сараи и пристройки во дворе кордона. Маленькими, утлыми казались они сверху. За кордоном дальше по берегу он различил свои знакомые камни.

Всех их — «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» — он впервые разглядел отсюда, с Караульной горы, в бинокль, тогда же дал им названия.

Мальчик озорно улыбнулся, встал и запустил в сторону двора камень. Камень упал тут же, на горе. Мальчик снова сел на место и принялся разглядывать кордон в бинокль. Сначала через большие линзы в меньшие — дома убежали далеко-далеко, превратились в игрушечные коробочки. Валуны стали камешками. А запруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной — воробью по колено. Мальчик усмехнулся, покрутил головой и, быстро перевернув бинокль, подвел окуляры. Его любимые валуны, увеличенные до громадных размеров, казалось, уперлись лбами в стекла бинокля. «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» были такие внушительные: в зазубринах, в трещинах, с пятнами ржавых лишаев по бокам; и главное — действительно очень были похожи на то, что увидел в них мальчик. «Ух ты, «Волк» какой! А «Танк», вот это да!..»

За валунами на отмели была дедова запруда. В бинокль хорошо видно это место у берега. Сюда, на широкую галечную отмель, вода забегала мимоходом с быстрины и, вскипая на перекатах, убегала снова в стремнину. Вода на отмели дохо-

дила до колен. Но течение было такое, что поток мог запросто унести в реку такого мальчика, как он. Чтобы не снесло течением, мальчик ухватывался за прибрежный тальник — куст рос на самом краю, одни ветки на суше, другие полоскались в реке — и окунался в воду. Ну что это за купание? Как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько, ругани! Бабка выговаривала деду: «Унесет в реку, пусть пеняет на себя — пальцем не шевельну. Больно нужен! Отец, мать бросили. А с меня других забот хватит, сил моих нет».

Что ей скажешь? Старая вроде и верно говорит. Но парнишку жалко: река ведь рядом, почти у дверей. Как ни стращала старуха, а все равно мальчик лез в воду. Вот тогда и решил Момун соорудить на отмели запруду из камней, чтобы было где мальчишке купаться без опаски.

Сколько каменьев перетаскал старик Момун, выбирая те, что покрупнее, чтобы течением их не укатило! Носил их, прижимая к животу, и, стоя в воде, укладывал один к одному с таким расчетом, чтобы вода свободно втекала между камнями и так же свободно вытекала. Смешной, тощий, с реденькой своей бороденкой, в мокрых, облипших на теле штанах, целый день возился он с этой запрудой. А вечером лежал пластом, кашлял, и

поясницу ему было не разогнуть. Вот тут уж бабка разошлась вовсю: «Малый дурак — он и есть малый, а что про старого дурака сказать? Какого ты черта надрывался? Кормишь, поишь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра!..»

Как бы то ни было, а запруда на отмели получилась отличная. Теперь мальчик купался не боясь. Ухватываясь за ветку, слезал с берега и бросался в поток. И непременно с открытыми глазами. С открытыми потому, что рыбы в воде плавают с открытыми глазами. Была у него такая странная мечта: он хотел превратиться в рыбу. И уплыть.

Глядя сейчас в бинокль на запруду, мальчик представил себе, как он сбрасывает рубашку, штаны и голый, поеживаясь, лезет в воду. Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. Представил себе, как, держась за ветку тальника, бросается в поток вниз лицом. Как с шумом смыкается вода над головой, как жгуче струится под животом, по спине, по ногам. Глохнут внешние звуки под водой, и в ушах остается лишь журчание. И он, тараща глаза, старательно смотрит на все то, что можно увидеть под водой. Глаза щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбается себе и даже

язык показывает в воде. Это он бабке. Пусть знает, вовсе и не утонет он, и вовсе ничего не боится. Потом он выпускает ветку из рук, и вода тащит его, волочит до тех пор, пока он не упрется ногами в камни запруды. Тут и дыхание кончается. Он разом выскакивает из воды, вылезает на берег и снова бежит к тальниковому кусту. И так много раз. Хоть сто раз в день готов был купаться в дедовой запруде. До тех пор, пока, в конце концов, не превратится в рыбу. А ему обязательно, во что бы то ни стало, хотелось стать рыбой…

Разглядывая берег реки, мальчик перевел бинокль на свой двор. Куры, индюшки с индюшатами, топор, прислоненный к чурбаку, дымящий самовар и разные разности на подворье оказались такими невероятно большими, так близко они находились, что мальчик невольно притянул к ним руку. И тут, к ужасу своему, он увидел в бинокль увеличенного до слоновых, размеров бурого теленка, спокойно жующего развешанное на веревке белье. Теленок жмурил от удовольствия глаза, слюни стекали с губ — так ему хорошо было в полную пасть жевать бабкино платье.

— Ах ты дурак! — Мальчик привстал с биноклем и замахал рукой. — А ну, прочь! Слышишь, убирайся прочь! Балтек, Балтек! (Пес в объективе

лежал себе преспокойно под домом.) Куси, куси его! — в отчаянии приказывал он собаке.

Но Балтек и ухом не повел. Он лежал себе как ни в чем не бывало.

В эту минуту из дома вышла бабка. Увидев, что творится, старуха всплеснула руками. Схватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним. Не сводя с нее бинокля, мальчик присел, чтобы не видно было его на горе. Отогнав теленка, старуха с руганью пошла к дому, задыхаясь от гнева и быстрой ходьбы. Мальчик видел ее так, как если бы был рядом с ней и даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое, в тяжелых складках лицо; как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая ее щербатые, редкие зубы. Что выкрикивала старуха — не разобрать было издали, но слова ее мальчику слышались так точно и ясно, как если бы говорила она прямо под ухом. Ух, как она его бранила! Он наизусть знал: «Ну, подожди… Вернешься. Уж я тебе! И на деда не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул

вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, тот чертов пароход, чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Мальчик на горе тяжко вздохнул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда он уже мечтал, как пойдет в школу, проглядеть телка!..

Старуха не умолкала. Продолжая браниться, она разглядывала свое изжеванное платье. К ней вышла Гульджамал с дочкой. Жалуясь ей, бабка разошлась еще больше. Потрясала кулаками в сторону горы. Ее костлявый, темный кулак угрожающе маячил перед окулярами: «Нашел себе забаву. Чтоб провалился он, чертов пароход! Чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Самовар на дворе уже кипел. Видно было в бинокль, как из-под крышки выбивались струи пара. Тетка Бекей вышла за самоваром. И тут опять началось. Бабка чуть не в нос совала ей свое изжеванное платье. На, мол, смотри, на проделки твоего племянничка!

Тетка Бекей стала успокаивать ее, уговаривать. Мальчик догадывался, что она говорила. Примерно то же, что и прежде: «Успокойтесь, энеке[28].

---

[28] Примечания: 28
Энеке — матушка.

Мальчик еще несмышленыш, — какой с него спрос. Один он тут, друзей нет. Зачем кричать, зачем страх наводить на ребенка?»

На что бабка, несомненно, отвечала: «Ты мне не указывай. Ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей. Чего торчит он там, на горе? Телка приарканить ему некогда. Чего он там высматривает? Своих непутевых родителей? Тех, что родили его да разбежались по разным сторонам? Хорошо тебе, бесплодной…»

Даже на таком расстоянии мальчик увидел в бинокль, как мертвенно посерели впалые щеки тетки Бекей, как вся она заколотилась и как — он точно знал, чем должна была отплатить тетка, — она выпалила в лицо мачехе: «А ты сама-то, старая ведьма, сколько сыновей да дочерей вырастила? Ты сама-то кто есть?»

Что тут началось!.. Бабка взвыла от обиды. Гульджамал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабку, хотела увести ее домой, но та распалялась все больше, мечась по двору, как обезумевшая. Тетка Бекей схватила кипящий самовар, расплескивая кипяток, почти бегом унесла его в дом. А бабка устало опустилась на колоду. Рыдая, горько жаловалась она на свою судьбу. Теперь мальчик был позабыт, теперь

доставалось самому господу богу и всему белому свету. «Это я-то! Это меня ты спрашиваешь, кто я есть? — возмущалась бабка вслед падчерице. — Да если бы не наказал меня бог, если бы не унес он моих пятерых младенцев, если бы сын мой, один-единственный, не упал восемнадцати лет под пулей на войне, если бы старик, мой ненаглядный Тайгара, не замерз в буране с отарой овец, разве была бы я здесь, среди вас, лесных людей? Да разве я такая, как ты, неродящая? Да разве жила бы я на старости лет с отцом твоим, придурковатым Момуном? За какие грехи-повинности наказал ты меня, распроклятый бог?»

Мальчик отнял бинокль от глаз, печально опустил, голову.

— Как мы теперь вернемся домой? тихо сказал он портфелю. — Это все из-за меня и из-за теленка-дурака. И еще из-за тебя, бинокль. Ты всегда зовешь меня смотреть на белый пароход. Ты тоже виноват.

Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы — скалы, камни, леса. С высоты, с ледников бесшумно падали сверкающие ручьи, и только здесь, внизу, вода будто обретала наконец голос, чтобы вечно, неумолчно шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. Мальчишка

чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие горы.

Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных склонах занялись первые, короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз, к подножью гор. В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход.

Мальчик направил бинокль к самому дальнему видимому месту и затаил дыхание. Вот он! И все забылось сразу; там, впереди, на синей-синей кромке Иссык-Куля, появился белый пароход. Выплыл. Вот он! С трубами в ряд, длинный, мощный, красивый. Он плыл, как по струне, ровно и прямо. Мальчик поспешно протер стекла подолом рубашки, еще раз поправил окуляры. Очертания парохода стали еще четче. Теперь можно было заметить, как покачивается он на волнах, как за кормой остается светлый вспененный след. Не отрываясь, мальчик с восхищением смотрел на белый пароход. Была бы на то его воля, он упросил бы белый пароход подплыть поближе, чтобы можно было видеть людей, которые на нем плыли. Но пароход не знал об этом. Он медленно и величественно шел своей дорогой, неведомо

откуда и неведомо куда.

Было долго видно, как плывет пароход, и мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по реке к нему, к белому пароходу…

Когда он впервые увидел однажды с Караульной горы белый пароход на синем Иссык-Куле, сердце его так загудело от красоты такой, что он сразу же решил, что его отец — иссык-кульский матрос — плавает именно на этом белом пароходе. И мальчик поверил в это, потому что ему этого очень хотелось.

Он не помнил ни отца, ни матери. Он ни разу не видел их. Никто из них ни разу не навестил его. Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами.

Дед Момун как-то ездил в этот город продавать картошку. Целую неделю пропадал и, вернувшись, рассказывал за чаем тетке Бекей и бабке, что видел свою дочь, то есть его, мальчика, мать. Работала она на какой-то большой фабрике ткачихой. У нее новая семья — две дочери, которых она сдает в детсад и видит только раз в неделю. Живет в большом доме, но в маленькой комнат-

ке, до того маленькой, что повернуться негде. А во дворе никто никого не знает, как на базаре. И все так живут — войдут к себе и сразу двери на замок. Взаперти постоянно сидят, как в тюрьме. А муж ее будто бы шофер, возит в автобусе народ по улицам. Уходит с четырех утра и допоздна. Тоже работа тяжелая. Дочь, рассказывал он, все плакала, прощения просила. На очереди они на новую квартиру. Когда получат — неизвестно. Но когда получат, заберет сынишку к себе, если муж позволит. И просила старика пока подождать. Дед Момун сказал ей, чтобы она не печалилась. Самое главное, чтобы с мужем в согласии жила, остальное уладится. И насчет сына пусть не убивается. «Пока я жив, мальчишку никому не отдам, а умру — бог его поведет, живой человек найдет свою судьбу...» Слушая старика, тетка Бекей и бабка то и дело вздыхали и даже всплакнули вместе.

Вот тогда как раз, за чаем, и об отце зашла у них речь. Дед прослышал, будто его бывший зять, отец мальчика, все также матросом служит на каком-то пароходе и что у него тоже новая семья, дети, то ли двое, то ли трое. Живут возле пристани. Будто бы бросил он пить. А жена новая всякий раз выходит с ребятишками на пристань его встречать. «Стало быть, — думал мальчик, — они

встречают вот этот, его пароход...»

А пароход плыл, медленно удаляясь. Белый и длинный, он скользил по синей глади озера с дымами из труб и не знал, что к нему плыл мальчик, превратившись в рыбу-мальчика.

Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у него было рыбье — тело, хвост, плавники, чешуя — и только голова бы оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным носом. И глаза такие же, какие были. Конечно, чтобы они при этом были не совсем такие, как есть, а глядели, как рыбьи. Ресницы у мальчика длинные, как у телка, и все время хлопают отчего-то сами по себе, Гульджамал говорит — вот бы ее дочке такие, какой бы она красавицей выросла! А зачем быть красавицей? Или красавцем? Очень нужно! Лично ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой глядеть.

Превращение должно было произойти в дедовой запруде. Раз — и он рыба. Затем он сразу перепрыгнул бы из запруды в реку, прямо в бурлящую стремнину, и пошел бы вниз по течению. И дальше так — выпрыгивая и оглядываясь по сторонам; неинтересно ведь плыть только под водой. Он несется по быстрой реке вдоль боль-

шого красноглинистого обрыва, через пороги, по бурунам, мимо гор, мимо лесов. Он прощается со своими любимыми валунами: «До свидания, «Лежащий верблюд», до свидания, «Волк», до свидания, «Седло», до свидания, «Танк». А когда будет проплывать мимо кордона, он выпрыгнет из воды, помашет плавником деду: «До свидания, ата, я скоро вернусь». Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. И бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал с дочкой — все стояли бы разинув рты. Где это видано, чтобы голова была человечья, а тело рыбье? А он им машет плавником: «До свидания, я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. Там у меня мой папа-матрос». Балтек, наверно, кинется бежать по берегу. Собака ведь никогда такого не видела. И если Балтек решится броситься к нему в воду, он крикнет: «Нельзя, Балтек, нельзя! Утонешь!» — а сам поплывет дальше. Пронырнет под тросами висячего моста и дальше вдоль прибрежных тугаев, и потом вниз по грохочущему ущелью выплывает прямо в Иссык-Куль.

А Иссык-Куль — это целое море. Проплывает он по волнам иссык-кульским, с волны на волну, с волны на волну — и тут навстречу белый пароход. «Здравствуй, белый пароход, это я! —

скажет он пароходу. — Это я всегда смотрел на тебя в бинокль». Люди на пароходе удивились бы, сбежались смотреть на чудо. И тогда он скажет отцу своему, матросу: «Здравствуй, папа, я твой сын. Я приплыл к тебе». — «Какой же ты сын? Ты полурыба-полу человек!» — «А ты возьми меня к себе на пароход, и я стану твоим обыкновенным сыном». — «Вот здорово! А ну, попробуем». Отец бросит сеть, выловит его из воды, поднимет на палубу. Тут он превратится в самого себя. А потом, потом…

Потом белый пароход поплывет дальше. Расскажет мальчик отцу про все, что знает, про всю свою жизнь. Про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, с открытыми глазами…

Расскажет, конечно, как ему живется у деда Момуна. Пусть отец не думает, что если прозвали человека Расторопный Момун, так значит, он плохой. Такого деда нигде нет, самый лучший дедушка. Но он совсем не хитрый, потому что все смеются над ним. А дядя Орозкул так тот и покрикивает на него — на старика! Бывает, и при людях накричит на деда. А дед, вместо того, чтобы постоять за себя, все прощает дяде Орозкулу

и даже работает за него в лесу, по хозяйству. Да что там, работает! Когда дядя Орозкул приезжает пьяный, так, вместо того чтобы плюнуть в его бессовестные глаза, дед подбегает к нему, ссаживает с лошади, отводит в дом, укладывает на кровать, шубой укрывает, чтобы не продрог, чтобы голова у него не болела, а коня расседлывает, чистит и задает ему корм. И все из-за того, что тетка Бекей неродящая. А почему так, папа? Было бы лучше: хочешь — роди, не хочешь — не надо. Деда жалко, когда дядя Орозкул бьет тетку Бекей. Лучше бы он бил самого деда. Так он мучается, когда кричит тетка Бекей. А что он может сделать? Хочет кинуться на выручку дочери, так бабка ему запрещает: «Не лезь, — говорит, — сами разберутся. Чего тебе, старому? Жена не твоя, ну и сиди». — «Так ведь дочь она моя!» А бабка: «А что бы ты делал, если б жил не рядом, дом к дому, а вдалеке? Каждый раз скакал бы верхом разнимать их? И кто бы после этого держал в женах твою дочь!»

Бабка, про которую говорю, — это не та, которая была. Ты ее, папа, наверно, и не знаешь. Это другая бабка. Родная бабушка умерла, когда я был маленький. А потом пришла эта бабка. У нас часто бывает погода непонятная — то ясно, то пасмурно, то дождь да град. Вот и бабка такая,

непонятная. То добра, то зла, то совсем никакая. Когда злится — заест. Мы с дедом молчим. Она говорит, что чужого сколько ни корми, сколько ни пои, а добра от него не жди. Так ведь я же, папа, не чужой здесь. Я всегда жил с дедом. Это она чужая, она потом пришла к нам. И стала называть меня чужим.

Зимой у нас снега наваливает мне по шейку. Ох и сугробы наметает! Если в лес, только на сером коне Алабаше и проедешь, он грудью пробивает сугробы. И ветры очень сильные: на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, когда пароход твой валится с боку на бок, — знай, что наш ветер Сан-Таш качает озеро. Дед рассказывал, что очень-очень давно вражеские войска шли, чтобы захватить эту землю. И вот тогда с нашего Сан-Таша такой ветер подул, что враги не усидели в седлах. Послезали с коней, но и пешком идти не могли. Ветер сек им лица в кровь. Тогда они отвернулись от ветра, а ветер гнал их в спины, не давал остановиться и выгнал их с Иссык-Куля всех до одного. Вот как было. А мы вот живем на этом ветру! От нас он начинается. Всю зиму лес за рекой скрипит, гудит, стонет на ветру. Страшно даже.

Зимой в лесу дел не так много. Зимой безлюдно

у нас совсем, не то что летом, когда приходят кочевья. Очень люблю я, когда летом на большом лугу останавливаются на ночь с отарами или табунами. Правда, утром они уходят дальше в горы, но все равно хорошо с ними. Их ребятишки и женщины приезжают на грузовиках. В грузовиках юрты везут и разные вещи. Когда устроятся немного, мы с дедом идем поздороваться. Здороваемся со всеми за руку. И я тоже. Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать руку людям. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом дед говорит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Это очень добрый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет счастливым на всю жизнь. А я говорю: если так, то почему этот пророк не скажет, что он пробок, и мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед смеется: в том-то и дело, говорит он, что пророк сам не знает, что он пророк, — он простой человек. Только разбойник знает о себе, что он разбойник. Не совсем мне это понятно, но я всегда здороваюсь с людьми, хотя мне бывает немного стыдно.

А когда на луг мы приходим с дедом, тогда я не стесняюсь.

«Добро пожаловать на летовки отцов и праде-

дов! В благополучии ли скот и души, в благополучии ли детвора?» — это дед так говорит. А я только здороваюсь за руку. Деда все знают, и он всех знает. Ему хорошо. У него свои разговоры, он расспрашивает приезжих и сам рассказывает, как мы живем. А я с ребятами не знаю, о чем говорить. Но потом мы начинаем играть в прятки, в войну — и так разыграемся, что не хочется уходить. Вот если бы всегда было лето, если бы всегда играть с ребятами на лугу!

Пока мы играем, загораются костры. Ты думаешь, папа, от костров становится совсем светло на лугу? Вовсе нет! Только у огня светло, а за кругом света темнее прежнего. А мы играем в войну, в этой тьме прячемся и наступаем; и кажется, что находишься в самом кино. Если ты командир, все тебя слушаются. Хорошо, наверно, командиру быть командиром…

А потом луна выходит над горами. При луне играть еще лучше, но дед уводит меня. Мы идем домой через луг, через кустарник. Овцы тихо лежат. Лошади пасутся вокруг. Мы идем и слышим — кто-то песню запевает. Чабан молодой, а может быть, и старый. Дед останавливает меня: «Слушай. Такие песни не всегда услышишь». Мы стоим, слушаем. Дед вздыхает. Кивает песне

головой.

Дед говорит, что в прежние времена был у одного хана другой хан в плену. Вот этот хан и говорит хану-пленнику: «Если желаешь — будешь жить у меня рабом, или я исполню твое самое заветное желание и после убью тебя». Тот подумал и отвечает: «Жить рабом не желаю. Лучше убей меня, но перед этим позови с моей родины первого встречного пастуха». — «Зачем он тебе?» — «Хочу услышать перед смертью, как он поет». Дед говорит: за родную песню люди жизнь отдают. Какие это такие люди, увидеть бы их. Наверно, живут в больших городах?

— А слушать хорошо, а! — шепчет дед. — Какие песни пели, бог ты мой!..

Не знаю почему, мне становится так жаль моего деда, и я так люблю его, что хочется плакать…

Рано утром на лугу уже никого нет. Угнали овец и лошадей дальше, в горы, на все лето. Вслед за ними приходят другие кочевья, из других колхозов. Днем не задерживаются, проходят мимо. А на ночь останавливаются на лугу. И мы идем с дедом здороваться с людьми. Очень он любит здороваться с людьми, и я от него научился. Может быть, когда-нибудь я поздороваюсь на лугу с настоящим пророком…

А зимой дядя Орозкул и тетка Бекей уезжают в город, к доктору. Говорят, что доктор может помочь, лекарства такие дать, чтобы ребенок родился. Но бабка всегда говорит, что лучше всего съездить на святое место. Это где-то там, за горами, где хлопок растет на полях. Так вот есть там на ровном месте, на таком ровном, где, казалось бы, и горы не должно быть, есть там такая гора святая — Сулейманова гора. И если зарезать черную овцу у подножия ее и помолиться богу, идти в гору и на каждом шагу кланяться и молиться богу да попросить его хорошенько, он может сжалиться и дать ребенка. Тетка Бекей очень хочет съездить туда, на Сулейманову гору. А дядя Орозкул не очень. Далеко. «Денег, — говорит, — много надо. Туда ведь только самолетом через горы можно попасть. А до самолета сколько ехать, и тоже деньги...»

Когда они уезжают в город, мы остаемся на кордоне совсем одни. Мы и соседи наши — дядя Сейдахмат, его жена Гульджамал и их маленькая девочка. Вот и в. се мы.

Вечером, когда с делами покончено, дед рассказывает мне сказки. Я знаю, за домом темная-темная, морозная-морозная ночь. Ветер ходит злющий. Самые великие горы и те в такие ночи

робеют, жмутся кучей поближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел бы из дому. Я бы им громко сказал, горам: «Не робейте, горы! Я здесь. Пусть ветер, пусть темно, пусть метель, я ничего не боюсь, и вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в кучу». Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реки — ив лес. Деревьям ведь очень страшно ночью в лесу. Они одни, и никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже, некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу и каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы ему не так страшно было. Наверно, те деревья, что весной не зеленеют, — это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова.

Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Он долго рассказывает. Разные есть — смешные есть, особенно про мальчика с пальчик по имени Чыпалак, которого проглотил волк-жадюга на свою беду. Нет, сначала его съел верблюд. Уснул Чыпалак под листом, а верблюд бродил вокруг, хап, — и съел его вместе с листом! Потому и говорят: верблюд не знает, что он глотает. Стал Чыпалак кричать, на помощь звать. Пришлось старикам зарезать верблюда, чтобы выручить

своего Чыпалака. А с волком приключилось еще того чище. Тоже проглотил он Чыпалака по глупости своей. А потом плакал горькими слезами. Наткнулся волк на Чыпалака. «Что за козявка под ногами путается? Слизну я тебя одним мигом». А Чыпалак говорит: «Не трогай меня, волк, а то сделаю тебя собакой». — «Ха-ха, — хохочет волк, — где это видано, чтобы волк становился собакой! За дерзость твою я тебя съем». И проглотил его. Проглотил и позабыл. Но с этого дня лишился он жизни волчьей. Только волк начинает подкрадываться к овцам, а Чыпалак кричит у него в животе: «Эй, пастухи-и, не спите! Это я, серый волк, крадусь, чтобы овцу уволочь!» Волк не знает, как быть. Кусает себя за бока, катается по земле. А Чыпалак не унимается: «Эй, пастухи, бегите сюда, бейте меня, лупите!» Пастухи с дубьем на волка, волк — от них. Бегут пастухи, диву даются. С ума спятил волчище, сам бежит и сам кричит: «Догоняйте!» А волк-волчище тем временем ноги уносит. Но от этого ему не легче. Куда ни сунется, везде его подводит Чыпалак. Везде его гонят, везде над ним смеются. Отощал волк от голода, кожа да кости остались. Зубами щелкает, скулит: «Что же это за наказание мне такое? Почему я сам кличу на себя беду? Одурел

на старости лет, ум отшибло». А Чыпалак шепчет ему на ухо: «Беги к Ташмату, у него овцы жирные! Беги к Баймату, у него собаки глухие.

Беги к Эрмату, у него пастухи спят». А волк сидит и хнычет: «Никуда я не пойду, лучше пойду к кому-нибудь в собаки наниматься…»

Правда ведь, папа, смешная сказка? Есть у деда и другие сказки, грустные, страшные, печальные. Но самая любимая моя сказка про Рогатую мать-олениху. Дед говорит, что каждый, кто живет на Иссык-Куле, должен знать эту сказку. А не знать — грех. Может быть, ты ее знаешь, папа? Дед говорит, что все это правда. Что так было когда-то. Что все мы — дети Рогатой матери-оленихи. И я, и ты, и все другие…

Вот так мы живем зимой. Долго тянется зима. Если бы не дедовы сказки, очень мне скучно было бы зимой.

А весной у нас хорошо. Когда совсем потеплеет, снова приходят в горы чабаны. И тогда мы в горах не одни. Только за рекой, дальше от нас никого нет. Там только лес и все, что в лесу. Для того мы и живем на кордоне, чтобы никто туда ногой не ступил, чтобы никто не тронул ни одной ветки. К нам даже приезжали ученые люди. Две женщины, и обе в штанах, старичок и еще

один молодой парень. Парень этот у них учится. Целый месяц жили. Травы собирали, листья и ветки. Они сказали, что таких лесов, как у нас на Сан-Таше, осталось на земле очень мало. Можно сказать, почти нет. И поэтому надо беречь каждое дерево в лесу.

А я думал, что дед наш просто так жалеет каждое дерево. Он очень не любит, когда дядя Орозкул дарит на бревна сосны…

3

Белый пароход удалялся. Уже не различить было в бинокль его труб. Скоро он скроется из виду. Мальчику теперь пора было придумать конец своего плаванья на отцовском пароходе. Все получилось хорошо, а вот конец не удавался. Он мог легко представить себе, как он превращается в рыбу, как плывет по реке к озеру, как встречается ему белый пароход, как он встречается с отцом. И все, что рассказывает он отцу. Но дальше дело не клеилось. Потому что вот, к примеру, уже виден берег. Пароход направляется к пристани. Матросы готовятся сходить на берег. Они пойдут по домам. Отцу тоже надо уходить домой. Жена и двое ребятишек ждут его на пристани. Как тут быть? Идти с отцом? Возьмет ли он его с собой? А если возьмет, жена его спросит: «Кто это такой, откуда он, зачем он?» Нет, лучше не идти…

А белый пароход уходил все дальше, превращаясь в едва видимую точку. Солнце уже ложилось на воду. В бинокль было видно, как ослепительно сияла огненно-лиловая поверхность озера.

Пароход ушел, исчез. Вот и кончилась сказка о белом пароходе. Надо домой.

Мальчик поднял портфель с земли, зажал бинокль под мышку. С горы спускался быстро, змейкой бежал со склона. И чем ближе подходил к дому, тем тревожней становилось на душе. Предстояло отвечать за изжеванное теленком платье. Уже ни о чем, кроме наказания, не думалось. Чтобы не совсем пасть духом, мальчик сказал портфелю: «Ты не бойся. Ну, поругают нас. Ведь я же не нарочно. Я просто не знал, что теленок убежал. Ну, дадут мне подзатыльник. Стерплю. А тебя если швырнут на пол, ты не пугайся. Ведь ты не разобьешься, ты портфель. Вот если бинокль попадет в руки бабки, ему непоздоровится. Мы сначала спрячем бинокль в сарае, а потом пойдем домой…»

Так он и сделал. Боязно было перешагнуть порог.

Но в доме стояла настораживающая тишина. На дворе было так тихо и безлюдно, точно люди покинули это место. Оказывается, тетку Бекей опять бил муж. И опять деду Момуну пришлось унимать одуревшего зятя, опять пришлось старику умолять, упрашивать, виснуть на кулачищах Орозкула и видеть весь этот позор — избитую, растрепанную, вопящую дочь. И слышать, как при нем, при отце родном, последними словами бра-

нят его дочь. Как обзывают ее сукой бесплодной, трижды проклятой яловой ослицей и разными другими словами. И слышать, как диким, обезумевшим голосом кляла дочь судьбу свою: «Разве я виновата, что бог лишил меня зачатия! Сколько баб на свете рожают, как овцы, а меня прокляло небо. За что? За что мне такая жизнь? Лучше убей меня, изверг! На, бей, бей!..»



Старик Момун скорбно сидел в углу, все еще тяжело дыша, смежив веки, и руки его, лежащие на коленях, дрожали. Он был очень бледен.

Момун глянул на внука, ничего не сказал, снова устало прикрыл глаза. Бабки не было дома. Она ушла мирить тетку Бекей с мужем, наводить у них порядок, подбирать разбитую посуду. Такая она вот, бабка: когда Орозкул бьет жену, бабка не вмешивается и деда удерживает. А после драки идет уговаривать, успокаивать. И за то спасибо.

Больше всего мальчику жалко было старика. Всякий раз в такие дни старик чуть не умирал. Как оглушенный, сидел он в углу, никому не показываясь на глаза. Никому, ни единой душе не высказывал он то, о чем думал. А думал Момун в такие минуты, что стар уже он, что был у него один сын, да и тот погиб на войне. Уже никто и не знает о нем, никто и не помнит. Был бы сын, может, и не так сложилась бы судьба. Тоской вал Момун и о жене своей умершей, с которой прожил весь век. Но самой большой бедой было то, что дочерям не выпало счастья. Младшая, бросив ему внука, ушла в город и мыкается теперь там с большой семьей в одной комнате. Вторая мучается здесь с Орозкулом. И хотя он, старик, при ней, и хотя он все перетерпит ради дочери, счастья материнского ей все нет да нет… И уже много лет, как она живет с Орозкулом. И уже опостылела ей жизнь с ним, а куда денешься?.. И что будет потом

— не ровен час, помрет сам, стар ведь уже, — както тогда придется ей, разнесчастной дочери?

Мальчик наскоро похлебал из чашки кислого молока, съел кусок лепешки и притих подле окна. Зажигать лампу не стал, не хотел тревожить деда, пусть себе сидит и думает.

Мальчик тоже думал о своем. Не понимал он, зачем тетка Бекей ублажает мужа водкой. Он ее кулаком, а она потом еще пол-литра достает…

Эх, тетка Бекей, тетка Бекей! Сколько раз избивал ее муж до полусмерти, а она все прощает ему. И дед Момун тоже прощает ему всегда. А зачем прощать? Не надо прощать таким людям. Он негодный, скверный человек. Не нужен он здесь. И без него обойдемся.

Ожесточенное детское воображение живо рисовало мальчику картину справедливой кары. Все они набрасывались на Орозкула и тащили его, толстого, огромного, грязного, к реке. И потом, раскачав, бросали в самые буруны. А он просил прощенья у тетки Бекей и деда Момуна. Ведь он не мог стать рыбой…

Мальчику становилось легче. Ему даже было смешно, когда он в своих мечтах видел, как барахтается Орозкул в реке и как рядом плывет его вельветовая шляпа.

Но взрослые, к великому огорчению, не поступали так, как считал справедливым мальчик. Они делали все наоборот. Приедет Орозкул домой уже подвыпивший. Его встречают как ни в чем не бывало. Дед коня примет, жена бежит самовар ставить. Все вроде только его и ждали. А он начинает куражиться. Сначала грустит, плачет. Как же так, мол, каждый человек, даже самый никудышний человечишка, такой, что и руку ему не обязательно подавать, имеет детей, сколько его душа пожелает. Пять и даже десять. А чем он, Орозкул, хуже других? Чем он не удался? Или по должности не вышел? Так, слава богу, старший объездчик заповедного леса! Или он бродяга какой-нибудь? Так ведь у цыгана полно их, цыганят, хоть отбавляй. Или он безвестный какой или уважения нет к нему? Все есть. Всем взял. И конь под седлом, и камча в руках, и встречают с почетом. Так почему же сверстники его детям своим уже свадьбы справляют, а он? Кто он без сына, без семени?

Тетка Бекей тоже плачет, суетится, хочет как-то угодить мужу. Достает припрятанную поллитровку. И сама выпивает с горя. Дальше — больше, и потом вдруг Орозкул звереет, и тогда всю свою злобу он вымещает на ней же, на жене своей. А

она все прощает ему. И дед тоже прощает. Никто не вяжет Орозкула. Протрезвеет он, а утром жена, хотя и в синяках, самовар уже поставила. Дед коня уже овсом накормил, оседлал. Напьется Орозкул чаю, сядет на коня — и опять он начальник, хозяин всех лесов на Сан-Таше. А никто не догадывается, что такого, как, Орозкул, давно уже пора бросить в реку…

Было уже темно. Ночь стояла на дворе.

Так заканчивался тот день, когда куплен был мальчику первый школьный портфель.

Укладываясь спать, он не мог придумать места для портфеля. Наконец положил его рядом с собой в изголовье. Мальчик не знал еще, узнает потом, что такие в точности портфели будут почти у половины класса. Но и это все равно не смутит его, его портфель останется самым необыкновенным, совсем особенным портфелем. Он не знал также, что его ждут новые события в его маленькой жизни, что наступит день, когда он останется один на всем белом свете и с ним будет только портфель. И причиной всему явится его любимая сказка о Рогатой матери-оленихе…

И в этот вечер ему очень хотелось еще раз послушать эту сказку. Старый Момун сам любил эту историю и рассказывал ее так, будто сам все

видел, вздыхая, плача, умолкая и думая о своем.

Однако мальчик не посмел тревожить деда. Он понимал, что деду не до сказки. «Мы попросим его в другой раз, — сказал мальчик портфелю. — А сейчас я сам расскажу тебе о Рогатой матери-оленихе, слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит, а ты слушай. Я люблю рассказывать и видеть все, как в кино. Дед говорит, что все это правда. Так было…»

4

Случилось это давно. В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энесай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На коне туда три года и три месяца скакать. Теперь эта река зовется Енисей, а в ту пору она называлась Энесай. Потому и песня была такая:

Есть ли река шире тебя, Энесай,
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?

Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай,
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай.

Вот такая она была, река Энесай.

Разные народы стояли тогда на Энесае. Трудно приходилось им, потому что жили они в постоян-

ной вражде. Много врагов окружало киргизское племя. То одни нападали, то другие, то киргизы сами ходили в набег на других, угоняли скот, жгли жилища, убивали людей. Убивали всех, кого удавалось убить, — такие были времена. Человек не жалел человека. Человек истреблял человека. Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом: пришел, убил, забрал. А за убийство надо отвечать еще большей кровью, и за месть — еще большей местью. И чем дальше, тем больше лилось крови. Помутился разум у людей. Некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застигнуть врага врасплох, перебить чужое племя до последней души, захватить стада и богатства.

Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по ночам до рассвета человечьим жалобным голосом, приговаривала, перелетая с ветки на ветку: «Быть великой беде! Быть великой беде!» Так оно и случилось, настал тот страшный день.

В тот день киргизское племя на Энесае хоронило своего старого вождя. Много лет предводительствовал батыр Кульче, во многие походы ходил, во многих сечах рубился. В боях уцелел, но настал час его смертный. В великой печали

пребывали соплеменники два дня, а на третий собрались предать земле останки батыра. По давнему обычаю тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Энесая по обрывам и кручам, чтобы с высоты простилась душа умершего с материнской рекой Энесай, ведь «эне» — это мать, а «сай» — это русло, река. Чтобы душа его пропела в последний раз песню об Энесае,

Есть ли река шире тебя, Энесай,
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?

Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай,
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай…

На погребальной сопке у открытой могилы полагалось батыра поднять над головами и показать ему четыре стороны света: «Вот твоя река. Вот твое небо. Вот твоя земля. Вот мы, рожденные от одного с тобой корня. Мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно». В память далеким потомкам на могиле батыра ставилась каменная глыба.

В дни похорон юрты всего племени расставляли цепью по берегу, чтобы каждая семья могла проститься у своего порога с батыром, когда будут проносить его тело на погребение, склонить к земле белый флаг скорби, голосить и плакать при этом и затем идти дальше вместе со всеми к следующей юрте, где опять будут причитать и плакать и склонять белый флаг скорби, и так до конца пути, до самой погребальной сопки.

Утром того дня солнце уже выходило на дневной путь, когда закончены были все приготовления. Вынесены бунчуки с конскими хвостами на древках, вынесены бранные доспехи батыра — щит и копье. Конь его был покрыт погребальной попоной. Трубачи приготовились играть в боевые трубы — карнаи, барабанщики ударить в барабаны — добулбасы — так, чтобы тайга закачалась, чтобы птицы тучей взлетели к небу и закружились с гамом и стоном, чтобы зверь бежал по чащам с диким храпом, чтобы трава прижалась к земле, чтобы эхо зарокотало в горах, чтобы горы вздрогнули. Плакальщицы распустили волосы, чтобы воспеть в слезах батыра Кульче. Джигиты опустились на одно колено, чтобы на крепкие плечи поднять его бренное тело. Все были наготове, ожидая выноса батыра. А на опушке

леса стояли на привязи девять жертвенных кобылиц, девять жертвенных быков, девять девяток жертвенных овец на поминальную тризну.

И тут случилось непредвиденное. Как бы ни враждовали энесайцы между собой, но в дни похорон вождей не принято было идти войной на соседей. А теперь полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете погруженное в печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, так что никто не успел сесть в седло, никто не успел взяться за оружие. И началось невиданное побоище. Убивали всех подряд. Так было задумано врагами, чтобы одним ударом покончить с дерзким племенем киргизов. Убивали поголовно всех, чтобы некому было помнить об этом злодеянии, некому было мстить, чтобы время занесло сыпучим песком следы прошлого. Было — не было…

Человека долго рожать и растить, а убить — скорее скорого. Многие уже лежали порубленные, утопая в лужах крови, многие кинулись в реку, спасаясь от мечей и копий, и потонули в волнах Энесая. А вдоль берега, вдоль круч и обрывов пылали на целые версты киргизские юрты, объятые пламенем. Никто не успел убежать, никого не осталось в живых. Все было порушено и сожжено.

Тела поверженных сбросили с круч в Энесай. Враги ликовали: «Теперь эти земли наши! Теперь эти леса наши! Теперь эти стада наши!»

С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса двое детей — мальчик и девочка. Непослушные и озорные, они еще утром тайком от родителей побежали в ближайший лес драть лыки на лукошки. Заигрались они, не заметили, как зашли глубоко в чащу. А когда услышали шум и крики побоища и кинулись назад, то не застали в живых ни отцов, ни матерей своих, ни братьев, ни сестер. Остались дети без роду, без племени. Побежали они с плачем от пепелища к пепелищу, и нигде ни единой души. Осиротели в час. В целом свете остались одни. А вдали клубилась туча пыли, враги угоняли в свои владения табуны и стада, захваченнные в кровавом набеге.

Увидели дети пыль копытную и пустились вдогонку. Вслед за лютыми врагами бежали дети с плачем и зовом. Только дети могли так поступить. Вместо того чтобы скрыться от убийц, они пустились их догонять. Лишь бы не оставаться одним, лишь бы уйти прочь от погромленного, проклятого места. Взявшись за руки, мальчик и девочка бежали за угоном, просили подождать,

просили взять с собой. Но где было услышать их слабые голоса в гуле, ржанье и топоте, в жарком беге угона!

Долго в отчаянии бежали мальчик и девочка. Но так и не догнали. А потом упали на землю. Боялись оглянуться вокруг, боялись шевельнуться. Жутко им было. Прижались друг к дружке и не заметили, как уснули.

Недаром говорят — у сироты семь судеб. Ночь прошла благополучно. Зверь их не тронул, лесные чудовища не уволокли. А когда проснулись, было утро. Солнце светило. Птицы пели. Встали дети и снова побрели по следу угона. Собирали по пути ягоды и коренья. Шли они и шли, а на третий день остановились на горе. Смотрят, внизу на широком зеленом лугу великое пиршество идет. Сколько юрт поставлено — не счесть, сколько костров дымят — не счесть, сколько народу вокруг костров — не счесть. Девушки на качелях качаются, песни поют. Силачи на потеху народу, как беркуты, кружат, кидают друг друга наземь. То враги праздновали свою победу.

Стояли на горе мальчик и девочка, не решались подойти. Но очень уж хотелось очутиться возле костров, где так вкусно пахло жареным мясом, хлебом, диким луком.

Не выдержали дети, стали спускаться с горы. Удивились хозяева пришельцам, окружили их кучей.

— Кто вы? Откуда?

— Мы голодные, — ответили мальчик и девочка, — дайте нам поесть.

Те догадались по их речи, кто они такие. Зашумели, загалдели. Стали спорить: убить их, недобитое вражеское семя, тотчас же или к хану вести? Пока спорили, какая-то сердобольная женщина успела сунуть детям по куску вареной конины. Их тащили к самому хану, а они не могли оторваться от еды. Повели их в высокую красную юрту, у которой стояла стража с серебряными топорами. А по становищу пронеслась тревожная весть, что неизвестно откуда появились дети киргизского племени. Что бы это значило? Все побросали свои игры и пиршества, сбежались огромной толпой к ханской юрте. А хан в тот час восседал на белой как снег кошме со своими знатными воинами. Пил кумыс, подслащенный медом, песни слушал хвалебные. Когда узнал хан, зачем к нему явились, в страшную ярость пришел: «Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили мы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Энесая на вечные

времена? Что же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй, Рябая Хромая Старуха! — крикнул хан. И сказал ей, когда она выступила из толпы. — Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское, чтобы в помине его не было, чтобы имя его забылось вовеки. Ступай, Рябая Хромая Старуха, сделай так, как я велю…»

Молча повиновалась Рябая Хромая Старуха, взяла мальчика и девочку за руки и повела их прочь. Долго шли они лесом, а потом вышли к берегу Энесая на высокую кручу. Здесь Рябая Хромая Старуха остановила детишек, поставила рядышком на краю обрыва. И перед тем, как столкнуть их вниз, проговорила:

— О великая река Энесай! Если гору сбросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки — двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Возьми их, унеси их. Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве, с чистыми душами, с сове-

стью детской, не запятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтобы не знать им людского страданья и самим не причинять муки другим. Возьми их, возьми их, великий Энесай…

Плачут, рыдают мальчик и девочка. До речей ли им старухиных, когда вниз с обрыва страшно взглянуть. В глубине волны ярые перекатываются.

— Обнимитесь, детки, напоследок, попрощайтесь, — сказала Рябая Хромая Старуха. А сама рукава засучила, чтобы сподручней было бросать их с обрыва. И говорит: — Ну, простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хотя и не по своей воле совершу я сейчас это дело, — но для вашего блага…

Только сказала она эти слова, как рядом раздался голос:

— Обожди, большая, мудрая женщина, не губи безвинных детей.

Обернулась Рябая Хромая Старуха, глянула — диву далась, стоит перед ней олениха, матка маралья. Да такие глаза у нее большущие, смотрят с укором и грустью. А сама олениха белая, как молозиво первоматки, брюхо бурой шерсткой подбито, как у малого верблюжонка. Рога — красота одна — развесистые, будто сучья осенних

деревьев. А вымя чистое да гладкое, как груди женщины-кормилицы.

— Кто ты? Почему ты говоришь человечьим языком? — спросила Рябая Хромая Старуха.

— Я мать-олениха, — отвечала ей та. — А заговорила так потому, что иначе ты не поймешь меня, не послушаешься.

— Чего ты хочешь, мать-олениха?

— Отпусти детей, большая, мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.

— Зачем они тебе?

— Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.

— Ты хочешь их выкормить?

— Да, большая, мудрая женщина.

— А ты хорошенько подумала, мать-олениха? — засмеялась Рябая Хромая Старуха. — Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.

— Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят, — отвечала ей матка маралья. — Я им буду матерью, а они — моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?

— Ох, не скажи, мать-олениха, не знаешь ты людей! — качала головой Рябая Хромая Старуха. — Не то что лесных зверей, они и друг друга

не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтобы ты сама узнала, что правдивы мои слова, но ведь и этих детей люди убьют у тебя. Зачем же тебе столько горя?

— Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая, мудрая женщина, отпусти их. Буду я им верной матерью… Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.

— Ну что ж, коли так, — промолвила Рябая Хромая Старуха, подумав, — бери да уводи их быстрей. Уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские, — пеняй на себя.

Благодарила мать-олениха Рябую Хромую Старуху. А мальчику и девочке сказала:

— Теперь я ваша мать, вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море — Иссык-Куль.

Обрадовались мальчик и девочка, резво побежали за Рогатой матерью-оленихой. Но потом они устали, ослабли, а путь далекий — из одного края света в другой. Не ушли бы они далеко, если бы Рогатая мать-олениха не кормила их молоком

своим, не согревала телом своим по ночам. Долго шли они. Все дальше оставалась позади старая родина Энесай, но и до новой родины, до Иссык-Куля, еще было очень далеко. Лето и зиму, весну, лето и осень, еще лето и зиму, еще весну, еще лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними стаи волков, но Рогатая мать-олениха, посадив детей на себя, уносила их от лютых зверей. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича: «Олениха похитила детей человеческих! Держи! Лови!» — и стрелы пускали вдогонку; и от них, от незваных спасителей, уносила детей Рогатая мать-олениха. Бежала она быстрее стрелы, только шептала: «Крепче держитесь, дети мои, — погоня!»

Привела наконец Рогатая мать-олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе — дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает море плещется. Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, угоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец — не узнать. С одного края солнце восходит, а на другом еще ночь. Сколько гор стоит вокруг Иссык-Куля — не счесть, а за

теми горами сколько еще таких — же снежных гор высится — тоже не угадать.

— Это и есть ваша новая родина, — сказала Рогатая мать-олениха. — Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко будет говорить и петь на своем языке. Живите, как должны жить люди, а я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена…

Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.

Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка — зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой. А Рогатая мать-олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.

Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык-Куль, зашумел. Роды наступили у женщины, мучилась она. А мужчина испугался. Взбежал на скалу и стал громко звать:

— Где ты, Рогатая мать-олениха? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рожает. Приходи скорей, Рогатая мать-олениха, помоги нам…

И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колодец позванивает. Все ближе и ближе доносился этот звон. Прибежала Рогатая мать-олениха. На рогах своих, подцепив за дужку, принесла она детскую колыбель — бешик. Беши к был из белой березы, а на дужке бешика серебряный колокольчик гремел. И поныне гремит тот колоколец на бешиках иссык-кульских. Качает мать колыбель, а колокольчик серебряный позванивает, будто бежит издали Рогатая мать-олениха, спешит, колыбель березовую несет на рогах…

Как только явилась на зов Рогатая мать-олениха, так и разродилась женщина.

— Этот бешик для вашего первенца, — сказала Рогатая мать-олениха. — И будет у вас много детей. Семеро сыновей, семеро дочерей!

Обрадовались мать и отец. Назвали первенца своего в честь Рогатой матери-оленихи — Бугубаем. Вырос Бугубай, взял красавицу из племени кипчаков, и стал умножаться род Бугу — род Рогатой матери-оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили Рогатую мать-олениху бугинцы как святыню. На бугинских юртах над входом вышивался знак — рога марала, чтобы издали было видно, что юрта при-

надлежит роду Бугу. Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич: «Бугу!» И всегда бугинцы выходили победителями. А в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые маралы, красоте которых завидовали звезды в небе. То были дети Рогатой матери-оленихи. Никто их не трогал, никто в обиду не давал. При виде марала бу-гинец сходил с седла, уступая дорогу. Красоту любимой девушки сравнивали с красотой белого марала…

Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец — у него овец было тысячи тысяч, лошадей — тысячи тысяч, а все люди вокруг в пастухах у него были. Великие поминки устроили его сыновья. Созвали они на поминки самых знаменитых людей со всех концов земли. Для гостей поставили тысячу сто юрт на берегу Иссык-Куля. Не счесть, сколько скота было зарезано, сколько кумыса выпито, сколько яств кашгарских было подано. Сыновья богача ходили важные: пусть знают люди, какие богатые и щедрые наследники остались после умершего, как они его уважают, как почитают его память… («Э-э, сын мой, худо, когда люди не умом блещут, а богатством!»)

А певцы, разъезжая на аргамаках, подаренных

им сыновьями покойника, красуясь в подаренных собольих шапках и шелковых халатах, наперебой восхваляли и покойного и наследников:

— Где еще увидишь под солнцем такую счастливую жизнь, такие пышные поминки? — поет один.

— Со дня сотворения мира такого еще не бывало! — поет второй.

— Нигде, только у нас так почитают родителей, воздают памяти родительской честь и славу, чтут их святые имена, — поет третий.

— Ей, певцы-краснобаи, что вы тут галдите! Разве есть на свете слова, достойные этих щедрот, разве есть слова, достойные славы покойного! — поет четвертый.

И так состязались они день и ночь. («Э-э, сын мой, худо, когда певцы состязаются в славословии, из певцов они превращаются во врагов песни!»)

Много дней, как праздник, справлялись те знаменитые поминки. Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете, чтобы слава о них пошла по всей земле. И задумали они установить на гробнице отца рога марала, дабы все знали, что это усы-

пальница их славного предка из рода Рогатой матери-оленихи. («Э-э, сын мой, еще в древности люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня — безрассудство».)

Захотелось сыновьям богатея оказать памяти отца эту неслыханную честь, и ничто их не удержало. Сказано — сделано! Послали охотников, убили охотники марала, срубили его рога. А рога саженьи, как крылья орла на взлете. Понравились сыновьям маральи рога, по восемнадцать отростков на каждом — значит, жил восемнадцать лет. Хорош! Велели они мастерам установить рога на гробнице.

Старики возмутились:

— По какому праву убили марала? Кто посмел поднять руку на потомство Рогатой матери-оленихи?

А им отвечают наследники богача:

— Марал убит на нашей земле. И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, — это наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайтесь.

Слуги отхлестали стариков плетками, посадили на коней задом наперед и погнали их с позором прочь.

С этого и пошло… Великое несчастье свалилось

на потомство Рогатой матери-оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых маралов. Каждый бугинец долгом считал установить на гробницах предков маральи рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком. Стали торговать маральими рогами, стали запасать их впрок. Появились такие люди из рода Рогатой матери-оленихи, что сделали своим ремеслом добычу маральих рогов и продажу их за деньги. («Э-э, сын мой, а там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место».)

Гиблое время наступило для маралов в иссык-кульских лесах. Не было им пощады. Бежали маралы в недоступные скалы, но и там доставали их. Напускали на них своры гончих собак, чтобы выгоняли маралов на стрелков в засаде, били без промаха. Косяками губили маралов, выбивали их целыми стадами. Об заклад бились, кто достанет такие рога, на каких отростков больше.

И не стало маралов. Опустели горы. Не услышать марала ни в полночь, ни на рассвете. Не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув на спину рога, как перемахивает через пропасть, точно птица в полете.

Народились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели марала. Только слышали о нем сказки да видели рога на гробницах.

А что сталось с Рогатой матерью-оленихой?

Обиделась она, крепко обиделась на людей. Говорят, когда маралам совсем не стало житья от пуль и гончих собак, когда осталось маралов столько, сколько на пальцах нетрудно перечесть, поднялась Рогатая мать-олениха на самую высокую горную вершину, попрощалась с Иссык-Кулем и увела последних детей своих за великий перевал, в другой край, в другие горы.

Вот какие дела бывают на земле. Вот и сказка вся. Хочешь верь, хочешь нет.

А когда Рогатая мать-олениха уходила, сказала она, что никогда не вернется…

5

Снова стояла осень в горах. Снова после шумного лета все настраивалось на осеннюю тишину. Улеглась окрест пыль скотогона, погасли костры. Стада ушли на зиму. Люди ушли. Опустели горы.

Уже в одиночку летали орлы, скупо роняя клекот. Глуше шумела вода в реке: привыкла река за лето к руслу, притерлась, обмелела. Трава перестала расти, при-увядала на корню. Листья устали держаться на ветках и кое-где начинали опадать.

А на самые высокие вершины по ночам уже ложится молодой серебристый снег. К утру темные гряды хребтов становились седыми, как загривки черно-бурых лисиц.

Настывал, нахолаживался ветер в ущельях. Но пока еще дни стояли светлые, сухие.

Леса за рекой, напротив кордона, быстро входили в осень. От самой реки и вверх, до границы Черного Бора, бездымным пожаром шел по крутому мелколесью осенний пал. Самыми яркими — рыже-багряными — и самыми цепкими на подъем были осиновые и березовые чащи: они добирались до подснежных высот большого леса,

до царства сумрачных сосен и елей.

В бору было чисто, как всегда, и строго, как в храме. Только коричневые твердые стволы, только смолистый сухой запах, только бурые иглы, сплошь усыпавшие подножие леса. Только ветер, неслышно текущий между верхушками старых сосен.

Но сегодня с утра над горами галдели не смолкая растревоженные галки. Большая, яростно орущая стая непрестанно кружила над сосновым лесом. Галки всполошились сразу, заслышав стук топоров, и теперь, крича наперебой, точно их ограбили средь бела дня, преследовали двоих людей, спускавших с горы срубленную сосну.

Бревно волокли на цепях конной упряжкой. Орозкул шел впереди, держа коня под уздцы. Набычившись, цепляя плащом за кусты, он шел, тяжело дыша, как вол в борозде. За ним позади бревна поспевал дед Момун. Ему тоже было нелегко на такой высоте, задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которой он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды — расшибет насмерть.

Опасней тому, кто страхует бревно вагой, — но

чем черт не шутит: Орозкул уже несколько раз испуганно отпрыгивал прочь от упряжки, и всякий раз обжигало его стыдом, когда он видел, что старик, рискуя жизнью, удерживает бревно на скате и ждет, пока Орозкул вернется к лошади и возьмет ее под уздцы. Но недаром говорят: чтобы скрыть свой позор, надо опозорить другого.

— Ты что, на тот свет хочешь отправить меня? — орал Орозкул на тестя.

Вокруг никого не было, кто бы мог услышать и осудить Орозкула: где видано, чтобы со стариком так обращались? Тесть робко заметил, что ведь и он сам может попасть под бревно, — зачем же кричать на него так, как будто он нарочно все делает.

Но это еще сильней раздражало Орозкула.

— Ишь ты какой! — негодовал он. — Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь, кто возьмет твою неродящую дочь? Кому она нужна, такая бесплодная, как хлыст шайтана?..

— Трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям, — ответил на это Момун.

Орозкул даже приостановился, смерил старика взглядом.

— Такие старики давно у очагов лежат, задницу

себе греют на золе. А тебе зарплата идет, какая ни есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?

— Да ладно уж, к слову сказал, — смирился Момун.

Так они шли. Преодолев еще один подъем, остановились на откосе передохнуть. Лошадь взмокла вся, покрылась мылом.

А галки все так же. не успокаивались, все кружились. Их была тьма, и галдели они так, словно задались целью сегодня весь день только и делать, что кричать.

— Зиму раннюю чуют, — промолвил Момун, чтобы поговорить о другом и тем смягчить гнев Орозкула. — Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают, — добавил он, точно извиняясь за неразумных птиц.

— А кто им мешает? — резко обернулся Орозкул. И побагровел вдруг. — Заговариваешься ты что-то, старик, — тихо проговорил он с угрозой в голосе.

«Ишь, — подумал он, — на что намекает! Что ж это, из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи? Как бы не так! Пока что я здесь еще хозяин». Он зыркнул глазами на орущую стаю: «Эх, пулемет бы!» — и, отвернувшись, нехорошо

выругался.

Момун промолчал. Ему не привыкать к матершине зятя. «Опять нашло на него, — опечалился старик про себя. — Выпьет — звереет. С похмелья тоже — не скажи ничего. И почему только люди становятся такими? — сокрушался Момун. — Ты ему добро — он тебе зло. И не застыдится, и не одумается. Вроде бы так и должно быть. Всегда правым себя считает. Только бы ему было хорошо. Все вокруг должны угождать ему. А не захочешь — заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой у него народу — раз-два, и обчелся. А. ну, окажись он у власти повыше? Не приведи, боже… И нет им переводу, таким. Всегда урвут свое. И никуда ты от такого не денешься. Везде он ждет тебя, сыщет тебя. И чтобы жилось ему вольготно, душу из тебя вытрясет. И прав останется. Да, нет таким переводу…»

— Ну, довольно стоять, — прервал Орозкул размышления старика. — Пошли, — приказал он.

И они двинулись.

Сегодня с самого утра Орозкул был не в духе. Утром, когда надо было переправляться с инструментом на тот берег в лес, Момун спешил отвезти внука в школу. Совсем из ума выжил старик! Каждое утро седлает коня, отвозит мальчишку

в школу, потом снова скачет, привозит его из школы. Возится с этим брошенным пригулком. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать! А тут такое дело, бог знает как оно получится, — так с этим можно ждать, так выходит? «Я, — говорит, — мигом обернусь, стыдно перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок». Нашел кого стыдиться! Ну и дурак! Да кто она такая, учительница эта? Пять лет в одном пальто ходит. Только и видишь с тетрадями, с сумками. Голосует на дороге — все ей в район требуется, все ей чего-то не хватает, — то угля для школы, то стекла, то мела, а то и тряпок. Да разве порядочная учительница пойдет в такую школу? Название какое придумали — карликовая школа. Она и вправду карликовая. Какой от нее толк? Настоящие учителя в городе. Школы сплошь из стекла. Учителя в галстуках. Но то в городе… Начальство там какое ездит по улицам. А какие машины! Так и хочется остановиться и замереть, вытянуться, пока она проскользит, машина эта черная, блестящая, плавная. А они, городские люди, будто и не замечают этих машин, некогда — спешат, бегут куда-то. Вот там, в городе, жизнь так жизнь! Туда бы двинуться, там бы где пристроиться. Там умеют уважать человека по должности. Раз

положено — значит, обязан уважать. Большая должность — больше уважения. Культурные люди. И за то, что побывал в гостях или подарок какой получил, бревна таскать или что-нибудь вроде этого делать там не приходится. Не то что здесь — полсотню, от силы сотню, он тебе даст, лес увезет да еще жалобу накатает на тебя: взяточник Орозкул, такой-сякой… Темнота!

Да-а, в город бы… Эх, послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти, трижды проклятые, и жену эту пустобрюхую, и старика безмозглого с пащенком этим, с которым он возится, как с невидалью какой. Эх, взыграл бы я, как сытый конь на овсе! Заставил бы себя уважать: «Орозкул Балажанович, разрешите войти к вам в кабинет?» А там и женился бы на городской. А почему бы и нет? Скажем, на артистке какой-нибудь, красавице, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке; говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И — в кино. А она каблучками стучит и духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы, а дочку, чтобы на рояле играла. Городские дети сразу заметные — умные. Дома только по-русски говорят

— станут они забивать себе головы деревенскими словами. Он бы своих так и воспитал: «Папочка, мамочка, хочу то, хочу это…» Разве же своему чаду что пожалеешь? Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто он есть! А чем он хуже других? Те, что наверху, лучше его, что ли? Такие же люди, как он. Просто им повезло. А ему нет. Увильнуло счастье. Да и сам виноват. После курсов для лесничих надо было в город, в техникум податься, а то и в институт. Поторопился — на должность потянуло. Хотя и маленькая, но должность. Вот и ходи теперь по горам, таскай бревна, как ишак. А тут еще галки эти. И чего орут, чего кружатся? Эх, пулемет бы…

Было с чего расстраиваться Орозкулу. Отгулял лето. Надвигалась осень, а вместе с летом уходила пора гостеваний у чабанов и табунщиков. Как это поется: «Отцвели цветы на джайлоо, пора собираться в низовья…»

Осень настала, приходилось Орозкулу рассчитываться за почет, за угощения, за долги, за обещания. Да и за хвастовство: «Тебе что? Два кругляка сосновых на матицы, только-то? О чем тут говорить! Приедешь, увезешь».

Наболтал, подношенья получал, водку пил, — а теперь, задыхаясь, обливаясь потом, проклиная

все на свете, пер эти кругляки по горам. Боком они выходили ему. Да и вообще вся жизнь его боком шла. И вдруг мелькнула в голове отчаянная мысль: «А плюну на все и уйду куда глаза глядят!» Но он тут же понял, что никуда не уйдет, никому нигде не нужен и нигде такой жизни, какой хочет для себя, не сыщет.

Попробуй уйти отсюда или отказаться от обещанного! Его свои же друзья-приятели выдадут. Народ пошел никудышный. В позапрошлом году своему же сородичу — бугинцу пообещал за дареного ягненка сосновое бревно, а осенью не захотелось ему лезть наверх за сосной. Это сказать легко, а ну, попробуй, доберись туда, да спили, да приволоки ее. И если к тому же сосна эта не один десяток лет прожила на свете, ну-ка, повозись с ней! Да ни за какое золото не захочешь браться за такое дело. А в те дни как раз заболел старик Момун, слег в постель. В одиночку же не справиться было, да и никто не справится один на один с бревном в горах. Свалить, может, и свалит сосну, да не стащит вниз… Знал бы наперед, что случится, сам бы с Сейдахматом полез за сосной. Но Орозкул поленился карабкаться в горы и решил отделаться от сородича первой попавшейся лесиной. Тот ни в какую: подавай

ему настоящее сосновое бревно — и все тут! «Ягненка брать умеешь, а слово сдержать нет?» Орозкул рассвирепел, выставил его со двора: не хочешь брать — убирайся. А тот парень не промах, настрочил на объездчика Сан-Ташского заповедного леса Орозкула Балажанова жалобу, и такое там расписал — и правду, и неправду, — что в пору было расстрелять Орозкула, как «вредителя социалистического леса». Долго потом таскали Орозкула по разным проверочным комиссиям из района, из лесного министерства. С трудом выпутался… Вот тебе и родственник! А еще: «Все мы дети Рогатой матери-оленихи. Один за всех, и все за одного!» Да ерунда все это, какая там, к черту, олениха, когда за копейку готовы друг другу в горло вцепиться или в тюрьму засадить! Это в прежние времена люди верили в олениху. До чего же глупые и темные были тогдашние люди, смешно! А теперь все культурные, все грамотные! Кому нужны они, эти сказки для малых детей!

После того случая Орозкул дал зарок, больше никому, никаким знакомым, никаким соплеменникам, пусть хоть трижды будут они детьми Рогатой матери-оленихи, не даст ни сучка, ни хворостинки.

Но возвратилось лето. Забелели юрты на зеле-

ных горных лугах, загомонили стада, потянулись дымки у ручьев и рек. Солнце сияло, кумысом пьянящим пахло, цветами пахло. Хорошо сидеть на свежем воздухе подле юрты, на зеленой траве, в кругу друзей-приятелей, наслаждаться кумысом, молодым мясом. А потом ахнуть стакан водки, чтобы замутилось в башке. И почувствовать, что под силу тебе дерево вырвать с комлем или голову свернуть вон той горе… Забывал Орозкул в такие дни о своем зароке. Сладко ему было слышать, как называли его большим хозяином большого леса. И опять обещал, опять принимал подношенья… И опять какая-то из реликтовых сосен в лесу не подозревала, что дни ее сочтены, вот только наступит осень.

А осень незаметно прокрадывалась в горы со сжатых полей и принималась шнырять кругом. И там, где она пробегала, рыжела трава, рыжели листья в лесу.

Ягоды зрели. Ягнята росли. Делили их на отары — ярочек отдельно, баранчиков отдельно. Женщины прятали сушеный сыр в зимние мешки. Мужчины принимались советоваться, кому первому открывать обратный путь в долины. А перед уходом те, что сговаривались летом с Орозкулом, предупреждали его, что в такой-то день, в такой-

то час прибудут на кордон с машинами, приедут за обещанным лесом.

Вот и сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти два сосновых бревна. Одно уже было внизу, уже переправлено через реку и доставлено к тому месту, куда подъедет машина. Второе — вот оно, волокут его вниз. Если бы мог Орозкул сейчас вернуть все, что съел и выпил под эти бревна, он тотчас бы сделал это, лишь бы избавиться от труда и мучений, которые сейчас вынужден терпеть.

Увы, нет способа изменить свою проклятую судьбу в горах: машина с прицепом прибудет сегодня вечером, чтобы ночью вывезти бревна.

Хорошо еще, если все благополучно обойдется. Дорога проходит через совхоз, прямо возле конторы, другого пути нет, а в совхоз, бывает, наведывается милиция, госинспекция, и мало ли еще кто может оказаться там из района. Попадется им лесовоз на глаза: «Откуда везете лес и куда?»

Спина у Орозкула холодела при этой мысли. И злоба вскипала в нем ко всем и ко всему — к галдящим галкам над головой, к несчастному старику Момуну, к Сейдахмату, лентяю, догадавшемуся три дня тому назад уехать в город

продавать картошку. Ведь знал он, что предстоит стаскивать бревна с гор! Улизнул, выходит… И вернется теперь только тогда, когда кончит свои дела на базаре. Не то приказал бы ему Орозкул вдвоем со стариком бревна приволочь, не мучился бы сам.

Но Сейдахмат был далеко, галок тоже достать нечем. На худой конец можно было бы излупить жену, но до дома добираться еще долго. Оставался старый Момун. Задыхаясь и все больше свирепея от горного удушья, матерясь на каждом шагу, Орозкул шел напролом через кусты, не жалея ни лошади, ни идущего за ним старика. Пусть подохнет лошадь, пусть подохнет этот старик, пусть он сам подохнет от разрыва сердца! Раз ему нехорошо — значит, и другим не должно быть хорошо. Пусть провалится этот мир, где все устроено не так, как требуется, не так, как положено Орозкулу по его достоинствам и по должности!

Уже не владея собой, Орозкул повел коня по кустарнику прямо на крутой спуск. Пусть Расторопный Момун попляшет вокруг бревна. И пусть попробует не удержать! «Прибью старого дурака — и все тут», — решил Орозкул. В другое время он никогда не посмел бы сунуться с бревном-волокушей на такой опасный откос. А тут бес попутал.

И не успел Момун остановить его, успел лишь крикнуть: «Куда ты? Куда? Остановись!» — как бревно крутнулось на цепи и, сминая кусты, покатилось вниз. Бревно было сырое, тяжелое. Момун попытался было подставить вагу, чтобы не дать бревну скатиться вниз. Но удар оказался такой силы, что вагу вышибло из рук старика.

Все произошло в одно мгновение. Лошадь упала, и ее на боку потащило вниз. Падая, она сшибла Орозкула. Он катился, судорожно цепляясь за кусты. И в этот момент какие-то рогатые животные испуганно шарахнулись в густой листве. Высоко и сильно подпрыгивая, они скрылись в березовой чаще.

— Маралы! Маралы! — вне себя от испуга и радости вскричал дед Момун. И замолк, будто не веря своим глазам.

И вдруг в горах стало тихо. Галки разом улетели. Бревно задержалось на скате, подмяв под себя молодые крепкие березки. Лошадь, путаясь в сбруе, сама встала на ноги.

Орозкул, весь оборванный, отполз в сторону. Момун бросился на выручку к зятю.

— О пресвятая мать, Рогатая олениха! Это она спасла нас! Ты видел? Это дети Рогатой матери-оленихи. Вернулась наша мать! Ты видел?

Еще не веря, что все обошлось, Орозкул встал, мрачный, пристыженный, и отряхнулся:

— Не болтай, старик. Хватит! Выводи вон коня из постромков.

Момун послушно кинулся выпутывать лошадь.

— О пречудная мать, Рогатая олениха! — продолжал он радостно бормотать. — Вернулись маралы в наши леса. Не забыла нас Рогатая мать! Простила наш грех…

— Все бормочешь? — огрызнулся Орозкул. Он уже оправился от испуга, и прежняя злоба глодала его душу. — Сказки свои рассказываешь? Сам тронулся умом, так думаешь, и другие поверят твоим дурацким выдумкам!

— Я видел своими глазами. Это были маралы, — не сдавался дед Момун. — А разве ты не видел, сын мой? Ты же видел сам.

— Ну, видел. Вроде промелькнули штуки три…

— Верно, три. Мне тоже так показалось.

— Ну и что из того? Маралы так маралы. Тут вон человек чуть шею себе не свернул. Чего же радоваться?

А если это были маралы, то пришли они, значит, из-за перевала. Там, в Казахстане, на той стороне гор, в лесах, говорят, водятся еще маралы.

Там тоже заповедник. Возможно, заповедные маралы. Пришли так пришли. Нам какое дело. Казахстан нас не касается.

— Может, приживутся у нас? — помечтал дед Момун. — Остались бы…

— Ну, хватит! — оборвал его Орозкул. — Пошли.

Им надо было еще долго спускаться с бревном, а потом переправить его через реку волоком, в упряжи. И тоже трудное это дело. А затем, если удастся благополучно перетащить бревно через реку, надо еще дотянуть его до пригорка, где будет грузиться машина.

Ох, сколько трудов!..

Орозкул чувствовал себя совсем несчастным. И все вокруг казалось ему устроенным несправедливо. Горы — они ничего не чувствуют, ничего не желают, ни на что не жалуются, стоят себе и стоят; леса входят в осень, а потом в зиму войдут и не видят в этом ничего трудного. Галки и те летают себе на свободе и орут, сколько им влезет. Маралы, если то действительно были маралы, пришли из-за перевала и будут бродить в лесу как хотят и где хотят. В городах люди беспечно шагают по асфальтированным улицам, ездят в такси, сидят в ресторанах, предаются забавам.

А он заброшен судьбою в эти горы, он несчастлив... Даже этот Расторопный Момун, тесть его некудышный, и тот счастливее, потому что он верит в сказки. Глупый человек! Глупцы всегда довольны жизнью.

А Орозкул ненавидит свою жизнь. Она не по нем. Эта жизнь для таких, как Расторопный Момун. Ему-то что надо, Момуну? Сколько живет, столько и горб гнет изо дня в день, без отдыха. И в жизни ни один человек не был у него в подчинении, а он подчинялся всем, даже старухе своей, он даже ей не прекословит. Такой горемыка и сказкой будет счастлив. Увидел маралов в лесу — до слез дошел, точно встретил братьев родных, которых сто лет по свету искал.

Эх, что там говорить!..

Они вышли наконец на последний рубеж, откуда начинался длинный крутой спуск к реке. Остановились передохнуть.

За рекой, во дворе кордона, возле дома Орозкула что-то дымило. По дыму можно было догадаться — самовар. Значит, жена уже ждала его. Но от этого Орозкулу не стало легче. Дышал он широко ртом, воздуха не хватало. В груди болело, и в голове, как эхо, стучали удары сердца. Пот со лба разъедал глаза. А впереди еще такой долгий и

крутой спуск. И дома ждет пустобрюхая жена. Ишь, самовар поставила, угодить хочет… Он вдруг почувствовал острое желание разбежаться и пнуть ногой этот пузатый самовар, да так, чтобы полетел он ко всем чертям. А потом наброситься на жену и бить ее, бить в кровь, насмерть. Мысленно он наслаждался этим, слыша вопли жены, ее проклятия судьбе своей горемычной. «Ну и пусть, — подумал он. — Пусть! Мне плохо, почему ей должно быть хорошо?»

Его мысли прервал Момун.

— Я и забыл, сын мой, — спохватился он и поспешно подошел к Орозкулу. — Мне ведь в школу надо, малыша забрать. Уроки-то кончились.

— Ну и что? — нарочито спокойно произнес Орозкул.

— Не сердись, сын мой. Оставим бревно здесь. Спустимся. Ты пообедаешь дома. А я тем временем проскочу на коне в школу. Заберу мальчишку. Вернемся и переправим бревно.

— И долго ты думал, старик, пока это придумал? — съязвил Орозкул.

— Да ведь плакать будет мальчишка.

— Ну и что? — вскипел Орозкул. Наконец-то было за что проучить старика в полной мере. Весь день Орозкул искал, к чему бы придрать-

ся, а теперь Момун сам давал ему повод. — Он будет плакать, а мы будем дело бросать? Утром морочил голову — в школу повезу. Хорошо, отвез. Теперь из школы привезу? А я что? Или мы здесь в игрушки играем?

— Не надо, сын мой, — попросил Момун. — В такой день! Я-то ладно, но мальчишка будет ждать, будет плакать в такой день…

— Что — в такой день? Какой это такой особый день?

— Маралы вернулись. Зачем же в такой день…

Орозкул опешил, даже замолчал от удивления. Он уже и забыл про этих маралов, которые вроде бы промелькнули быстрыми, скачущими тенями, когда он катился по колючим кустарникам, когда душа у него от страха ушла в пятки. Каждую секунду его могло приутюжить сорвавшимся со склона бревном. Не до маралов было и не до болтовни этого старика.

— Ты за кого меня принимаешь? — тихо и яростно сказал он, дыша в лицо старику. — Жаль, что нет у тебя бороды, а то потаскал бы, чтобы не считал других глупее себя. Да на кой хрен мне твои маралы? Буду я еще думать о них. Ты мне зубы не заговаривай. Давай становись к бревну. И пока не перетащим через реку, и не заикайся

ни о чем. Кто там в школу ходит, кто там плачет — дела мне нет никакого. Хватит, пошли…

Момун, как всегда, повиновался. Он понимал, что не вырвется из рук Орозкула, пока бревно не будет доставлено на место, и молча отчаянно работал. Больше он не проронил ни слова, хотя душа исходила криком. Внук ждет его возле школы. Все ребята уже разбежались по домам, и только он один, его сирый внук, глядит на дорогу и ждет деда.

Старик представлял себе, как дети всем классом выскочили, топая, из школы, как стали разбегаться по домам. Проголодались. Еще на улице они чуют запах приготовленной им еды и, радостные, возбужденные, пробегают под окнами своих домов. Матери ждут уже. У каждой есть улыбка, от которой голова идет кругом. Худо ли самой матери, хорошо ли ей, а на улыбку для своего ребенка у нее всегда сил хватит. И если даже мать прикрикнет построже: «А руки? Руки кто будет мыть?» — все равно в глазах у нее спрятана та же улыбка.

У момуновского внука с тех пор, как он стал учиться, руки всегда были в чернилах. И деду это даже нравилось: значит, парень делом занимается. И вот стоит сейчас на дороге его внук, с руками

в чернилах, держа свой любимый портфель, купленный этим летом. Он, наверно, устал ждать и уже беспокойно поглядывает, прислушивается — не появится ли на пригорке дед верхом на коне. Ведь он всегда вовремя приезжал. Когда мальчик выходил из школы, дед, уже спешившись, ждал его неподалеку. Все расходились по домам, а внук бежал к деду. «Вон дедушка. Побежим!» — говорил мальчик портфелю. И, добежав, смущенно кинулся бы к деду, обнял его и ткнулся лицом в живот, вдыхая привычный запах старой одежды и сухого летнего сена: в эти дни дед переправлял на вьюках сено с того берега, зимой по глубокому снегу не доберешься до него, лучше перевезти с осени. И долго потом Момун ходил, пропахнувший горьковатой сенной пыльцой.

Дед сажал мальчика позади себя на круп лошади, и они ехали домой то дорожной рысцой, то шагом, то молча то переговариваясь о чем-нибудь незначительном, и незаметно приезжали. Через седловину между горками спускались к себе, в Сан-Ташскую падь.

Неистовое влечение мальчика к школе раздражало бабку. Едва проснувшись, он быстро одевался и перекладывал книги и тетрадки в портфеле. Бабку сердило и то, что он кладет на

ночь портфель рядом с собой. «И чего это ты прилип к этому поганому портфелю? Хоть бы стал он тебе женой, нас от калыма за невесту избавил…» Мальчик пропускал мимо ушей бабкины слова, да и не очень понимал, о чем идет речь. Главным для него было не опаздывать в школу. Он выбегал во двор, торопил деда. И успокаивался лишь тогда, когда школу было уже видно.

Однажды они все же опоздали. На прошлой неделе чуть свет Момун переправился верхом на тот берег. Решил сделать с утра одну ездку за сеном. Все бы ничего, но по пути вьюк развязался, сено высыпалось. Пришлось снова перевязывать весь вьюк, снова навьючивать коня. Второпях увязанное сено снова рассыпалось у самого берега.

А внук уже ждал на той стороне. Он, стоя на щербатом камне, размахивал портфелем и что-то кричал, звал. Старик заспешил — веревки запутались, не развяжешь, стянулись в узлах. А мальчишка все кричал, и старик понял, что он уже плачет. Тогда он бросил все — сено и веревки, — сел на лошадь — и побыстрей к внуку, через брод.

Пока переправился, тоже время прошло: через брод не поскачешь — воды много, течение быст-

рое. Осенью еще не так страшно, а летом сшибет коня с ног — и пропал. Когда Момун наконец перебрался через реку и подъехал к внуку, тот уже плакал навзрыд. На деда не смотрел, только плакал и приговаривал: «Опоздал, опоздал в школу...» Старик свесился с коня, поднял мальчика к себе в седло и поскакал. Была бы она рядом, эта школа, сам бы бегал мальчишка. А то ведь всю дорогу не переставая плакал, и никак не мог старик успокоить его. Так и привез ревущего в школу. А уроки уже начались. Повел прямо в класс.

Извинялся, извинялся Момун перед учительницей, обещал, что в другой раз такого не случится. Но больше всего потрясло старика то, как плакал внук, переживал свое опоздание. «Дай-то бог, чтобы всегда тебя так тянуло в школу», — думал дед. Однако почему все-таки так плакал парнишка? Значит, есть в его душе обида, невысказанная, своя обида...

И теперь, идя обочь бревна, забегая то на одну, то на другую сторону, подталкивая, подтыкивая бревно вагой, чтобы оно нигде не цеплялось, чтобы скользило быстрей с горы, Момун все думал: как-то он там, внук?

А Орозкул не спешил. Он шел коноводом. Да и не очень поспешишь тут — спуск долгий, крутой,

приходится идти по склону наискось. Но разве нельзя было уважить его просьбу — оставить пока бревно, а потом вернуться и забрать? Эх, была бы сила, взвалил бы он бревно на плечо, шагнул через реку, сбросил бы его на то место, где будет грузиться машина! Нате, мол, получите свое бревно — и отстаньте. А сам пустился бы Момун к внуку.

Но где там! Надо еще добраться до берега, по камням, по галечнику, а там через брод волочить бревно конем на ту сторону. А конь уже замучился — сколько прошел он по горам то вниз, то вверх… Хорошо еще, если все обойдется, а ну как застопорится бревно в камнях на середине реки или конь споткнется и упадет?

И когда они пошли по воде, дед Момун взмолился: «Помоги, Рогатая мать-олениха, не дай застрять бревну, не дай коню упасть!» Разувшись, перекинув сапоги через плечо, закатав штаны выше колен, с вагой в руках дед Момун поспевал за плывущим бревном. Бревно волокли наискось против течения. Насколько чиста и прозрачна была вода в реке, настолько и холодна. Осенняя вода.

Старик терпел: пусть, ноги не отвалятся, лишь бы быстрей переправить бревно. И все-таки брев-

но застряло, как назло, село на камни в самом порожистом месте. В таких случаях надо дать коню немного передохнуть и затем понукнуть его как следует, хорошим рывком можно снять бревно с камней. Но Орозкул, сидя на нем верхом, нещадно нахлестывал камчой уже ослабевшего, притомившегося коня. Конь оседал на задние ноги, скользил, спотыкался, а бревно не трогалось с места. Ноги старика окоченели, в глазах у него стало темнеть. Голова кружилась. Обрыв, лес над обрывом, облака в небе наклонились, падали в реку, уплывали по быстрому течению и снова возвращались. Плохо становилось Момуну. Проклятое бревно! Было бы оно сухое, вылежавшееся, тогда разговор другой, — сухой лес сам по воде плывет, только удерживай его. Это же только спилили и сразу поволокли через реку. Кто же так делает! Вот и получается. У темного дела конец худой. Оставлять сосну на высушку Орозкул не решается: нагрянет инспекция, акт составит — порубка ценных деревьев в заповедном лесу. Потому, как спилили, так побыстрей стаскивает бревно с глаз долой.

Орозкул бил коня каблуками, плетью, бил его по голове, матерился, орал на старика, будто он, Момун, был виноват во всем, а бревно не подда-

валось, оно все больше залеживалось в камнях. И лопнуло терпенье старика. В первый раз за всю жизнь он повысил голос во гневе:

— Слазь с коня! — решительно подошел он к Орозкулу, стягивая его с седла. — Разве ты не видишь, что конь не тянет? Слазь сейчас же!

Удивленный Орозкул молча подчинился. Прыгнул прямо в сапогах с седла в воду. С этой минуты он как бы оглупел, оглох, потерял себя.

— Давай! Подналяг! Вместе давай!

По команде Момуна они налегли на вагу, поднимая бревно с места, высвобождая его из затора камней.

До чего же умное животное конь! Он рванулся именно в тот момент и, спотыкаясь, скользя по камням, натянул постромки в струну. Но бревно чуть стронулось с места, заскользило и снова застряло. Конь сделал еще рывок и не удержался, упал в воду, забарахтался, путаясь в сбруе.

— Коня! Коня поднимай! — толкнул Момун Орозкула.

Вместе, с трудом, им удалось помочь лошади встать на ноги. Конь дрожал от холода, едва стоял в воде.

— Распрягай!

— Зачем?

— Распрягай, тебе говорят. Перепрягать будем. Снимай постромки.

И опять Орозкул молча повиновался. Когда лошадь была выпряжена, Момун взял ее за поводья.

— А теперь пошли, — сказал он. — Вернемся потом. Пусть конь отдохнет.

— А ну-ка стой! — Орозкул перехватил поводья из рук старика. Он как бы проснулся. Он снова вдруг стал самим собой. — Ты кому дуришь голову? Никуда ты не пойдешь. Бревно вывезем сейчас. Вечером за ним люди приедут. Запрягай коня без разговоров, слышишь!

Момун молча повернулся и, ковыляя на закоченевших ногах, пошел бродом к берегу.

— Ты куда, старик? Куда, говорю?

— Куда! Куда! В школу. Внук там ждет с самого полдня.

— А ну вернись! Вернись!

Старик не послушался. Орозкул оставил лошадь в реке и уже почти у берега, на галечнике, настиг Момуна, схватил его за плечо, крутанул к себе.

И они оказались лицом к лицу.

Коротким движением руки Орозкул сорвал с плеча Момуна перекинутые голенищами старые кирзовые сапоги и наотмашь дважды ударил

ими тестя по голове и по лицу.

— Пошли! Ну! — прохрипел Орозкул, отшвыривая в сторону сапоги.

Старик подошел к сапогам, поднял их с мокрого песка, и, когда распрямился, на губах у него выступила кровь.

— Негодяй! — сказал Момун, сплевывая кровь, и перебросил сапоги снова через плечо.

Это сказал Расторопный Момун, никогда никому не прекословивший, это сказал посиневший от холода жалкий старикашка с перекинутыми через плечо старыми сапогами, с пузырящейся на губах кровью.

— Пошли!

Орозкул потащил его за собой. Но Момун с силой вырвался и, не оглядываясь, молча пошел прочь.

— Ну, старый дурень, теперь держись! Я тебе это припомню! — прокричал ему вслед Орозкул, потрясая кулаком.

Старик не оглянулся. Выйдя на тропу возле «Лежащего верблюда», он сел, обулся и быстро пошел домой. Нигде не задерживаясь, направился прямо в конюшню. Оттуда вывел серого коня Алабаша, неприкосновенного орозкуловского выездного коня, на которого никто не смел садиться и кото-

рого не запрягали, чтобы не попортить скаковую стать. Точно на пожар, Момун выехал со двора без седла, без стремян. И когда он проскакал мимо окон, мимо все еще дымящегося самовара, выскочившие наружу женщины — старуха Момуна, его дочь Бекей и молодая Гульджамал — поняли сразу, что со стариком что-то случилось. Никогда он не садился верхом на Алабаша и никогда не скакал так по двору сломя голову. Они не знали еще, что это был бунт Расторопного Момуна. И не знали еще, во что обойдется ему этот бунт на старости лет…

А со стороны брода возвращался Орозкул, ведя в поводу выпряженную лошадь. Лошадь припадала на переднюю ногу. Женщины молча смотрели, как он приближался ко двору. Они еще не догадывались, что творилось в душе Орозкула, что он нес им в тот день, какие беды, какие страхи…

В мокрых, хлюпавших сапогах, в мокрых штанах, подойдя к ним грузными, тяжелыми шагами, он мрачно глянул на женщин исподлобья. Жена его, Бекей, забеспокоилась:

— Что с тобой, Орозкул? Что случилось? Да ты же мокрый весь. Бревно уплыло?

— Нет, — отмахнулся Орозкул. — На, — передал он поводья Гульджамал. — Отведи коня в

конюшню. — А сам пошел к дверям. — Пошли в дом, — сказал он жене.

Бабка тоже хотела было пойти вместе с ними, но Орозкул не пустил ее на порог.

— А ты иди, старуха. Нечего тебе здесь делать. Иди к себе и не приходи.

— Да ты что? — обиделась бабка. — Что ж это такое? А старик-то наш, как он? Что случилось?

— Спроси у него самого, — ответил Орозкул.

В доме Бекей стащила с мужа мокрую одежду, подала ему шубу, внесла самовар и стала наливать в пиалу чаю.

— Не надо, — отверг жестом Орозкул. — Дай мне выпить.

Жена достала непочатую поллитровку, налила в стакан.

— Полный налей, — приказал Орозкул.

Залпом опрокинув в себя стакан водки, он завернулся в шубу и, укладываясь на кошме, сказал жене:

— Ты мне не жена, я тебе не муж. Иди. Чтобы ноги твоей в доме не было. Иди, пока не поздно.

Бекей вздохнула, села на кровать и, привычно сглатывая слезы, тихо сказала:

— Опять?

— Что опять? — взревел Орозкул. — Вон от-

сюда!

Бекей выскочила из дому и, как всегда, заламывая руки, заголосила на весь двор:

— И зачем только родилась я на свет, горемычная!..

А в это время старик Момун скакал на Алабаше к внуку. Алабаш — быстрый конь. Но все равно опаздывал Момун на два с лишним часа. Он встретил внука на пути. Учительница сама вела мальчика домой. Та самая учительница, с обветренными, грубыми руками, в том самом неизменном пальто, в котором ходила она пятый год. Утомленная женщина выглядела хмурой. Мальчик же, давно наплакавшись, со вспухшими глазами, шел рядом с ней, с портфелем своим в руках, какой-то жалкий и униженный. Крепко отчитала учительница старика Момуна. Он стоял перед ней, спешившись, опустив голову.

— Не привозите ребенка в школу, — говорила она, — если не будете забирать его вовремя. На меня не рассчитывайте, у меня своих четверо.

Опять извинился Момун, опять обещал, что больше такого не повторится.

Учительница вернулась в Джелесай, а дед с внуком отправились домой.

Мальчик молчал, сидя на лошади перед дедом.

И старик не знал, что сказать ему.

— Ты очень голоден? — спросил он.

— Нет, учительница мне хлеба дала, — ответил внук.

— А почему ты молчишь?

Мальчик ничего не сказал и на это.

Момун виновато улыбнулся:

— Обидчивый ты у меня. — Он снял фуражку с мальчика, поцеловал его в макушку и снова надел ему фуражку на голову.

Мальчик не обернулся.

Так они ехали, оба подавленные и молчаливые. Момун не давал воли Алабашу, строго придерживал поводья — не хотелось трясти мальчика на неоседланном коне. Да и спешить теперь стало вроде ни к чему.

Конь вскоре понял, что от него требуется, — шел легкой полуиноходью. Пофыркивал, копытами стучал по дороге. На таком бы коне ехать в одиночку, песни петь негромкие — так, для самого себя. Мало ли о чем поет человек наедине с собой? О несбывшихся мечтах, о годах прошедших, о том, что было тогда еще, когда любилось… Нравится человеку повздыхать по той поре, где осталось что-то навсегда недосягаемое. А что, собственно, — человек и сам толком не понимает.

Но изредка ему хочется думать об этом, хочется почувствовать самого себя.

Добрый это попутчик — хороший конь хорошего хода…

И думал старик Момун, глядя на стриженый затылок внука, на его тонкую шею и оттопыренные уши, что от всей его жизни неудачливой, от всех его дел и трудов, от всех забот и печалей остался теперь у него только вот этот ребенок, это еще беспомощное существо, хорошо, если дед успеет поставить его на ноги. А останется он один — трудно придется. Сам с кукурузный початок, а уже характер свой. Ему бы попроще быть, поласковей… Ведь такие, как Орозкул, возненавидят его и будут терзать, как волки загнанного оленя…

И тут вспомнил Момун про маралов, про тех, что давеча промелькнули быстрыми, стремительными тенями, что исторгли из груди его возглас удивления и радости.

— А ты знаешь, сынок? К нам маралы пришли, — сказал дед Момун.

Мальчик живо оглянулся через плечо:

— Правда?

— Правда. Сам видел. Три головы.

— А откуда они пришли?

— По-моему, из-за перевала. Там тоже есть заповедные леса. Осень нынче стоит, как лето, перевал открыт. Вот они и пришли к нам в гости.

— А они останутся у нас?

— Понравится, так останутся. Если не трогать их, они и будут жить. Кормов у нас вдоволь. Тут хоть тысячу маралов держи… В прежние времена, при Рогатой матери-оленихе, тут их было видимо-невидимо…

Чувствуя, что мальчик оттаивает, слыша эту весть, что обида его забывается, старик принялся снова рассказывать о былых временах, о Рогатой матери-оленихе. И сам, увлекаясь своим рассказом, думал: как просто вдруг стать счастливым и принести счастье другому! Вот так бы и жить всегда. Да, вот так, как сейчас, как в этот час. Но жизнь не так устроена — рядом со счастьем постоянно подстерегает, вламывается в душу, в жизнь несчастье, неотлучно следующее за тобой, извечное, неотступное. Даже в этот час, когда они с внуком были счастливы, в душе старика рядом с радостью стояла тревога: что там Орозкул? Что он готовит, какую расправу? Какое задумал наказание ему, старику, посмевшему ослушаться? Ведь Орозкул этого так не оставит. Иначе он не был бы Орозкулом.

И чтобы не думать о несчастье, ожидавшем его дочь и его самого, Момун рассказывал внуку о маралах, о благородстве, о красоте и быстроте этих животных так самозабвенно, точно мог этим отвратить неизбежное.

А мальчику было хорошо. Он и не подозревал, что ждет его дома. У него горели глаза и уши. Как, неужели вернулись маралы? Значит, все это правда! Дед говорит, что простила Рогатая мать-олениха людские преступления против нее и разрешила детям своим вернуться в иссык-кульские горы. Дед говорил, что сейчас пришли три марала, чтобы разузнать, как тут, и если им понравится, то все маралы снова вернутся на родину.

— Ата, — прервал деда мальчик. — А может быть, пришла сама Рогатая мать-олениха? Может быть, она хочет посмотреть, как тут у нас, а потом позвать своих детей, а?

— Может быть, — неуверенно промолвил Момун. Он запнулся. Старик почувствовал себя неловко: не слишком ли он увлекся, не слишком ли мальчик уверовал в его слова? Но не стал разуверять дед Момун своего внука, да теперь уже это было бы и слишком поздно. — Кто знает, — пожал он плечами. — Может быть, может быть, пришла

и сама Рогатая мать-олениха. Кто знает…

— А вот мы узнаем. Давай, ата, пойдем на то место, где ты видел маралов, — сказал мальчик, — я тоже хочу посмотреть.

— Но они же не стоят на одном месте.

— А мы пойдем по следам. Будем долго-долго идти по их следам. А как увидим их хоть краешком глаза, вернемся. И тогда они подумают, что люди не будут трогать их.

— Ребенок ты, — усмехнулся дед. — Приедем домой, там видно будет.

Они уже подъезжали к кордону по тропе позади домов. Дом сзади — как человек со спины. Все три дома не подавали никаких знаков, что происходило внутри их. И во дворе тоже было пусто и тихо. Недоброе предчувствие сжало сердце Момуна. Что могло произойти? Избил Орозкул его несчастную Бекей? Напился пьяный? Что еще могло случиться? Почему так тихо, почему никого нет в этот час во дворе? «Если все в порядке, надо вытащить это злосчастное бревно из реки, — подумал Момун. — Ну его, Орозкула, лучше с ним не связываться. Лучше сделать, что хочет, да плюнуть на все это. Ослу ведь не докажешь, что он осел».

Момун подъехал к конюшне.

— Слезай. Вот мы и приехали, — стараясь не выдать своего волнения, сказал он внуку так, как будто они прибыли издалека.

А когда мальчик с портфелем своим побежал было домой, дед Момун остановил его:

— Постой, вместе пойдем.

Он поставил Алабаша в конюшню и, взяв мальчика за руку, пошел к дому.

— Ты смотри, — сказал дед внуку, — если меня будут ругать, ты не бойся и не слушай всякие там разговоры. Тебя это не касается. Твое дело в школу ходить.

Но ничего такого не произошло. Когда они пришли домой, бабка только глянула на Момуна долгим осуждающим взглядом и, поджав губы, снова принялась за свое шитье. Дед тоже ничего не сказал ей. Хмурый и настороженный, он постоял посреди комнаты, потом взял с плиты большую чашку с лапшой, прихватил ложки и хлеб, и они сели с внуком за поздний обед.

Ели молча, а бабка даже не глядела в их сторону. На ее дряблом, коричневом лице застыл гнев. Мальчик понял, что произошло что-то очень плохое. А старики все молчали.

Так страшно, так тревожно становилось мальчику, что и еда не шла в горло. Хуже нет, когда

за обедом люди молчат и думают о чем-то своем, недобром и подозрительном. «Может быть, это мы виноваты?» — мысленно сказал мальчик портфелю. Портфель лежал на подоконнике. Сердце мальчика покатилось по полу, вскарабкалось на подоконник, поближе к портфелю, и зашепталось с ним.

«Ты ничего не знаешь? Почему дедушка такой печальный? В чем он виноват? И почему он опоздал сегодня, почему приехал на Алабаше и без седла? Ведь такого никогда не бывало. Может быть, он увидел маралов в лесу и поэтому задержался?.. А вдруг и нет никаких маралов? Вдруг это неправда? Что тогда? Зачем он рассказывал? Ведь Рогатая мать-олениха очень обидится, если он обманул нас...»

Покончив с обедом, дед Момун сказал негромко мальчику:

— Ты иди во двор, дело есть одно. Поможешь мне. Я сейчас.

Мальчик послушно вышел. И как только он закрыл за собой дверь, раздался голос бабки:

— Ты куда?

— Пойду бревно вывезу. Давеча оно застряло в реке, — ответил Момун.

— А, спохватился! — вскричала бабка. — Опом-

нился! Ты иди, посмотри на свою дочь. Ее Гульджамал увела к себе. Кому она нужна теперь, твоя неродящая дура. Пойди, пусть она скажет, кто она теперь. Как собаку паршивую, выгнал ее из дому муж.

— Ну что же, выгнал так выгнал, — сказал с горечью Момун.

— Ишь ты,! Да кто ты сам? Дочери твои беспутные, так думаешь внука выучить на начальника, что ли? Жди! Было бы из-за кого на рожон лезть. Да еще на Алабаша вскочил и помчался. Гляди какой! Знал бы свое место, помнил бы, с кем ты связываешься… Он тебе шею свернет, как курице. С каких это пор ты стал перечить людям? С каких это пор стал героем? А дочь свою и не думай приводить к нам. На порог не пущу…

Мальчик понуро побрел по двору. В доме еще раздавались крики бабки, потом дверь хлопнула, и Момун выскочил из дому. Старик направился к дому Сейдах-мата, но на пороге его встретила Гульджамал.

— Лучше не надо сейчас, потом, — сказала она Момуну. Момун растерянно остановился. — Плачет, избил он ее, — зашептала Гульджамал. — Говорит, что теперь они жить вместе не будут. Проклинает она вас. Говорит, что во всем отец

виноват.

Момун молчал. Что сказать? Теперь даже родная дочь не хотела видеть его.

— А Орозкул там пьет у себя. Зверь зверем, — шепотом рассказывала Гульджамал.

Они призадумались. Гульджамал сочувственно вздохнула:

— Хоть бы Сейдахмат наш приехал поскорей. Должен бы сегодня вернуться. Вывезли бы вместе это бревно да избавились хоть от этого.

— Разве дело в бревне? — покачал головой Момун. Он задумался и, увидев рядом внука, сказал ему: — «Ты иди поиграй.

Мальчик отошел в сторону. Пошел в сарай, взял спрятанный там бинокль. Отер его от пыли. «Плохи наши дела, — грустно сказал он биноклю. — Кажется, это мы с портфелем виноваты. Была бы где-нибудь другая школа. Ушли бы мы с портфелем туда учиться. И чтобы никто не знал. Только вот деда жалко — искать будет. А ты, бинокль, с кем будешь смотреть на белый пароход? Думаешь, я рыбой не сделался бы? Вот посмотришь. Поплыву к белому пароходу…»

Мальчик спрятался за стогом сена и стал смотреть вокруг в бинокль. Невесело и недолго смотрел. В другое время не наглядишься: стоят

осенние горы, покрытые лесами осенними, наверху снег белый, внизу огонь красный.

Мальчик положил бинокль на место и, выходя из сарая, увидел, как дед повел через двор коня в хомуте и сбруе. Он направился к броду. Мальчик хотел побежать к деду, но его остановил окрик Орозкула. Орозкул выскочил из дому в исподней рубашке, с шубой на плечах. Лицо его было багровым, как воспаленное вымя.

— Эй ты! — грозно крикнул он Момуну. — Куда ведешь коня? А ну, поставь на место. Без тебя вывезем. И не смей трогать. Ты теперь здесь никто. Я тебя увольняю с кордона. Убирайся, куда хочешь.

Дед горько усмехнулся и повел коня обратно в конюшню. Момун вдруг стал совсем стареньким и маленьким. Шел, шаркая подошвами и не глядя по сторонам.

Мальчик задохнулся от обиды за деда и, чтобы никто не видел, как он заплакал, побежал берегом реки. Тропинка впереди туманилась, пропадала и снова ложилась под ноги. Мальчик бежал в слезах. Вот они, его любимые прибрежные валуны: «Танк», «Волк», «Седло», «Лежащий верблюд». Мальчик ничего не сказал им — ничего они не понимают, стоят себе и стоят. Мальчик обнял

горб «Лежащего верблюда» и, приваливаясь к рыжему граниту, заплакал навзрыд, горько и безутешно. Он долго плакал, постепенно стихая и успокаиваясь.

Наконец поднял голову, протер глаза и, глянув перед собой, оцепенел.

Прямо перед ним, на другом берегу, у воды стояли три марала. Настоящие маралы. Живые, они пили воду и, кажется, уже напились. Один — тот, что был с самыми большими, тяжелыми рогами, — снова опустил голову к воде и, потягивая ее, казалось, рассматривал в мелкой заводи свои рога, как в зеркале. Он был буроватого цвета, грудастый и мощный. Когда он вскинул голову, с его волосатой светлой губы упали в воду капли. Пошевеливая ушами, рогач внимательно глянул на мальчика.

Но больше всего на мальчика смотрела белая, бокастая олениха с короной тонких ветвистых рогов на голове. Рога у нее были чуть поменьше, но очень красивые. Она была в точности такая, как Рогатая мать-оле-ниха. Глаза большущие, ясные. А сама — как кобылица статная, приносящая каждый год по жеребенку. Рогатая мать-олениха смотрела на мальчика пристально, спокойно, точно вспоминала, где она видела этого больше-

голового ушастого мальчишку. Глаза ее влажно поблескивали и светились издали. Из ноздрей легкий парок поднимался. Рядом с ней, повернувшись задом, объедал ветки тальника молодой комолый телок. Ему ни до чего не было дела. Он был упитанный, крепкий и веселый. Бросив вдруг глодать ветки, он резко подпрыгнул, задел олениху плечом и, попрыгав еще вокруг, стал ласкаться. Терся своей безрогой головой о бока Рогатой матери-оленихи. А Рогатая мать-олениха все смотрела на мальчика.

Затаив дыхание, мальчик вышел из-за камня, как во сне, протянув руки перед собой, подошел к берегу, к самой воде. Маралы нисколько не испугались. Они спокойно взирали на него с того берега.

Между ними протекала быстрая, прозрачно-зеленоватая река, вскипая, переливаясь через заторы подводных камней. И если бы не эта река, разделявшая их, то можно было бы, казалось, подойти и потрогать маралов. Маралы стояли на ровном, чистом галечнике. А за ними — там, где кончалась полоса галечника, — красной стеной пламенели осенние кущи тугайного леса. А выше — глинистый обрыв, над обрывом золотисто-багряные березы и осины, и еще выше — большой

лес и белый снег на скалистых кряжах.

Мальчик закрыл глаза и снова открыл. Перед ним была все та же картина, а чуть ближе красно лиственного тугая стояли на чистом галечнике все те же сказочные маралы.

Но вот они повернулись и пошли гуськом через галечник в лес. Впереди — большой марал, в середке комолый телок, за ним Рогатая мать-олениха. Она оглянулась, еще раз посмотрела на мальчика. Маралы вошли в тугай, пошли через кусты. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины.

Потом они пошли по тропке вверх, поднялись на обрыв. Здесь остановились. И опять мальчику почудилось, что маралы глядели на него. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел как труба: «Ба-о! Ба-о!» Его голос прокатился над обрывом, над рекой долгим эхом: «А-о, а-о!»

И тут только мальчик опомнился. Со всех ног он кинулся бежать домой по знакомой тропе. Он бежал во весь дух. Он пронесся по двору и, шумно распахнув дверь, крикнул, задыхаясь, с порога:

— Ата! Маралы пришли! Маралы! Они здесь!

Дед Момун глянул на него из угла, где сидел

скорбный и тихий, и ничего не сказал, точно не понимал, о чем идет речь.

— Ладно тебе шуметь! — шикнула бабка. — Пришли так пришли, не до них сейчас.

Мальчик тихо вышел. На дворе было пусто. Осеннее солнце уже заваливалось за Караульную гору, за соседнюю гряду голых сумеречных гор. Густым негреющим заревом рдело солнце на холодеющих горных пустынях. И отсюда это стылое зарево растекалось окрест зыбким отсветом по верхам осенних гор. Леса покрывались вечерней мглою.

Стало зябко. Ветер потянул со снегов. Мальчик дрожал. Его знобило.

6

Его знобило и тогда, когда он лег в постель. Он долго не мог уснуть. На дворе уже чернела ночь. Голова болела. Но мальчик молчал. И никто не знал, что он заболел. Забыли. Да и как тут было не забыть!

Дед совсем сбился с толку. Места себе не находил. То выйдет, то зайдет, то присядет, пригорюнившись и тяжко вздыхая, то снова встанет и куда-то уйдет. Бабка злобно ворчала на старика и тоже шастала взад и вперед, во двор выходила, возвращалась. На дворе раздавались какие-то неясные, отрывистые голоса, чьи-то торопливые шаги, чья-то ругань, — кажется, опять ругался Орозкул, кто-то плакал, всхлипывая…

Мальчик тихо лежал и все больше уставал от всех этих голосов и шагов, от всего того, что происходило в доме и во дворе.

Он закрывал глаза и, скрашивая одиночество свое, свою забытость, вспоминал то, что случилось сегодня, то, что хотелось ему видеть. Он стоял на берегу большой реки. Вода текла так быстро, невозможно было долго смотреть, голова кружилась. А с другого берега глядели на него маралы.

Все три марала, которых он видел под вечер, теперь снова стояли там. И все повторялось снова. С мокрой губы большого рогача упали в заводь те же капли, когда он вскинул голову от воды. А Рогатая мать-олениха все так же пристально смотрела на мальчика добрыми, понимающими глазами. А глаза у нее были большущие, темные и влажные. Мальчик очень удивился, что Рогатая мать-олениха может вздыхать по-человечески. Печально и горестно, как его дед. Потом они уходили через кусты тугая. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины. Они поднялись на обрыв. Здесь остановились. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба: «Ба-о! Ба-о!» Мальчик улыбнулся про себя, вспоминая, как голос большого марала прокатился наД рекой долгим эхом. После этого маралы скрылись в лесу. Но мальчику не хотелось с ними расставаться, и он стал придумывать то, что ему хотелось видеть.

И снова стремительно протекала перед ним большая быстрая река. Голова кружилась от скорости течения. Он прыгнул и перелетел через реку. Плавно и мягко опустился неподалеку от маралов,' которые все так же стояли на галечни-

ке. Рогатая мать-олениха подозвала его к себе:

— Ты чей будешь?

Мальчик молчал: ему стыдно было говорить, чей он.

— Мы с дедом тебя очень любим, Рогатая мать-олениха. Мы тебя давно ждали, — промолвил он.

— И я тебя знаю. И деда твоего знаю. Он хороший человек, — сказала Рогатая мать-олениха.

Мальчик обрадовался, но не знал, как поблагодарить ее.

— Хочешь, я сделаюсь рыбой и поплыву по реке в Иссык-Куль к белому пароходу? — вдруг сказал он.

Это он умел. Но Рогатая мать-олениха ничего не ответила на это. Тогда мальчик стал раздеваться и, как бывало летом, поеживаясь, полез в воду, держась за ветку прибрежного тальника. Но вода оказалась не ледяной, а горячей, жаркой, душной. Он поплыл под водой с открытыми глазами, и мириады золотистых песчинок, мелких подводных камушков закружились вокруг гудящим роем. Он стал задыхаться, и горячий поток все тащил и тащил его.

— Помоги, Рогатая мать-олениха, помоги мне, я тоже твой сын, Рогатая мать-олениха! — громко кричал он.

Рогатая мать-олениха побежала следом по берегу. Быстро бежала, ветер свистел в ее рогах. И сразу ему стало легче.

Он был в поту. Помня, что дед в таких случаях еще теплей укутывал его, мальчик укрылся получше. В доме никого не было. Фитиль в лампе уже нагорел, и потому она тускло светила. Мальчик хотел встать, напиться, но со двора раздались опять какие-то резкие голоса, кто-то на кого-то кричал, кто-то плакал, кто-то успокаивал. Слышалась возня, топот ног… Потом у самого окна, ахая и охая, протопали двое, точно бы один тащил другого. Дверь с шумом распахнулась, и бабка, разъяренная, тяжело дыша, буквально втолкнула деда Момуна в дом. Никогда не видел мальчик деда своего таким перепуганным. Казалось, он ничего не соображал. Глаза старика растерянно блуждали. Бабка толкнула его в грудь, заставила сесть.

— Сиди, сиди, старый дурак, и не лезь, когда не просят. Первый раз, что ли, у них такое? Если хочешь, чтобы все уладилось, сиди и не суйся. Делай, что я тебе говорю. Слышишь? А не то сживет он нас, ты понимаешь, сживет со свету. А куда нам на старости лет идти? Куда? — С этими словами бабка хлопнула дверью и снова торопливо

умчалась.

В доме опять стало тихо. Слышалось только хриплое, прерывистое дыхание деда. Он сидел на приступке у плиты, стиснув голову трясущимися руками. И вдруг старик упал на колени и, вздевая руки, застонал, обращаясь неизвестно к кому:

— Возьми меня, забери меня, горемычного! Только дай ей дитя! Сил моих нет глядеть на нее. Дай хоть одного-единственного, пожалей нас…

Плача и шатаясь, старик встал и, хватаясь за стены, нашарил двери. Он вышел, прикрыл за собой дверь и там, за дверьми, глухо рыдал, зажимая себе рот.

Мальчику стало худо. Опять зазнобило. То в жар, то в холод кидало. Он хотел встать, пойти к деду. Но руки и ноги не слушались, голова налилась болью. А старик плакал за дверью, и во дворе снова бушевал пьяный Орозкул, отчаянно вопила тетка Бекей, умоляли, уговаривали их голоса Гульджамал и бабки.

Мальчик ушел от них в свой воображаемый мир.



Снова стоял он на берегу быстрой реки, а на другом берегу, на галечнике, стояли все те же маралы. И тогда взмолился мальчик: «Рогатая

мать-олениха, принеси тетке Бекей люльку на рогах! Очень прошу тебя, принеси им люльку! Пусть будет у них ребенок», — а сам бежал по воде к Рогатой матери-оленихе. Вода не проваливалась, но и он не приближался к тому берегу, а как будто топтался в беге на месте. И все время умолял, заклинал Рогатую мать-олениху: «Принеси им люльку на рогах! Сделай так, чтобы не плакал наш дед, сделай так, чтобы дядя Орозкул не бил тетку Бекей. Сделай так, чтобы родился у них ребенок. Я всех буду любить, и дядю Орозкула буду любить, только дай ему своего ребенка. Принеси им люльку на рогах!..»

Чудилось мальчику, что зазвенел вдали колоколец. Он звенел все слышней. То бежала по горам мать-оле-ниха и несла на рогах своих, подцепив за дужку, детскую колыбель — березовый бешик с колокольцем. Заливался колыбельный колоколец. Очень спешила Рогатая мать-олениха. Все ближе и ближе звенел колокольчик…

Но что это? К звону колокольчика присоединился далекий гул мотора. Где-то шел грузовик. Гудение машины нарастало все сильней, все явственней, а колокольчик оробел, телинькал с перебоями и вскоре совсем затерялся в шуме мотора.

Мальчик услышал, как, погромыхивая железом о железо, подъехала ко двору машина. Собака с лаем кинулась на задворье. На минуту колыхнулся в окне отраженный свет фар и сразу погас. И мотор заглох. Хлопнули дверцы кабины. Переговариваясь между собой, приезжие — судя по голосам, человека три — прошли мимо окна, за которым лежал мальчик.

— Сейдахмат приехал, — раздался вдруг обрадованный голос Гульджамал, и слышно было, как она заторопилась навстречу мужу. — А мы заждались!

— Здравствуйте, — ответили ей незнакомые люди.

— Ну, как вы тут? — спросил Сейдахмат.

— Да ничего. Живем. Что так поздно?

— И то скажи — удачно. Добрался до совхоза, жду-пожду попутную машину. Хотя бы до Джелесая. А тут как раз вот они к нам за лесом, — рассказывал Сейдахмат. — Темно по ущелью. Дорога — сама знаешь.

— А Орозкул где? Дома? — поинтересовался один из приезжих.

— Дома, — неуверенно ответила Гульджамал. — Приболел малость. Да вы не беспокойтесь. Переночуете у нас, место есть. Идемте.

Они двинулись. Но через несколько шагов приостановились.

— Здравствуйте, аксакал. Здравствуйте, байбиче.

Приезжие здоровались с дедом Момуном и бабкой. Стало быть, те устыдились приезжих, встретили их во дворе, как положено встречать чужих. Может быть, и Орозкул устыдится? Хоть бы уж не позорил себя и других.

Мальчик немного успокоился. Да и вообще ему стало чуть легче. Голову ломило меньше. Он даже подумывал, не встать ли и не пойти посмотреть на машину — какая она, на четырех колесах или на шести? Новая или старая? А прицеп какой? Однажды весной нынешней к ним на кордон заезжал даже военный грузовик — на высоких колесах и курносый, точно ему нос отрубили. Молодой солдат-шофер пустил мальчика посидеть в кабине. Здорово! А прибывший военный с золотистыми погонами ходил вместе с Орозкулом в лес. Чего это? Никогда такого не бывало.

— Вы что, шпиона ищете? — спросил мальчик солдата.

Тот усмехнулся:

— Да, шпиона ищем.

— А к нам еще ни один шпион не приходил, —

грустно проронил мальчик.

Солдат рассмеялся:

— А зачем он тебе?

Я бы гонялся за ним и поймал бы его.

— Ух ты, какой прыткий! Мал еще, подрасти.

И пока военный с золотыми погонами ходил с Орозкулом по лесу, мальчик с шофером разговорились.

— Я люблю все машины и всех шоферов, — сказал мальчик.

— Это почему же? — поинтересовался солдат.

— Машины — они хорошие, сильные и быстрые. И они хорошо пахну! бензином. А шоферы — они все молодые, и все они дети Рогатой матери-оленихи.

— Что? Что? — не понял солдат. — Какой это Рогатой матери?

— А ты разве не знаешь?

— Нет. Никогда не слышал о таком чуде.

— А кто ты?

— Я из Караганды, казах. В школе шахтерской учился.

— Нет, чей ты?

— Отца, матери.

— А они чьи?

— Тоже отца, матери.

— А они?

— Слушай, да так можно без конца спрашивать.

— А я сын сыновей Рогатой матери-оленихи.

— Кто это тебе сказал?

— Дедушка.

— Что-то не то, — сомневаясь, покачал головой солдат.

Его заинтересовал этот головастый мальчишка с оттопыренными ушами, сын сыновей Рогатой матери-оленихи. Солдат, однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что он не только не знает, откуда его род начинается, но даже и обязательного колена семерых отцов не знает. Он знал только своего отца, деда, прадеда. А дальше?

— Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков? — спросил мальчик.

— Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего. Живу нормально.

— Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.

— Кто испортится? Люди?

— Да.

— А почему?

— Дед говорит, что тогда никто не будет сты-

диться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать.

— Ну и дед у тебя! — искренне подивился солдат. — Интересный дед. Только забивает он тебе голову всякой чепухой. А ты ведь большеголовый… И уши у. тебя такие, как локаторы у нас на полигоне. Не слушай ты его. К коммунизму идем, в космос летаем, а он чему учит? К нам бы на политзанятия его, мы бы его мигом образовали. Вот ты вырастешь, выучишься — и уезжай давай от деда. Темный, некультурный он человек.

— Нет, я от деда никогда не уйду, — возразил мальчик. — Он хороший.

— Ну, это пока что. А потом поймешь.

Сейчас, прислушиваясь к голосам, мальчик вспомнил об этой военной машине и то, как он тогда так и не сумел толком объяснить солдату, почему здешние шоферы, по крайней мере, те, которых он знал, считались сыновьями Рогатой матери-оленихи.

Мальчик говорил ему правду. В его словах не было никакой выдумки. В прошлом году, как раз в такую же осеннюю пору или, кажется, чуть позднее, в горы за сеном приехали совхозные

машины. Они проезжали не мимо кордона, а, немного не доезжая до него, сворачивали по дороге в лощину Арчу и уходили наверх — туда, где летом накосили сено, чтобы затем осенью вывезти в совхоз. Заслышав небывалое гудение моторов на Караульной горе, мальчик побежал на развилку. Сразу столько машин. Одна за другой. Целая колонна. Он насчитал их пятнадцать штук.

Погода стояла на изломе, со дня на день мог повалить снег — и тогда «Прощай, сено, до следующего года». В этих местах, если не успеешь вовремя вывезти сено, потом о нем и не думай. Не проедешь. Видимо, замешкались в совхозе с разными делами; и когда время поджало, решили одним разом, всеми машинами вывезти заготовленное сено. Но не тут-то было!..

Мальчик, однако, об этом не знал, да ему-то, собственно, какое дело? Суматошный, радостный, он просто бежал навстречу каждой машине, немного пробегал наперегонки с ней, потом встречал следующую. Грузовики катились все новенькие, с красивыми кабинами, с широкими стеклами. А в кабинах сидели молодые джигиты, все как на подбор безусые, а в иных по двое парней. Напарники ехали накладывать и увязывать сено. Все

они казались мальчику красивыми, бравыми, веселыми. Как в кино.

В общем-то мальчик не ошибался. Так оно и было. Машины у ребят были исправные, и они быстро мчались, миновав спуск с Караульной горы, по щебенистой, твердой дороге. Настроение у них было отличное — погода неплохая, а тут еще, откуда ни возьмись, какой-то ушастый и головастый сорванец выбегает навстречу каждой машине, ошалев от дикой радости. Как тут было не посмеяться и не помахать ему рукой и не пригрозить ему шутя, чтобы он еще больше веселился и озорничал…

А самый последний грузовик, так тот даже остановился. Выглянул из кабины молодой парень в солдатской одежде, бушлате, но только без погон и без военной фуражки, а в кепке. Это был шофер.

— Здравствуй! Ты чего тут, а? — приветливо подмигнул он мальчишке.

— Так просто, — не без смущения ответил мальчик.

— Ты деда Момуна внук?

— Да.

— Я так и знал. Я ведь тоже бугинец. Да тут все ребята поехали бугинцы. За сеном катим.

Теперешние бугинцы друг друга и не знают, поразбрелись… Деду привет передай. Скажи, что видел Кулубека, сына Чотбая. Скажи, что вернулся Кулубек из армии и теперь шофером в совхозе. Ну, бывай! — И на прощание он подарил мальчику какой-то военный значок, очень занятный. На орден похожий.

Машина зарычала, как барс, и унеслась, догоняя своих. И так захотелось вдруг мальчику уехать с этим приветливым, бравым парнем в бушлате, с братом-бугинцем. Но дорога уже опустела, и пришлось ему возвращаться домой. Гордый вернулся, однако рассказал деду о встрече. А значок нацепил на грудь.

В тот день под вечер ударил вдруг ветер санташский, оттуда, с хребта поднебесного. Обрушился шквалом. Листья над лесом взметнулись столбом и, поднимаясь в небо все выше, с гулом понеслись над горами. И вмиг закрутилась такая непогодь, глаз не раскроешь. И сразу снег. Белая тьма нагрянула на землю, закачались леса, река взбурлила. И сыпал, вьюжился снег.

Кое-как успели загнать скотину, убрать кое-что со двора, кое-как успели дров побольше наносить в дом. А потом уже и носа из дому не показывали. Куда там — в такую раннюю да страшную

метель.

— К чему бы это? — недоумевал и тревожился дед Момун, растапливая печь. Он все прислушивался к свисту ветра, то и дело подходил к окну.

За окном быстро сгущалась крутящаяся снежная мгла.

— Да сядь ты на место, — ворчала бабка. — Первый раз такое, что ли? «К чему бы это?» — передразнила она. — К тому, что настала зима.

— Так уж и враз, в один день?

— А почему бы и нет? Спрашивать тебя будет? Надо ей, зиме, вот она и явилась.

В трубе завывало. Мальчик вначале оробел, да и замерз он, помогая деду по хозяйству; но вскоре дрова разгорелись, тепло стало, запахло в доме смолой горячей, дымком сосновым, и мальчик успокоился, угрелся.

Потом ужинали. Потом легли спать. А на дворе валил, крутился снег, ветер лютовал.

«В лесу, наверно, совсем страшно», — думал мальчик, прислушиваясь к звукам за окнами. Ему стало не по себе, когда вдруг стали доноситься какие-то смутные голоса, выкрики какие-то. Кто-то кого-то звал, кто-то откликался. Вначале мальчик решил, что ему показалось. Кто мог в такое время появиться на кордоне? Но и дед

Момун, и бабка насторожились.

— Люди, — сказала бабка.

— Да, — неуверенно отозвался старик.

А потом забеспокоился: откуда в такой час? И стал торопливо одеваться. И бабка заторопилась. Встала, лампу засветила. И мальчик, испугавшись чего-то, быстро оделся. Тем временем люди подошли к дому. Много голосов, и много ног. Скрипя наметенным снегом, пришельцы загремели подошвами по веранде, забарабанили в дверь.

— Аксакал, откройте! Замерзаем!

— Кто вы?

— Свои.

Момун открыл дверь. И вместе с клубами холода, ветра и снега в дом ввалились облепленные снегом те самые молодые шоферы, которые проезжали днем в урочище Арча за сеном. Мальчик сразу узнал их. И Ку-лубека в бушлате, подарившего ему военный значок. Одного они вели, поддерживая под руки, он стонал, волочил ногу. И в доме сразу поднялся переполох.

— Астапралла![29] Что с вами? — в один голос запричитали дед Момун и бабка.

---

[29] Примечания: 29

Астапралла — упаси, господи!

— Потом расскажем! Там Идут еще наши, человек семь. Как бы с дороги не сбились. А ну, садись сюда. Ногу подвернул, — быстро говорил Кулубек, усаживая стонущего парня на приступку у печи.

— Где ж они, ваши? — заторопился дед Момун. — Я сейчас пойду, приведу их. А ты беги, — сказал он мальчику. — Скажи Сейдахмату, чтобы он скорей с фонарем прибежал, электрическим.

Мальчик выскочил из дома и захлебнулся. До конца своей жизни он помнил эту грозную минуту. Какое-то косматое, холодное, свистящее чудовище схватило его за горло и начало трепать. Но он не дрогнул. Он вырывался из цепких лап и, защищая голову руками, бежал к дому Сейдахмата. Тут всего шагов двадцать — тридцать, а ему казалось, что он бежит далеко, сквозь бурю, как батыр на выручку своих воинов. Сердце его преисполнилось отвагой и решимостью. Он казался себе могучим и непобедимым; и пока добежал до дома Сейдахмата, успел совершить такие геройские подвиги, от которых дух захватывало. Он прыгал через пропасти с горы на гору, он разил мечом полчища врагов, он спасал горящих в огне и тонущих в реке, он гонялся на реактивном истребителе с развевающимся красным знаменем за косматым, черным чудовищем, убегающим

от него по ущельям и скалам. Его реактивный истребитель пулей летел за чудовищем.

Мальчик строчил в него из пулемета и кричал: «Бей фашиста!» И везде при этом присутствовала Рогатая мать-олениха. Она была горда им. Когда мальчик подбегал уже к двери Сейдахматова дома, Рогатая мать-олениха сказала ему: «А теперь спаси сыновей моих, молодых шоферов!» «Я спасу их, Рогатая мать-олениха, клянусь тебе!» — сказал мальчик вслух и забарабанил в двери.

— Скорее, дядя Сейдахмат, идемте спасать наших! — Он выпалил эти слова так, что и Сейдахмат и Гульджамал отпрянули в страхе.

— Кого спасать? Что случилось?

— Дедушка сказал, чтобы с фонарем бежать электрическим, шоферы из совхоза заблудились.

— Дурак! — обругал его Сейдахмат. — Так бы и сказал. — И кинулся собираться.

Но это нисколько не обидело мальчика. Откуда было знать Сейдахмату, какие подвиги он совершил, чтобы добраться к ним, какую клятву произнес. Не очень смутился мальчик и тогда, когда узнал, что семеро шоферов были встречены дедом Момуном и Сейдахматом сразу же возле кордона и приведены домой. Ведь могло случиться и не так! Опасность легка, когда опас-

ность миновала… В общем, нашлись и эти люди. Сейдахмат повел их к себе. Даже Орозкул пустил человек пять на ночевку — его тоже пришлось разбудить. А все остальные набились в дом к деду Момуну.

А метель в горах не утихала. Мальчик выбегал на веранду и через минуту уже не понимал, где право, где лево, где верх, где низ. Кружила, ярилась метельная ночь. Снегу навалило по колени.

И только теперь, когда все совхозные шоферы были найдены, когда они обогрелись, отошли от страха и холода, дед Момун осторожно выведал, что же случилось с ними, хотя и так было ясно, что застигла их непогода в пути. Ребята рассказывали, а старик и бабка вздыхали.

— Ой-ой-ой! — дивились они случившемуся и благодарили бога, прижимая руки к груди.

— А оделись вы, ребята, так легко, — упрекала бабка, разливая им горячий чай. — Разве можно приезжать в горы в такой одежонке? Дети вы, дети!.. Все красуетесь, на городских хотите походить. А если бы сбились с пути, да до утра, не приведи, господи, закоченели бы как ледышки.

— Кто же знал, что случится такое? — отвечал ей Кулубек. — Зачем нам тепло одеваться? Если что, так машины у нас обогреваются изнутри.

Сиди себе, как дома. Крути баранку. В самолете — вон он на какой высоте летит — эти горы сверху все равно, что холмики, за бортом мороз сорок градусов, а внутри люди в рубашках ходят…

Мальчик лежал на овчине между шоферами. Приткнулся возле Кулубека и во все уши слушал разговор взрослых. Никто не догадывался, что он даже рад был, что приключился вдруг такой буран, заставивший этих людей искать прибежища у них на кордоне. Втайне он очень хотел, чтобы не стихал буран много дней, — по крайней мере дня три. Пусть они живут у них. С ними так хорошо! Интересно. Дед, оказывается, всех знает. Не самих, так отцов и матерей.

— Ну вот, — чуть-чуть даже горделиво говорил дед внуку, — увидел своих братьев, бугинцев. Будешь знать теперь, какие они у тебя есть. Вон какие! Ох, и рослые пошли нынешние джигиты! Дай бог вам здоровья! Помню, в сорок втором году зимой привезли нас в Магнитогорск на строительство…

И дед принялся рассказывать хорошо известную мальчику историю, как выстроили их, трудармейцев, привезенных с разных концов страны, в длиннющий строй по ранжиру, и оказалось, что киргизы почти все в самом конце,

малорослые. Устроили им перекличку, а потом перекур. Подходит к ним какой-то верзила, рыжий и здоровенный. И громко так это:

— Откуда такие? Маньчжуры?

Среди них был старый учитель. Тот и ответил:

— Мы киргизы. А когда мы воевали с маньчжурами неподалеку отсюда, то Магнитогорска тогда и в помине не было. А ростом были мы такие, как ты. Вот кончим воевать и подрастем еще…

Дед вспомнил этот давнишний случай. Посмеиваясь, довольный, оглядел еще раз своих ночных гостей.

— Прав оказался тот учитель. В городе когда бываю, или по дороге присматриваюсь: красивый, рослый народ пошел. Не то, что в прежние времена…

Парни понимающе улыбались: любит старик побалагурить.

— Рослые-то мы рослые, — сказал один из них. — Да вот завалили машину в кювет. Сколько нас, а силенок не хватило…

— Ну, куда там! Груженная сеном, да при такой метели, — оправдывал их дед Момун. — Случается. Бог даст, завтра все уладится. Главное, чтобы ветер утих.

Парни рассказывали деду, как они приехали на

верхний сенокос Арчи. Там стояли три большие скирды горного сена. Начали грузиться сразу со всех трех скирд. Укладывали возы высоко, выше дома, так что сверху потом приходилось опускаться на арканах. И так нагружали машину за машиной. Кабин не видно, только ветровые стекла, капоты и колеса. Хотелось, раз уж приехали, вывезти все, чтобы не возвращаться. Знали, что если останется сено, то уже до следующего года. Работали споро. Тот, чья машина была готова, отгонял ее в сторону и помогал укладывать другую. Уложили почти все сено, осталось на два воза, не больше. Перекурили, договорились, кто за кем будет держаться, и все вместе выехали колонной. Осторожно ехали, чуть ли не ощупью спускались с гор. Сено — груз не тяжелый, но неудобный и даже опасный, особенно в узких местах и на крутых поворотах.

Ехали и не подозревали, что ждет их впереди.

Спустились с плоскогорья Арчи, потянулись ущельем, а на выходе из ущелья, под вечер уже, встретил их ураган, снег ударил.

— Такое началось, что спина сразу взмокла, — рассказывал Кулубек. — Сразу тьма, ветер такой, что баранку вырывает из рук. Боишься, вот-вот опрокинет машину. А тут еще дорога такая, что

по ней и днем-то опасно…

Мальчик слушал, затаив дыхание, замерев, не спуская сияющих глаз с Кулубека. Все тот же ветер, все тот же снег, о которых шла речь, бушевали за окном. Многие шоферы и грузчики уже спали вповалку на полу, одетые, в сапогах. И все то, что они пережили, теперь заново переживал этот головастый мальчишка с тонкой шеей и оттопыренными ушами.

Через несколько минут дорога стала невидимой. Машины, как слепцы за поводыря, держались одна за другую и все время сигналили, чтобы не отбиться в сторону. Снег шел стеной, залеплял фары, «дворники» не успевали счищать со стекол наледь. Пришлось ехать, высунувшись из кабин: но разве это езда? А снег все валил и валил… Колеса стали буксовать. Колонна остановилась перед крутым подъемом. Моторы бешено ревели — все бесполезно… Выскочили из кабин и на голос друг друга, перебежками от одной машины к другой, собрались в голове колонны. Как быть? Костер развести невозможно. Сидеть в кабинах — значит сжечь остаток горючего, которого и так едва-едва хватило бы теперь до совхоза. А не отапливать кабины — запросто можно замерзнуть. Растерялись ребята. Всесильная техника стояла бессильной.

Что делать? Кто-то предложил вывалить из одной машины сено и всем закопаться в нем. Но ясно было, что стоит только развязать воз, как от сена не останется и клочка: унесет буря — и глазом не успеешь моргнуть. А машины тем временем все больше заносило снегом, уже сугробы намело под колесами. Совсем растерялись ребята, заледенели на ветру.

— И вдруг вспомнил я, аксакал, — рассказывал Ку-лубек деду Момуну, — что встретил на дороге, когда ехали мы на Арчу, вот его, младшего брата-бугинца, — указал он на мальчика и ласково погладил его по голове. — Бегал у дороги. Остановился я. Как же — поздоровался. Поговорили мы. Правда? Ты чего не спишь?

Мальчик, улыбаясь, кивнул головой. Но если бы знал кто, как горячо и гулко заколотилось его сердце от радости и гордости. Сам Кулубек говорил о нем. Самый сильный, самый смелый и самый красивый среди этих парней. Вот бы таким стать!

И дед похвалил его, подсовывая в огонь дрова:

— Он у нас такой. Любит слушать разговоры. Видишь, уши как развесил!

— И как я вспомнил о нем в ту минуту, сам не знаю! — продолжал Кулубек. — И говорю

ребятам, кричу почти, ветер глушит слова. «Давай, — говорю, — добираться до кем)дона. Иначе погибнем здесь». «А как, — кричат мне ребята в лицо, — как добираться? Пешком не пойдем. И машины бросать нельзя». А я им: «Давай, — говорю, — выталкивать машины на гору, а там дорога идет на спуск. Нам бы только до Сан-Ташской пади, — говорю, — а там пешком доберемся к нашим лесникам, там недалеко». Поняли ребята. «Давай, — говорят, — командуй». Ну, раз такое дело… Начали с головной машины: «Осмоналы, залезай в кабину!» А все мы, сколько нас было, подперли машину плечом. И пошел! Сначала вроде двинулось дело. Потом выдохлись. А назад отступать нельзя. И чудилось, что не машину мы прем наверх, а целую гору. Воз-то какой — скирда на колесах! И знаю только, что ору, сколько мочи есть: «Давай! Давай! Давай!» — но сам себя не слышу. Ветер, снег, не видать ничего. Машина воет, плачет, как живая. Из последних сил взбирается. И мы тут. И сердце, кажется, лопнет, разлетится на куски. В голове мутится…

— Ай-ай-ай! — сокрушался дед Момун. — Выпало же вам такое. Никак, сама Рогатая мать-олениха оберегла вас, детей своих. Вызволила. А не то, кто знает… Слышишь? И не утихает на дворе, все

крутит, метет…

Глаза мальчика слипались. Он заставлял себя не спать, а веки снова слипались. И в полусне, слушая урывками разговор старика и Кулубека, мальчик путал явь с воображаемыми картинами. Ему казалось, что он тоже там, среди этих молодых парней, застигнутых бураном в горах. Перед его взором крутая дорога, восходящая на белую-белую, заснеженную гору. Метель жгла щеки. Глаза резало. Они толкали вверх огромную, с дом, автомашину с сеном. Медленно, очень медленно поднимались они по дороге. А грузовик уже не идет — сдает, пятится. Так страшно. Так темно. Ветер такой жгучий. Мальчик от страха сжимался, боясь, что машина сорвется и раздавит их. Но тут откуда-то появилась Рогатая мать-олениха. Она уперлась рогами в машину, стала помогать им, толкать ее наверх. «Давай, давай, давай!» — закричал мальчик. И машина пошла, пошла. Вылезли на гору, и машина поехала вниз сама. А они тащили наверх вторую, а потом третью и еще много машин. И всякий раз им помогала Рогатая мать-олениха. Ее никто не видел. Никто не знал, что она рядом с ними. А мальчик видел и знал. Он видел всякий раз, когда становилось невмоготу, когда становилось страшно, что сил

не хватит, подбегала Рогатая мать-олениха и рогами помогала им выкатить машину наверх. «Давай, давай, давай!» — подхватывал мальчик. И все время он был рядом с Кулубеком. Потом Кулубек сказал ему: «Садись за руль». Мальчик сел в кабину. Машина дрожала и гудела. И руль крутился в руках сам по себе, свободно, как обруч с бочки, с которым он играл в автомобиль — еще малышом. Стыд испытывал мальчик, что руль у него оказался такой, игрушечный. И вдруг машина стала крениться, падать набок. И упала с грохотом, и разбилась. Мальчик громко заплакал. Очень стыдно стало. Стыдно было смотреть в глаза Кулубека.

— Ты чего? Ты чего, а? — разбудил его Кулубек. Мальчик открыл глаза. И обрадовался, что все это оказалось сном. А Кулубек поднял его на руки, прижал к себе.

— Приснилось? Испугался? Эх ты, а еще герой! — Он поцеловал мальчика жесткими, обветренными губами. — Ну, давай я тебя уложу, спать надо.

Он уложил мальчика на полу, на кошме, между спящими шоферами, и сам лег рядом с ним, придвинул его поближе к себе, под бок, и прикрылся полой бушлата.

Рано утром мальчика разбудил дед.

— Проснись, — тихо сказал старик. — Оденься потеплее. Поможешь мне. Вставай.

За окном мутно просвечивал утренний полумрак. В доме все еще спали вповалку.

— На, обуй валенки, — сказал дед Момун.

От деда пахло свежим сеном. Значит, он уже задал корм лошадям. Мальчик влез в валенки, и они с дедом вышли во двор. Снегу намело изрядно. Но ветер поутих. Изредка только пошевеливалась поземка.

— Холодно! — вздрогнул мальчик.

— Ничего. Вроде развидняется, — пробурчал старик. — Надо же! С первого раза как закрутило. Ну да ладно, лишь бы бедой не обернулось…

Они вошли в хлев, где стояли пять момуновских овец. Старик нашарил на столбе фонарь, зажег его. Овцы оглянулись в углу, заперхали.

— Держи, будешь мне светить, — сказал старик мальчику, передав ему фонарь. — Зарежем черную ярку. Гостей полон дом. Пока встанут, мясо чтобы было у нас готово.

Мальчик светил фонарем деду. Еще посвистывал ветер в щелях, еще холодно и сумрачно было на дворе. Старик вначале бросил у входа охапку чистого сена. Привел на это место черную ярку и,

прежде чем повалить ее, связать ноги, призадумался, присел на корточки.

— Поставь фонарь. Садись и ты, — сказал он мальчику.

А сам зашептал, раскрыв ладони перед собой:

— О великая прародительница наша, Рогатая мать-олениха. Приношу тебе в жертву черную овцу. За спасение детей наших в час опасный. За белое молоко твое, которым ты вскормила наших предков, за доброе сердце твое, за материнское око. Не покидай нас на перевалах, на бурных реках, на скользких тропах. Не покидай нас вовеки на нашей земле, мы твои дети. Аминь!

Он молитвенно провел ладонями по лицу, вниз от лба к подбородку. Мальчик сделал то же. И тогда дед повалил овцу на землю, связал ей ноги. Вынул из ножен свой старый азиатский нож.

А мальчик светил ему фонарем.

Погода утихомирилась наконец. Раза два испуганно проглянуло солнце сквозь разрывы бегущих туч. Кругом лежали следы прошлой бурной ночи: сугробы вкривь и вкось, смятые кусты, согнувшиеся в дугу от тяжести снега молодые деревца, поваленные старые деревья. Лес за рекой стоял молчаливый, тихий, какой-то подавленный. И сама река точно бы ушла ниже, берега ее

наросли снегом, стали круче. Вода шумела тише.

Солнце оставалось неустойчивым — то проглянет, то скроется.

Но ничто не омрачало и не тревожило душу мальчика. Тревоги прошлой ночи забылись, буран забылся, а снег ему не мешал — так даже интересней. Носился туда-сюда, только комья летели из-под ног. Ему было весело оттого, что в доме полно народу, оттого, что парни выспались, громко говорили, смеялись, оттого, что с аппетитом ели сваренную для них баранину.

Тем временем и солнце стало налаживаться. Чище и дольше светило. Тучи понемногу рассеивались. И даже потеплело. Неурочный снег стал быстро оседать, особенно на дороге и тропах.

Правда, мальчик заволновался, когда шоферы и грузчики стали собираться в дорогу. Вышли все во двор, попрощались с хозяевами кордона, поблагодарили за кров и хлеб. Их провожали на лошадях дед Момун и Сейдахмат. Дед вез вязанку дров, а Сейдахмат — большой оцинкованный бак, чтобы греть воду для застывших моторов.

Все двинулись со двора.

— Ата, и я пойду, возьми меня, — подбежал мальчик к деду.

— Ты же видишь, я везу дрова, а Сейдахмат

везет бак. Некому тебя взять. И зачем тебе туда? Устанешь ходить по снегу.

Мальчик обиделся. Надулся. И тогда его взял с собой Кулубек.

— Пошли с нами, — сказал он и взял его за руку. — Назад поедешь с дедом.

И они пошли на развилку — туда, куда спускалась дорога с сенокоса Арча. Снегу лежало еще порядочно. Не так просто оказалось поспевать в шаг с этими крепкими парнями. Мальчик стал уставать.

— Ну-ка, давай садись ко мне на спину, — предложил Кулубек. Он ловко взял мальчика за руку и ловко вскинул его к себе за плечи. И понес так привычно, словно каждый день носил его на спине.

— Здорово это получается у тебя, Кулубек, — сказал шофер, идущий рядом.

— А я всю жизнь братьев и сестер носил, — похвалился Кулубек. — Я ведь старший, а нас было шестеро, мать на работе в поле, отец тоже. А теперь у сестер уж дети. Вернулся из армии холостой, на работу еще не поступал. А сестренка — та, что старшая, — «Приезжай, — говорит, — к нам, живи у нас, ты так хорошо нянчишь детей». «Ну, нет, — говорю ей, — хватит! Я теперь своих

буду носить...»

Так они шли, поговаривая о разном. Хорошо и покойно было мальчику ехать на крепкой спине Кулубека.

«Вот был бы у меня такой брат! — мечтал он. — Я бы никого не боялся. Попробовал бы Орозкул накричать на деда или тронуть кого, сразу притих бы, если б Кулубек глянул на него построже».

Машины с сеном, оставленные вчерашней ночью, стояли километрах в двух выше развилки. Занесенные снегом, они походили на зимние стога в поле. Казалось, никто и никак не сдвинет их с места.

Но вот разложили костер. Нагрели воду. Стали заводить мотор заводской ручкой, и мотор ожил, зачихал, заработал. А дальше дело пошло быстрей. Каждую следующую машину заводили с буксира. Каждая заведенная, разогретая машина тащила затем ту, которая Стояла за ней в колонне.

Когда все грузовики заработали, подняли двойным буксиром ту машину, которая завалилась ночью в кювет. Все, кто был, помогали ей вылезти на дорогу. И мальчик тоже примостился с краешка, тоже помогал. Он все время опасался, что кто-нибудь скажет: «А ты чего путаешься под

ногами? А ну, беги отсюда!» Но никто не сказал этих слов, никто не прогнал его. Может быть, потому, что Кулубек разрешил ему помогать. А он здесь самый сильный, и его все уважают.

Шоферы еще раз попрощались. Машины тронулись. Сначала медленно, потом быстрей. И потянулись караваном по дороге среди заснеженных гор. Уехали сыновья сыновей Рогатой матери-оленихи. Они не знали, что волей детского воображения впереди них по дороге невидимо бежала Рогатая мать-олениха. Длинными, стремительными прыжками неслась она впереди автоколонны. Она охраняла их от бед и несчастий на трудном пути. От обвалов, от снежных лавин, от пурги, от тумана и прочих невзгод, от которых за многие века кочевой жизни киргизы натерпелись столько бед. Разве не об этом просил дед Момун Рогатую мать-олениху, принося ей в жертву черную овцу на рассвете?

Уехали. А мальчик тоже уезжал вместе с ними. Мысленно. Он сидел в кабине рядом с Кулубеком. «Дядя Кулубек, — говорил он ему. — А впереди нас бежит по дороге Рогатая мать-олениха». — «Да ну?» — «Правда. Честное слово. Вот она!»

— Ну, ты чего задумался? Что стоишь? — заставил его очнуться дед Момун. — Садись, домой

пора. — Он наклонился с лошади, поднял мальчика на седло. — Тебе холодно? — сказал старик и потеплей укутал внука полами шубы.

Мальчик тогда еще не ходил в школу.

А теперь, просыпаясь по временам от тяжелого сна, он с беспокойством думал: «Как же я пойду завтра в школу? Ведь я заболел, мне так плохо...» Потом он забывался. Ему казалось, что он переписывает в тетрадь слова, написанные учительницей на доске: «Ат. Ата. Така»[30]. Этими письменами первоклассника он заполнял всю тетрадь, страницу за страницей. «Ат. Ата. Така, Ат. Ата. Така». Он уставал, в глазах рябило, и становилось жарко, очень жарко, мальчик открывался. А когда лежал открытым и мерз, опять посещали его разные видения. То он плавал рыбой в студеной реке, плыл к белому пароходу и никак не мог доплыть. То попадал в снежную метель. В дымном, холодном вихре буксовали автомашины с сеном на крутой дороге в гору. Машины рыдали, как рыдают люди, и все буксовали на месте. Колеса, бешено вращаясь, становились огненно-красными. Колеса горели, пламя шло от них. Упираясь рогами в кузов, Рогатая

---

[30] Примечания: 30

Ат, ата, така — лошадь, отец, подкова.

мать-олениха выкатывала машину с возом сена на гору. Мальчик помогал ей, старался изо всех сил. Обливался горячим потом. И вдруг воз сена превратился в детскую колыбель. Рогатая мать-олениха сказала мальчику: «Побежали быстрей, отнесем бешик тетке Бекей и дяде Орозкулу». И они пустились бежать. Мальчик отстал. Но впереди, в темноте, все звенел и звенел колыбельный колокольчик. Мальчик бежал на его зов.

Он проснулся, когда послышались шаги на веранде и скрипнула дверь. Дед Момун и бабка вернулись, как будто немного успокоенные. Приезд посторонних на кордон, видимо, заставил Орозкула и тетку Бекей приутихнуть. А может быть, Орозкул устал пьянствовать и уснул наконец. На дворе не слышно было ни криков, ни ругани.

Около полуночи луна встала над горами. Она зависла туманным диском над самой высокой ледяной вершиной. Гора, окованная вечным льдом, высилась во мраке, призрачно поблескивая неровными гранями. А вокруг в полном безмолвии пребывали горы, скалы, черные и неподвижные леса, и в самом низу билась и шумела река на камнях.

В окно косым потоком падал неверный свет

луны. Этот свет мешал мальчику. Он ворочался, жмурил глаза. Хотел попросить бабку, чтобы она занавесила окно. Но не стал: бабка была сердита на деда.

— Дурак, — шептала она, ложась спать. — Если не знаешь, как жить с людьми, то хоть бы уж помалкивал. Слушался бы других. Ты же у него в руках. Жалованье идет тебе от него, пусть грошовое. Зато каждый месяц. А без жалованья — кто ты есть? Стар, а ума не нажил…

Старик не отвечал. Бабка умолкла. Потом вдруг неожиданно громко сказала:

— Если у человека отбирают жалованье, он уже не человек. Он никто.

И опять старик ничего не ответил.

А мальчик не мог уснуть. Голова болела, и мысли мешались. О школе думал — тревожился. Он еще ни разу не пропустил ни одного дня и теперь не представлял себе, как быть, если завтра не сможет поехать в свою школу в Джелесае. Думал мальчик и о том, что если Орозкул выгонит деда с работы, то бабка житья не даст старику. Как им быть тогда?

Почему люди так живут? Почему одни злые, другие добрые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все

боятся, и такие, которых никто не боится? Почему у одних есть дети, у других нет? Почему одни люди могут не выдавать жалованье другим? Наверное, самые лучшие люди те, которые получают самое большое жалованье. А вот дед получает мало, и его все обижают. Эх, как бы сделать, чтобы деду тоже дали побольше жалованья! Может быть, тогда и Орозкул начал бы уважать деда.

От этих мыслей голова мальчика разбаливалась все больше. Опять вспомнил он про маралов, виденных под вечер у брода за рекой. Как-то им там ночью? Одни ведь они в холодных и каменных горах, в черном, непроглядном лесу. Страшно ведь очень. А вдруг волки нападут, что тогда? Кто принесет тетке Бекей волшебную колыбель на рогах?

Он заснул тревожным сном и, засыпая, умолял Рогатую мать-олениху принести березовый бешик для Орозкула и тетки Бекей. «Пусть будут у них дети, пусть будут у них дети!» — заклинал он Рогатую мать-олениху. И слышал отдаленный звон колыбельного колокольчика. Спешила Рогатая мать-олениха, подцепив на рога волшебную колыбель…

7

Рано утром мальчик проснулся от прикосновения руки. Рука деда была холодная, с улицы. Мальчик невольно поежился…

— Лежи, лежи. — Дед согрел руки дыханием, пощупал его лоб, потом положил ладонь на грудь, на живот. — Да ты, никак, занемог, — огорчился дед. — Жар у тебя. А я думаю, что он лежит? В школу пора.

— Я сейчас, я встану, — приподнял голову мальчик, и все закружилось у него перед глазами, и в ушах зашумело.

— И не думай вставать. — Дед уложил мальчика на подушку. — Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык.

Мальчик попытался настоять на своем:

— Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу…

— Не заругает. Я сам скажу. Ну-ка, давай покажи язык.

Дед внимательно осмотрел язык и горло мальчика. Долго искал пульс: задубелые от грубой работы, жесткие пальцы деда каким-то чудом улавливали толчки сердца в горячей, потной

руке мальчика. Убедившись в чем-то, старик успокаивающе произнес:

— Бог милостив. Ты просто озяб немного. Холод вошел в тебя. Ты сегодня полежи в постели, а перед сном я натру тебе ступни и грудь горячим курдючным жиром. Пропотеешь — и, бог даст, встанешь утром как дикий кулан.

Вспомнив о вчерашнем и о том, что еще ждет его, старика, Момун помрачнел, сидя в постели внука, вздохнул и призадумался. «Бог с ним», — прошептал со вздохом.

— Это когда же ты заболел? Что ж ты молчал? — обратился он к мальчику. — Вечером, что ли?

— Да под вечер. Когда увидел маралов за рекой. Я прибежал к тебе. А потом мне стало холодно.

Старик сказал почему-то виноватым голосом:

— Ну, ладно… Ты лежи, а я пойду.

Он поднялся, но мальчик задержал его:

— Ата, а там сама Рогатая мать-олениха, да? Та, что белая, как молоко, глаза вот такие, смотрит как человек…

— Дурачок ты, — осторожно улыбнулся старик Момун. — Ну, пусть будет по-твоему. Может, то и она, — сказал он глухо, — пречудная мать-олениха, кто знает?.. Я вот думаю…

Старик не договорил. В дверях появилась бабка.

Она спешила со двора, она уже что-то разведала.

— Иди, старик, туда, — с порога заговорила бабка. Дед Момун сразу сник при этом, стал жалким, пришибленным. — Там они хотят выволочь бревно из реки машиной, — говорила бабка. — Так ты иди, делай все, что прикажут… Ох ты, боже мой, молоко-то еще некипяченое! — спохватилась бабка и принялась разжигать плиту, греметь посудой.

Старик хмурился. Хотелось ему что-то возразить, что-то сказать. Но бабка не дала ему рта раскрыть.

— Ну ты чего уставился? — возмутилась бабка. — Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Ну кто ты есть такой против них? К Орозкулу вон люди приехали какие. Машина у них какая. Нагрузишь, так десять бревен увезет по горам. А Орозкул на нас и не глядит даже. Как я ни уговаривала, как ни унижалась. Дочь твою не пустил на порог. Сидит она, неродиха твоя, у Сейдахмата. Глаза повыплакала. И проклинает она тебя — отца своего безмозглого…

— Ну, хватит, — не стерпел старик и, направляясь к двери, сказал: — Молока дай горячего, заболел вон мальчонка.

— Дам, дам молока горячего, иди, иди, ради

бога. — И, выпроводив старика, она еще бурчала: — И чего на него нашло такое? Никогда никому не перечил, тише воды, ниже травы был — и на тебе вдруг! Да еще на коня орозкуловского вскочил, да еще поскакал. И все это из-за тебя, — стрельнула она злым взглядом в сторону мальчика. — Было бы за кого на рожон лезть…

Потом она принесла мальчику горячего молока с желтым топленым маслом. Молоко обжигало губы. А бабка настаивала, принуждала:

— Пей, пей погорячее, не бойся. Простуду только горячим выгонишь.

Мальчик обжигался, слезы выступили у него на глазах. И бабка вдруг подобрела:

— Ну, остуди, остуди немного… И надо же, приболел ты у нас в такое время! — вздохнула она.

Мальчику давно уже не терпелось помочиться. Он встал, чувствуя во всем теле какую-то странную, сладкую слабость. Но бабка упредила:

— Постой, я сейчас принесу тебе тазик.

Неловко отвернувшись, мальчик заструил в тазик, удивляясь тому, что моча такая желтая и горячая.

Он чувствовал себя гораздо легче. Голова болела меньше.

Мальчик лежал в постели спокойно, благодар-

ный бабке за ее услугу, и думал, что надо к утру выздороветь и обязательно отправиться в школу. Он думал еще о том, как он расскажет в школе о трех маралах, появившихся у них в лесу, о том, что белая матка маралья — это и есть сама Рогатая мать-олениха, что с ней телок, большой уже и крепкий, и с ними здоровенный бурый марал с огромными рогами, что он сильный и охраняет от волков Рогатую мать-олениху и ее детеныша. И думал, что он расскажет еще о том, что если маралы останутся у них и никуда не уйдут, то Рогатая мать-олениха скоро принесет дяде Орозкулу и тетке Бекей волшебную колыбель.

А маралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплей становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок.

Пробираясь между деревьями, маралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток. Они шли в том же порядке — впереди самец-рогач, посредине телок и последней — крутобокая матка, Рогатая мать-олениха. Маралы шли по той же тропе, по

которой вчера Орозкул с дедом Момуном спускали к реке злополучное сосновое бревно. След волока оставался на горном черноземе, еще свежей, пропаханной бороздой с рваными клочьями дерна. Тропа эта выводила к броду, где было оставлено засевшее на речном пороге бревно.

Маралы направлялись к этому месту, потому что оно удобно для водопоя. Орозкул, Сейдахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда с тем, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки. Дед Момун неуверенно шел позади всех, понурив голову. Он не знал, как ему быть после вчерашнего скандала, как вести себя, что делать. Допустит ли Орозкул его к работе? Не прогонит ли, как вчера, когда он хотел на коне вытащить бревно? А что, если скажет: «А тебе что здесь? Сказано ведь, что ты уволен с работы!» Что, если обругает при людях и отправит домой? Сомнения одолевали старика, он шел, как на пытку, и все же шел. Сзади следовала бабка. Она шла вроде бы сама по себе, вроде бы из любопытства. Но, по сути, она конвоировала старика. Она гнала Расторопного Момуна на примирение с Орозкулом, на то, чтобы он заслужил у Орозкула прощение.

Орозкул ступал важно, по-хозяйски. Шел, от-

дуваясь, посапывая, и строго поглядывал по сторонам. И хоть болела с перепоя голова, он испытывал мстительное удовлетворение. Оглянувшись, он увидел, как семенил следом дед Момун, точно преданная собака, побитая хозяином. «Ничего, ты еще у меня не то запоешь. Я теперь на тебя и не гляну. Ты для меня пустое место. Ты еще сам повалишься мне в ноги», — злорадствовал Орозкул, вспоминая, как истошным криком орала прошлой ночью у его ног жена, когда он пинал ее, когда гнал ее пинками с порога. «Пусть! Вот отправлю этих с бревнами, я их еще сведу, пусть погрызутся. Теперь она отцу глаза повыдерет. Озверела, как волчица», — думал Орозкул в промежутках разговора на ходу с приезжим человеком.

Человека этого звали Кокетай. То был дюжий черный мужик, колхозный счетовод с приозерья. С Орозкулом он давно вел дружбу. Лет двенадцать тому назад построил Кокетай себе дом. Орозкул помог лесом. Продал по дешевке кругляки на распиловку досок. Потом мужик женил старшего сына, поставил и молодым дом. И тоже Орозкул снабдил его бревнами. Теперь Кокетай отделял младшего сына, и опять потребовалось лесу на стройку. И опять старый друг Орозкул выручал.

Беда, как трудна жизнь! Одно сделаешь — ну, думаешь, теперь спокойно поживу. Ан жизнь еще что-нибудь придумает. И без таких людей, как Орозкул, теперь не обойдешься…

— Бог даст, на новоселье пригласим вскоре. Приезжай, погуляем на славу, — говорил Кокетай Орозкулу.

Тот пыхтел самодовольно, папиросой дымил:

— Спасибо. Когда зовут — не отказываемся, а не зовут — не напрашиваемся. Позовешь, так приеду. Не впервой мне у тебя гостить. Я вот думаю сейчас: а не подождать ли тебе вечера, чтобы по темноте выехать? Главное, через совхоз незамеченным проехать. А не то, если засекут…

— Оно-то верно, — заколебался Кокетай. — Да долго ждать до вечера. Выедем потихоньку. Поста ведь нет на дороге, чтобы проверить нас?.. Случайно если наткнешься на милицию или на кого еще…

— То-то и оно! — пробурчал Орозкул, морщась от изжоги и головной боли. — Сто лет ездишь по делам, и ни одна собака по дороге не встретится, а лес повезешь раз в сто лет — и влипнешь. Это всегда так…

Они замолчали, каждый думал о своем. Орозкул крепко досадовал теперь, что пришлось вчера

бросить бревно в реке. А не то, был бы лес готов, погрузили бы его еще ночью и на рассвете отправил бы машину с глаз долой… Эх, и угораздило же вчера случиться такому делу! Это все старый дурень Момун, бунтовать решил, из-под власти хотел выйти, из подчинения. Ну ладно же! Что-что, а это тебе не пройдет так просто…

Маралы пили воду, когда люди пришли к реке на противоположный берег. Странные существа эти люди — суетливые, шумливые. Занятые своими делами и разговорами, они и не замечали животных, стоящих напротив, через реку.

Маралы стояли в красных утренних кустах речного тугая, войдя по щиколотку в воду, на чистом галечнике прибрежной отмели. Пили они небольшими глотками, не торопясь, с перерывами. Вода была ледяная. А солнце пригревало сверху все горячей и приятней. Утоляя жажду, маралы наслаждались солнцем. На спинах высыхала упавшая с веток по пути обильная роса. Легкий дымок курился со спин маралов. Покойное и благостное было утро того дня.

А люди так и не замечали маралов. Один человек вернулся к машине, другие остались на берегу. Пошевеливая ушами, маралы чутко улавливали доносившиеся до них изредка голоса и

замерли, вздрогнув кожей, когда на том берегу появилась автомашина с прицепом. Машина гремела, рокотала. Маралы шевельнулись, решили уйти. Но машина вдруг остановилась, перестала греметь и гудеть. Животные помедлили, потом все же осторожно двинулись с места — люди на том берегу слишком громко говорили и слишком суетливо двигались.

Маралы тихонько пошли тропкой в мелком тугае, их спины и рога то и дело показывались среди кустов. А люди так и не замечали их. И лишь когда маралы стали пересекать открытую прогалину сухого паводкового песка, люди увидели их как на ладони. На сиреневом песке, в ярком солнечном освещении. И застыли с разинутыми ртами, в разных позах.

— Смотри, смотри, что такое! — первым вскрикнул Сейдахмат. — Олени! Откуда они здесь?

— Что кричишь, что шумишь? Какие тебе олени, маралы это. Мы их вчера еще видели, — небрежно изрек Орозкул. — Откуда они? Пришли, стало быть.

— Пай, пай, пай! — восхищался дюжий Кокетай и от возбуждения расстегнул душивший его ворот рубашки. — А гладкие какие, — восхитился он, — отъелись…

— А матка-то какая! Смотри, как ступает, — вторил ему шофер, вытаращив глаза. — Ей-богу, с кобылицу-двухлетку. Первый раз вижу.

— А бык-то! Рожища-то смотри! Как только он их носит! И не боятся ничего. Откуда они такие, Орозкул? — допытывался Кокетай, с вожделением поблескивая свиными глазками.

— Заповедные, видать, — ответил Орозкул важно, с чувством хозяйского достоинства. — Из-за перевала пришли, с той стороны. А не боятся? Непуганые, вот и не боятся.

— Эх, ружье бы сейчас! — ляпнул вдруг Сейдахмат. — Мяса центнера на два потянет, а?

Момун, до сих пор робко стоявший в стороне, не утерпел:

— Да что ты, Сейдахмат. Охота на них запрещена, — сказал он негромко.

Орозкул искоса метнул на старика хмурый взгляд. «Ты еще у меня тут голос подаешь!» — подумал он с ненавистью. Хотел обругать его так, чтобы наповал убить, но сдержался. Все же посторонние присутствовали.

— Нечего попусту поучать, — раздраженно проговорил он, не глядя на Момуна. — Запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем. Ясно? — грозно глянул

он на растерявшегося старика.

— Ясно, — покорно ответил Момун и, опустив голову, отошел в сторону.

Тут бабка еще раз украдкой дернула его за рукав.

— Ты бы уж молчал, — прошипела она укоризненно.

Все как-то пристыженно потупились. Снова принялись смотреть вслед уходящим по крутой тропинке животным. Маралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога, за ним комолый телок, и замыкала это шествие Рогатая мать-олениха. На фоне чистого глинистого сброса маралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их были на виду.

— Эх, красота какая! — не удержался от восторга шофер, лупоглазый молодой парень, очень смирный с виду. — Жаль, что не захватил фотоаппарата, вот было бы…

— Ну, ладно, красота, — недовольно перебил его Орозкул. — Нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай подгони машину задом к берегу, прямо в воду, с краю чтобы. А ты, Сейдахмат, разувайся, — распорядился он, упиваясь в душе своей властью. — И ты, — указал он шоферу. — И

давайте цепляйте трос к бревну. Да поживей. Дело еще будет.

Сейдахмат принялся стаскивать с ног сапоги. Они ему были тесноваты.

— Что смотришь, помоги ему, — тычком незаметным толкнула старика бабка. — И разувайся, сам лезь в воду, — подсказывала она злобным шепотком.

Дед Момун кинулся стаскивать сапоги с Сейдахмата и сам быстренько разулся. Тем временем Орозкул с Кокетаем командовали машиной:

— Давай сюда, сюда давай.

— Левее немного, левее. Вот так.

— Еще немножко.

Заслышав внизу непривычный шум машины, маралы на тропе убыстряли шаг. Тревожно оглядываясь, выскочили на обрыв и скрылись в березах.

— О, исчезли! — спохватился Кокетай. Он воскликнул это с сожалением, точно из рук добыча ушла.

— Ничего, никуда они не денутся! — отгадывая его мысли и довольный этим, хвастался Орозкул. — Сегодня до вечера не уедешь, будешь моим гостем. Сам бог велит. Попотчую я тебя на славу. — И, хохотнув, хлопнул друга по плечу.

Орозкул мог быть и веселым.

— Ну, коли так, как велишь, — ты хозяин, я гость, — покорился дюжий Кокетай, обнажая в улыбке могучие желтые зубы.

Машина стояла уже на берегу, задними колесами в воде, в полколеса. Глубже заехать шофер не рискнул. Теперь предстояло протащить трос к бревну. Если хватит длины троса, то выволочь бревно из плена подводных камней труда особого не составляло.

Трос был стальной — длинный и тяжелый. Надо было тащить его по воде к бревну. Шофер разувался неохотно, с опаской поглядывал на воду. Он еще не решил окончательно: стоит ли лезть в реку в сапогах или лучше будет разувшись. «И пожалуй, лучше босиком, — думал он. — Все равно вода зальется за голенища. Глубина вон какая, почти до бедра. А потом ходи весь день в мокрой обуви». Но он также представлял себе и то, какая, должно быть, холодная сейчас вода в реке. Этим и воспользовался дед Момун.

— Ты не разувайся, сынок, — подскочил он к нему. — Мы пойдем с Сейдахматом.

— Да не стоит, аксакал, — возразил, смутившись, Шофер.

— Ты гость, а мы здешние, ты садись за руль, —

уговорил его дед Момун.

И когда они с Сейдахматом, продев кол в моток стального троса, потащили его по воде, Сейдахмат возопил благим матом:

— Ай, ай, лед, а не вода!

Орозкул с Кокетаем посмеивались снисходительно, подбадривали его:

— Терпи, терпи! Найдем чем согреть тебя!

А дед Момун не издал ни звука. Он даже не почувствовал леденящего холода. Вобрав голову в плечи, чтобы стать незаметнее, шел босыми ногами по скользким подводным камням, моля бога лишь об одном, чтобы Орозкул не вернул его, чтобы не прогнал, чтобы не обругал при людях, чтобы простил его, глупого, несчастного старика…

И Орозкул ничего не сказал. Он вроде бы и не заметил усердия Момуна, не считая его за человека. А в душе торжествовал, что все же сломил взбунтовавшегося старика. «Так-то, — ехидно посмеивался Орозкул про себя. — Приполз, упал мне в ноги. Ух, нет у меня большей власти, не таких бы крутил в бараний рог! Не таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ. А сами теперь жалуются: председателя, мол, не

уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чабан, а говорит с начальством как ровня. Дураки, власти недостойные! Разве же с ними так надо обращаться? Было ведь времечко, головы летели — и никто ни звука. Вот это было — да! А что теперь? Самый никудышный из никудышных и тот вон вздумал вдруг перечить. Ну-ну, поползай у меня, поползай», — злорадствовал Орозкул, поглядывая изредка в сторону Момуна.

А тот, бредя по ледяной воде, скорчившись, тащил трос вместе с Сейдахматом и довольствовался тем, что Орозкул, кажется, простил его. «Ты уж прости меня, старого, что так получилось, — мысленно обращался он к Орозкулу. — Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Ты ведь мне тоже не чужой. Думаешь, не хочу я счастья тебе и дочери? Если бы бог дал, если бы услышал я крик новорожденного жены твоей, моей дочери, — не сойти мне с места, пусть бог тут же возьмет мою душу. Клянусь, от счастья плакал бы. Только ты не обижай мою дочь, прости меня. А работать — так пока я на ногах, я все сработаю. Все сделаю. Ты только скажи…»

Стоя в сторонке на берегу, бабка жестами и

всем видом своим говорила старику: «Старайся, старик! Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все уладится».

Мальчик спал. Один раз только он проснулся, когда где-то прогрохотал выстрел. И снова уснул. Измученный вчерашней бессонницей и болезнью, сегодня он спал глубоким и спокойным сном. И во сне он чувствовал, как приятно лежать в постели, свободно вытянувшись, не испытывая ни жара, ни озноба. Он проспал бы, наверно, очень долго, если бы не бабка с теткой Бекей. Они старались говорить вполголоса, но загремели посудой, и мальчик проснулся.

— Держи вот большую чашку. И блюдо возьми, — оживленно шептала бабка в передней комнате. — А я понесу ведро и сито. Ох, поясница моя! Замаялась. Столько работы сделали. Но, слава богу, я так рада.

— Ой, не говори, энеке, и я так рада. Вчера умереть готова была. Если бы не Гульджамал, наложила бы руки на себя.

— Скажешь еще, — урезонила бабка. — Перцу взяла? Пошли. Сам бог послал дар свой на примирение ваше. Пошли, пошли.

Выходя из дома, уже на пороге, тетка Бекей спросила бабку про мальчика:

— А он все спит?

— Пусть поспит пока, — ответила ей бабка. — Как будет готово, принесем ему шурпы погорячей.

Мальчик больше не уснул. Со двора слышались шаги и голоса. Тетка Бекей смеялась, и Гульджамал и бабка смеялись в ответ ей. Доносились и какие-то незнакомые голоса. «Это, наверно, те люди, которые приехали ночью, — решил мальчик. — Значит, они еще не уехали». Не слышно, не видно было только деда Момуна. Где он? Чем занят?

Прислушиваясь к голосам снаружи, мальчик ждал деда. Ему очень хотелось поговорить с ним о маралах, которых он видел вчера. Скоро ведь зима. Надо бы. им сена побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили бы прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, что они любят больше всего? Телка-мараленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он и в школу ходил бы с ним?..

Мальчик ждал деда, но тот не появлялся. А пришел вдруг Сейдахмат. Очень довольный чем-то.

Веселый. Сейдахмат покачивался, улыбаясь сам себе. И когда он подошел ближе, в нос ударил спиртной запах. Мальчик очень не любил этот дурной, резкий запах, напоминавший о самодурстве Орозкула, о страданиях деда и тетки Бекей. Но, в отличие от Орозкула, Сейдахмат, когда напивался, добрел, веселел и вообще становился какой-то безобидно глуповатый, хотя он и трезвый-то не отличался умом. Между ним и дедом Момуном происходил в подобных случаях примерно такой разговор:

— Что усмехаешься, как дурачок, Сейдахмат? И ты надрался?

— Аксакал, я тебя так люблю! Честное слово, аксакал, как отца родного.

— Э-эх, в твои-то годы! Другие вон машины гоняют, а ты языком своим не управляешь. Мне бы твои годы, да я бы, по крайней мере, на тракторе сидел бы.

— Аксакал, в армии командир мне сказал, что я неспособен по этой части. Зато я пехота, аксакал, а без пехоты — ни туды и ни сюды…

— Пехота! Лодырь ты, а не пехота. А жена у тебя… У бога глаз нет. Сто таких, как ты, не стоят одной Гульджамал.

— Потому мы и здесь, аксакал, — я один, и она

одна.

— Да что с тобой говорить. Здоровый как бык, а ума… — дед Момун безнадежно махал рукой.

— Му-у-у-у, — мычал и смеялся вслед ему Сейдахмат.

Потом, остановившись посреди двора, запевал свою странную, невесть где услышанную песню:

С рыжих, рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце.
Эй, рыжий купец, открывай двери,
Будем пить рыжее вино!

С бурых, бурых гор
Я приехал на буром быке.
Эй, бурый купец, открывай двери,
Будем пить бурое вино!..

И так могло продолжаться бесконечно, ибо приезжал он с гор на верблюде, на петухе, на мыши, на черепахе — на всем, что могло передвигаться. Пьяный Сейдахмат нравился мальчику даже больше, чем трезвый.

И потому, когда появился подвыпивший Сейдахмат, мальчик приветливо улыбнулся ему.

— Ха! — воскликнул Сейдахмат удивленно. — А мне сказали, что ты болеешь. Да ты вовсе не

болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Так не пойдет… — Он повалился к нему на постель и, обдавая спиртным духом и запахом сырого, парного мяса, который шел от его рук и одежды, стал тормошить мальчика и целовать. Щеки его, заросшие грубой щетиной, обожгли лицо мальчика.

— Ну, хватит, дядя Сейдахмат, — попросил мальчик. — А где дедушка, ты не видел его?

— Дед твой там, это самое, — Сейдахмат неопределенно покрутил руками в воздухе. — Мы это… Бревно вытаскивали из воды. Ну и выпили для согрева. А сейчас он, это самое, мясо варит. Ты вставай. Давай одевайся — и пошли. Как же так! Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь.

— Дедушка не велел мне вставать, — сказал мальчик.

— Да брось ты, не велел. Пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру! Вставай.

С пьяной неуклюжестью он стал одевать мальчика.

— Я сам, — пробовал отказаться мальчик, испытывая смутные приступы головокружения.

Но пьяный Сейдахмат не слушал его. Он считал, что делает благо, поскольку мальчика бросили

одного дома, а сегодня такой день, когда и чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру…

Пошатываясь, мальчик вышел вслед за Сейдахматом из дома. День в горах стоял ветреный, полуоблачный. Облака быстро перемещались по небу. И пока мальчик прошел веранду, погода дважды резко изменилась — от нестерпимо яркого солнечного дня до неприятной сумрачности. Мальчик почувствовал, как у него от этого заболела голова. Подгоняемый порывом ветра, в лицо ударил дым костра. Глаза защипало. «Стирают, наверно, сегодня белье», — подумал мальчик, потому что обычно костер раскладывали во дворе в день большой стирки, когда воду грели на все три дома в громадном черном котле. В одиночку этот котел и не поднимешь. Тетка Бекей и Гульджамал поднимали его вдвоем.

Мальчик любил большую стирку. Во-первых, костер на открытом очаге, — побаловаться можно с огнем, не то что в доме. Во-вторых, очень интересно развешивать выстиранное белье. Белые, синие, красные тряпки на веревке украшают двор. Мальчик любил и подкрадываться к белью, висящему на веревке, касаться щекой влажной ткани.

В этот раз никакого белья во дворе не было. А

огонь под казаном разложили сильный — пар густо валил из кипящего казана, до краев наполненного большими кусками мяса. Мясо уже уварилось: мясной дух и запах костра защекотали обоняние, вызывали во рту слюну. Тетка Бекей в новом красном платье, в новых хромовых сапогах, в цветистом полушалке, сбившемся на плечи, наклонившись над костром, снимала поварешкой пену, а дед Момун, стоя подле нее на коленях, ворочал горячие поленья в очаге.

— Вон он, твой дед, — сказал Сейдахмат мальчику. — Пошли.

И сам только было затянул:

С рыжих, рыжих гор

Я приехал на рыжем жеребце, —

как из сарая высунулся Орозкул, бритоголовый, с топором в руке, с засученными рукавами рубашки.

— Ты где пропадаешь? — грозно окликнул он Сейдахмата. — Гость тут дрова рубит, — кивнул он на шофера, коловшего поленья, — а ты песни поешь.

— Ну, мы это в два счета, — успокоил его Сейдахмат, направляясь к шоферу. — Давай, брат, я сам.

А мальчик приблизился к деду, стоявшему на

коленях подле очага. Он подошел к нему сзади.

— Ата, — сказал он.

Дед не слышал.

— Ата, — повторил мальчик и тронул деда за плечо.

Старик оглянулся, и мальчик не узнал его. Дед тоже был пьян. Мальчик не мог припомнить, когда он видел деда хотя бы подвыпившим. Если и случалось такое, то разве где-нибудь на поминках иссык-кульских стариков, где водку подносят всем, даже женщинам. Но чтобы так просто — этого еще не случалось с дедом.

Старик обратил на мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Лицо его было горячим и красным, и когда он узнал внука, еще больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же побледнело. Дед торопливо поднялся на ноги.

— Ты что, а? — глухо сказал он, прижимая к себе внука. — Ты что, а? Ты что? — И кроме этих слов, он не мог произнести ничего, словно утратил дар речи.

Его волнение передалось мальчику:

— Ты заболел, ата? — с тревогой спросил он.

— Нет-нет. Я так просто, — пробормотал дед Момун. — Ты иди, походи немного. А я тут дрова,

это самое...

Он почти оттолкнул внука от себя и, будто отвернувшись от всего мира, снова повернулся лицом к очагу. Он стоял на коленях и не оглядывался, никуда не смотрел, занятый лишь собой и костром. Старик не видел, как внук его растерянно потоптался и пошел по двору, направляясь к Сейдахмату, коловшему дрова.

Мальчик не понимал, что произошло с дедом и что происходило во дворе. И лишь подойдя поближе к сараю, он обратил внимание на большую груду красного свежего мяса, наваленного кучей на шкуру, разостланную по земле волосом вниз. По краям шкуры еще сочилась бледными струйками кровь. Поодаль, там, куда выбрасывали нечистоты, собака, урча, мотала требуху. Возле кучи мяса сидел на корточках, как глыба, какой-то незнакомый огромный темнолицый человек. То был Кокетай. Он и Орозкул с ножами в руках разделывали мясо. Спокойно, не торопясь, перекидывали они расчлененные мослы с мясом в разные места на растянутой шкуре.

— Удовольствие одно! А запах какой! — говорил басом черный дюжий мужик, принюхиваясь к мясу.

— Бери, бери, бросай в свою кучу, — щедро

предлагал ему Орозкул. — Бог дал нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается.

Орозкул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживал свой тугой живот, точно он объелся чего-то; и сразу было заметно, что он уже крепко выпил. Задыхался, сипя, и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости.

Мальчик оторопел, холодом обдало его, когда он увидел под стеной сарая рогатую маралью голову. Отсеченная голова валялась в пыли, пропитанной темными пятнами стекшей крови. Она напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах.

Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова Рогатой матери-оленихи. Он хотел бежать отсюда, но ноги не повиновались ему. Он стоял и смотрел на обезображенную, мертвую голову белой маралицы. Той самой, что вчера еще была Рогатой матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он закли-

нал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову.

Надо было ему уйти, а он стоял, окаменев, не соображая, как и почему все это произошло. Черный дюжий мужик, тот, что разделывал мясо, поддел из кучи острием ножа почку и протянул ее мальчику.

— На, мальчик, изжарь на углях, вкусно будет, — сказал он.

— Возьми! — приказал Орозкул.

Мальчик протянул руку, не чуя ее, и стоял теперь, сжимая в холодной руке еще теплую, нежную почку Рогатой матери-оленихи. А Орозкул тем временем поднял за рога голову белой маралицы.

— Ох и тяжелая! — покачал он ее на весу. — Рога одни сколько весят.

Он пристроил голову боком на колоду, взял топор и принялся вырубать рога из черепа.

— Ай да рога! — приговаривал он, с хрястом всаживая острие топора в основание рогов. — Это мы деду твоему, — он подмигнул мальчику. — Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет кто, что мы его не уважаем. Куда

больше! За такие рога не грех хоть сегодня помереть! — хохотнул он, нацеливаясь топором.

Рога не поддавались. Оказалось, не так просто их вырубить. Пьяный Орозкул рубил невпопад, и это бесило его. Голова свалилась с колоды. Тогда Орозкул стал рубить ее на земле. Голова отскакивала, а он гонялся за ней с топором.

Мальчик вздрагивал, всякий раз невольно пятился, но не мог заставить себя уйти отсюда. Как в кошмарном сновидении, прикованный к месту жуткой и непонятной силой, он стоял и дивился тому, что остекленевший, немигающий глаз Рогатой матери-оленихи не бережется топора. Не моргает, не зажмурится от страха. Голова давно уже извалялась в грязи и пыли, но глаз оставался чистым и, казалось, все еще смотрел на мир с немым, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Орозкул попадет по глазу.

А рога не поддавались. Орозкул все больше выходил из себя, свирепел и, уже не разбирая, бил по голове как попало — и обухом, и лезвием топора.

— Да так поломаешь рога. Дай мне, — подошел Сейдахмат.

— Прочь! Я сам! Черта с два — поломаешь! — прохрипел Орозкул, взмахивая топором.

— Ну как хочешь, — плюнул Сейдахмат, направляясь к себе домой.

За ним последовал тот самый черный дюжий мужик. Он тащил в мешке свою долю мяса.

А Орозкул с пьяным упорством продолжал четвертовать за сараем голову Рогатой материоленихи. Можно было подумать, что он совершал долгожданную месть.

— Ах ты, сволочь! — с пеной у рта пинал он голову сапогом, точно мертвая голова могла его слышать. — Ну, нет, врешь! — налетал он с топором снова и снова. — Не я буду, если не доконаю тебя. На тебе! На тебе! — крушил он топором.

Череп трещал, отлетали по сторонам осколки костей.

Мальчик коротко вскрикнул, когда топор невзначай пришелся поперек глаза. Из развороченной глазницы хлынула темная, густая жидкость. Умер глаз, исчез, опустел…

— Я и не такие головы могу размозжить! И не такие рога обломаю! — рычал Орозкул в припадке дикой злобы и ненависти к этой безвинной голове.

Наконец ему удалось проломить череп и в темени и на лбу. Тогда он бросил топор, схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голову

к земле, крутанул рога со зверской силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых мольбами мальчика Рогатая мать-олениха должна была принести волшебную колыбель Орозкулу и тетке Бекей…

Мальчику стало дурно. Он повернулся, уронил почку на землю и медленно побрел прочь. Он очень боялся, что упадет или что его стошнит тут же, на глазах у людей. Бледный, с холодной, липкой испариной на лбу, он проходил мимо очага, в котором ошалело горел огонь, над которым клубился горячий пар из котла и у которого, повернувшись ко всем спиной, сидел по-прежнему лицом к огню несчастный дед Момун. Мальчик не стал беспокоить деда. Ему хотелось быстрей добраться до постели и лечь, укрыться с головой. Не видеть, не слышать ничего. Забыть…

Навстречу ему попалась тетка Бекей. Нелепо разряженная, но с сине-багровыми следами Орозкуловых побоев на лице, худющая и неуместно веселая, носилась она сегодня в хлопотах «большого мяса».

— Что с тобой? — остановила она мальчика.

— У меня голова болит, — сказал он.

— Да милый ты мой, болезный, — сказала она

вдруг в приступе нежности и принялась осыпать его поцелуями.

Она тоже была пьяна. От нее тоже противно разило водкой.

— Голова у него болит, — бормотала она умиленно. — Родненький ты мой! Ты, наверно, кушать хочешь?

— Нет, не хочу. Я хочу лечь.

— Ну так идем, идем, я тебя уложу. Что ж ты будешь один-одинешенек лежать. Ведь все будут у нас. И гости, и наши. И мясо уже готово. — И она потащила его с собой.

Когда они проходили снова мимо очага, из-за сарая появился Орозкул, упревший и красный, как воспаленное вымя. Он победоносно свалил возле деда Момуна вырубленные им маральи рога. Старик привстал с места.

Не глядя на него, Орозкул поднял ведро с водой и, запрокидывая его на себя, стал пить обливаясь.

— Можешь помирать теперь, — бросил он, отрываясь от воды, и снова припал к ведру.

Мальчик слышал, как дед пролепетал:

— Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же, почет мне и уважение, стало быть…

— Я пойду домой, — сказал мальчик, чувствуя слабость в теле.

Тетка Бекей не послушалась.

— Нечего тебе там одному, — и почти насильно повела его в дом. Уложила на кровать в углу.

В доме у Орозкула все уже было готово к трапезе. Наварено, нажарено, наготовлено. Всем этим оживленно занимались бабка и Гульджамал. Бегала между домом и очагом на дворе тетка Бекей. В ожидании большого мяса баловались слегка чаем Орозкул и черный дюжий Кокетай, полулежа на цветных одеялах, с подушками под локтями. Они сразу как-то заважничали и чувствовали себя князьями. Сейдахмат наливал им чай на донышки пиал.

А мальчик тихо лежал в углу, скованный, напряженный. Снова его знобило. Он хотел встать и уйти, но боялся, что стоит ему только слезть с кровати, как его тут же вырвет. И потому он судорожно держал в себе этот комок, застрявший в горле. Боялся шевельнуться лишний раз.

Вскоре женщины вызвали Сейдахмата во двор. И появился он затем в дверях с горой дымящегося мяса в огромной эмалированной чашке. Он с трудом донес эту ношу и поставил ее перед Орозкулом и Коке-таем. Женщины внесли за ним еще

разные кушанья.

Все стали рассаживаться заново, приготовили ножи и тарелки. Сейдахмат тем временем разливал водку по стаканам.

— Командиром водки буду я, — гоготал он, кивая на бутылки в углу.

Последним пришел дед Момун. Странный, слишком уж жалкий вид против обычного имел сегодня старик. Он хотел приткнуться где-нибудь сбоку, но черный дюжий Кокетай великодушно попросил его сесть рядом с ним.

— Проходите сюда, аксакал.

— Спасибо. Мы тут, мы ведь у себя, — пробовал отказаться дед Момун.

— Но все же вы самый старший, — настоял Кокетай и усадил его между собой и Сейдахматом. — Выпьем, аксакал, по случаю такой удачи вашей. Вам первое слово.

Дед Момун неуверенно прокашлялся.

— За мир в этом доме, — сказал он вымученно. — А там, где мир, там и счастье, дети мои.

— Правильно, правильно! — подхватили все, опрокидывая в глотки стаканы.

— А вы что ж? Нет, так не пойдет! Желаете счастья зятю и дочери, а сами не пьете, — упрекнул Кокетай засмущавшегося деда Момуна.

— Ну разве что за счастье, я что ж, — заторопился старик.

На удивление всем, он ахнул до дна почти полный стакан водки и, оглушенный, замотал старой головой.

— Вот это да!

— Наш старик не чета другим!

— Молодец ваш старик!

Все смеялись, все были довольны, все хвалили деда.

В доме стало жарко и душно. Мальчик лежал в тягостных муках, его все время мутило. Он лежал с закрытыми глазами *и* слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо Рогатой матери-оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости.

— Не мясо, а молодой жеребенок! — похвалил Кокетай, причмокивая губами.

— А что ж мы, дураки, что ли, жить в горах и не есть такого мяса, — говорил Орозкул.

— Верно, для чего мы здесь живем, — поддакивал Сейдахмат.

Все хвалили мясо Рогатой матери-оленихи: и бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал, и даже дед

Момун. Мальчику тоже совали и подавали на тарелке мясо и другие кушанья. Но он отказывался, и, видя, что ему нездоровится, пьяные оставили его в покое.

Мальчик лежал, стиснув зубы. Ему казалось, что так легче будет удержать тошноту. Но еще больше мучило его сознание собственной беспомощности, то, что не в силах был ничего поделать с этими людьми, убившими Рогатую мать-олениху. И в своем детском праведном гневе, в отчаянии мальчик придумывал разные способы отмщения, как бы он мог наказать их, заставить понять, какое страшное злодеяние совершили они. Но ничего лучшего не сумел придумать, кроме как мысленно позвать на помощь Кулубека. Да, того самого парня в солдатском бушлате, приезжавшего с молодыми шоферами за сеном в ту буранную ночь. Это был единственный человек из всех, кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Орозкула, сказать ему всю правду в глаза.

...По зову мальчика Кулубек примчался на грузовике, выскочил из кабины с автоматом наперевес:

— Где они?

— Там они!

Побежали вдвоем к дому Орозкула, рванули

двери.

— Ни с места! Руки вверх! — грозно приказал с порога Кулубек, направляя автомат.

Все обалдели. Оцепенели от страха, кто где сидел. Куски застряли у них в глотках. С мослами в жирных руках, с жирными щеками и жирными ртами, объевшиеся, пьяные, они не смогли даже шевельнуться.

— А ну, встань, гадина! — Кулубек приставил автомат к виску Орозкула, и тот затрясся весь, заикаясь, упал к ногам Кулубека.

— По-щади, не-не-убивай ме-ме-меня!

Но Кулубек был неумолим.

— Выходи, гадина! Конец тебе! — крепким пинком поднаддал он под жирную задницу Орозкула, заставил его встать, выйти из дома.

И все, кто были, перепуганные и молчаливые, вышли во двор.

— Становись к стене! — приказал Кулубек Орозкулу. — За то, что ты убил Рогатую мать-олениху, за то, что ты вырубил ее рога, на которых она приносила люльку, — тебе смерть!

Орозкул упал в пыль. Заползал, завыл, застонал:

— Не убивайте, у меня ведь и детей нет. Один я на всем свете. Ни сына у меня, ни дочери…

И куда девалась его надменность, его спесь! Жалкий и ничтожный трус. Такого даже убивать не захотелось.

— Ладно, не будем убивать, — сказал мальчик Кулубеку. — Но пусть этот человек уйдет отсюда и больше никогда не возвращается. Не нужен он здесь. Пусть уходит.

Орозкул встал, подтянул штаны и, боясь оглянуться, затрусил прочь — жирный, обрюзгший, с обвисшими галифе. Но Кулубек остановил его:

— Стой! Мы тебе скажем последнее слово. У тебя никогда не будет детей. Ты злой и негодный человек. Тебя никто здесь не любит. Тебя не любит лес, ни одно дерево, даже ни одна травинка тебя не любит. Ты фашист. Уходи — и чтобы навсегда. А ну, побыстрей!

Орозкул побежал без оглядки.

— Шнель! Шнель! — хохотал ему вслед Кулубек и для страху пальнул из автомата в воздух.

Радовался мальчик и ликовал. А когда Орозкул скрылся из виду, Кулубек сказал всем другим, виновато стоявшим у дверей:

— Как же вы жили с таким человеком? И не стыдно вам?

Облегчение почувствовал мальчик. Совершился справедливый суд. И так поверил он в свою

мечту, что забыл, где находится, по какому случаю пьянствовали в доме Орозкула.

…Взрыв хохота вернул его из этого блаженного состояния. Мальчик открыл глаза, прислушался. Деда Момуна в комнате не было. Вышел, наверно, куда-то. Женщины убирали посуду. Готовились подавать чай. Сейдахмат что-то громко рассказывал. Сидевшие смеялись его словам.

— Ну и что дальше?

— Рассказывай!

— Нет, слушай, ты расскажи, ты повтори еще раз, — чуть не умирая от смеха, просил Орозкул, — как ты ему насчет этого? Как ты его напугал. Ой, не могу!

— Так вот, значит, — Сейдахмат охотно принялся повторять уже рассказанное. — Только мы стали подъезжать к маралам, а они стояли на опушке в леску, все три. Только мы привязали коней к деревьям, старик мой вдруг хватает меня за руку. «Не можем, — говорит, — мы стрелять маралов. Мы — бугинцы, дети Рогатой матери-оленихи!» А сам смотрит на меня, как ребенок. Умоляет глазами. А я — хоть стой, хоть падай, — подыхаю со смеху. Но не засмеялся. А, наоборот, так это серьезно. «Ты, что, — говорю, — в тюрьму хочешь угодить?» «Нет», — говорит он. «А ты

знаешь, что байские сказки эти, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ!» А он тогда и рот раскрыл: «Да что ты?» — говорит. «Вот то-то, — говорю, — ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что старик, напишу на тебя куда следует».

— Ха-ха-ха! — рассмеялись дружно сидевшие.

И больше всех Орозкул. Уж он-то хохотал в усладу.

— Ну, а потом подкрадываемся мы. Другой бы зверь давно сиганул бы, и след простыл, а эти полоумные маралы не бегут, вроде бы и не боятся нас. Ну, тем лучше, думаю, — прихвастывая, рассказывал пьяный Сейдахмат. — Я впереди с ружьем. Старик позади. И тут на меня сомнение напало. В жизни я еще воробья не подстреливал. А тут такое дело. Не попаду — рванут по лесу, и ищи их. Попробуй угонись за ними. Уйдут за перевал. Кому это нужно, такую дичь упускать? А старик у нас охотник, медведя валил в свое время. Я ему и говорю: «Вот тебе ружье, старик, стреляй». А он ни в какую! «Сам, — говорит, — стреляй». А я ему: «Да я же пьяный», — говорю, И сам шатаюсь, вроде на ногах не стою. А он видел, когда мы вывезли бревно из реки, с вами же вместе бутылочку распили. Вот я и прикинулся.

— Ха-ха-ха!..

— «Я не попаду, — говорю, — уйдут маралы, второй раз не вернутся. А нам с пустыми руками не стоит возвращаться. Сам знаешь. А то смотри. Зачем нас сюда послали?» Молчит. А ружье не берет. «Ну, — говорю, — как хочешь». Бросил я ружье и вроде бы ухожу. Он за мной. «Мне, — я говорю, — все равно, выгонит меня Орозкул, пойду в совхоз работать. А ты куда на старости?» Молчит. И я так это, потихоньку, для картины, значит:

С рыжих, рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце.
Эй, рыжий купец, открывай двери!..

— Ха-ха-ха!..

— Поверил, что я и впрямь пьян. Пошел за ружьем. Я тоже вернулся. Пока мы пререкались, маралы наши ушли чуть подальше. «Ну, — говорю, — смотри, уйдут, не догонишь. Стреляй, пока они непуганы». Взял старик ружье. Стали подкрадываться. А он все шепчет, как полоумный: «Прости меня, Рогатая мать-олениха, прости...» А я ему свое: «Смотри, — говорю, — промажешь — убегай вместе с маралами куда глаза глядят, лучше не возвращайся».

— Ха-ха-ха!..

В пьяном чаду и хохоте мальчику становилось все жарче и душнее, голова раскалывалась от разбухающей, не умещающейся в голове боли. Ему казалось, что кто-то пинал ногами его голову, что кто-то рубил его голову топором. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаза, и он мотал головой, старался увернуться. Изнемогая от жара, он вдруг очутился в холодной-холодной реке. Он превратился в рыбу. Хвост, туловище, плавники — все рыбье, только голова оставалась своей и к тому же болела. Он поплыл в приглушенной, темной подводной прохладе и думал о том, что теперь навсегда останется рыбой и никогда не вернется в горы. «Не вернусь, — говорил он сам себе. — Лучше быть рыбой, лучше быть рыбой…»

И никто не заметил, как мальчик слез с кровати и вышел из дома. Он едва успел зайти за угол, как его начало рвать. Хватаясь за стену, мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал:

— Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой.

А в доме Орозкула за окнами гоготали и выкрикивали пьяные голоса. Этот дикий хохот оглушал мальчика, причинял ему нестерпимую боль и

муки. Ему казалось, что дурно ему оттого, что он слышит этот чудовищный хохот. Отдышавшись, он пошел по двору. Во дворе было пусто. Возле угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Момуна. Старик лежал здесь в пыли рядом с вырубленными рогами Рогатой матери-оленихи. Обрубок маральей головы грызла собака. Больше никого не было.

Мальчик наклонился над дедом, потряс его за плечо.

— Ата, пойдем домой, — сказал он. — Пойдем.

Старик не отвечал, он ничего не слышал, он не мог поднять головы. Да и что ему было отвечать, что сказать?

— Ну вставай, ата, пойдем домой, — просил мальчик.

Кто его знает, понимал ли он умом своим детским или же невдомек было ему, что старый Момун лежал здесь в расплату за сказку свою о Рогатой матери-оленихе, что не по своей воле посягнул он на то, что сам внушал ему всю жизнь, — на память предков, на совесть и заветы свои, что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука…

И теперь сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лицом вниз, не отзываясь на

голос мальчика.

Мальчик присел возле деда, пытаясь расшевелить его.

— Ата, ну подними голову, — просил он. Мальчик был бледен, движения его были слабы, руки и губы дрожали. — Ата, это я. Ты слышишь? — говорил он. — Мне очень плохо, — заплакал он. — У меня голова болит, очень болит.

Старик застонал, шевельнулся, но не смог прийти в себя.

— Ата, а Кулубек приедет? — спросил вдруг мальчик шфозь слезы. — Скажи, Кулубек приедет? — тормошил он его.

Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, с жалкой свалявшейся 6oj роденкой, и почудилась мальчику в ту минуту голова белой маралицы, изрубленной давеча топором Орозкула. Мальчик отпрянул в страхе и, отступая от деда, проговорил:

— Я сделаюсь рыбой. Ты слышишь, ата, я уплыву. А когда придет Кулубек, скажи ему, что я сделался рыбой.



Старик ничего не отвечал.

Мальчик побрел дальше. Спустился к реке. И ступил прямо в воду.

Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке. На дворе раздавалась пьяная песня:

С горбатых, горбатых гор
Я приехал на горбатом верблюде,
Эй, горбатый купец, открывай двери,
Будем пить горькое вино!..

Ты уплыл. Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу. Если бы ты долго бежал по дороге, ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали. И стоило бы тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился.

— Ты куда? — спросил бы Кулубек.

— Я к тебе! — ответил бы ты.

И он взял бы тебя в кабину. И вы поехали бы. Ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому не видимая Рогатая мать-олениха. Но ты бы видел ее.

Но ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу. Что не доплывешь до Иссык-Куля, не увидишь белый пароход и не скажешь ему: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды

сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение.

И в том еще, что детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди…

Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

ПОДВИГ МИРОПОНИМАНИЯ

Чингиз Айтматов родился в 1928 году. Не ему — дедам и отцам его поколения выпало совершить великую революцию. Подвиг созидания новой жизни осуществлен отцами (его отец был одним из строителей Советской власти в Киргизии). Подвиг войны выпал на плечи старших братьев. Ему же достался от бытия равномощный этим великим деяниям подвижнический труд понимания бывшего (с его народом), сущего (ныне у нас в стране) и будущего (с человечеством). Да, и будущего: «Ответственность перед будущим» — так назвал писатель одно из своих выступлений.

В его повестях непременен персонаж, который думает, думает, думает… «Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю думаю». («Первый учитель».) «Я… смотрел на темнеющее в тучах небо и думал: «Почему так непонятна и сложна жизнь?» («Джамиля».) Но ни автор и ни один из его героев и не хотел бы жизни иной, попроще, судьбы менее драматичной.

Герой Айтматова — укротитель стихий и смыслов, с ними имеет дело, с первоэлементами

природы и со смыслами человеческого существования: любовь-страсть («Джамиля»), истина («Прощай, Гульсары!»), справедливость («Ранние журавли»), совесть («Белый пароход»), жертва («Пегий пес»)… И природу стремится он понять: горы, степи, воды, океан, их зов, стон гор, звон рек, рев обвалов, бичи гроз. Не средь будничной природы, но среди торжественной, блистающей громами и молниями, как языческая богиня в диадеме из перунов, разворачивается действие его сказов: гроза в «Джамиле», зима в «Гульсары», Великий туман в «Пегом псе». И в судьбах людских, с первоначала своего писательского, Айтматов берет самую патетическую ноту.

И неудивительно: народу киргизскому дивно сколько выпало в веке сем прожить, перейти и перемыслить. Только из пелен сонного патриархального состояния, в котором он застыл на тысячелетие, ввергнут он был в XX веке в водоворот всемирной истории и, не успев оглянуться, оказался уже в социализме.

Для XX века типично, что народы, долгое время стоявшие в стороне от магистральных путей мировой истории, включаются в нее и, бурно, ускоренно развиваясь, перепрыгивают со стадий древних — в наисовременнейшие. Недаром

Айтматова переводят на многие языки: близки судьбы и думы его героев людям из многих стран Азии, Африки, Латинской Америки, и опыт, что накопил его, киргизский советский народ, — и исторический, и душевно-эмоциональный, и мыслительный, и художественный — всем в поучение оказывается.

Но раз народ его такой путь, равный двум-трем тысячелетиям европейской истории, промчался, то подобная же пропасть должна быть перекрыта и в духовной культуре, и в типе писателя. И действительно: как тип писателя, Чингиз Айтматов не просто житель середины XX века, но и просветитель и дидакт своего народа, романтик с идеалом высокого накала, реалист-нравоописатель и историограф и, наконец, вполне «модернист», как и конгениальный ему собрат в Латинской Америке Габриэль Гарсиа Маркес, книга которого «Сто лет одиночества» являет подобное же конденсированное табло эпох мировой истории и путей, и сутей, и идей человека… В творчестве Айтматова целая космогония и мифология осуществлена. Тут и Рогатая мать-олениха, и Буранный Каранар, и Великий туман, и Белый пароход, и Мальчик-рыба, и всеглаз-родник Верблюжий глаз, и освященные Тополи-оракулы

(как дуб Зевса в Додоне), тут пролетают Ранние журавли и вечно бежит краем моря Пегий пес… И среди этой космической первоприроды люди, как титаны и герои, осуществляют свои космоустроительные подвиги: Дюйшен, как Персей, бьется с духами гор, высвобождая Андромеду — Алтынай; тут Геракл — Танабай на службе у Эфрисфея — Чоро разит гидру Зимы и чистит авгиевы конюшни кошар; тут Парис — Данияр похищает прекрасную Елену — Джамилю; тут Минос, Эак и Радамант уселись в ладью Харона, пересекающую Лету, и переносят отрока Кириска из детства в страну мужества…

Я не устаю подчеркивать эту сторону в героях и сюжетах Айтматова, ибо то, что перед нами правдивые образы наших современников, это и без того ясно, на виду: и Данияр, и Толгонай, и Орозкул. Но что есть «наш современник»? Точка в потоке исторического Пространства-Времени. Мы, конечно, любим его, как свойственно каждому любить себя, но любви к себе далеко не достаточно для того, чтобы это «я» было и другим племенам и временам интересно и поучительно. А для этого правдоподобного описательства недостаточно. Тут нужен смелый прорыв из сегодняшнего в вековечное.

К настоящему времени в творчестве и духовном развитии Айтматова прозреваются три периода. «Повести гор и степей» — такова эмблема того нового слова, с которым он вошел в литературу со своими ранними, «молодежными» произведениями: «Лицом к лицу», «Джамиля», «Верблюжий глаз», «Тополек мой в красной косынке» и «Первый учитель», за которые и получил в 1963 году Ленинскую премию. Его герой здесь — молодой человек, в кипении страсти прорывающий, как река, теснины патриархально-родовой общины и свой личный путь прокладывающий по жизни.

Второй период образуют повести «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары!» Писателем тут владеет дума об истории своего народа, событиях революции, колхозного строительства, войны. Герой тут — старый человек, что исповедуется перед смертью о жизни своей перед природой: Толгонай поверяет историю своей жизни Земле, Танабай — коню Гульсары.

Третий же, ныне длящийся период начался с «После сказки» («Белый пароход») Здесь еще: «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря», пьеса «Восхождение на Фудзияму», написанная совместно с Калтаем Мухамеджановым, роман «И дольше века длится день». Тут он вы-

ходит к самым первоначалам бытия: личность — перед судом совести, человеческое общество и его деятельность — перед судом первостихий природы. Художественная мысль писателя обретает, с одной стороны, жесткую рационалистическую крепость и строгость высокого стиля, а с другой — выходит к детски первообразному мифу, сказке, притче И герой его тут выведен к вратам бытия.

Личность и Жизнь, Народ и История, Совесть и Бытие — вот проблемные пары трех означенных ступеней восхождения Айтматова ко все более глубинным сущностям. Соответственно и жанр повести, постоянный у него, изменяется внутри. Вначале это — повесть-новелла, драматический рассказ с катастрофическим, как гроза, событием в центре Затем — монолог-воспоминание, эпос о бывшем И, наконец, высокая философическая трагедия, художественное исследование предельных возможностей человека.

Да, человеку, задумывающемуся над смыслом жизни, повести Ч. Айтматова дают добротный материал, где и проблемы жизни поставлены крепко, без обману, да и решение дается искреннее и бескомпромиссное Но, прежде чем мы, читая, начинаем подставлять себя под героев и

раскидывать умом, как бы мы стали поступать в их случаях, нас незаметно влюбляет в себя, околдовывает тот мир гор и степей, где разворачивается действие, откуда исходят герои и начинают свой поиск смысла или верной линии жизни. Это очень много значит, что арена действия — не помещение, не клетушка в городе, но пространство, открытый космос Природа — совсем не фон, оттеняющий жизнь человека. Это те силы, которые сгущаются в человеческое существо и получают в нем самую энергичную и просветленную свою жизнь. И катастрофы страсти, борения в человеке — это реальные грозы и потрясения, содрогания земли и неба, и читатель Ч. Айтматова все время слышит гул этого переливания космических сил в человеке.

Герой Айтматова поначалу растет в патриархальной среде, где все заведено и предусмотрено от века: дитя, затем пастух и джигит; потом введут в дом тебе жену — и умножатся дети и скот… Хотя события, описанные в повести «Джамиля», происходят на третьем году Великой Отечественной войны, жизнь в аиле во многом течет таким порядком, который установился до того, как в человечестве начались какие-либо даты. Этот уклад становится тесен тогда, когда в человеке

пробуждается тяга в даль, в неопределенный, но более широкий мир, а в душе образуется свой компас: мечта, идеал, который оказывается в силах не только противостоять традиционной норме жизни, но и вырвать из нее человека. «Эфемерный» духовный рычаг этот взрывает плотную толщу быта и обычаев. Такого мы и называем «романтиком» — человека, у которого зов мечты, идеала сильнее притяжения окружающей действительности. «Мирно сидел бы — чуда б не видел» — как говорит об этом умонастроении человека болгарская пословица.

Что же манит? Откуда идут импульсы и к чему притяжение? Произошла революция. Волны ее все прибывают и преобразуют патриархальную жизнь и внутренний мир человека. Они и возбуждают тягу и интерес: что же это за большой мир? Поначалу о нем ничего определенного еще и не мыслят. Но знают твердо одно: там можно то, чего нельзя здесь: любить, жить по своей воле, учиться, «не хлебом единым» жить. Там люди живут иначе, а это дорого каждому человеку: возможность жить по-иному, потому что и сам он в определенный момент остро ощущает, что он — тоже иной, не такой, как все (каким его побуждает быть сложившийся круг жизни), и

мир с его появлением на свет должен как-то потесниться, расшириться и измениться. Человек и отправляется внешне — вдаль, на подходящее ему дело, а по существу — на поиски самого себя. Персонажи раннего Айтматова — бегущие, те, кто уходит. «Джамиля» кончается бегством Джамили и Данияра. Первый учитель Дюйшен основывает школу, и с этого «космодрома» уносится в иной мир, в пространство большой советской жизни — девочка Алтынай, будущий доктор философии. Шофер Ильяс уводит из шумного аила Асель, и в конце мы видим ее в одинокой избушке на большой дороге. Внимание писателя упорно приковано к этому рывку — он его исследует в разных вариантах. И он стоит того, ибо человек в этом рывке словно на машине времени стартует: из доисторической вечности — в современность, с пятачка аила — в мировое пространство.

Как же набирает человек столько силы, чтобы стал возможен этот скачок? Чтобы этот вылет из родного гнезда состоялся, необходимо ослабление родовых связей. И действительно, у героев Айтматова — тех, что первыми пробуждаются, — подточены кровнородственные корни. Данияр — пришелец в аил, шофер Ильяс — «детдомовский», Алтынай — сирота, Дюйшен — «сын того

самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал». Этих людей меньше, чем других, окружает тепло семьи, потому раньше они ощущают свое отличие и тягу к независимости. Как Золушка, сиротка или падчерица в народной сказке — забытая, «неполноценная» с точки зрения узкого круга жизни, но именно ей уготовано стать принцессой, властительницей большого и истинного мира.

И вот наш беглец на свободе. Какое-то из нее он сделает употребление? Но что значит «на свободе»? Ведь он опять попадает куда-то: в новых местах, на новой работе тоже свой порядок, свой устав. Ты волен выбрать ту или иную работу, место в жизни, но раз взявшись за гуж… На планете пустых мест нет. Кругом люди и сложившиеся уклады.

Если представить себе возможную последующую жизнь Данияра и Джамили после того, как страсть вытолкнула их из аила, то мы имеем ситуацию Ильяса и Асель — героев повести «Тополек мой в красной косынке». В рассказе о том, как шофер умыкнул невесту чуть ли не прямо со свадьбы, здесь как бы вкратце повторяется история любви и бегства Данияра и Джамили, но

дается почти скороговоркой — в повести это не главный сюжет, не история, а предыстория, так как автора и нас уже интересует: а что же дальше может случиться с ними? Люди вырвали себе право самим быть кузнецами своего счастья, чтобы не вмешивалась родня, обычаи и не решали бы за них, как жить, кого любить. Ну-ка, какое такое счастье могут они сами себе построить?

Вот Данияр и Джамиля селятся где-нибудь на целине или в рабочем поселке. Здесь все люди — чужие (по происхождению) и объединяются лишь общей работой и местом жительства. Каково-то тебе здесь будет, своевольный романтик? То бес неудовлетворенности начинает выкидывать с ним разные шутки. Человек становится как бы профессиональным возмутителем спокойствия. Только что он посягнул на родовые обычаи, посмел преступить их и увел невесту чужого. Теперь зуд беспокойства тревожит его на работе; то ему не нравится и это: машины медленно ходят по горам — могли бы быстрее; груза мало берут — можно бы и прицепы водить. И вот и здесь он становится новатором, а значит, нарушителем старого права. Ильяс первым берется за доброе дело: желая ускорить и увеличить перевозку груза, выезжает на опасную горную трассу с прицепом

— дело неслыханное здесь. Но этим поступком он сразу оскорбляет установившийся порядок, сводит на нет опыт других шоферов. Наш герой теперь унижает рабочее братство и его обычаи — так же, как раньше плюнул на патриархальный закон аила.

Но главная трудность новой, просторной жизни, куда выбились наши герои, — выбор. На каждом шагу человек должен здесь принимать самостоятельные решения, на свой страх, риск и ответственность, — то, что как раз исключено в родовом быту, где люди поступают как положено по обычаю и где задача индивидуального решения не встает И болезненнее всего выбор совершается — в любви. Перед выбором встала и Джамиля Садык или Данияр, родом данный муж или сердцем обретенный возлюбленный? Там выбор был труднее и легче Труднее, так как приходилось преступать колоссальные внешние препоны: родовой обычай тысячелетней крепости, стыд. Но внутренне было проще сердце говорило одно. А вот в ситуации, в которой забился в истерике Ильяс, само сердце раскалывается надвое и говорит то одно, то другое: влечет то к Асель, то к Кадиче.

Отчего же возникают в новой, просторной жиз-

ни эти два варианта любви? В патриархальном быту нет разделения на дом и работу семьей люди живут, семьей вместе и работают — хозяйство ведут, скот пасут, землю обрабатывают В большой же жизни, куда вырвались свободные Ильяс и Асель, человек, как правило, живет в одном месте, с одним кругом людей, а работает в другом Работа теперь соединяет общими интересами мужчину и женщину, не соединенных общей семьей. И вот Асель, так много значившая *как возлюбленная* для человека с пробудившимся внутренним миром (жених и невеста, обрученные патриархальным обычаем, как правило, не знали друг друга близко и не могли быть влюблены, любовь наступала *после* брака), *как жена* значит неизмеримо меньше, чем жена в аиле, которая была и супругой, и матерью, и главой общего хозяйства.

Ильяс по профессии шофер — современный кочевник, тот, кто в помещении кабины носится по пространствам Это точно соответствует его складу в Ильясе как раз совершается перелом, связанный с переходом от патриархальной жизни к современной цивилизованности В бедах, что с ним происходят, он лишь отчасти виноват — он и жертва этой чрезвычайной сложности,

которую порождает в жизни всякая переломная полоса истории Но эта сложность жизни прекрасна, ибо требует много от человека в этом просторе и изобилии бытия он сам должен выбирать и решать, и за свое свободное решение он сам платит — жизнью В раскованном мире «игра» человека с судьбой становится крупной — и та требует укрупнения партнера: чтобы человек стал способен быть героем трагедии.

У каждого народа есть свои природные святилища — река, дерево, пещера, источник, гора В мифах об их происхождении открывается их связь с событиями человеческой жизни. И в повести «Первый учитель» рассказана история той жизни, крови и любви, которые были принесены в жертву, чтобы красовались и цвели два священных тополя — два символа новой жизни и дела первого учителя Дюйшена Но отчего же с щемящим чувством думает о тополях доктор философии Алтынай Сулеймановна? Вот главная загадка и тайна, которую призвана объяснить повесть, написанная как исповедь, чистка души академика, восседающего в почетном президиуме.

В повести «Первый учитель» писатель отваживается на выход в открытое море — истории и

общественной жизни. Правда, это первое, пробное плавание, он еще держится за спасительные горы и степи, далеко от них не отплывает, ибо это те стены, которые дома помогают. В деятельности нового человека Дюйшена, преобразующего аил, в миниатюре разворачивается путь человечества, основная проблема мировой истории. Человек вторгается в природу. В ней все шло своим чередом, он же нарушает ее естественный порядок и вносит свой. Что это, хорошо или плохо? Не мстит ли природа за некомпетентное порой вмешательство? И почему все же прекрасен дерзающий, действующий на свой страх и риск, даже вслепую, человек, одержимый великой верой в добро? Пусть он, как Дон Кихот, иногда и смешон бывает и нелеп: делает глупости, даже с ветряными мельницами воюет, — и все же недаром Достоевский как-то высказал мысль: предстань человечество перед вселенским судом, в свое оправдание оно могло бы выставить образ Дон Кихота. А Дюйшен, главный герой повести, — тоже из донкихотов. Даже внешний вид его сходен с наружностью ламанчского рыцаря: худой, долговязый, бледный, на лице его обычны грусть и сосредоточенность — он тоже рыцарь печального образа.

«Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду

открывать!» — говорит ему Сатымкул. — А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять…» Да, Дюйшен принес новый принцип — жизни духовной, не хлебом единым. И начинает он с ничего: в руках у него бумага с печатью — новый закон, в сердце — образ вождя и пламенная, согревающая его под черной шинелью вера. Он строит новый град — общественных (а не естественно-природных) отношений, — а они ведь невидимы, не есть ни «шуба», ни «конь», ни «скотинка во дворе» (хотя в итоге определяют все это). И пусть он при первом столкновении с естественным миропорядком потерпел видимое поражение — из него, из этого поражения, сразу возник первый краеугольный камень нового духовного мироздания: «Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него, не отрывая глаз». Между двумя людьми возникает невидимая связь — симпатия, любовь, основанная на взаимопонимании, братстве и солидарности в несчастье. Дюйшен излучает только духовные силы — но от них возгорается все естество девочки. В ее любви к нему благая природа словно протягивает свой

ствол и корни высокому общественному духу, давая ему возможность укорениться, стать силой материальной.

Но чему может научить полуграмотный Дюйшен? Никакой информации (и поэтому так снисходительно посмеиваются над ним дипломированные учителя новой колхозной школы) — зато он открывает идеи (то, что уже не сотворится в их напичканных сведениями и эрудицией мозговых клетках). Две кардинальнейшие идеи вдохнул он в учеников: даль и будущее (бесконечность в пространстве и бесконечность во времени). Л для таких, как Алтынай, сирота, потерявшая корни и вертикальную устойчивость в естественном миропорядке аила, эти идеи словно вода жаждущему — ибо дают новую опору: связь с людьми уже не ближними (по крови), но дальними, братьями по идеалу, по классу, по человечности.

Однако духи гор не хотят отпускать Алтынай: они старше, опытные, вечностью натренированные и знают, что делать. Горные люди спускаются в аил сватать Алтынай. Они идут затем, чтобы удержать и вернуть к себе тяготеющий сбежать вниз, в долину — как воды и земля весной — избыток жизни. Похищая ее, горные люди как бы совершают космическое дело: возвращают на

место и пригвождают готовую сорваться и улететь вдаль за солнечными призраками землю (о чем часто рассказывается в древних космогонических легендах). И в самом деле, похищенная в горы, Алтынай словно совершает на машине времени путешествие в иной мир, не тронутый временем, — в вечность. В купол юрты на нее глядят «спокойные, ничем не потревоженные звезды». Старуха черная сидит рядом, как баба-яга или каменная баба. Алтынай оказывается среди доисторического племени человекообразных существ: люди гор в шкурах, в лисьих малахаях; краснорожий сопит, храпит, «как медведь, под одеялами и шубами». В них избыток телесности, природы — это миф Голиафа.

А что же Дюйшен? Он не уловил поры и подменил неповторимое время, когда — сейчас или никогда! — он отложил, как князь Андрей на год свадьбу с Наташей. Слишком самоуверенно духовный, он не чует изменений в естестве мира. Ну, за это ему и отомстится: и Наташу похищает Анатоль Курагин, гораздо более животный, но зато чуящий пору, а не устанавливающий срок.

А Дюйшен, что же он делает! Когда пришла для девушки пора самого лучшего, самого прекрасного — счастья первой любви, — он ей вещает о

будущей жизни: «Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди». То есть он отводит от себя «лучшее» куда подальше, в будущее: лишь бы не встать лицом к лицу с ним и не отвечать за него. То есть подменяет великое мгновение бесконечностью стремления; подменяет наличное счастье — счастьем будущим; радость — радованием тому, что радость когда-то настанет; счастье состоявшейся любви — грустной и мечтательной поэзией любви несостоявшейся. Итак, вместо счастья — упование. И все же кое-чего достиг Дюйшен — он сумел воздвигнуть неколебимую опору в духе человека, — и что бы с ним ни случилось, его существо при этом оставалось нетронутым и нерастлимым. Именно такую опору он воздвиг своим учением в душе Алтынай. Недоставало лишь зримого, телесного соответствия и образа. И появляются тополя. Два деревца сажают вместе Дюйшен и Алтынай — и они остаются жить как светлый плод и образ их любви. Но вот что дивно: у многих народов есть предания о деревцах, что вырастают на могиле влюбленных и сплетаются ветвями. А здесь это совершается при жизни влюбленных. Хотя посадка деревцев — последнее общее дело Алтынай и Дюйшена. Это одновременно и погребение их

любви. После этого она уже невозможна. Ибо ей дан в тополях как бы «любвеотвод» ввысь и вдаль, куда смотрят тополя. Любовь реальная переведена в символическую. Но зато тополя цветут, наливаются и зовут в даль, в светлый широкий мир, ребятишек аила, что, взбираясь на них за гнездами и сгоняя птиц, сами, как птицы, усаживаются на ветках и зачарованно смотрят вдаль — вот-вот вспорхнут и улетят. А те, кто оторвался от родных корней, точно магнитом, притягиваются тополями на родину. Они напоминают им о свежести и чистоте, которые часто теряют среди повседневной суеты.

«Прощай, Гульсары!» — произведение узловое, где завязываются проблемы, занимающие все последующее творчество Айтматова. Sub specie mortis — «с точки зрения смерти», в ситуации истаивания жизненной силы подаются все события и ведется рассказ в этой повести. В этой ситуации слышнее становится внутренний голос — Совести, — который так заглушается всеми счетами и жаждами внешнего. Теперь как бы выпрастывается в тебе место и пространство для нее. Самосуд превышает суд. И в самом деле: уж такую лютость вызывает в нас Ибраим в лисьем тебетее, оскопивший Гульсары, или прокурор

Сегизбаев, исключивший Танабая из партии! Но чуть отдалим точку зрения, «камеру съемочную» — и они ведь, злодеи эти и подлецы, предстанут как бедняки, которые когда-то были детками и когда-то умрут. И жаль их за слепоту становится: о чем спорят, рвут у ближнего кусок пожирнее, а коса-то уже занесена и не успеет он схапать кусок этот…

Если в свое время демократическая литература взяла в предмет и субъект мужика крепостного или слугу расторопного Фигаро и тем ввела новый угол зрения на мир господ, так ведь и «братья наши меньшие» — прирученные животные, которых мы изъяли из природного миропорядка, что заботился о них, и взяли на себя за них нравственную ответственность перед бытием, — смотрят на нас снизу (или сбоку?) и одним присутствием при нас и сопутствием добавляют плюс к нашим, социально-историческим, еще и свои нам мерки на суждение и оценку, отстраняя нашу аристократическую надменность нуворишей в бытии: ибо «без году мы неделя», человеки, в царстве природы, — и конь и пес смотрят на нас оком Зодиака, вечности.

Так Лев Толстой в «Холстомере», вникнув в возможный внутренний мир лошади и ее систе-

му ценностей, высветил уродства и нелепости кичливых людских понятий о себе» о том, что хорошо и что плохо и т. п. Конь Гульсары, правда, не высказывает впрямую своих суждений о людях и событиях и грызне меж них, но тем уж, что он — главный персонаж повести об истории Киргизии в XX веке, дается ей некое отстранение и ставятся на более малое место те дела и события, что представляются людям, в субъективном идеализме их близкозрения, чуть ли не вселенски важными и затрагивающими судьбы мироздания. Для этого Танабай — человек, принимающий все как раз слишком близко к сердцу, пылко до вспыльчивости. Танабай — микроскоп, он увеличивает мелкожитейское и историческое, через страдания и переживания, до космических событий; Гульсары — телескоп-макроскоп: своей крупностью и космическим совершенством умеряет то, что застит людям свет при зрении вплотную, он прикладывает к ним масштаб Матери-Природы. Так и идут они вместе сквозь повесть — «старый человек и старый конь» или, восстанавливая справедливость и демократию среди существ, в ином порядке — «старый конь и старый человек». И так заарканен сюжет и все события: через призму коня и через сердце

человека, они поданы и на дальнем и на близком расстоянии. И по времени: с конца (с кануна смерти коня и человека) и с начала их общей бурной жизни. Они идут в рассказе навстречу друг другу, шествуют на смыкание — где-то в точке зрелости и мудрости, меры и истины о мире и человеке, где-то близ гармонии…

Герой повести — кентавр: человеко-конь как единое целостное нерасторжимое существо-естество. И это абсолютно соответствует киргизскому образу мира: для народа-кочевника субстанция-субъект (выражаясь термином Гегеля) бытия имеет облик человека верхом на коне, тогда как для того же Гегеля-германца ей моделью видится дерево: растение — становление многого из единого. Что же значит для человека это мерное всю жизнь колыхание в седле? Конь идет, а я думаю — такое меж нас разделение труда. «Но старый конь все же шел, пересиливая себя, а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать». Конь шел — человек думал. Дума=ходьба человека. Ход=дума коня. Иноходь, чем знаменит Гульсары, есть равномерно-правильная, ясная, истинная мысль. Иноходь Гульсары образует в повести канву равномерности, по которой вышиваются

кроваво-страстные узоры и человеческой жизни, нервно-неистовой, и истории общества л(линия Танабая) — нити-траектории порывистой, в галопе и скачках переворотов.

В поэтике Чингиза Айтматова необычайно большое место занимают внутренние монологи как бы заснувшего, отрешившегося от реального сего момента человека-духа, который размышляет, а более — вспоминает. Все «Материнское поле» — грандиозный монолог-диалог воспоминании-памяти Земли-Матери в беседе с Матерью человечьей Толгонай; и «Джамиля» — воспоминание; и «Прощай, Гульсары!» есть проведение перед очами памяти, накануне смерти, жизни протекшей… Подросток в классе на парте («Ранние журавли») как в седле покачивается и вспоминает… Торопиться некуда, можно пережить все заново и интенсивно, обдумать, себя обсудить. А рассказывать — некому. Диалога нет, искусствен он (как в» Материнском поле»). Потому так слаба рефлексия в повестях Ч. Айтматова. (А как они вертятся и взаимооборачиваются в полифоническом романе Достоевского, где от стен городских — сплошные отражения и возвратные волны!) Густой монологизм в стиле — как у эпического поэта народного. Но зато тут от гор и

степей, неба, звезд, коня — словом, от природы исходят поправки к субъективным думам человека о себе и обществе: над ними вечно открытое око Космоса.

В этом кентавре конь — бежит, человек — сидит. То есть конь реализует космическую горизонталь, человек же — вертикаль, ось. И подобно вальсировке Земли в двойном движении — обращении вокруг Солнца и вокруг своей оси, — кентавр человеко-конь неподвижен двигаясь — образует живое противоречие. Известно по волчку-гироскопу, что ось-вертикаль сохраняет свое направление и устойчивость именно благодаря вращению. Дума-память, которая есть прокручивание человеком все тех же и новых событий жизни своей и общей, — это как раз гироскопическое кружение-ввинчивание штопором в небо-землю и в суть вещей, благодаря которым человек может сохранить устойчивость, верность Истине и подлинным ценностям. Но почему разъединяется неделимый кентавр в «Прощай, Гульсары!»? Ничем иным не объяснить это, как тем, что захотел всадник перестать быть всадником, захотел в городе жить, а не в открытом космосе под небом. «А я хочу жить, как люди живут, — бросает Танабаю свою отару Бектай,

уходя в город… — Я ничем не хуже других. Я тоже могу работать в городе, получать зарплату. Почему я должен пропадать здесь с этими овцами? Без кормов, без кошары, без юрты над головой. Отстань! И иди расшибайся в доску, утопай в навозе. Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож…»

И вот все творчество Айтматова последних лет приковано к осмыслению этой ситуации — и главный вопрос: не теряет ли киргиз, отстраняясь от бытия в открытом космосе гор и степей, нечто субстанциальное в себе, самый нерв и суть своего «я» и не катастрофично ли это для самого стержня человека в нем, для его этики? Не потерял ли он с этим устойчивость в бытии и способность твердо отличать зло от добра? А с другой стороны, кто же загонит назад в юрту и верхом на коня киргиза?

Ну, а что ж: баранина сама на прилавках расти будет? А костюмчик шерстяной на нем — откуда? А без возни с навозом ни бешбармака, ни костюмчика не получишь. И только ли навозом отмечен кочевой быт? А простор, а запахи, а душевная крепость людская и красота чувств и песен? И в последних повестях — «После сказки» и «Ранние журавли» все более сладостной легенда старого быта воздымается. Может быть, оценят? Заманит назад? Или все уж? И кончаться кочевнику? И

народу остается лишь лебединую песнь пропеть устами своего писателя?

Вот ситуация и дума Танабая, в вопрошениях и метаниях которого весь трепет души самого писателя чувствуется. Ведь это он, Танабай, и брата лично раскулачивал — так хотел поскорее братство колхозное установить. И себя не жалел — на самых трудных работах бился. А что-то пошло не так, наперекосяк. Отчего?

Виной тут еще наивное, одностороннее представление о культуре: ее видели лишь в том новом, что воспринимали, а в своем и старом усматривали сплошное бескультурье. «Иногда вдруг находило на Танабая такое. Пускался в рассуждения о народном ремесле, негодовал и не знал, кого винить, что оно исчезает. А ведь в молодости сам был одним из таких могильщиков старины. Однажды выступил даже на комсомольском собрании с речью о ликвидации юрт. Услышал откуда-то, что юрта должна исчезнуть, что юрта — дореволюционное жилье. «Долой юрту! Хватит жить по старинке».

И «раскулачили» юрту. Стали строить дома, а юрты пошли на слом. Кошмы резали на всякие нужды, дерево пошло на изгороди, загоны для скота и даже на растопку…

А потом оказалось, что отгонное животноводство немыслимо без юрт. И всякий раз теперь Танабай сам поражался, как он мог говорить такое, ругать юрту, лучше которой пока ничего не придумали для кочевья. Как он мог не видеть в юрте удивительное изобретение своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений?..»

Что же есть культура? Это — совершенство в *своем роде.* Янки при дворе короля Артура бескультурен, как и Ахиллес в эпоху пороха и свинца: здесь они оба попадают в чужой род-огород, каждый из них, который есть совершенство в своем роде, в своем отечестве пророк, в чужом оказывается нелепостью.

Жизнь долгой работой естественного отбора создает высокую культуру животных и растений, идеально прилаженных к данному космосу: саксаул — аксакал пустыни, карликовая береза — мастер Севера и т. п. Но подобно и люди-племена, поселившиеся на тех или иных пупырях или вмятинах Земли, среди лесов или среди снегов, развивают совершенную по данному месту породу культуры.

Культура есть прилаженность — человека, народа — к тому варианту Природы, который

ему дан (и которому он придан, человек и народ, как соответствующая ему порода существ) на любовно-супружескую жизнь в браке и взаимопроникновение. И как жена — не перчатка, не скинешь, так и природа — народу: нельзя ее произвольно сменить без потери народом своей субстанциональной сути.

Но кроме культуры на Земле возникла цивилизация. Если культура везде разнообразна, то цивилизация — едина, есть детище монотеизма, тогда как культуры — исчадия разных в каждой местности языческих богов. Эпицентр цивилизации — в сердце человечества, в заводе всемирной истории: оттуда распространяются волны и импульсы на периферию разных культур. И разворачивается сюжет: цивилизация против культуры — и единоборство это жестокое. Ареной же его, пристанищем является душа и жизнь каждого современного человека, но особенно трудна и катастрофична эта борьба — в душах людей из ускоренно развивающихся народов. Ибо у тех, кто раньше подключился к процессу мировой истории, собственная культура как-то незаметно и постепенно стала перерастать в цивилизацию, так что и неразличимы они почти. Так это у греков, итальянцев, англичан, французов, русских,

немцев и т. п.

Ч. Айтматов словно перебирает в своих произведениях разные варианты содержания формулы: «быть человеком» — и их столкновение и драму и в душе одного человека, и между людьми, и между родом и личностью, и между цивилизацией и культурой.

В каждой повести Айтматова центральное — кульминационное место занимают патетические сцены долгого дыхания, как кульминации в симфониях Шостаковича, где вот уж, кажется, более нельзя, нет сил, ан накатывается новая волна, — еще, мощнее, еще экстатичнее — и вся душа твоя на последнем пределе, но является за ним еще один последний предел и еще один — и все это человек, оказывается, в силах вынести. Такая кульминация есть в «Джамиле». Есть она и в «Прощай, Гульсары!». Это нашествие Зимы — вооруженной до зубов: снегом, ветрами, коварством оттепелей, а затем клещами наледей… А против нее — беззащитное стадо суягных овец. Нет, не беззащитное: есть Человек! Он встает между холодом Вселенной и жизнью Природы, Матери-Земли и всех порождений ее, которых он вовлек в свою судьбу. Ведь приручение — очеловечение, так что через приручение в животных

входит и дух — ум и душа человечья. То же самое и злаки культурные, и деревья садовые: они уже не могут без человека существовать — перемогать, в борьбе за существование: хищные естественные существа, не тронутые соблазном удобств житья-бытья под крылом человека, их забьют. Так что человек ответствен за жизнь-судьбу вовлеченных с ним, совращенных им с пути собственного — так же как родители, извлекши из небытия душу живу, дитя родивши, обязаны передним… И если ты не готов, зачем же заводил?..

Вот это чувство ответственности перед Землей, пшеницей, ягнятами, овощами, лесами, реками почему-то скинул с себя человек, предавшись эгоизму гуманизма: человек — венец творения! царь природы! — самоопьянялся в лести самому себе под разными принципами и лозунгами. А к Земле, к животному какое отношение? Давай производительность: «Мы не можем ждать милостей от природы — взять их у нее — наша задача!» Патриархальные же народы, еще не просвещенные гуманизмом цивилизации, памятуют о нравственной ответственности перед растениями и животными, вовлеченными ими в человечий хоровод. И этой культурой богат киргизский народ. Но не чтилось это у нас в период скачка

от отсталости к цивилизации, да и не только в Киргизии: озабочены мы были внутрилюдскими, социальными отношениями. Однако природа напомнит ретивому, речистому, очень уж в слова, предписания и бумажки-печати поверившему, что от них злак не растет и овцы не ягнятся.

Да, Вселенная нам не друг и не брат, как Природа: холодом и отчаянием пространства веет и цепенит оттуда. И только благостная Мать-Природа покрывает нас и покровительствует нам дружелюбно, благодатная. У нас, человечества, с нею общие интересы: жизнь блюсти и развивать ее растение — до еще не ясного нам конечного цветка, плода и смысла ее. И потому не «равнодушна природа», как сказал поэт в еще не ведавшем природе конца девятнадцатом веке, но пуглива и трепетна, как серна или лань, к закланию ведомая по орбитам непреложным средь галактик — к сожжению иль к охлаждению за определенный срок. То есть в той же она ситуации — смертности, как и человек. И потому взаимопонимающи и сострадательны мы друг к другу.

Долгое время человечество не выходило на эту проблему, на этот рубеж, с которого отличима стала Природа от Вселенной: они до поры до

времени представлялись слитными, однородными. Человек выглядел мал в природе, а она смыкалась в своем качестве с космосом вселенским и получила от него атрибут «равнодушия» к нам. Но теперь, в XX веке, человек стал огромен, ощутил Природу ограниченной и отличать ее от Вселенной стал. И это принципиальной важности для мировоззрения человечества факт. С выходом в космос Вселенная не приблизилась, но отдалилась от нас. Зато природа — приблизилась: родина нам предстала в ее беззащитности от безжизненных пространств Вселенной и от нас самих. И новая жизнь и смысл открываются теперь в первобытном анимизме, одушевлении животных и растений. Дерево порубленное, трава косимая и зверь убиенный нам сейчас ближе к сердцу становятся, чем даже чуть ли не наш брат человек, оказавшийся на такие лютости способен, что зверю и не снилось.

Итак, у нас в общем виде прорисовался круг тем и проблем, занимающих Айтматова в последние пятнадцать лет. Но что каждый раз в произведении извлечется из этого круга, зависит от внутренней сути того, кто попадает в поле этой проблематики. В «Прощай, Гульсары!» то был кентавр Гульсары Танабай, шедший послед-

ним путем в последнюю ночь и вспоминающий жизнь свою. В «После сказки» это мальчик-сиротка, наивночистый и мечтательный, годный сам стать персонажем сказки типа «Золушка»: всеми травимый замухрышка, который в конце оказывается принцем, сыном короля. Загадочно его происхождение: о матери и отце только слухи, а сам он в мечтаниях своих рисует роскошные их образы: Отец ему — матрос с Белого парохода и даже сам Белый пароход, а Мать ему — прародительница сама рода-племени киргизов — Рогатая мать-олениха.

И по качествам человеческим, что просвечивают в мальчике, очевидно, что это существо незаурядное, призванное к высшей участи, нежели то существование, что он ведет вначале в данном месте, времени и среди обитателей. Его тяга к учению — не Ломоносов ли перед нами киргизский? Его потрясающая способность воображения, нравственная чистота, способность жить вымыслом свидетельствуют о нем как о, быть может, том пророке, который, по словам деда, обязательно есть среди семи первых встречных людей, только сам-то он не знает о себе, что он пророк.

Его внутренние, интимные сожители — это

вся благодать бытия: горы, лес, простор, озеро, времена года, люди добрые, сказочные, наезжающие изредка издалека (чабаны, шоферы, все — братья сказочные и джигиты, ибо сыновья Матери-оленихи). А поверх всех парят Отец — Белый пароход, в котором символ идеальной цивилизации, творение чуда и разума человечества, и Мать-олениха, в которой качество основное — беспредельная любовь, и она представляет плодородие Природы. Вот бы им жить в любви друг с другом, а сыну их — меж ними, в идеальной семье — наподобие той, что ему предстала на том берегу реки в видении трех маралов.

И на фоне идеальной семьи маралов особенно жалким предстает позорище этого искусственного скопления людей на лесном кордоне, образующих якобы семью. Все они чужие друг другу или с оборванными нитями. Нет ни отца здесь, ни матери, ни сына полноценных, а значит — ни мужа, ни жены, ни деда, ни бабки. Вертикали рода перерезаны у людей этих, не приходит им оттуда ни силы, ни воспомоществования. И если в ранних повестях Айтматова это подавалось с плюсом, ибо способствовало становлению личности, ее освобождению из оков рода, то теперь этот же разрыв видится в минусе как несчастье.

Все страдают от него: и мальчик «пригульный», и Орозкул — «злодей», у кого жена бесплодная и нет ему благословения продолжением. И они искусственно сведены вместе и в страхе жизни боятся отодраться друг от друга — на жизнь иную, вольную, с открытыми возможностями: словно околдованы неподвижностью! Казалось бы, ну что мешает деду с дочерью и внуком бросить Орозкула — мучителя их и уйти в широкий мир? Вокруг зовущие к свободе и истинной жизни просторы горные, степные и моря-озера, а тут люди душатся, друг другом удавленники, боясь выйти за границы. Кордон — ограниченность наша и предопределенность. Недостаток воображения и страх, отсутствие динамического «я», личности, которая бы в напоре своем прорвать сумела эти заклятья… Один мальчик отваживается вернуться — прорваться из кольца-окружения и плена добровольного людей: превратиться в вольную рыбу и уплыть к Отцу… раз убили злые люди его мать Олениху, от Природы — в Небо, к свету, к Солнцу.

А ведь у Орозкула тоже есть свой миф-сказка — о городе-цивилизации и начальственной легко-сладкой жизни там. «Вот там, в городе, жизнь так жизнь! Туда бы двинуться, там бы

где пристроиться. Там умеют уважать человека по должности. Раз положено — значит, обязан уважать. Большая должность — больше уважения. Культурные люди...» В идеале Орозкула принцип «уважения» важен: оно заменяет Любовь, в которой пребывают люди в идеальном общежитии, возможность которого дана нам в учреждении семьи. А тут — уважение! Откуда оно? Зачем? Не обошлось тут без принципа личности: ее уродливое развитие и в Орозкуле видим. Только у него внутреннее содержание и богатство заменены внешними атрибутами: пост и деньги. В раю Орозкула никакого братства нет, а перегородки (принцип «города»!) между каждым и каждым: индивидуум и атом, извне отграненный, вместо изнутри, содержательно определенной личности; самость гордынного «я» вместо самостоятельности и самосознания.

Итак, два мифа-сказки противостоят друг другу самочинные, только что лично сочиненные: миф мальчика о мире и о себе как человеке-рыбе и миф черни современной. А между ними — миф деда: исконно народное предание о Рогатой матери-оленихе. Свой миф не может обмануть-предать, ибо он — я. Обмануть может миф услышанный и принимаемый на веру — как

принял мальчик миф деда. И когда разочаровался в нем, то вернулся и осуществил свой. Таким образом, торжественная победа личности — в этой абсолютной преданности мальчика своему идеалу-Абсолюту и в дерзании осуществить его. Смерть здесь ни при чем: мальчик ее не видит и не знает, знаем ее только мы. Он не в смерть отплывает, бросаясь в реку, — но в жизнь абсолютно чистую и вечную.

Айтматов — и в том его мощь художественная — есть мастер ввергать жизнь в миф (этот дар ему — от народа его с живым и продуктивным до недавнего времени фольклором), просвечивать ее архетипом и приводить к нему. Причем одно дело — рассказать сказку, остающуюся в себе, а другое — приложить ее к реалистически воспроизведенной жизни нынешней прозаической, так, чтобы они взаимопросвечивали друг друга.

В двух все время перемежающихся планах идет действие повести: в высях, между мифами, и внизу, между людьми, ими руководствующимися. А в сознании мальчика все время совершается отождествление этих планов, кульминацией чего является выстрел деда в марала, которого мальчик отождествил с Рогатой матерью-оленихой. Но как прекрасно было бы, если б люди всегда

чувствовали себя живущими в таком тождестве планов: идеи и действительности! Тогда ничего будничного бы не было в существовании нашем, но все — священно, и жизнь бы торжественно проходила.

Предание о Рогатой матери-оленихе — на правах основополагающего народного этиологического мифа, как книга Бытия и Исход у ветхозаветных иудеев иль предание о Волчице, вскормившей Ромула и Рема, у древних римлян. Оно начинается с картины тризны, поминок. Изо всех вех жизненного пути человека смерть здесь отмечается пышнее всего. Что бы это могло знаменовать — такая значимость поминок в сравнении со свадьбой и рождением? Ну, конечно: ведь тут люд напрягается на самое трудное сражение — со Смертью, и надо всем миром все силы для этого собрать, иначе не одолеть… При похоронах социум есть восприемник отходящего духа усопшего — надо это ознаменовать, закрепить его прибытие в память. Да, в памяти людей отныне его жилище; общество тут как акушерка выступает: человек рождается в вечную память! И так как у кочевого народа нет, в отличие от оседло-земледельческого, кладбища предков постоянно перед глазами и не может его

поддерживать в бытии «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», тем важнее *той* — пир тризны, ибо каждый живущий еще человек становится живым захоронением всех умерших при его жизни людей. Так и содержится преемственность: в памяти, что заарканивает поколение в поколение вперехлест, как бы двойным узлом: когда я поминаю умерших при мне, я впитываю и умерших при жизни ныне умершего, ибо в свое время он впитывал тех и т. п…

И в сказке о Матери-оленихе вторым узловым событием явились тоже поминки: чтил и обожал народ маралов, братьев и сестер в них люди чувствовали, но «так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец… Великие поминки устроили его сыновья… Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете, чтобы слава о них пошла по всей земле. И надумали они установить на гробнице рога марала, дабы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода Рогатой матери-оленихи», — и совершили первоубийство, неслыханное доселе. А уж далее пошло раскручиваться простым механизмом, по логике: а я что, хуже, что ли? Давай и мне рога на могилу!.. Поминки, значит, выступили

опять как важнейшее у киргизов событие, раз тут именно решились на беспрецедентное — прорвать круг положенного и положить основание новому правилу. Тут перехлест любви к человеку заносит на преступление: ради друга, любимого ничего не пожалею! И мы встречаем знакомый уже нам по мифу Орозкула принцип *уважения:* «Каждый бугинец долгом считал установить на гробницах предков маральи рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком».

И в этом мире, руководимом мифом Орозкула, Дед единственно близок к Мальчику, передает ему священное предание народа, образует его душу примером благоговейного отношения к природе, трудолюбием, человечностью. Ведь так любит он незадачливую дочь свою и внука — и на все готов ради них, всем пожертвовать. И поднимается же он и на бунт против Орозкула, чтоб мальчика везти из школы. Но так же потом заворожит его сострадание к дочери и пойдет он на поклон к своему кесарю, против которого на миг поднялся на бунт. Но где же стойкость в вере? Иль в том и дело, что Абсолюта-то не знает Момун: родовая вера слишком еще частна и праг-

матична. Да и выражена в форме сказки, которая не способна противостоять научным аргументам цивилизации. Ведь как его под конец допекают и сламывают? (Рассказывает об этом под застольный смех ленивый «заработник» Сейдахмат.) Когда Деду велят стрелять в Матерь-олениху, он: «Не можем, говорит, мы стрелять маралов. Мы бугинцы, дети Рогатой матери-оленихи!» — «А ты, знаешь, что байские сказки это, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ!.. Ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что старик, напишу про тебя куда следует». Стушевывается дед-бедняк перед логикой железной и научным мировоззрением. Наивный дед и к новому идеалу столь же серьезно и с пиететом подходит, как и к своему прежнему, да и говорят ему это люди грамотные, а он неучен: неполноценность свою чувствует. И страх перед мифологией бумажки, перед «напишу на тебя», да еще «куда следует».

Тут и та безличность, о которой мы выше с плюсом говорили (как служение людям), обернулась бескачественностью субстанции, которая оттого и поколеблена стать смогла. А мальчик утвердил свой миф-личность свою через несгибаемость и поступок, абсолютно изнутри определенный,

а не из хитросплетения внешних аргументов и обстоятельств, чему поддался старик Момун напоследок жизни — и тем всю ее насмарку и под откос пустил.

Последняя сцена — пир бесовский, над трупом Божества глумление, — выдержана в темно-красных зловещих тонах: отблески огней в ночи, похохатыванья, хрюканья свиные (у важного гостя Кокетая свиные глаза), и все это как кошмар — наваждение в сознании больного мальчика, чудовищный бред и нелепость, шабаш торгующих во храме. И мальчик их изгоняет из своего мира, отправившись рыбой к Белому пароходу. Он их выкинул из храма бытия. Принцип-то относительности можно тут напомнить: когда расходятся два тела после столкновения, оба отталкивают друг друга, так что неверно представлять, что мальчик уходит из этого мира, а мир остается прежним, обиталищем нелюдей этих: через его толчок, мальчика, и они равно отринуты — духовной акцией негодования, которая не меньшей силой и волей обладает, нежели физический толчок.

Есть в повести Айтматова один примечательный разговор — мальчика с солдатом. Мальчик допытывался у воина, кто его предки, и солдат,

однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что сам он не только не знает, откуда его род начинается, но даже обязательного колена семерых отцов не знает Солдат знал только своего отца, деда, прадеда. А дальше? «Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков?» — спросил мальчик «Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего. Живу нормально» — «Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся» — «Кто испортится? Люди?» — «Да» — «А почему?» — «Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить *И* никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать» Вот ведь как столкнулись родовая вертикаль и горизонталь цивилизации. Последняя везде рвет родо-семейные связи и выделывает для своих целей человека-индивида, годного вступить в новые, предлагаемые уже ею связи, дела и обстоятельства-отношения Но с этим из человека изымается родовой корень жизни и самоустойчивости в бытии, так что его толкнуть можно на любое дело и идею, абсолютного компаса ценностей он лишен, ибо цивилизация предлагает человеку большой выбор ценностей, но сплошь относительных,

зависящих от обстоятельств места и времени и эпохи, а родовые критерии, бытовавшие доселе на правах абсолютных, сейчас сплющились, встали под сомнение и стали истаивать. И пока-то человек доберется выработать в себе через культуру и опыты жизни личностно-абсолютный мир и круг критериев!.

Кажется, безнадежно далеко это дело и трудно… Нет! Есть простое и безошибочное, что всегда при нас и что не даст сбиться *детская совесть!* Она — опора, надежда и утешение в неразрешимых, кажется, перипетиях сложной действительности современной. Ее-то и явил и развил ее богатство и красоту Чингиз Айтматов в повести этой.

Но что такое детская совесть, откуда она берется, из чего состоит? Можно сказать, что совесть есть врожденная в нас идея и принцип отношения ко всему. Она слагается из того опыта беззащитности, любви и благодарности, который из младенчества выносит в жизнь всякое живое существо. Дело в том, что рождаемся мы абсолютно немощностью, и все, что мы есть, дано нам любовно повернутым к нам бытием: от молока матери до тепла дома и воздуха природы. Все это льется в нашу совершенную-открытость. Это дар и аванс нам, на что совершенно естественна

реакция благодарности — бессознательной, но глубочайше в недрах существа нашего вгнездившейся, которая и образует родник-источник ответно-любовного на всю жизнь мироотношения уже из нас: что *мы* должны, а не нам должны, что и составляет суть совести. Совесть обращена не к миру, но ко мне, есть счет мира ко мне, в отличие от претензии и амбиции, которые суть убеждения, что мир мне что-то должен, из чего и происходят все злобы: из обиды они. Но это — вторичное, возникает уже с формирования самочувствия «я», самосознания. Так что под злонравием в каждом человеке свет совести все равно залегает и пробужден быть может.

Ребенок — открытость: беспрепятственно входят в него все впечатления бытия. Что же прикрывает их приток, что образует врата-дверь в нас? Это — «я»: оно, пробудившись, начинает судить и отбирать, что мне подходит, что нет, и то приоткрывает дверцу, то захлопывает перед носом у напирающего образа, хотящего встать впечатлением в нас. Лишь щелка из нас подозрительно глазеет в мир в возрасте взрослом: перекрыто все перистальтикой «я», его эгоистическими выкладками и суетой рассуждении, идущей в нутре нашем, так что и наваливается на

нас прелесть бытия, а мы, имея уши, не слышим, не разумеем. Захлопнуты.

И вот роль искусства: вновь распахивать нас навстречу миру и собратьям по со-бытию.

«Пегий пес, бегущий краем моря» выносит нас в небывалое доселе у Айтматова пространство — Океан. Зачем ясе вода? Ведь так твердо и опорно было жить в космосе гор и степей! А именно поэтому. Тяготить стала тяга и твердь, скорлупа земная, да еще и избыточная в каменности и нагромождениях гор, — как и плоть своя многочувственная, как и вращение социально-городско-историческое, избыточное, — средь культур, идей, нормативов разных…

Скинуть все! Опустошиться от лишнего, опрозрачниться! Хватит загромождаться учением, историей, культурой: уж сжимается в овчинку небо жизни, тает шагреневая кожа желаний, и торопиться надо выходить к пониманию главного и простого, а то так, косвенно и по бокам кося, и проозираешься всю жизнь до смерти, а она и поймает-застанет тебя не понявшим главное, а все в суете любознания… Так и в притче восточной царь приказал мудрецам изложить ему смысл существования человека, и они сначала преподнесли ему 20 томов. Но это показалось

царю слишком длинно: боюсь, не успею дочитать до смерти. Через несколько лет поднесли они ему 5 томов, еще спустя — один, но царь уже умирал, и тогда смысл жизни человека был ему изложен в четырех словах: «родился, жил, терпел, исчез».

Человек взят в предельном очищении — и от истории, и от материи: неясно и не важно в повести время действия, снята его историческая мелочность и тщеславная суета. Тут Время — Вечность: *всегда!* И Человек — не исторический, но и не естественный, а истинный. Что же осталось в нем? Любовь — как Эрос к женщине и как умиление святого семейства, жертва отца к сыну (так возлюбил, что и жизнь отдал): и здесь дед, и отец, и дядя жертвуют собой ради семечка жизни остатнего, в чем — надежда на жизнь вечную.

И все же главное — в воле к жертве: суметь перевалить свое тулово за борт вместо того, чтобы дать ему поволочиться к бочонку с водой. Смерть ведь и так и так человеку. Только *как* она произойдет — в этом все. Та же дилемма и в «Синей птице»: *Фея.* Ничего не поделаешь, я должна сказать вам правду: все, кто пойдет с детьми, умрут в конце путешествия… *Кошка:* А кто не пойдет?.. *Фея.* Те умрут на несколько минут позже…» И вот: что чего стоит? Продление

материально-пространственное (которое — всякое — смешно по сравнению с бесконечностью Океана) — или волеизъявление человеком нового качества, которого бытие до него не знает, а именно: любовь-жертва, положение живота за други своя? И тогда это малое равномощно оказывается студенистой бездне Вселенной.

История Природы повернута вспять — не биологической эволюцией от воды к радости и игре ее превращений-воплощений: в землю, в воздух, птицу, человека, гору, но назад — к первостихиям: вечный спор воды и суши. Вектор развоплощения тут. А человек повернут — вперед: к концу своему, к Смерти.

До предела доведено снятие всех мнимых качеств: сюжет, собственно, между Океаном соленой воды и бочонком пресной[31].

Два сюжета обнаруживаются в повести: в глубине и на поверхности. Во сне-мифе-любви и наяву: в жизни-труде-охоте, во вражде-войне. Сюжет мифолого-романтической-фантастической сказки (о страсти к Рыбе-женщине) и сюжет

---

[31] Примечания: 31

Показательно, что изо всех возможных в мире перипетий с человеком киргизского писателя роковым образом гнет в ту же сторону: капля воды (пресной) в пустыне воды (соленой). Так что хоть океан там вокруг и водная гладь, но это — без значения, а сюжет тот же как бы и с умирающими от жажды в пустыне среднеазиатской, безводной.

бытово-реалистический, в обстоятельствах места и прагматики житейской. Сюжет на поверхности имеет одну рассудочно-нравственную затею: сконструировать ситуацию, в которой бы загнать суть человека в такую безвыходность, где бы она однозначно проявилась — открылась: что аз есмь?

И наш доселе аморфный отрок Кириск, через испытания и выдержку в недрах хаоса, через жертвы прародителей, наконец обретает стержень-судьбу-волю и кристаллизуется в мужа, но зато небывалой прочности и емкости: ибо за троих живет, жизненная сила трех существовании в него одного перелилась, и, потому такой его жизнь должна быть густоты и осмысленности, чтоб не подкачать, оправдать, быть достойным тех, ибо и за них он отныне живет, страдает и мыслит.

И если до сих пор Космос совершенно разладился в Хаос, все сущности и учреждения-установления бытия перестали исполнять свои функции: солнце — светить, звезды неба — указывать путь, ветер — разгонять туман и надувать парус, даже волны — волноваться, так что «мир вышел из пазов», словно ждал получить положенные ему жертвы мужами, чтоб за то напитать-вознагра-

дить ребенка и путеводить его, как феи-стихии, и вразумлять, — то с этого мига-порога все бытие стало кристаллизоваться сказочно благоприятствующим образом: пролетела в едунья-вещунья сова — ведьма ношная, ветер установился, звезды открылись, течение волн лодку погнало. И стал мальчик, по внутренней потребности, молиться-заклинать-приговаривать и одушевлять стихии образами любимых человеков. Так вот сложилась совместно: восстановленным в Космос миром и впервые установившимся «я» подростка — *именная песнь* Ки-риска как его нить — вектор судьбы, звезда путеводная на жизнь, что вечно внутри его набатно гудеть и вести его будет Эта песнь есть память-воскрешение ушедших и стержень-идея рода живущего.

Человек и есть и возник, чтоб усеять Вселенную смыслами, как сад ее засадить-культивировать Но смысл достигается жертвенной любовью, и за идею платится жизнию, за суть — существованием Так что фон предвечно-безразличной битвы двух стихий, воды и земли, чем начинается и кончается повесть, не уныние наводит о бессмысленности усилий человеческого существования (ибо все утонет и канет), но горделивое сознание призванности нас к истечению смысла искрами

жизней и актов дел нравственных и разумных — о кресало-камень бытия.

«И дольше века длится день...» — впервые у Айтматова *роман.* Доселе писал *по-вести* — части Истины Роман — это уже весть-веданье-знанье целокупного смысла жизни, универсальная концепция Бытия и человека — без этого «роман» будет лишь наклейкой на многостраничье. И лишь шагнув за 50 лет, отважился Айтматов на роман. Тут — синтез «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» Тут не *вопросы* (как в повестях имеет писатель право) — тут уже решения, ответственные ответы людям. Хотя и ответы Айтматова топорщатся новыми животворными для духа вопросами..

Проследим траекторию сюжета: как линии его захватывают все новые пласты Бытия «Мышкующая голодная лисица», петляя, выходит на линию железной дороги (это значит от доистории и кривых линий Природы — перескок к прямой линии истории, труда, общества) Пожилая женщина бежит рассказать, что умер человек. Железнодорожный обходчик Едигей организует похороны друга, и шествие мерно движется в глубь степей на древнее кладбище. Но там скандал: кладбище недавно сметено, вместо него

— космодром и запуск ракет по международной программе «Обруч», что навсегда окутает Землю железным занавесом и не допустит никаких нам новых опытов и тревожащих знаний. И снова существо природы: коршун, паря высоко, росчерком взгляда съединяет древнее дело захоронения и предстартовую суету на космодроме. Таким образом, диапазон действия — древнейшее и новейшее, даже и научно-фантастическая утопия будущего. Движения лисицы и коршуна, приказы «Обценупра» и действия «паритет-космонавтов», а между ними — человек, причастный и к лисице, и к ракете, призванный всепонимать и съединить, и гармонизировать, «бо-жествить» мир и себя в нем.

В романе — целый пласт мифов: то ли древних, то ли восхитительно сочиненных писателем-мифотворцем. Это предания: о кладбище Ана-Бейит — «Материнский упокой»; о том, как жестокие жуаньжуаны учиняли пленникам операцию уничтожения памяти и превращали в рабов манкуртов; как Найман-Ана на белой верблюдице Акмай пыталась любовию воскресить память у сына-манкурта и как тот убил мать, но все летает над степью птица Доненбай с воззванием к человечеству: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой

отец Доненбай…» На этом же уровне и ритмической прозой воссозданное предание о любви певца Раймалы-аги к юной акынше Бегимай и как изуверски закон рода надругался над этой, в родовом быту не положенной, личностной любовию.

А рядом с этим миром преданий, мифологическим миром — мир общества, истории, цивилизации, техники, политики, идеологии. Вплетенность жизни человека в эти миры проходит в воспоминаниях Едигея. И вот художественное чудо: Едигей всего лишь вспоминает и продумывает протекшую жизнь свою и ближних, а нам постепенно прорисовывается идеальное поведение и житие человеков: не просто «былое» и «как живем?», но и «как жить?» — не просто реалистический рассказ, но и роман-притча о праведной жизни.

Ибо мир может быть и лучше и хуже, но ты, человек, должен быть только лучше! Момент в истории общества может быть благоприятен для личности и честной жизни, но может быть и неблагоприятен, однако категорический императив Совести повелевает: в тебе, человек, заложено, как компас, абсолютное мерило — и не давай себя сбить с курса всякими относительно-

стями и условиями и обстоятельствами, которые, по сути, суть торгашеские сделки с совестью. Память и Совесть — главные духовные движители в романе.

Так как же прожить жизнь по истине и совести, личностно и счастливо — независимо от помех иль помочей обстоятельств?

Во-первых, не искать, где лучше, не рвать от жизни куски. Персонажи романа поселились в таком месте» хуже которого не бывает: В Сары-Озеках, в пустыне, где и воду-то привозят изредка в цистернах, а зимою — бураны страшные. Так что им ничего вещественного не страшно терять и ниже некуда падать. Перед начальником «Едигею нечего лебезить и бояться, дальше сарозеков гнать его некуда». Хотя, вжившись и вникнув в эту природу, они и тут уловили живую душу и полюбили и нашли и красоты, и радости и умеют радоваться малому — вспомним поэтическую картину ливня, когда Абуталип с детьми, раздевшись, выбежали на пляс под дождь, а за ними и Едигей со чады, и какая вышла тут божественная купель и тел и душ… Но ведь надо было, чтоб воображение, сила из «я» человека, представило ему эту возможность — так неожиданно поступить-среагировать: не прятаться от ливня под

крышу, но навстречу ему выбежать-раскрыться — а такое есть плод высоколичностного сознания и культуры, интеллигентности, что и было в Абуталипе. Так что и красота в пустыне от прекрасной души человека — производное!..

Зато в той же пропорции, как обструганы тут люди от материальных благ, будь то сладостей природы иль городского комфорта, очищаются совесть, душа, глаз и ум. Ясно начинают понимать здесь люди, что и к чему в бытии и что составляет истинную ценность, а что — мнимую. Истинная ценность — это любовь семейная, труд честный, мысль свободная, жизнь незлобивая, никому вреда не носящая, и если воля, то благая, если усилие, то над собой работа, а не над другими, как над вещью.

Да, на Буранном полустанке меж этих трех семей образуется идеальное микрообщество, прообраз того братского общежития, какое должно быть и на всей земле. Основа тут — сострадание, ибо все здесь — претерпевшие, изгои и потому не кичатся друг перед другом, а друг дружке помогают. Не ждут тут приказов и не пишут заявлений, а сами за все, что надо, берутся и делают — вплоть до образования детей. Абуталип и жена его, учителя по призванию, своих двух мальчиков и детей

Едигея начинают не учить, а играть с ними в познание мира, и так весело и легко ложатся знания, и ум развивается в такой непринужденной, естественной, на лоне природы, педагогике. А в долгие вечера само собой углубляется человек в воспоминания, и как-то непроизвольно потянуло интеллигентного рабочего Абуталийа записать пережитое, перемыслить его — и оставить детям своим *духовное наследство.* Замечательна эта мысль в романе: нет у нас обычая материальных наследств, зато каждый человек может опыт своих исканий, страданий и уразумений передать любимым, детям — как духовное наследство. И так спонтанно родилась и литература — в этом экспериментально-утопическом государстве на Буранном полустанке: не на продажу и не из тщеславия, а как исповедь для души — рождается эта письменность, книга Абуталипа. Недаром с такою ревнивой завистью смотрит на это чистое писание ревизор-доносчик, упражняющийся стишками к праздникам: «Вокруг никого и ничего… А ты себе волен…»

Но главная ценность — семейная любовь. Персонажи молодого Айтматова в ренессансном индивидуализме бежали из родовых семей на простор широкой жизни в городе, средь культу-

ры, крушили чужие семьи и не могли создать свои. Здесь же — семейная идиллия. Кажется, тут выключенность из истории и общества, остров какой-то. Но если вдуматься: кем и чем созданы такие вот углубленные нравственные и духовные личности, как Едигей и Укубала, Абуталип и Зарипа, как не опытами нашей истории? То не наивные персонажи рода, в законе адата выросшие; они сначала нарушили закон родовой семьи, противостали ей в тяге к широкой свободной жизни на производстве и, испытав гонения и от рода, и от отчужденных сил в обществе, развившись средь испытаний как личности, прибились друг к другу в семью, что крепится уже индивидуальной любовью. Крепимая личностной любовию, семья становится и почвой, где выращиваются те чистые «люди трудолюбивой души», про которых писал Айтматов в предисловии к роману: «Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, на которые у других всегда есть готовый ответ… Наше время дает им столько пищи для размышлений, как никакое не давало никогда».

Давно размышляю я над тем, что неспроста пишутся Айтматовым произведения его не только на киргизском, но и прямо на русском языке, а это — вещь не нейтральная, но что-нибудь да значит сверх того, что русский язык распространен в Союзе. А значить это может еще вот что: творчество Чингиза Айтматова становится фактом не только киргизской, не только общесоветской, но и русской литературы. Ибо им влиты в русскую литературную традицию такие сюжеты, мифологемы, образы, которых русский по происхождению писатель и на материале русской жизни создать не может; но русский литературный процесс (как еще и сход, и сток ныне многих разных русл русскоязычных литератур национальных республик) без них становится далее немыслимым. И из истории русской художественной литературы уже неизъемлемы образы и сюжеты Джамили, Дюйшена, Гульсары, Белого парохода, Буранного полустанка и т. д.

Г. ГАЧЕВ

INFO

Айтматов Ч. Т.
А-37 И дольше века длится день... Роман. Повесть. — М.: Известия, 1986.— 432 с., ил.

Чингиз Торекулович АЙТМАТОВ
И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ...

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» Г. Метченко

Редактор М. Серебрянникова
Художественный редактор И. Смирнов
Технический редактор А. Гинзбург
Корректоры Л. Грановский, Г. Матвеева

ИБ № 1018
Сдано в набор 16.12.85. Подписано в печать 9.06.86. А 09208. Гарнитура «Сенчури». Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 1. Печать высокая с фотополимерных форм с оригиналов, набранных на машинах

ИБМ «Композер». Печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр. отт. 22, 9. Уч. изд. л.26,03. Тираж 270.000 экз. Заказ 2172.

Цена *2* руб.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».

103798, ГСП, Москва, К-5, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

……..

DJVu — Scan Kreyder — 15.07.2014 STERLITAMAK

FB2 — mefysto, 2023